Стивен Фрай

АВТОБИОГРАФИЯ

Моав – умывальная чаша моя

the BEST of РИПОЛ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Жизнь такого человека, как Стивен Фрай, вряд ли может быть заурядной. Эта автобиография охватывает два первых десятилетия его жизни. Вся правда о том, как жил-был маленький мальчик, как он превратился в лжеца и преступника и как из всего этого получилось явление по имени Стивен Фрай, – вот что такое эта книга. И разумеется, даже из собственной жизни Фрай сумел сочинить комедию – грустную, феерическую, полную игры и бесконечно правдивую (а возможно, столь же бесконечно лживую). Наверное, это самая откровенная, самая бесстыдная, но и самая ироничная автобиография, какую мог бы написать англичанин.

Встречайте и наслаждайтесь – Стивен Фрай со всеми его потрохами!

- Стивен Фрай
  - Моав – умывальная чаша моя[1]
  - Попытка присоединения
  -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - Попытка единения
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
  - Попытка разрыва
    - 1
    - 2
  - Вдогонку
  - Послесловие
  - Благодарности
  - Некоторые дополнительные сведения о Стивене Фрае
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92

- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136

- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180

- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224

- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268

- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312

○ 313

Стивен Фрай
Автобиография
Моав – умывальная чаша моя

Моав – умывальная чаша моя[1]

Тебе.

В., глава 11, стих 10

Жить – значит сражаться с троллями, обитающими в твоем сердце и в душе. Писать – значит подвергать себя самого строгому суду.

Генрик Ибсен

Интересы писателя и интересы читателя редко оказываются одинаковыми, а если они сходятся, это всего лишь счастливое совпадение.

У. Х. Оден

Попытка присоединения

Смотри, Маргарита… Англия![2]

Из последних строк «Очного Цвета», 1934

1

Не знаю почему, но в памяти моей нас только двое – я и Банс. И никого больше в купе нет. Лишь я, мне восемь лет и один месяц, да это несказанно маленькое игралище невзгод, на одном жарком, хриплом дыхании сообщившее мне, что его зовут Сэмюэльэнтонифарлоубанс.

А вот почему мы оказались наедине, это я помню. Мама привезла меня и брата на Паддингтонский вокзал слишком рано. Мой второй триместр. В идущем на Страуд поезде для нас, школьников, отведен целый вагон. Обычно, когда мы – мама, мой брат и я – появлялись на перроне, там уже подскакивало многое множество канотье, неосмотрительно окунавшихся, посылая прощальные приветы, в целое море совершенно неприемлемых дамских шляпок.

На сей раз мы приехали одними из первых, брат отыскал купе, в котором сидел мальчик постарше, уже открывший ящик для сластей, уже готовый похвастаться новыми пеналами и шампуром для каштанов, меня же со всей почтительностью провели по вагону чуть дальше, дабы я этим двоим не мешал. В конце концов, я и отучился-то всего один триместр. К тому же я вовсе не был уверен, что понимаю значение слов «шампур для каштанов».

В следующем купе как раз и обнаружилось существо, которое сильно смахивало на маленького дрожащего лесного зверька.

Мы с братом высунулись из наших соответственных окон, чтобы бодро отослать маму домой. В такие мгновения в нас проступало нечто жестокое, мы прощались с ней тоном насколько могли небрежным и несерьезным, притворяясь, будто столь долгая разлука с домом – для нас трын-трава. Оба мы какой-то частью сознания понимали, надо полагать, что ей расставание дается труднее, чем нам. Маме предстояло вернуться к младенцу и мужу, который работал так много, что она его почти и не видела, и ко всем ужасам неопределенности, сомнений и чувства вины, которые терзают родителей; мы же направлялись к своим – к таким же, как мы. Думаю, наше раннее появление на вокзале было частью негласно принятой стратегии, позволявшей покончить с прощанием еще до того, как вокруг начнут толочься люди. Громогласность и многошляпие Других Родителей не отвечали привычным для этого, частного Фрая проявлениям любви: едва ощутимым рукопожатиям, скупым, почти неприметным кивкам, сходившим за выражения привязанности и полного, не облекаемого в слова, понимания. Чуть натянутая

улыбка, прикушенная губа – мама всегда уходила с перрона исполненной, хотя бы наружно, неколебимости, а большего нам от нее и не требовалось.

Покончив с прощанием, я опустился на сиденье и окинул взглядом приунывшее, трепещущее существо, которое располагалось напротив меня. Существо выбрало место у окна, спиной к паровозу, желая, возможно, сидеть лицом к дому, а не к неведомому до жути месту нашего назначения.

– Ты, должно быть, новенький, – сказал я. Храбрый кивок и разлив алой краски по покрытым пушком хомячковым щечкам.

– Меня зовут Фрай, – прибавил я. – Это мой братан разговаривает там, за стенкой.

Мгновенный взрыв сверхновой паники в карих глазах несчастного цыпленка, решившего, видимо, что я сейчас позову к нам братана, и пришедшего в ужас. Наверное, он и понятия не имел, что такое братан.

В прошлом триместре я и сам этого не знал.

– Роджер, Роджер, – кричал я, подбегая к брату на утренней перемене. – Ты получил письмо из…

– Здесь ты будешь звать меня братаном. Братаном. Понял?

И я объяснил сидящему напротив меня сокрушенному малышу:

– Братан значит брат, только и всего. Он Фрай Р. М., а я Фрай С. Дж. Понимаешь?

Хомячково-цыплячье-беличья пушистая лесная зверушка кивнула. Потом пару раз сглотнула, словно пытаясь набрать в грудь достаточно воздуха, чтобы суметь вымолвить слово, не зарыдав.

– В прошлом триместре и я был новичком, – сообщил я, чувствуя, как всего меня, от шерстяных носков на подвязках до канотье с синей лентой, омывает прилив огромного, совершенно необъяснимого удовольствия. – Знаешь, на самом деле все не так уж и страшно. Хотя ты, наверное, будешь немного пугаться и по дому скучать.

Зверушка не посмела даже взглянуть на меня, но снова кивнула, горестно созерцая свои начищенные до блеска черные кембриджские туфли, показавшиеся мне крошечными, как обувка младенца.

– Поначалу все плачут. Ты из-за этого не переживай.

Тут-то он и сообщил, что его зовут Сэмюэль-энтонифарлоубансом, а друзья просто Сэмом, но только не Сэмми.

– Я буду звать тебя Бансом, – сказал я. – А ты меня – Фраем. Ну, если рядом окажется мой братан, тогда С. Дж. Фраем, чтобы

не было путаницы. Не Меньшим Фраем и не Фраем-младшим. Это мне не нравится. Держи, у меня есть еще один платок. Ты бы высморкался. С минуты на минуту другие появятся.

– Другие? – Едва успев переправить содержимое носа в мой платок, он поднял голову, точно услышавший хруст ветки олененок у водопоя, и в панике заозирался.

– Ну просто другие мальчики, которые едут в школу поездом. Обычно нас человек двадцать набирается. Видишь, к окну листок бумаги приклеен? На нем написано: «Зарезервировано для учеников школы “Стаутс-Хилл”». Весь этот вагон наш. Все четыре купе.

– А что будет, когда мы… когда мы приедем?

– Ты это о чем?

– Когда мы приедем на станцию?

– А, там нас автобус встретит. Не волнуйся, я позабочусь, чтобы ты не потерялся. Тебе сколько лет?

– Семь с половиной.

Выглядел он намного младше. Словно вчера из пеленок вылез, вот как он выглядел.

– Не волнуйся, – повторил я. – Я за тобой присмотрю. Все будет отлично.

Я за тобой присмотрю.

Как приятно произносить эти слова. Теплое, омывающее тебя, точно морская вода, удовольствие. Очень редкое ощущение. Маленькая ручная зверушка – и вся моя.

– Мы с тобой подружимся, – сказал я. – Все будет совсем не так плохо, как ты думаешь. Вот увидишь.

Добрые отеческие мысли погуживали в моей голове, пока я пытался представить себе все тревоги, которые обуревали беднягу. Впрочем, мне довольно было припомнить страхи, донимавшие в прошлом триместре меня самого.

– Нет, правда, все будет отлично. Сестра-хозяйка разберет твои вещи, только спортивный костюм тебе придется отнести в раздевалку самому, так что выясни свой школьный номер, чтобы найти нужную вешалку. У меня номер один-ноль-четыре, самый большой в истории школы, да только в прошлом триместре из школы ушли двенадцать мальчиков, а новичков набралось всего восемь-девять, так что один-ноль-пять ты не получишь. Я состою в «Выдре», а в какой Дом попал ты, тебе наверняка кто-нибудь да скажет. Поосторожнее с Хэмптоном, он или руку заломит, или по ноге врежет так, что упадешь и не встанешь. А если за главного остается мистер Кемп, можно и нарезку получить. Мой братан говорит, в этом триместре мы будем в футбол играть. Терпеть его не могу, и «каштаны» тоже, хоть и считается, будто это бог знает

какая веселая игра. Братан говорит, от нее все просто с ума сходят. Каштановое помешательство, так он это называет.

Банс завернул сопли в платок и попытался улыбнуться.

– Недели через две, – сказал я, припомнив слова, которые когда-то слышал от мамы, – ты будешь колбасить по школе, точно терьер, и даже вспомнить не сумеешь, как нервничал в поезде.

Я взглянул в окно и увидел некоторое количество приближавшихся к нам канотье и шляпок.

– Впрочем, что касается тебя, – прибавил я, – ты, наверное, будешь *колбансить*…

Теперь уже настоящая улыбка и даже смешок.

– Ну так, – сказал я. – Похоже, ребята идут. Знаешь что, вот тебе мой «Рейнджер».[3] Притворись, когда они появятся, будто читаешь, это будет в самый раз.

Банс с благодарностью принял журнал.

– Ты такой добрый, – сказал он. – Никогда таких добрых не встречал.

– Глупости, – ответил я, краснея, как раскаленный коралл.

Я уже отчетливо слышал звуки величавого приближения старшеклассников.

– Да ладно, мам, – произнес кто-то из них.

– Никаких «ладно», милый. И на этот раз пиши мне, хорошо?

– Ладно, мам.

Мы с братаном никогда не звали родителей «мам» и «пап». Всегда «мамочкой» и «папочкой» – пока по прошествии нескольких лет не были официально утверждены «мать» и «отец». А уже на пороге совершеннолетия мы позволили себе прибегать – с более чем осознанным ироническим путеризмом[4] – к «ма» и «па».

В прошлом триместре я поднял на уроке рисования руку и спросил: «Мамочка, можно мне еще кусок угля?» Класс покатился со смеху.

Хотя, с другой стороны, в первые недели летних каникул я, обращаясь к маме, нередко говорил «сэр» или «матрона».

Банс углубился в сложные обстоятельства Триганской империи,[5] однако я понимал, что и он вслушивается в каждый звук, и видел, какой ужас нагоняют на него уверенные, громкие голоса других мальчиков. Пальцы его впились в обложку журнала с такой силой, что та пошла морщинами.

После прощального обеда, на пути к Паддингтону, я испытывал, думая о школе, больший испуг, бесконечно большие ужас и отчаяние, чем перед первым моим триместром. Во время летних каникул Роджер предупреждал меня, что так оно и будет. Во втором и третьем триместрах тоска по дому разыгрывается

куда сильнее, чем в первом. И потому Банс оказался посланцем небес, отвлекшим меня от моих собственных страхов.

Звучный удар – дверь нашего купе отъехала в сторону.

– О господи, да тут восточные сладости «Фрая».[6] Какого черта ты делаешь у окна?

– Привет, Мэйсон, – сказал я.

– Давай-ка двигайся.

Банс начал привставать, точно воспитанный пожилой пассажир пригородного поезда, уступающий место перегруженной покупками даме.

– Не хотите ли?… – хрипло произнес он.

– Нет, я хочу получить место Фрая, если он его еще не провонял.

Вот так вот. Лицо мое побагровело, я встал и, бормоча нечто неразборчивое, пересел в угол, на самое дальнее от окна место.

Пять минут наслаждался я чувством, что кто-то взирает на меня снизу вверх и увиденным восторгается. Банс уважал меня. Доверял мне. Верил в меня. А теперь бедному щеночку предстояло убедиться в том, что все прочие ученики относятся ко мне как к пустому месту. К самому заурядному занудному недомерку. Я сидел в углу, старательно изображая безмятежность и вглядываясь в свои голые коленки, на которых еще сохранились царапины и вмятины от камушков – следы падений с велосипеда. Всего только вчерашним вечером я катил по сельским тропкам, вслушиваясь в пение жаворонков, паривших в высоком норфолкском небе, разглядывая поля, снующих по стерне куропаток. А три недели назад праздновалось мое восьмилетие и меня возили в Норидж, в кинотеатр «Гоу-монт», смотреть «Большие гонки».

Мэйсон уселся на отвоеванное место и оглядел Банса – с немалым любопытством и выражением легкого омерзения на лице, как будто Банс был представителем животного мира, коего он, Мэйсон, никогда прежде не видел да и впредь надеялся никогда не увидеть.

– Ты, – не без отвращения произнес Мэйсон. – Имя-то у тебя есть?

Ответ стал для него своего рода потрясением.

– Имя-то у меня есть, – ответил, вставая, Банс, – да только оно – не твое собачье дело.

Мэйсон онемел. Ничего такого уж дурного в нем не было. То, что он согнал меня с места, то, что сказал насчет моего запаха, никаких оскорблений не подразумевало, Мэйсон просто воспользовался законной привилегией старшеклассника. Когда ты добираешься до старшего класса, для тебя наступает время

пожинать плоды. В малые годы Мэйсона с ним обращались как с грязью, теперь настал его черед обращаться как с грязью со всяким, кто младше его. Господи боже, ему как-никак стукнуло десять. Ему уже разрешили носить *брюки*. В приготовительной школе разница между десятью и восемью годами примерно такая же, как между сорока и двадцатью во взрослой жизни.

– Я пересяду вон туда, – продолжал Банс, указывая на место рядом со мной. – Там лучше пахнет.

После чего он решительно плюхнулся, так что заныли пружины, близ меня на сиденье, да тут же все и испортил, залившись слезами.

Возможности хоть как-то отреагировать на столь немыслимое нарушение всех и всяческих приличий Мэйсона лишило появление в нашем купе Калоуцисас родителями. Вообще говоря, родне учеников заходить в вагон не полагалось, однако Калоуцис был греком, и потому родители его в тонкостях английского этикета не разбирались.

– Ой, какой тут малыш едет, – воскликнула, нависнув над Бансом, миссис Калоуцис. – И что же, за тобой даже присмотреть некому?

– Благодарю вас, – ответил, шмыгая носом, Банс, – за мной присматривает Фрай С. Дж., и очень хорошо присматривает. Очень хорошо. Уверяю вас, очень. Мне попал в глаз кусочек угля, и он отдал мне свой платок.

Ехавшие этим поездом мальчики были, как правило, сыновьями военных или людей, служивших в колониях, они прилетали в лондонский аэропорт, где их встречали и отвозили затем на Паддингтон дядюшки, тетушки или дедушки с бабушками. Большую часть остальных учеников родители доставляли в «Стаутс-Хилл» своими силами.

В следующие четверть часа наши купе заполнялись загорелыми мальчиками, возвратившимися в Англию после недель, проведенных в таких странах, как Северная Родезия, Нигерия, Индия, Аден, Вест-Индия и Цейлон. Один из них, Роберт Дэйл, очень мне нравившийся, уже сидел напротив нас с Бансом, рассказывая об Индии. Отец Дэйла редактировал в Бомбее англоязычную газету, и Дэйл, если ему случалось вдруг ощутить боль, всегда вскрикивал: «Айе!» Когда я впервые услышал это восклицание – в тот раз Дэйл зашиб пальцы ступни о ножку кровати в общей спальне, – оно меня сильно поразило: я и не думал, что выражения боли могут быть разными. Я полагал, что «Ой!» или «Оу!» имеют хождение по всему миру. И когда, к примеру, мне сказали на первом уроке французского, что по-французски «Ох!» будет «Ах!», я затеял с учителем пылкий,

занудливый спор.

– Так как же они говорят «Ох», сэр?

– Они говорят «*Ах*».

– Ладно, а как же они говорят «Ах»?

– Не изображайте болвана, Фрай. И я надулся до самого конца урока.

Дэйл стянул с ног ботинки и носки, откинулся на спинку сиденья. У него были чудесные, редкостного изящества ступни с равной длины пальцами. В начале каждого осеннего триместра мальчики вроде него, проведшие школьные каникулы в Африке, Азии или Вест-Индии, козыряли тем, что бегали босиком по гравию, не ощущая никакой боли. А к концу триместра, с наступлением зимы, подошвы их лишались крепкого слоя дубленой кожи, и мальчики эти становились точь-в-точь такими же, как все остальные.

В купе заглянул и быстро пересчитал нас по головам железнодорожный кондуктор. Глядя в пространство, он уведомил всех, что последний из мальчиков, позволивший себе забраться на сиденье с ногами, был арестован полицией Дидкота и препровожден в тюрьму, где и поныне перебивается с хлеба на воду.

– Все лучше школьной еды, – заметил Дэйл.

Мы прыснули, кондуктор пробурчал что-то и удалился. Канотье наши полетели вверх, на багажные сетки, ступни утвердились на сиденьях, и разговор обратился к каникулярному футболу, возможным кандидатурам старост и прочей дребедени из эдвардианских романов о школьной жизни. Мэйсон, похоже, совсем забыл о странной выходке Банса и развлекал сидевшего напротив мальчика, издавая посредством подмышки неотличимые от пуканья звуки.

И наконец, после визгливого, тряского, выворачивающего наизнанку желудок фальстарта из тех, коими поезда столь бестактно связывают воедино эмоции совсем разных людей, нас вытянули из-под огромного навеса Паддингтона и повлекли, окутанных паром, на запад.

Глостерширский городок Страуд, освященный памятью да и посвященный памяти Лори Ли,[7] производит – или производил когда-то – едва ли не все грубое сукно, какому Британии и ее доминионам удавалось найти применение. Сукно для обивки дверей в помещения прислуги, сукно для бильярдных столов, сукно для столов карточных, для казино и аукционных залов и сукно для клеток с певчими птицами, которым их накрывали, внушая несчастным ложное представление о наступлении ночи. В

нескольких милях к югу от Страуда возвышается Бери, огромный зеленый холм, – вглядишься в его склон, и тебе начинает казаться, будто ткачи долины Слэд когда-то развернули на нем, как на гигантском бильярде, огромный рулон своего сукна, дабы похвастаться перед всем миром своей продукцией. Посреди самого густого ворса, разросшегося у подножия этого пушисто-войлочного холма, притулилась и мирно дремлет деревушка Ули, ничего не ведающая о молочных коктейлях «Макдоналдса», о «видео по требованию», пятничных телелотереях и водительских подушках безопасности. Деревушка Ули все еще верует в благодетельность размноженных на гектографе приходских журналов, чая «Дивиденд», порошков для приготовления лимонада, салатного соуса «Хайнц» и наполовину деревянных брандулетов «Моррис». Деревушка Ули выращивает лобелии и алиссум на парадных краях лужаек, уходящих к теплым, сомерсетского камня, коттеджам, из которых несется негромкий ропот длинноволновых приемников. Паб деревушки Ули окутан плотными парами, в которых густая ваниль трубочного табака смешана с солодовой вонью пива «Ашер». И у церкви деревушки Ули также имеется собственный запах, в сложном составе которого различается участие керосиновых обогревателей, мебельной полироли «Мэншн» и сборников гимнов, пребывающих в состоянии вечно сдерживаемого распада.

В полумиле от деревушки возвышается на плоском холме школа «Стаутс-Хилл», весьма импозантный, тесаного кремня замок с бойницами, стоящий у озера, – в озере водятся карпы, над ним порхают стрекозы, а по берегам его пылают мальвы. Тропа, ведущая от «Стаутс-Хилла» к деревне, круто спускается, петляя, к дороге на Дарсли. Тропа покрыта конским пометом, желтоватые кучки коего роняют одышливые гнедые кобылки, в своих седлах они несут жизнерадостных спортивных девушек, густо краснеющих, когда ваши взгляды пересекаются.

Впрочем, конский навоз здесь можно видеть повсюду.

В деревушке Ули за дистанционно управляемыми воротами большого гаража затаились продаваемые с беспроцентным кредитом автомобили «Дэу», на крышах домов поблескивают спутниковые тарелки; налощенные копалом срезы бревен вяза, что куплены в «Сделай сам», извещают о присутствии за ними отеля «Малберри-Лодж», представительства компании «Саут-Форк» и мексиканского ресторана «Эль-Адобе». Доска объявлений у дверей деревенского паба переливается выполненными трехцветными мелками обещаниями скидок, бильярда, бесплатной кружки пива для основательных клиентов и широкоэкранного спутникового телевидения. Запашок застоялого

пива и чипсов «Доритос» тянется по главной улице к церкви, на алтарной стене которой плещутся листки А4 с отпечатанными на лазерном принтере извещениями о гаражных распродажах и программе коллективного отдыха в Уэльсе. Пухлозадые толстяки в футболках «Рассел-Атлетик» обмениваются с соседями компакт-дисками «Руководство по плотской любви», а их обутые в «Найки» детишки, выстроив в двориках для барбекю картонки из-под гамбургеров, расстреливают их из мощных водяных пистолетов. Девушки, встречаясь с вами взглядом, заливаются румянцем и показывают язык. Школа «Стаутс-Хилл» упразднена, теперь ее место занял дом отдыха «Стаутс-Хилл», в котором летом гостят дети, а в прочее время – взрослые.

Что ж, может, оно не так уж и плохо. Где-то между горячей кашей-размазней и холодной водичкой расположена тепловатая правда относительно деревушки Ули, которая живет себе своей жизнью – настолько чарующей, насколько у нее получается. Были же времена, когда полировка «Мэншн», чай «Дивиденд» и спортивные девушки тоже казались сверхсовременными и принимались в штыки; настанет день, и на свет появятся книги, в которых компакт-диски и футболки «Рассел-Атлетик» окутаются грустной ностальгической дымкой, столь же любовной и глупой, как любая другая.

Давайте-ка мы завернем, совсем ненадолго, в Лондон. Теперь я живу в квартирке на Сент-Джеймсской площади, этом элегантном клочке клубной столичной земли, граничащем с Пикадилли, Пэлл-Мэлл, Сент-Джеймс-стрит и Нижней Риджент-стрит. Надо полагать, она отвечает моему представлению о себе – или, вернее, тому представлению обо мне людей посторонних, коему я по слабоволию моему часто позволяю обратиться в мое собственное: человек, живущий на Сент-Джеймс. Сент-Джеймс издавна была естественным пристанищем добропорядочного великосветского английского холостяка. Отсюда он мог отправляться в поисках галстуков и сорочек на Джермин-стрит, обуви и шляп – в «Локс и Лоббс», припасов – в «Фортнумс», книг – в «Хатчардс» и Лондонскую библиотеку, а в поисках компании – в «Брукс», «Уайтс», «Будлз», «Бакс» или (если его постигало трагическое оскудение средств) в какой-нибудь из клубов с названием совсем уж малоправдоподобным: «Ост-Индия», «Девоншир», «Спортс» и «Паблик Скулс» – в последнем можно получить лучший в Лондоне школьный карри, подаваемый с кишмишем, ломтями банана и тепловатой лондонской водопроводной водой в стопочках из небьющегося стекла «Дюралекс». Я живу на Сент-Джеймс вот уж пять лет, отнюдь не принадлежа к добропорядочным великосветским английским

холостякам, – просто меня утомил Ислингтон, где таким, как я, самое и место, а к западу от Гайд-парк-Корнер и к югу от Стрэнда я вечно чувствую себя не в своей тарелке.

Из моего окна видны часы построенной Кристофером Реном миловидной церкви Св. Иакова. За ней – по другую сторону Пикадилли – Саквилл-стрит уходит к Савил-Роу и различается созданный Нэшем изгиб Риджентс-стрит. В 1961 году мои родители посетили Саквилл-стрит и стали осматривать там по очереди все двери, пока не увидели бронзовую табличку, на коей значилось:

Габбитас и Тринг

Схоластическое агентство

А в 1977-м Саквилл-стрит посетил и я, отыскивая бронзовую табличку, на коей по-прежнему значилось:

Габбитас и Тринг

Схоластическое агентство

Не думаю, что хотя бы одному сочинителю романов удалось придумать название компании, которое сравнилось по смехотворному совершенству с этим «Габбитас и Тринг».

Да, но что такое «Схоластическое агентство»?

Ой, да ладно тебе, брось, брось, брось… ты это отлично знаешь.

Схоластическое агентство – это своего рода сводня, обслуживающая закрытые и приготовительные школы. Этакий сутенер частного сектора, который поставляет персонал испытывающим недостаток в преподавателях школам, подыскивает места для безработных учителей и школы для родителей, не имеющих твердого мнения о том, где бы мог процвести их малютка. Вторая услуга и представляла для меня интерес в 1977-м, а третья – для моих отца и матери в 1961-м.

Родители желали найти приготовительную школу для моего брата Роджера и для меня. Мне тогда было четыре года, а Роджеру почти шесть. Разумеется, сейчас – после воцарения общественного равенства, уничтожения классовой системы и прочих достижений, благодаря которым Нация Чувствует Себя

Намного Увереннее, – к тому времени, когда ваш отпрыск доживает лет до четырех-пяти, подыскивать для него школу становится уже слишком поздно: спрос на частное образование настолько велик, что детей следует определять на учебу не после их рождения, но пока они еще пребывают *in utero*,[8] а в идеале – после первого деления яйцеклеток.

Среди читателей этой книги могут найтись люди, которые смутно представляют себе (и гордятся этим), что, собственно, такое значит «приготовительная» и «закрытая» школы.

Приготовительная школа – это заведение, которое предназначено – на что и указывает нетипичным для британского заведения образом ее название – для приготовления ребенка. В данном случае его приготовляют к учебе в школе закрытой. Закрытая же школа – на что название ее решительно и весьма типичным для британского заведения образом не указывает – это школа целиком и полностью частная. Закрытые школы обязуются обучать, формировать и наставлять на правильный путь учеников в возрасте от тринадцати до восемнадцати лет. Приготовительные школы берутся за своих подопечных в возрасте лет восьми, девяти или десяти и готовят их к Общему Вступительному Экзамену, результаты которого признаются всеми закрытыми школами. Впрочем, разные закрытые школы и результатами ОВ удовлетворяются разными. Так, «Уинчестер-колледж», который интересуется только самыми что ни на есть умными мальчиками, ожидает, что оценки по ОВ у них будут выше семидесяти процентов, тогда как «Малверн», «Уоркшоп» и «Монктон-Кумб», к примеру, могут довольствоваться процентами порядка пятидесяти с чем-то – а то и без чего-то. То есть из сказанного следует, что такого понятия, как абсолютно проходной балл по Общему Вступительному, не существует. Закрытые школы могут сами решать, кого они примут – в зависимости от их потребности в полном составе учеников и прибыльности этого состава, от собственного их представления о своей академической репутации, от спортивных, музыкальных или артистических дарований кандидатов или происхождения таковых от старых питомцев школы либо от Высокопоставленных, Состоятельных и Желательных Родителей.

В пору моего детства, в начале 1960-х, почти все приготовительные и закрытые школы представляли собой пансионы для детей мужеска пола. Ныне девочек принимают в них в количествах много больших – иногда начиная лишь с шестого класса, иногда на весь срок обучения. Родители же ныне проявляют куда меньшую склонность поскорее сбыть своих деток с рук и предпочитают порой, чтобы они каждый день ходили в

школу из дома или хотя бы возвращались домой на выходные. Учителя стали моложе, чем прежде, и теперь они чаще оказываются людьми семейными. От родителей ожидают большего участия в школьных делах, более частого посещения собраний родительско-учительской ассоциации и более громких жалоб на условия жизни детей, навязанные им дисциплину и учебный план. Отопление, стол, бытовые условия, расписание занятий и различные строгости стали не такими суровыми, какими были двадцать лет назад. Однако, если не считать этих изменений, сама система, насколько я смог выяснить, какой была, такой по преимуществу и осталась.

Весьма распространен обычай, в соответствии с коим отец, при прочих равных условиях, отправляет своих сыновей в ту приготовительную школу, в которой когда-то учился сам. Однако мой отец был хористом в соборе Св. Павла и школу соответственно посещал хоровую. Ожидать от меня с братом, что мы последуем по его стопам, не приходилось. Пение Роджера и Стивена Фраев – даже и до того, как мадам Природа занялась, с присущей ей бесцеремонностью, нашими лобками, – заставляло людей вонзать себе в горло остро отточенные карандаши, выпрыгивать из окон верхних этажей, раздирать ногтями внутренние уши, прижигать себе электрическим током гениталии, ставить на проигрыватели пластинки Джима Ривза,[9] с истерическим хохотом бросаться под проезжающие мимо автобусы… в общем, идти на все, на все, лишь бы избыть эту муку. О хоровой школе собора Св. Павла с ее суетливой, давно уже всем приевшейся заботой о мелодичности и гармонии нам нечего было и помышлять. Отсюда «Габбитас и Тринг».

Молодой мистер Тринг – а может, и старый мистер Габбитас – порекомендовал родителям приготовительную школу «Стаутс-Хилл», находившуюся в Ули, близ Дарсли, графство Глостершир. Что-то в поведении моей матери подсказало им, что нам требуется обстановка дружелюбная, теплая, а редкая школа Англии могла потягаться в дружелюбии со «Стаутс-Хиллом»: дружелюбие было самой приметной из ее особенностей. Она просто источала ласковое, семейное тепло, пронимавшее даже самых чувствительных, привыкших цепляться за мамин подол детишек. Школой этой, основанной и возглавляемой неким Робертом Ангусом, расторопно руководила четверка его дочерей: Кэрол, Сью, Падди и Джейн. Все четыре девицы Ангус, как сказал старый мистер Тринг, а молодой мистер Габбитас обозначил свое согласие мощным ударом кулака по письменному столу, – существа заботливые, очаровательные, преисполненные энтузиазма, добродушия и веселости. Ученики, все как один,

изучают верховую езду (поскольку мисс Джейн до самозабвения любит пони и лошадей); ловят рыбу, плавают на лодках и катаются на коньках – все это на школьном озере; подолгу гуляют, собирая орехи и ежевику, во множестве окрестных рощ и лесов; ходят под парусом и наблюдают в Слимбридже за птицами, а также бегают, прыгают, крикетируют, регбируют и футболируют, латинизируют и грекуют, приготовляясь к Общему Вступительному – да так, что на лучшее не смели б надеяться даже напрочь помешавшиеся на любви к своим деткам родители. Стол там хорошо сбалансированный и питательный, школьная форма забавна и стильна, а плата за обучение столь пугающе высока, что ни один из родителей, услышав о ней, не смог удержаться от вопля ужаса. Все до последнего Габбитасы и каждый Тринг в отдельности единодушны в своих рекомендациях школы «Стаутс-Хилл», что в Ули, графство Глостершир, и готовы без страха сказать это кому угодно в глаза. В том же году, несколько позже, мои родители побывали там вместе с Роджером и возвратились полные довольства.

В начале первого Роджерова триместра семейство Фраев проживало в Чешэме, графство Букингемшир. Когда же летом 1965-го настал мой черед последовать за братом, мы уже переехали в Норфолк, на другой край Англии, за две сотни британских миль от Глостершира.

Услышав сегодня, что меня, семилетнего, отослали на жительство в школу, находившуюся в двухстах милях от дома, люди нередко приподнимают в неодобрении брови, фыркают презрительным фырком или в отчаянии взмахивают руками – такое впечатление производят на них холодность, жестокость и небрежение родителей, поступивших столь неподобающим образом с дитятей столь малых лет; при этом часто звучат слова вроде «оторвать» и «от сердца» и фразы наподобие «как люди могли?…», «в таком возрасте…» и «не диво, что мы, британцы, до того…».

В реакции этой присутствует немалая глупость или, по крайности, скудость воображения – это примерно то же самое, но только хуже, в смысле нравственном. Те, кому неприятна мысль о детях, которых отлучают от дома в таком раннем (да и в каком угодно другом) возрасте, забывают об одной важной вещи – об упованиях и укладе. Правильность или неправильность системы частных школ-интернатов – вопрос отдельный, и уж по нему-то я меняю мнение примерно с такой же регулярностью, с какой меняю носки, или заставку на экране моего компьютера, или мое отношение к Богу.

Когда мне было семь лет, каждого, какого я знал, ребенка

моего возраста отправляли в школу-интернат. И опять-таки, правильность или неправильность обыкновения дружить только с детьми своего круга – вопрос отдельный. Суть же дела состоит в том, что мой отец учился в школе-интернате, моя мать училась в школе-интернате и всех друзей, какие у меня были на свете, тоже отсылали в школы-интернаты. Так было принято. Такова была Жизнь, какой я ее знал. Ребенок семи лет в подобных случаях вопросов не задает: мир устроен так, как устроен. Вот если бы меня туда *не* послали, я бы задумался: что же со мной не так? Тут уж я ощутил бы себя всеми брошенным и отвергнутым. Учась в местной дневной школе, я отнюдь *не* чувствовал бы, что меня окружили большей любовью и лаской, – куда там. Я играл бы во время каникул с друзьями, слушал бы их рассказы о жизни в закрытых школах и ощущал бы себя прежалостно – исключенным из общего круга, подвергнутым невесть за что наказанию причудливому и редкостному. Я знаю это наверняка, потому что провел-таки триместр в обычной начальной школе и, как ни была она мила и уютна, ждал и дождаться не мог минуты, когда мне удастся наконец присоединиться к брату.

Смею сказать, живи мы в Центральном Лондоне, все могло сложиться иначе. Но мы забрались в таинственную глушь сельской Восточной Англии, где до ближайшего магазина было двадцать минут велосипедной езды, а до ближайших друзей и того больше. В Бутоне, графство Норфолк, никто не звонил в нашу дверь с вопросом «не-выйдет-ли-Стивен-поиграть», там не было ни клевых приятелей, которых звали Зак, Барнаби и Люк, ни парков, ни утренних киноклубов по субботам, ни кафе с молочными коктейлями, ни фургончиков с мороженым, ни автобусов, ни залов для катания на роликах. Когда моим выросшим в городе друзьям случается увидеть дом, в котором я жил, они начинают стонать от зависти, от восторга, внушаемого им мыслью о столь обширном пространстве и столь роскошной природе вокруг. Вот и я тоже стонал от зависти, когда гостил в одном из стоящих плотными рядами одноквартирных домов лондонского пригорода и видел ковры во весь пол, центральное отопление и гостиные, которые назывались там «общими комнатами» и в которых стояли телевизоры.

Правда, опять-таки, состоит еще и в том, что неумело скрываемые страдания, которые нападали на маму под конец школьных каникул, давали мне непосредственное и внятное свидетельство абсолютной любви – и гораздо более надежное, чем удается, на счастье их, получить в столь раннем возрасте большинству детей. Того, что в детстве и даже в юности я ощущал себя ни на что не годным, я отрицать не могу. Но и того, что

ниначто-негодность эта проистекала из чувства, будто меня предали, бросили или лишили любви, я сказать тоже нисколько не вправе.

Да и в конце-то концов, Роджер, мой достойный обожания брат, никакой такой собственной никчемности не ощущал, а он отправился в школу первым, и потому разумно было бы ожидать, что его постигнет чувство заброшенности еще даже большее – ведь у него-то не было старшего родича, по стопам которого он следовал. Джо, мою достойную обожания сестру, и вовсе никуда не отправляли, поскольку поступать так с девочками тогда было не принято. В подростках она получила свою честную долю ощущения негодности и никчемности – и скорее всего, *как раз потому*, что не училась в школе-интернате. Частное образование может быть сеющей рознь мерзостью, может давать результаты причудливые и смехотворные в каких угодно антисанитарных и эксцентрических смыслах, оно может сдерживать развитие общества нашей страны, быть ответственным за самые разные бедствия и невзгоды, однако чувства, что я лишен родительской любви, мне оно никогда не внушало. Думаю, можно с уверенностью сказать, что я остался бы ощущающим свою никчемность юнцом и в средней современной, и в единой средней, и в средней классической школе. С пансионом школа, без пансиона, да пусть даже домашнее образование с гувернантками и частными учителями, – я все равно ощущал бы себя таким же никому не нужным, как письмо из «Ридерз Дайджест». Где бы я ни был и что бы ни делал, я в любом случае пережил бы отрочество, полное бури и натиска, несчастий и смятения.

Все это пустые разглагольствования. Факты же состоят в том, что брат уехал в «Стаутс-Хилл», на свет появилась сестра, а затем наша семья перебралась в Норфолк.

Прощание с Букингемширом подразумевало и прощание с Чешэмской дневной школой, в которой я получал приготовительное к приготовительному образование. Город Чешэм, угнездившийся между той линией лондонской подземки, что носит название «Муниципальная», и горами Чилтерн-Хилс, пребывает в вечном смятении, поскольку никак не может понять, что он собой представляет – провинциальный городок или *banlieu*[10] Метроландии.[11] Чешэмская приготовительная школа состояла из четырех «Домов»: «Дом» – это номинальная административная единица, или *gau*,[12] то есть отнюдь не существующее физически здание. Я состоял в Доме «Кристофор Колумб» и с немалой гордостью носил его синюю эмблему. Мне потребовались многие годы, чтобы понять и всерьез поверить, что

Колумб был на самом-то деле итальянцем. Я и по сей день не смирился с этим окончательно. С какой стати школа, находящаяся в самом сердце Англии, выбрала себе в герои иностранца? Возможно, они там и сами не знали его национальности. Всем же ведомо, что англичане изобрели и открыли все на свете – поезда, демократию, телевидение, книгопечатание, реактивные самолеты, суда на воздушной подушке, телефон, пенициллин, смывной туалетный бачок и Австралию, – разумно было предположить, что и Кристофор Колумб есть самый-рассамый британец. Мальчики из «Френсиса Дрейка» – или то был «Дом Нельсона»?… или «Уолтер Рэли»?… толком не помню – носили эмблемы, пылавшие алостью. Обучение в Чешэмской школе было совместным, и на мягком, черном, овечьей шерсти джемпере моей подружки, предмета моей теплой шестигодовалой привязанности, Аманды Брук, ласково светилась лимонная эмблема «Дома Флоренс Найтингейл». А на вязаном жакете ее сестры Виктории светился лаймовый знак Глэдис Эйлуорд,[13] настоятельницы «Приюта шести разновидностей счастья». Виктория состояла в подругах Роджера, стало быть, все у нас происходило без нарушения приличий, в кругу семьи, так сказать.

Мне стыдно вспоминать о том, что, прожив еще одиннадцать лет и пережив два исключения из школы, я, в ту пору семнадцатилетний, сбежав из дома, возвратился в Чешэм, погостил немного у девушек Брук, украл принадлежавшую их отцу карточку «Обеденного клуба», а затем, сбежав и оттуда, начал беспорядочно колесить по стране, транжиря чужие деньги, что и закончилось для меня тюрьмой и позором.

Как раз на спортивной площадке приготовительной Чешэмской школы я и упал однажды утром физиономией вниз, сломав себе нос. В то время нос мой был симпатичной маленькой пуговкой – если во мне вообще было хоть что-то симпатичное, – и происшествие это, каким бы пролитием крови и ревом оно ни сопровождалось, осталось в моей детской жизни почти незамеченным. Однако с ходом лет нос мой все рос и рос, и к четырнадцати годам стало ясно, что он, как и его обладатель, растет куда-то не туда. В пору отрочества, да и после, я от случая к случаю заговаривал о том, что «надо бы как-нибудь найти время и выпрямить этот чертов нос», на что хор экзальтированных голосов неизменно отвечал: «О нет, Стивен, не надо… он такой *своеобразный*». Разумеется, никакого своеобразия в кривом носе усмотреть невозможно. Дуэльный шрам еще можно счесть своеобразным, равно как слегка раздвоенный подбородок или обаятельно неуловимую хромоту, кривой же нос есть штука

идиотическая и малоприятная. Думаю, эти люди просто были добры ко мне, старались уберечь меня от унижения, которое последовало бы за открытием, что, и перенеся операцию по выпрямлению моего смехотворного носа, я все равно выгляжу как черт знает что. Травма, нанесенная мне осознанием того, что и Стивен прямоносый имеет вид такой же неаппетитный, как Стивен кривоносый, и впрямь могла свести меня со света.

Мы оберегаем свои пустяковые изъяны единственно ради того, чтобы иметь возможность валить на них вину за более крупные наши дефекты. Я вспоминаю о проблеме, порожденной моим свернутым носом, при каждом из регулярно происходящих у нас с другом споров на политические темы. Он держится твердого мнения, согласно которому существование монархии, аристократии и палаты лордов есть нелепость, несправедливость и отсталость. Тут мне трудно с ним не согласиться. Он считает, однако, что их следует упразднить. И вот тут наши с ним пути расходятся. Я отношусь к монархии и аристократии как к кривому носу Британии. Иностранцы находят наши старинные глупости своеобразными, мы же считаем их смехотворными и полны решимости найти как-нибудь время и избавиться от них. Боюсь, когда мы от них избавимся, а я полагаю, мы это сделаем, нам придется пережить психологический шок, сопряженный с открытием, что в результате мы не стали ни на йоту более свободной и ни на унцию более справедливой в общественном отношении страной, чем, скажем, Франция или Соединенные Штаты. Мы останемся ровно тем, чем и были, страной *почти такой же* свободной, как две только что названные. В настоящее время мы живем в стране, вероятно, не вполне такой же свободной (что бы эта самая свобода ни означала) и не обладающей столь же справедливым общественным устройством (аналогично), как страны Бенилюкса или Скандинавии, – и заметьте, в странах Скандинавии и Бенилюкса тоже имеются свои монархи. И если мы решимся пойти на косметическую конституционную операцию, она нанесет нам изрядный психологический урон. Весь мир будет таращиться на нас, перешептываться и радостно хихикать – как неизменно поступают люди, друзья которых решаются предать себя в руки пластического хирурга. Мы размотаем бинты и предъявим международному сообществу нашу новую прямоносую конституцию, ожидая от него лестных похвал и восторженных восклицаний. И с какой же обидой мы обнаружим, что международное сообщество всего лишь зевает, что оно отнюдь не ослеплено сиянием справедливости, свободы и красоты, излучаемым новыми нашими чертами, а скорее негодует на то,

что главам его государств придется в дальнейшем не обедать с коронованным монархом посреди великого блеска и пышности, а довольствоваться ленчем в резиденции президента Хаттерсли[14] или чаепитием с леди Тэтчер в каком-нибудь бывшем дворце, преобразованном ныне в Народный дом. Британия внезапно лишится нелепых пустяковых изъянов, на которые можно было валить вину за ее огрехи, а они, разумеется, суть не что иное, как обычные недостатки рода человеческого. Если мы сосредоточимся на подлинных наших изъянах, если станем винить в нашей неспособности достичь большей общественной справедливости слабость политической воли, а не притворяться, будто все дело в безвредных бородавках и бессмысленной манерности, тогда, быть может, нам и удастся измениться к лучшему. Беда всякого рода затей косметического характера в том, что и результаты всегда получаются косметические, а косметические результаты, как ведомо всякому, кто приглядывался к богатым американкам, неизменно смехотворны и способны лишь привести в замешательство либо нагнать страху. Впрочем, я, разумеется, человек сентиментальный, а человек сентиментальный всегда готов ухватиться за любое оправдание той безвредной мишуры, что служит вечным украшением статус-кво.

М-да, что-то мы, как выражаются во Франции, далековато убрели от наших баранов. Я остановился, шестилетний, на приготовительной Чешэмской школе и моем подрастающем гнутом носе и собирался рассказать вам о мальчике из Кейпа.

В Чешэмской приготовительной моя классная учительница, миссис Эдвардс, выдала всем нам «прописные карандаши», разрешив затачивать их перочинными ножичками. Она мелком выводила на доске прописные буквы, бывшие всегдашней ее темой, проповедью, назначением и страстью. Нам же не дозволялось выводить прописными карандашами и собственных наших имен, пока мы не покрывали страницу за страницей черновых тетрадей сначала волнистыми линиями, шедшими вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, затем всеми буквами алфавита по отдельности и, наконец, всеми буквами алфавита, соединенными в утвержденном учительницей стиле. Я и по сей день каждые примерно полгода покупаю в магазине канцелярских товаров каллиграфический набор «Осмироид» и практикуюсь в прописях – толсто-тонко, толсто-тонко, толсто-тонко. Я провожу ограничительные линии и вписываю между ними весь алфавит, а следом – слова, которые так любил в ту пору. Больше всего мне нравилось, как передаются прописями точки над «i» и «j», вот смотрите:

и потому я с великим удовольствием выводил слова вроде

jiving – slqinfl – Hawaii – jiujitsu[15]

и в особенности

Fiji – Fijian[16]

Несколько дней проваляв таким образом дурака, я оставляю коробку с перьями открытой, острия их пересыхают, а специальные чернила густеют, обращаясь в липкую смолку. Спустя неделю или около того я выбрасываю весь набор и спрашиваю себя, какого черта я ввязался в эту дурацкую игру.

Посреди моего последнего триместра в классе миссис Эдвардс появился на редкость хорошенький мальчик со светлыми волосами и широкой улыбкой. Он приехал из Кейптауна и очень нравился миссис Эдвардс. Прописи его были не меньшим загляденьем, чем он сам, и вскоре я почувствовал, что разрываюсь между негодованием и страстной влюбленностью. Мальчики, в которых я влюблялся впоследствии, были, как правило, очень опрятными и отличались примерным поведением. Чересчур, на мой вкус, примерным.

Каждый поступок и жест мальчика из Кейптауна (возможно, его звали Джонатаном, хотя не исключено, что меня обманывает здесь поверхностная близость – нечто, связанное с издательством «Джонатан Кейп») напоминали мне о неказистости выводимых мною в тетрадке кривуль. Мои восходящие штрихи отличались громоздкостью и дурнотой пропорций, его – грациозностью и чистотой; мои пальцы были сплошь в чернильных пятнах, его – неизменно белыми и завершались прекрасной формы ногтями. Уголки губ его чуть изгибались кверху, что в то время ласкало взгляд, хотя ныне приоткрытость и чрезмерная влажность уст так же распространены среди уроженцев прежних колоний Южного полушария, как светлые ресницы и широковатые бедра. Думаю, ныне он походит на Эрни Элса или Керри Пакера.[17] Стыд и позор.

Быть может, мальчик из Кейптауна и создал главный рисунок

всей той любви, что ждала меня в будущем. Странная мысль. До этой минуты я даже и не вспоминал о нем никогда. Надеюсь, эта книга не обратится в сеанс регрессивной терапии. Вам это было бы неприятно. И все-таки интересно, упражняется ли он еще в прописях, как мы упражнялись в детстве, тридцать четыре года назад.

Разумеется, секс ничего для меня не значил. Попки и письки играли в жизни Чешэма немаловажную роль – начиная с трех лет и далее, – то были предметы постоянных утех, насыщенных глубоким, глухим наслаждением. Рядом со мной в классе миссис Эдвардс сидел мальчик по имени Тимоти. Восседая за партами, мы с ним тайком стягивали с себя сзади штанишки и трусы, чтобы ощутить голыми попками дерево наших стульев. Спереди, со стороны миссис Эдвардс, мы выглядели более чем нормально. Все это страшно возбуждало меня: и нагота зада, и укромность необъяснимого наслаждения. Не до эрекции, как вы понимаете, – во всяком случае, насколько я помню. Иногда же мы с Тимоти отправлялись в лес, поиграть в «Дикарство», так это у нас называлось. «Дикарство» состояло в том, чтобы пописать на ствол дерева по сколь возможно более высокой дуге или полюбоваться на какашки друг друга. Мистерии, да и только. Не стану делать вид, будто я и поныне нахожу в этой отрасли сексуальности нечто притягательное, хоть мне и известно немалое число высокочтимых особ, которых она влечет необычайно. Все мы слышали разговоры о людях, которые платят проституткам за то, чтобы они испражнялись на стеклянный кофейный столик, под которым в горячечном возбуждении возлежит клиент, прижимаясь лицом к извергаемым экскрементам. Нам это представляется чрезвычайно английским, однако на деле достаточно прогуляться по самым похабным закоулкам Интернета, чтобы понять – американцы и тут, как и во всякой чрезмерности, с легкостью нас обходят. Я уже с год примерно не заглядывал в новостную группу alt.binaries.tasteless, однако совершенно же ясно: существует огромный мир скатологических странностей. Второе место занимают французы, не думаю, что кто-либо из прочитавших десадовские «Сто двадцать дней Содома» сумеет выбросить в дальнейшем из головы изысканно непринужденные описания того, что вытворял епископ за чашкой кофе. А был еще излюбленный герой французских интеллектуалов и структуралистов, ложившийся на пол бара для геев и просивший всякого, кто проходил мимо, чтобы тот на него помочился. Нет-нет, возможно, вас это и разочарует, однако на деле мы, англичане, в том, что касается сексуальных странностей, ничуть не причудливее всех прочих, мы только *считаем* себя

таковыми, что и составляет основу нашей причудливости. А точно так же, как *любовь* к деньгам есть корень всех зол, *вера* в бесстыдство есть корень всех бедствий.

Хоть вы меня убейте, я не припомню теперь ни где находился тот лес, который мы посещали ради наших безобидных дикарств, ни кем был Тимоти. Конечно, его и звали-то вовсе не Тимоти, и если он держит сейчас в руках эту книгу, то, верно, напрочь забыл о былых эскападах и даже зачитывает супруге, рядом с которой сидит у камина, предыдущий абзац – в виде примера того, как он был прав во всегдашней своей неприязни к этому типчику Стивену Фраю.

Никаких воспоминаний о ранних «сексуальных играх» (как называют их люди наподобие Кинзи и Хайт[18]) с представительницами противоположного пола у меня не сохранилось. Как-то одна девочка показала мне свои трусики, и, помнится, я счел их упругость и расцветку непривлекательными. Да и желания узнать или увидеть нечто сверх этого я тоже не припоминаю. Университетский друг мой на вопрос о том, как он осознал себя геем, ответил, что явственно помнит миг своего рождения – он тогда оглянулся назад и сказал себе: «Ну-ну! Больше я в *такие* места ни ногой…» С тех пор я без зазрения совести использую эту фразочку как собственное мое описание момента, В Который Я Понял.

Девочки мне нравились очень, если только они не задирали меня и не пучили чопорно губы, произнося: «Пф! Да что с тобой говорить…»

Если не считать неизящества моих прописей, мерцающей красоты мальчика из Кейптауна и нечастых проявлений дикарства в компании Тимоти, первые шесть лет моей жизни окутаны непроницаемой мглой. Я знаю, что умел хорошо читать в три и прилично писать в четыре года и что так и не смог одолеть таблицу умножения.

Мы жили в Чешэме на вполне бетджименовской[19] улице, называвшейся «авеню Стенли». «Шервуд-Хаус», в котором мы обитали, теперь снесен, на его месте стоит жилой микрорайон, который носит название «Клоуз». Полагаю, из этого следует, что «Шервуд-Хаус» был домом не маленьким, однако я помню лишь несколько деталей: витражное стекло парадного; кабинку, в которой обитал черный телефон с выдвижным ящичком под ним – буквы наборного диска были у него красными, что позволяло с легкостью позвонить в ПАТни 4234 и на ЦЕНтральную 5656. Мне нравилось со стуком подергивать вверх-вниз твердый бакелитовый рычажок, на котором висела трубка, и слушать гулкие, словно эхо, щелчки, которые он посылал по линии. Звуки

пробуждают воспоминания не так надежно, как запахи, однако всякого, кому сейчас за тридцать пять, давние тональные сигналы набора номера и прекращения вызова переносят в прошлое с определенностью не меньшей, чем звон монеты в полкроны или щелканье спидометра стародавнего «остина».

Телефон зачаровывал меня до чрезвычайности. Не так, как девочку-подростка, которая часами болтает по нему, лежа на животе, плотно сжав бедра и перекрестив в воздухе щиколотки, – нет, пуще всего меня интриговало то, как телефон изменяет людей. В те дни, если связь прерывалась, вы стучали по рычажку и кричали: «Оператор! Оператор!» Люди пожилые поступают так и поныне. Они не сознают, что это так же бессмысленно, как призывать слугу, дергая за шнурок звонка, или спрашивать, где тут камера хранения. Они не знают, что в нынешнем мире…

НИ ТОГО, НИ ДРУГОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Они не знают, что Библия – это Система автоматической обработки вызовов, а в чистилище ты попадаешь в тот миг, когда святой Петр ставит твой вызов в очередь и отправляет тебя навеки блуждать по замкнутому кругу кнопок тонального набора под звуки «Весны» Вивальди.

Да то же «хелло» обрело значение приветствия лишь после того, как американские телефонные компании отыскали наконец новенькое словечко, которым можно вежливо, ненавязчиво и нейтрально начать разговор по телефону, – примерно так же Би-би-си затеяло в 1930-х дебаты о том, как следует назвать человека, который пялится в телевизор. У радио имелись слушатели, а у телевидения кто – смотрители? В конечном итоге остановились на зрителях. В случае же телефонии цель состояла в том, чтобы отучить людей произносить «Кто это?» или «Здравствуйте», а то и «Здрасьте». В таких фразах, как «С добрым утром» и «Добрый день», присутствовало нечто прощальное, да к тому же в стране, разделенной на множество временных зон, возможность их использования была довольно сомнительной. До 1890-х «хелло» было просто восклицанием, выражавшим удивление и заинтересованность, да еще и с очевидным оттенком любострастия. На рубеже веков все, кому не лень, сочиняли песенки и газетные статьи на тему «Хелло, герлз», а потому и в обыденной жизни это слово стали использовать как первоначальную модель повседневного, лишенного смыслового оттенка приветствия.

Любимый мой связанный с телефонией факт – ибо в то время,

приближаясь к семи годам, я начал коллекционировать не бабочек, не почтовые марки и не портреты футболистов, а факты, – состоит в том, что Александр Грэм Белл произнес, после того как изобрел телефон, следующую совершенно умилительную фразу: «Не думаю, что преувеличу возможности этого изобретения, если поделюсь с вами моей твердой уверенностью: настанет день, когда в каждом крупном городе Америки будет установлено по телефону».

В те дни мой отец самым что ни на есть настоящим образом ходил на работу, и потому телефон должен, наверное, ассоциироваться у меня с мамой и Чешэмом, с его лаврами и кустарниками, с кликающими неподалеку газонокосилками «Атко», с пригородной идиллией, которую вскоре предстояло сменить Норфолку, а с ним и населенным привидениями чердакам, сельскому уединению и постоянному присутствию отца дома. Для меня «Шервуд-Хаус» – это тот самый дом, в котором жил Уильям из «Просто Уильяма»;[20] дом, в который Раффлз и Банни[21] отправляются, чтобы избавить *parvenue*[22] от ее жемчугов; дом, в котором находилась уимблдонская цитадель тети Джулии из вудхаусовских рассказов об Акридже. А в историях о Шерлоке Холмсе дом этот обращается в жилище норвудского подрядчика или в таинственный дом из Пондишерри. В сущности, мне легче припомнить «Шервуд-Хаус», открыв любую из этих книг и окунувшись в поток их образов, чем предаваясь сосредоточенным попыткам действительно вспомнить что-то.

Мама от случая к случаю преподавала иностранцам, обучавшимся в соседних колледжах и школах, английский язык и историю, однако я в основном помню ее сидящей в гостиной за пишущей машинкой, – сам я сижу при этом у ее ног, смотрю на пламя газового камина и слушаю «Дневник миссис Дейл», «Двадцать вопросов» или «Арчеров».[23] Иногда я слышу звонок телефона, и мама бежит в вестибюль, к кабинке, чтобы снять трубку, и потом ее голос становится громче и звонче, а речь – медлительней и непонятнее. Готов поклясться, что не более пяти лет назад я слышал, как она сказала в трубку наидобрейшим своим чистым и медленным «голосом для иностранцев»:

– Если вы звоните из автомата, нажмите кнопку «Б»…

А кнопки «А» и «Б» исчезли у телефонов-автоматов лет уж двадцать назад.

Таков сохранившийся у меня образ раннего детства: я, греющийся в комбинированном тепле газового камина, моя мама с большим животом и ее приемник «Фергюсон». Иногда к нам присоединялся, если на него нападало благодушное настроение,

наш сиамский кот, однако в моей памяти мы с ней всегда одни. Временами мы оба поднимаемся на ноги, мама потягивается, прижимая ладони к бедрам, и после того, как завершаются поиски ее головного платка и плаща, мы выходим из дома. Мы посещаем парикмахера, продуктовые магазины, почту и, наконец, «Куэллс», где я шумно высасываю молочный коктейль с малиной, а мама, закрывая при каждой ложке глаза от блаженства, поедает дынное или томатное мороженое. По дороге домой мы заходим в парк, чтобы покормить сухими корками уток. И на всем нашем пути мама разговаривает со мной. Объясняет, как что называется. Что означают те или иные слова. Зачем к автомобилям прикреплены номерные знаки. Рассказывает, как она познакомилась с папой. Почему ей скоро придется отправиться в больницу, чтобы родить там ребеночка. Сочиняет для меня истории о приключениях коалы, которого звали Бананом. В одной из них Банан приехал на Рождество в Англию повидаться с родственниками, живущими в Уипснейде,[24] и страх как намучился здесь от холода, глупый зверек, потому что взял с собой только шорты, плавки и сандалии, полагая, что в Бедфордшире стоит в декабре бог весть какая жара. Я посмеиваюсь, как оно водится у детей, над глупостью существа, не знающего того, что мы и сами-то узнали только сию минуту.

С тех пор жизнь моя пошла под уклон. Или я хотел сказать – в гору?

Добравшись до авеню Стенли, мы наперегонки несемся к дому, и мама, даром что беременна, неизменно *почти* побеждает. В школе она была спортсменкой, вратаршей девичьей хоккейной сборной Англии.

А еще в Чешэме были девушки *au pair*[25] – как правило, немки или скандинавки; была миссис Уоррелл, поломойка; был Роджер, а к вечеру надлежало ожидать пугающего возвращения отца. Однако в памяти моей сохранилась лишь мама за пишущей машинкой (однажды она, забыв, что я сижу под ее креслом, воскликнула «ну и хуйня!») да я – глядящий в оранжево-синее пламя.

Как-то утром я не пошел в школу – то ли заболел, то ли притворился больным, не помню. И мама зашла в мою спальню, устало стискивая ладонями бедра, и сказала, что ей пришла пора отправляться в больницу. Роджер однажды попытался объяснить мне, как беременеют женщины. То ли он, то ли я, то ли оба мы в итоге слегка запутались, и в голове моей сложилась картинка, на которой отец, уподобясь садовнику, роняет в мамин пупок маленькое семечко, а после писает туда же – для полива. Странноватая, по-моему, картинка, однако расе марсиан она

показалась бы не страннее громоздкой правды.

В результате всего этого у нас появилась девочка Джоанна. Вторым своим именем, Розель, она обязана маминой маме-венке. Я с особенной радостью помогал кормить и одевать нашу новую сестричку, а самое честолюбивое мое устремление состояло в том, чтобы первая ее улыбка была обращена ко мне.

Ну а сам я официально обратился в среднего сына.

На следующей неделе мы покинули Чешэм и отправились в Норфолк.

2

Сейчас у нас январь 1965 года. Восьмилетний Роджер возвратился на свой второй триместр в «Стаутс-Хилл», меня же сочли для учебы там слишком маленьким. Мне предстоит последовать за ним летом, а пока я, ожидая этого события, просиживаю штаны в начальной школе англиканской церкви, – школа эта находится в деревне Коустон, расположенной в миле от нашего нового бутонского дома.

Коустонской начальной школой руководит Джон Кетт, ведущий свой род от того самого Кетта, который «Кеттовский бунт», Кетта, закончившего земной путь, свисая на цепях с бастиона Нориджского замка. Его живущий в двадцатом веке потомок – добродушнейший дяденька, пишет книги на норфолкском диалекте, и его уважают и любят все, кто обитает на многие мили вокруг. Разделяет ли он веру в независимость Восточной Англии, которую питал его зловредный пращур, я сказать не возьмусь, – уверен, впрочем, что, если нынешняя мода на ограниченную автономию древних английских королевств окажется устойчивой, он обратится в естественнейшего кандидата на пост короля англов, возможно, с Делией Смит[26] в качестве царственной супруги.

– Мне требуется доброволец, – объявила однажды мисс Меддлар.

Моя рука взлетела вверх:

– Я, мисс, я! Пожалуйста, мисс!

– Очень хорошо, Стивен Фрай.

Мисс Меддлар неизменно обращалась ко мне по имени и фамилии. Таково одно из главных моих воспоминаний о начальной школе – я всегда был в ней Стивеном Фраем. Думаю, мисс Меддлар считала имена слишком панибратскими, а фамилии слишком холодными и официальными для порядочной христианской сельской школы.

– Будьте добры, Стивен Фрай, отнесите это в класс мистера Кетта.

«Это» представляло собой листок бумаги с оценками по контрольной работе. Правописание и арифметика. Я опозорился, написав слово «many» с двумя «n». Все прочие сделали ту же ошибку, да еще и написали это слово через «e», и потому мисс Меддлар добавила мне полбалла – за то, что я знал насчет «a». Заглянув в полученный от нее листок, я обнаружил, что мое имя стоит там первым: я набрал девятнадцать с половиной баллов из двадцати.

Я вышел в коридор и направился к классу мистера Кетта. И уже поднял руку, чтобы постучать в дверь, когда услышал за ней взрыв общего смеха.

Никто в этом мире – ни самая что ни на есть бородавчатая старуха из Арля, ни самый морщинистый и сгорбленный казак, ни отрастивший самую длинную косичку наидряхлейший китайский мандарин, ни даже сам Мафусаил, – никто и никогда не сможет превзойти годами учеников старших классов. Они подобны охотникам с групповых фотографий времен королевы Виктории. Сколько вы ни проживете, они всегда будут выглядеть старше вас лет на сто и навек сохранят способность отпускать такие усы и вмещать такие количества спиртного, о каких вам и мечтать-то нечего. Умудренного вида, с коим они восседают на этих снимках, зрелости, которую выражают их физиономии, вам не приобрести никогда. Никогда.

В классе мистера Кетта смеялись девяти– и десятилетки, но то были девяти– и десятилетки, возраста которых я никогда не достигну, с которыми я никогда не смогу хотя бы отчасти сравняться в отношении зрелости и старшинства. Было в их смехе нечто, разделявшее, казалось, тайну с мистером Кеттом, – тайну взрослости, – и от этого «нечто» у меня ослабели колени. Успев в последний миг отдернуть от двери уже поднятую для удара руку, я побежал в школьную гардеробную.

Я сидел, отдуваясь, на скамейке у шкафчиков с одеждой и прежалостно вглядывался в полученный от мисс Меддлар листок. Нет, я не мог выполнить ее поручение. Просто не мог войти в комнату, полную старшеклассников.

Я знал, что произойдет, стоит мне сунуться туда; я успел мысленно прорепетировать эту сцену, прорепетировать в таких подробностях, что *уверовал*, будто все уже произошло, – вот так трусливый ныряльщик, стоя на вышке, чувствует, как в животе его ёкает от прыжка, который он совершил пока что всего лишь в уме.

И я содрогался при мысли о том, как будет разворачиваться эта сцена.

Я стучу.

– Войдите, – говорит мистер Кетт.

Я открываю дверь и замираю на пороге – колени ходят ходуном, глаза опущены долу.

– А, Стивен Фрай. Чем могу быть вам полезен, молодой человек?

– Пожалуйста, мистер Кетт. Мисс Меддлар попросила меня передать вам вот это.

Старшие начинают посмеиваться. Презрительные, почти досадливые смешки. Что делает этот мелкий прыщ, этот клоп, это

ничтожество в нашем классе, в обители зрелых людей, там, где мы зрелым манером разделяем с мистером Кеттом зрелое веселье? Вы посмотрите на него… штанцы все измяты, а… господи боже… он что, и вправду напялил на ноги сандалии «Старт-Райт»? Иисусе…

А то, что мое имя стоит в списке первым, лишь усугубит положение, в котором я окажусь.

– Ну-с, юный Фрай. Девятнадцать с половиной из двадцати! Судя по всему, голова у вас варит неплохо!

Почти уже громкий, издевательский смех и смех потише, посердитее. *Правописание! Арифметика*, боже милостивый…

Нет, нестерпимо. Немыслимо. Не могу я туда пойти.

Мне хотелось бежать. Не домой. Куда глаза глядят. Бежать, бежать, бежать и бежать. Но я и для этого был слишком испуган. О господи. И еще раз: о господи. А все потому, что я захотел быть хорошим. Все потому, что я так высоко задрал руку и запищал так громко и так настойчиво: «Я, мисс, я! Пожалуйста, мисс!»

Все было неправильным, неправильным был сам мир. Вот он я, Стивен Фрай, – сижу в гардеробной маленькой норфолкской школы, а хочется мне быть кем-то другим. Кем-то, живущим в другой стране, в другом веке и в другом мире.

Я вновь опустил взгляд на листок мисс Меддлар. Мое имя, красующееся в самом верху, неприлично оседает на стоящее ниже имя Даррена Райта. Даррен Райт получил четырнадцать баллов из двадцати. Четырнадцать – самое милое дело. Никакого стеснения не внушает. Почему *я* не смог набрать четырнадцать?

Я смял бумагу в плотный катыш и засунул его в резиновый сапог. В резиновый сапог Мэри Хенч. Так было написано четкими черными буквами на прилепленном изнутри сапога куске лейкопластыря. Мы с Мэри Хенч дружили, так что она, может, и не выдаст меня, если найдет эту бумажку.

Я встал, вытер нос. *Господи.*

В следующие десять лет я много, очень много раз оказывался один в гардеробных, то были самые долгие десять лет моей жизни. Случай, описанный здесь, невинен и инфантилен, при будущих же моих визитах в такие места меня обременяло куда более мощное чувство вины и ощущение собственной порочности. И по сей день, стоит мне оказаться в учрежденческой гардеробной, как сердце мое начинает ухать виновато и гулко. Да и желанию быть не Стивеном Фраем, а кем-то другим – кем-то, живущим в другой стране и в другом веке, – тоже еще предстояло не раз меня посетить.

Я покинул эту архетипическую гардеробную, этот опытный образец всех раздевалок, что поджидали меня впереди, и едва

успел опуститься, трепеща, на свою скамью в классе мисс Меддлар, как прозвучал извещающий о первой перемене звонок.

Как и всегда, я присоединился на краю исчерченной линиями для игры в «классики» площадки к Мэри Хенч и ее подругам. Она была девочкой крупной, Мэри Хенч, с ласковыми карими глазами и приятной шепелявостью. Нам нравилось вместе бросать об стенку теннисные мячики и беседовать о том, до чего же глупы прочие мальчишки, гонявшие в это время мяч или дравшиеся посреди игровой площадки. Остолопы, так мы их называли. Все мальчики – остолопы. Иногда я и сам попадал в категорию остолопов, хотя обычно оставался просто олухом, что было, конечно, немного лучше. Компанию Мэри Хенч составляла Клер Таккер, моя соседка по классу мисс Меддлар. Клер Таккер носила очки, которыми снабдила ее государственная служба здравоохранения, и, разумеется, я называл ее Тлер Каккер, отчего она прямо на стенку лезла. Когда мне случалось пукнуть в классе, она немедля принималась громко вопить, что было, на мой взгляд, неэтично.

– Мисс, мисс! Стивен Фрай пукает!

Ну разве так можно? Ни в какие ворота не лезет. В подобных случаях полагается хихикать, тихонько и радостно, или нос краем свитера прикрывать. А привлекать к такому событию внимание взрослого – поступок чудовищно непорядочный. Да к тому же я вовсе не был уверен, что взрослые хоть что-то *понимают* в пуканье.

Перемена уже подходила к концу, когда я краем глаза приметил мисс Меддлар, шарившую взглядом по игровой площадке. Я попытался укрыться за Мэри Хенч, она была покрупнее меня, однако Мэри сказала, чтобы я не изображал остолопа, и вытолкнула вперед.

– Стивен Фрай, – произнесла мисс Меддлар.

– Да, мисс?

– Мистер Кетт говорит, что вы так и не передали ему мой листок.

Мимо нас поспешали, толкаясь, мальчики и девочки, возвращавшиеся по классам.

– Нет, мисс. Все правильно, мисс. Его не было в классе. Он, наверное, вышел. Так что я оставил листок на его столе.

Произносилось все это залихватски. Бойко. Беспечно.

– А. Да, понятно. – На лице мисс Меддлар обозначилось легкое замешательство, но и только, никакого недоверия.

За дневным завтраком мистер Кетт подошел к моему столу и присел напротив. Я ощутил, как в меня впиваются тысячи глаз.

– Итак, молодой человек. Что это за разговоры о том, будто я

нынче утром отсутствовал в классе? Я никогда моего класса не покидаю.

– Ну, я постучал, сэр, а вы не ответили.

– Постучали?

– Да, сэр. А вы не ответили, вот я и ушел.

– Мисс Меддлар говорит, что вы оставили на моем столе ведомость с оценками.

– Нет, сэр. Вы не ответили на мой стук, и я ушел.

– Понятно.

Пауза. Я, ощущая жар и покалывание во всем теле, не отрывал глаз от тарелки.

– Ну хорошо, отдайте мне ведомость, и мы…

– Ой. Я ее потерял, сэр.

– *Потеряли?*

– Да, сэр. На перемене.

На лице мистера Кетта обозначилась озадаченность. Запомни эту озадаченность, Стивен Фрай. Ты ее не раз еще увидишь.

Для того чтобы Нарцисс счел себя желанным для всех, вода, в которую он смотрится, должна быть спокойной и чистой. Если же человек глядит во взбаламученный пруд, он и отражение видит темное, искаженное. Таким прудом и было покрытое рябью муторного смятения лицо мистера Кетта. Ему лгали, однако лгали на редкость *толково* и по причинам решительно непонятным.

Я-то его замешательство различал совершенно ясно. Лицо мистера Кетта и сейчас стоит передо мной, и взбаламученность чувств в его глазах делает мое отражение в них весьма и весьма некрасивым.

Вот сидит умный мальчик, действительно очень умный. В школу он приходит из большого дома у дороги; его родители, хоть они в Норфолке и новички, люди, похоже, приятные, – пожалуй, их даже можно назвать *ужасно* приятными. В этой маленькой школе он проучится только один триместр, а после отправится в приготовительную. Кетт был человеком своей деревни, а стало быть, человеком много чего повидавшим. Умных детей он встречал и раньше, как встречал и детей из верхушки среднего класса. Этот мальчик представляется вполне приличным, вполне обаятельным, вполне порядочным, и все же он врет мне прямо в глаза, не краснея и не заикаясь.

Возможно, я вдаюсь в чрезмерные тонкости.

Очень маловероятно, что Джон Кетт помнит тот день. Да собственно говоря, я точно знаю – не помнит.

Разумеется, вдаюсь. Я усматриваю в этом случае то, что мне хочется в нем усмотреть.

Как и всякий учитель, мистер Кетт прозевал либо простил тысячи обличительных случаев, в которых из ребенка, отданного на его попечение, вдруг вылезал сокрытый в нем зверек. Надо думать, он каждый день желает сейчас доброго утра мужчинам и женщинам, которые и сами уже стали родителями и которых он видел когда-то бьющимися в безумных истериках; которых видел описавшимися, которых видел издевавшимися над другими детьми или сносившими их издевки; которые исторгали в его присутствии вопли ужаса, завидев крошечного паучка или заслышав раскаты далекого грома; которые мучили при нем божьих коровок. Да, конечно, спокойная ложь хуже животной жестокости или дикого страха, но *эта* вот ложь остается и всегда оставалась проблемой моей, а не Джона Кетта.

Дело о результатах контрольной и резиновом сапоге Мэри Хенч представляется мне эпизодом столь значительным просто потому, что я помню его очень ясно; иными словами, он значителен, поскольку я так решил, и это само по себе имеет для меня большое значение Похоже, он стал для моего сознания вехой, началом вереницы вранья на свой одинокий страх и риск и публичных разоблачений. Достоинство именно этой лжи состоит в том, что она была бессмысленной, чистой ложью, недостаток же ее в том, что совершена она была столь сознательно и столь безупречно. Когда Кетт уселся за мою парту, чтобы порасспросить меня, я нервничал – во рту сухо, сердце колотится, ладони влажны, – но стоило мне открыть рот, как я обнаружил, что не просто обратился в человека, лишенного нервов, но обрел полную уверенность в себе, стал самим собой в наивысшей из возможных степеней. Я словно открыл свое жизненное предназначение. Облапошивать собеседника, оставлять его в дураках, обманывать не просто без зазрения совести, но с гордостью, с подлинной гордостью. С гордостью *потаенной*, и это неизменно составляло проблему. Не с той гордостью, которой я мог поделиться со всеми где-нибудь на игровой площадке, но с секретной гордостью, которую лелеешь в себе, как скряга лелеет свое золото или извращенец – порнографические картинки. В часы, ведшие к разоблачению, я обливался потом от страха, а вот миг самого разоблачения определял меня в совершенстве: я преисполнялся страсти, возбуждения, счастья, сохраняя в то же самое время абсолютное внешнее спокойствие и уверенность в себе – плюс расчетливость, которая срабатывала за микросекунды. Лганье приводило меня в состояние, известное спортсмену, вдруг обнаружившему, что он пребывает в отличной форме, что движения его естественны и ритмичны, что бита/ракетка/клюшка/кий издает в его руке звуки сладостные и напевные, что

он одновременно и расслаблен, и в высшей степени сосредоточен.

Я мог бы почти без натяжки сказать, что наступивший одиннадцать лет спустя миг, когда полицейский защелкнул на моих запястьях наручники, был одним из счастливейших в моей жизни.

Разумеется, найдется человек, который попытается связать это с актерством. Когда у актера все ладится с игрой, на него нападает такое же чувство владения временем, ритмом, чувство власти и скоординированности. В конце концов, актерство и есть лганье, совершаемое ради самой его чистой и утонченной радости, – так вы, наверное, думаете. Но только это не верно, во всяком случае для меня. Актерство есть говорение правды, совершаемое ради его чистой, душераздирающей муки.

Люди полагают, будто из актеров должны получаться хорошие лжецы, – мысль вполне логичная, точно так же можно вообразить, что рисовальщикам должна легко даваться подделка чужих подписей. Не думаю, что любое из этих предположений так уж неоспоримо.

Вот фразы, которые мне нередко приходилось слышать от родителей и учителей:

«Беда не в том, что ты это *сделал*, а в том, что ты об этом *солгал*».

«Ну *почему* ты врешь?»

«Можно подумать, ты и вправду *хотел*, чтобы тебя схватили за руку».

«Не лгите мне снова, Фрай. Вы ужасный лжец».

Да нет, не так, думал я про себя. Лжец я просто-напросто блестящий. Блестящий настолько, что лгу, даже когда не существует ни единого шанса, что мне поверят. Это ложь ради лжи, а вовсе не ради достижения какой-то дурацкой цели. Ложь *настоящая*.

Что, того и гляди, вновь приведет нас к Сэмюэлю Энтони Фарлоу Бансу.

Но сначала я расскажу вам, что на самом деле счел возможным запомнить на мой счет мистер Кетт. Один из побочных продуктов телевизионной известности состоит в том, что людей, которые вас чему-то учили, нередко просят поведать, какими вы были в юности. Иногда они делают это в газетах, иногда – выступая на публике.

Несколько лет назад преемник Джона Кетта попросил меня открыть Коустонский школьный праздник, или Большую летнюю ярмарку, если воспользоваться ее официальным названием.

Всякий, кто рос лет двадцать-тридцать назад в деревне, знает об этих празднествах много чего. «Ярмарочное ярмо», – не без шутливой самоиронии отзывался о них мой отец.

Жители Восточной Англии развлекались на таких сельских сборищах игрой в «пивной пузырь» – увы, теперь ее сменило далеко не столь самозабвенное и более благовоспитанное метание сапога на дальность. Еще была игра «попади мячом в свинью» – в те дни сельские жители умели обращаться со свиньями. Думаю, нынешний средний гражданин Норфолка при виде такой зверюги завизжит, ударится в бегство да еще и в суд потом обратится. Кроме того, там швырялись мокрой губкой в приходского священника (или викария – строго говоря, норфолкские деревни предпочитали держать скорее приходского священника, чем викария. Насколько я понимаю, разница между ними состоит в том, что викария выбирает епископ, а приходского священника – местный землевладелец). Еще там имелись: благотворительная торговля прохладительными напитками, кадки с настоящими отрубями, в которых были зарыты настоящие же подарки, соревнования «Заплати пенни и угадай вес козы», соревнования по сшибанию кокосовых орехов и трактор либо гусеничный тягач, на котором можно было прокатиться всего за шесть пенсов. А уж если брату, сестре и мне сильно везло, на местном празднике мог объявиться Гарри Вудкок, тамошний часовщик и продавец украшений, чья вывеска обозначала его так:

Гарри Вудкок

«Человек, которого ты знаешь»

Вудкок перебирался с ярмарки на ярмарку с прикрепленным к столу велосипедным колесом. Из центра колеса исходила стрела – вроде минутной стрелки часов. Крутнешь ее – и она, когда остановится, укажет на твой приз. Никки Кэмпбелл проделывает то же самое на британском телевидении, а придуманный Мэри Гриффин американский оригинал – «Колесо фортуны» – показывают по Эй-би-си уже десятки лет. Однако Гарри Вудкок делал этих профессионалов одной левой и оставлял их валяться на поле боя. Он носил экстравагантные шляпы с круглой тульей и загнутыми кверху полями и не закрывая рта молотил языком – ни дать ни взять кокни с рынка. Слушать его ист-эндский треп, украшенный норфолкским акцентом, было чистым наслаждением.

В одну такую праздничную субботу ко мне подошла сестра, – я как раз прикидывал, сколько империалов могло войти в огромный горшок, который сияющий от счастья архидиакон волок сквозь толпу, заполнявшую церковный парк.

– Угадай, кто здесь?

– Неужели…

– Ага. Человек, Которого Ты Знаешь. И мы стремглав понеслись к нему.

– Приветствую, юноша! – грянул Человек, Которого Ты Знаешь, прикасаясь пальцем к шляпе, как делал он при виде всех и всякого. – И вас, молодая мисс Фрай, тоже.

– Здравствуйте, мистер Человек, Которого Ты Знаешь, – хором ответили мы, великим усилием воли подавив в себе желание истаять в неприличном хихиканье.

Мы заплатили по шиллингу и получили по «счастью». То были плашки полированного дерева с нанесенными на обе их стороны краской номерами – от нуля до двадцати. Когда колесо раскручивалось, каждое «счастье» полагалось бросить в «корзинку» – еще одну стоявшую вниз тульей шляпу. Человек, Которого Ты Знаешь постарался, орудуя кистью, достичь некоторой изысканности, сообщив каждой цифре вид залихватский. Я словно видел его в тот день (а цифрам был уже не один десяток лет): язык высунут несколько вбок, словно хозяин его вглядывается в сломанные часы, а сам хозяин шепотом ахает, портя каждую плашку в усилиях сообщить ей декоративные качества и опрятность. Моя сестра, прекрасно владевшая пером и кистью, могла начертать двадцать чисел ровно за двадцать секунд, и каждое было бы грациознее, изящнее и аккуратнее тех. В Человеке, Которого Ты Знаешь присутствовала прискорбная неуклюжесть, равно как и в его напыщенности, и в плашках «счастья».

Да собственно, и в его говорливости.

– Кати, вали, кидай. Никогда не знаешь заранее, если только не знаешь всегда. Леди Удача сегодня в настроении до ужасти странном, чтоб у меня башмаки прохудились. Та еще штучка, наша леди Удача, точно вам говорю. Двадцать удачливых «счастиев», двадцать удачливых номеров, каждый – чистое золото, а если это не так, меня зовут вовсе не Рэкел Уэлч.[27] Накупливать их нельзя, спикерлировать ими тем более, а иначе я не Человек, Которого Ты Знаешь. А я он самый и есть, он самый, он самый, он самый, как сказал капитану Блаю[28] претолстенный плод хлебного дерева. Вот он, хороший притопал жетльмен, еще два клиента – и запускаем вертушку, дайте мне шиллинг, сэр, – выиграете презент, да такой, что ваша жена нипочем от вас не

сбежит. Спасибо вам, много большее того, какого вы заслужили. А вот какая распрекрасная дамочка. Ан нет, соврал, это викарий, – и снова соврал, самая что ни на есть распрекрасная дамочка. Сюда, сюда, грабительница моя, так просто я вас не отпущу: или дадите мне шиллинг за «счастье», или самый смачный поцелуйчик, какой дарили за всю вашу долгую жизнь. Черт, получил-таки шиллинг, а мне бы лучше поцелуйчик. Люди и жетльмены… Человек, Которого Ты Знаешь вот-вот крутанет колесо. Весь мир… – и тут он с преувеличенным ужасом подносил палец к губам, – мир… он весь затаил дыхание.

И мир затаивал дыхание. Мир затаивал дыхание, а колесо вертелось.

А после мир выдыхал воздух. Выдыхал, осыпая нас шквалом пластиковых крепостей и складных алюминиевых лотков, с которых продаются лиловые, запечатанные прихотливыми печатями билетики из бумажной массы, – вскрывая их, ты обнаруживаешь, что здоровенного синего медведя из акрила тебе не досталось, и бросаешь билетики в траву. Аттракционы, к коим мы выстраиваемся в очередь теперь, – это «Прогулка на новейшем “Воксхолл 4X4 Фронтера”» (спасибо Джеку Клейвуду из «Воксхолл Лтд.»), «Вкус виртуальной реальности» и «Угадай вес ОЗУ ПК “Компак”», любезно предоставленного нориджской компанией «ПК Экспложн».

Хватит, хватит, я уже слышу голос Мэри Хенч, извещающий, что я веду себя как последний остолоп. Собственно, я слышу его всякий раз, как задумываюсь о нашей сельской жизни.

Когда я еще изучал в университете литературу, мне постоянно приходилось читать рассуждения о том, что все великие книги посвящены борьбе цивилизации с варварством, а именно:

- Аполлона с Дионисом.
- Urbs et rus.[29]
- Двора с лесом.
- Столицы с сельской аркадией.
- Пэлл-Мэлл с майским колом.
- Города с селом.
- Главной улицы с живой изгородью.
- Стихийного разрастания городов с сельским захолустьем.

Более чем уместно, что я пишу это, слушая вполуха речи, которые Дэвид Беллами, Джереми Айронс и Джонни Моррис произносят на большом митинге в Гайд-парке. Они предупреждают страну об угрозе, которую составляет для

сельской местности городское невежество и направленные не в ту сторону сантименты столичных жителей. *Point d'appui*[30] этого митинга – отстоять охоту на лис, однако у меня создается впечатление, что он обращается в нечто большее.

Я просто включил телевизор… а там огромная толпа, людей почти столько же, сколько горожан стекается каждое воскресенье в национальный парк «Йоркширские дали», правда, эти, хочется верить, по крайней мере покинут парк, его не замусорив.

Полагаю, с минуты на минуту начнется интервью с каким-нибудь крысоликим пронырой из Нью-Мэлдена, который держится по вопросу об охоте совершенно противоположного мнения.

Ну вот, пожалуйста! Хотя этот, судя по его выговору, родом не из Нью-Мэлдена, а из Ромфорда.[31] И он только что обозвал лисью охоту «варваризмом», что произвело на меня впечатление странное, поскольку именно он-то толком двух слов связать и не может. Прошу прощения за педантизм несостоявшегося классициста.

Лучше бы они у лисы интервью взяли.

– Какая разновидность охоты представляется вам наиболее предпочтительной, милая дама, – псовая, ружейная, с применением капканов, отравляющих газов или ядов?

– Вообще-то, если честно, я предпочла бы, чтобы меня просто оставили в покое.

– Н-да… а если исходить из того, что такой вариант невозможен?

– Невозможен? Не думаю. Выбор ведь существует всегда, не правда ли?

– Ну вы же понимаете. Ягнята. Курятники. Истерические люди, которые слышат по ночам, как вы роетесь в их мусорных баках.

– Хороший мусорный бак – это вещь.

– Да, не спорю, и все-таки – от чего бы вы предпочли умереть?

– Если вы не против, я бы выбрала собак. С собаками лиса всегда найдет общий язык. Мои прямые предки жили в этих же самых местах, и в течение трех сотен лет их каждую зиму травили собаками. Сказать по правде, собаки, вообще-то говоря, бестолочи редкие.

Впрочем, довольно уже о городе и деревне. Я ведь собирался рассказать вам о Джоне Кетте и Коустонском сельском празднике. С другой стороны, у нас с минуты на минуту речь пойдет о кроте, так что животных я приплел сюда отнюдь не случайно.

Открытие Коустонского школьного праздника можно было

счесть и долгом, и удовольствием сразу. Я принадлежал к числу старых питомцев школы, я был с ней связан, и у меня было *чем в ней заняться*– вместо того чтобы просто бродить взад-вперед, сцепив за спиной руки на манер заштатного члена королевской семьи, инспектирующего очистные сооружения. Я мог, к примеру, вновь посетить гардеробную, мог снова вдохнуть острый, отдающий свежеотпечатанным плакатом запах шкафа, стоящего в кабинете живописи, мог полюбопытствовать, освежали ль разметку площадки для игры в «классики» с тех пор, как Тлер Каккер завоевала на ней чемпионский титул.

Коустонский праздник оказался не просто чудом воскрешения прошлых десятилетий – это если оставить в стороне пугающий матч по теквон-до, устроенный местными мальчиками. Довольно было лишь запаха пересахаренных бисквитных пирожных и слегка подкисшего сена, чтобы напомнить мне времена, когда мир был юн и кругом виноват передо мной.

Я бродил от лотка к лотку в своего рода ошеломлении, иногда слыша застенчивое бормотание: «Вряд ли вы меня вспомните…»

Тлер Каккер отрастила пару взрывоопасных грудей и обзавелась целым выводком дочерей, старшая из которых выглядела более чем готовой приступить к самостоятельному воспроизводству. Мэри Хенч улыбнулась мне из-под пушистых усов – и из-за плеча свирепого обличья подружки (мальчики явно продолжали числиться у нее по разряду остолопов), а вот Джон Кетт так и остался все тем же господином, недоумевающий взгляд которого сопровождал меня безмолвным осуждением в течение двадцати пяти лет.

– Ну что, молодой человек, полагаю, с тех пор как вы были здесь в последний раз, все несколько сократилось в размерах?

Я согласился с ним, и он перевел разговор на кротов.

Кротов?

Когда я только еще появился на празднике и производил традиционный предварительный осмотр лотков с угощениями и напитками, кое-кто из собравшихся на праздник тоже заговаривал со мной о кротах, подмигивая или многозначительно и шутливо пристукивая себя пальцем по кончику носа, – и у меня создалось впечатление, будто они на что-то намекали.

Садовниками у моих родителей были два брата, Алек и Айвен Табби, выбивавшиеся из сил в стараниях избавить теннисный корт – равно как и невообразимую гордость нашего парка, бадминтонную площадку, – от кротов. Возможно, тут-то некая связь и присутствовала?

Кротовая охота есть великое искусство, большинство

практикующих ее (а среди них всегда можно встретить вооруженных запасом ядохимикатов людей во флюоресцентных жилетах) подолгу тихо стоят на месте, оглядывая лужайки и свежие кротовые кочки. После получаса такой мучительной бездеятельности они наконец оживают и неслышно обходят выбранные, по видимости наобум, участки травы, по которым и расставляют капканы. Пару дней спустя из капканов извлекаются три-четыре мертвых крота. Я полагаю, что кротоловы, пока они стоят столбами, на самом деле высматривают еле приметную дрожь земли или те участки травы, что посветлее либо потемнее других, и это дает им представление о том, в каком направлении продвигаются кроты. Сами кротовые кочки, разумеется, ничего на сей счет сказать не могут, поскольку нарывшие их джентльмены в черном уже убрели куда-то еще. Весь фокус в том, чтобы догадаться – куда.

Тогда, в 1965-м, в первые недели триместра, проведенного мной в Коустонской начальной школе, меня все сильней и сильней угнетала моя неспособность завоевать звезду по природоведению.

Ученикам мисс Меддлар надлежало каждую неделю приносить в класс какие-нибудь их *objetstrouvés*[32] биологического свойства. Тому, кто принесет лучший из экспонатов, присуждалась звезда. Мэри Хенч притащила однажды яйцо пестроносой крачки, добытое ею в гнезде, найденном на берегу моря, в деревушке Бранкастер. И после того, как мисс Меддлар утвердилась в уверенности, что Мэри Хенч нисколько не врет, рассказывая, будто гнездо, когда она на него наткнулась, было брошенным, а яйцо холодным (я-то не поверил Мэри Хенч даже на миг, я и по сей день убежден, что дрянная девчонка попросту захлопала здоровенными лапищами и согнала несчастную мать с яиц, столь неистовой и яростной была честолюбивая жажда Мэри набрать звезд больше, чем кто-либо еще, и получить «Кубок за успехи» с прилагавшимися к нему пятью книгами ценой в шиллинг каждая), – да, так вот, после этого обманщица получила звезду. Как раз в ту неделю я возлагал большие надежды на мой барсучий череп, прокипяченный и оттертый зубной пастой «Колгейт» до белизны, какой вы и представить себе не сможете, до полной гарантии свежего дыхания, – он лежал у меня в красивой, выстланной клочьями красного целлофана коробке. Мне еще предстояло несколько лет спустя произвести такую же косметически-стоматологическую операцию над костью, принадлежность которой определить было немного труднее (я-то не сомневался, что она человеческая), и получить мой третий синий значок победителя телепрограммы «Флаг отплытия», – а

третий синий значок мгновенно преобразуется, как то известно всему белому свету, в значок серебряный. Однако до этих волнующих свершений мне было еще жить да жить. Пока же я не имел ни единой звезды. И просто-напросто выходил из себя. Я должен был получить звезду и заставить Мэри Хенч взвыть от зависти – даже если для этого мне пришлось бы пойти на убийство.

Слава никогда не является через парадную дверь. Она подбирается к нам без приглашения, пока мы спим, – с черного хода или через чердачное окно.

Неделю за неделей я мрачно мыкался по родной природе. Я испытал морскую звезду, дроздовое яйцо, собрание высушенных между страницами книги смолевок и колокольчиков, полный ящик фарфоровых черепков с изображением ивы, из тех, что закапывались викторианцами в землю с единственной целью – разогорчить кладоискателей двадцатого века. Ни малейшего успеха. К восьмой неделе триместра я знал список природоведов-звездоносцев наизусть.

Мэри Хенч
Мэри Хенч
Жаклин Райт
Иан Адамс
Джимми Спид
Мэри Хенч
Мэри Хенч

Одним воскресным вечером я кружил и кружил на велосипеде вокруг конюшен нашего дома, истязая разум поисками идеи насчет того, что бы такое принести назавтра в школу, как вдруг ко мне подошел Айвен Табби, держа в чаше ладоней что-то маленькое, мягкое и темное.

– Крота нашел, – сказал он.

То не был крот, раздавленный и пронзенный пружинным капканом, то был крот, умерший, по всему судя, естественной смертью, и совсем недавно. Возможно, отец и мать его попались в капканы, вот он и вылез из земли – посмотреть, что происходит и почему его не зовут обедать, и с ужасом обнаружил, что совсем ничего не видит и что ему вообще не положено болтаться по земле с ее Верхними Людьми и Зрячими Зверьми. Но какой бы конец он ни нашел, молодой крот этот пребывал в превосходном состоянии, розовый нос его и лопатовидные лапки были еще теплы и отличались совершенством формы.

Я взмолился, чтобы его отдали мне, и великодушный Айвен просьбу мою удовлетворил, хоть и намеревался, как тут же

выяснилось, скормить находку своему коту.

На следующее утро я проделал на велосипеде обычную милю до Коустона, весь трепеща от волнения. Обернутый в солому крот лежал в прицепленной к раме сумке. Сегодня меня ожидал триумф.

«Перед нами обычный европейский крот, – скажу я классу. Этой ночью я провел (с помощью “Семейной энциклопедии” Пира) исчерпывающее исследование кротов. – Каждый день кроты съедают столько, сколько весят сами, и, не получая пищи в течение двенадцати часов, могут буквальным образом околеть от голода. За один час крот способен прорыться под землей на расстояние в восемнадцать футов. Спасибо».

И я представлял себе, как слегка поклонюсь под восторженные овации всех учеников, не считая Мэри Хенч, губы которой побелеют, потому что ее ничтожная гусеница шелкопряда или жалкое собрание катышков помета сипухи останутся попросту не замеченными.

Я бросил велосипед во дворе и помчался к мисс Меддлар, притормозив лишь у самой ее двери, дабы придать себе вид спокойный и выдержанный.

– О, как вы сегодня рано, Стивен Фрай.

– Правда, мисс? Да, мисс.

– И что это вы принесли? Что-то для стола природоведения?

– Да, мисс. Это… – взволнованно начал я.

– Не говорите пока ничего, мой мальчик. Давайте дождемся других учеников. Положите ваше приношение на стол и… о боже, что там такое *творится*?

Со стороны игровой площадки донесся буйный взрыв смеха и восклицаний. Мы с мисс Меддлар бросились к окну и, вытянув шеи, попытались разглядеть причину суматохи. И в тот же миг в комнату влетел Джимми Спид, встрепанный, весь в пятнах чернил мальчик, который всегда улыбался так, точно он был уверен, что его окружают одни сумасшедшие.

– Ох, мисс, мисс! Вы ни за что не поверите! Ни за что, никогда!

– Во что я не поверю, Джимми Спид?

– Это Мэри Хенч, мисс! Она привела на урок природоведения ослика. Настоящего, живого! Такой красивый, не знаю только, как он поместится на столе.

– Ослик! – Мисс Меддлар порозовела от волнения, разгладила на себе юбку и метнулась к двери. – Ослик. Боже милостивый!

Я взглянул на моего кротенка и залился слезами.

В самом конце недели, когда все в школе начали наконец говорить не об одной только Мэри Хенч с ее осликом, мистер Кетт подошел ко мне на игровой площадке и отвел в сторонку.

– Приветствую вас, молодой человек, – сказал он. – Что-то вы ходите как в воду опущенный, если позволите мне так выразиться.

– Правда, сэр?

– Правда, сэр, – отозвался он. – Помню шутку, которую я слышал мальчиком на рождественском представлении. Про Золушку. В Дереме, за много лет до войны. Одна из ее плохих сестер сказала: «Когда на меня нападает тоска зеленая, я покупаю себе новую шляпку». А другая плохая сестра ответила: «Так вот почему они у тебя все болотного цвета». Как сейчас помню.

Правда, при его мягком норфолкском выговоре это выглядело немного иначе: «…как сищас».

– Итак, – продолжал он, опуская ладонь мне на плечо. – Что же именно погрузило в тоску зеленую вас?

– Да так, ничего, – ответил я, – просто…

– Мне вы можете довериться, молодой человек. Если это тайна, от меня ее никто не услышит. Двадцать лет назад один мальчик открыл мне удивительную тайну. Знаете какую?

– Нет, – заверил его я, мгновенно воспрянув духом. Больше всего на свете я любил удивительные тайны. – Какую?

– Не скажу, – ответил мистер Кетт. – Это же тайна. Видите? Вот как хорошо я умею хранить их.

– А. Ну, понимаете, дело в том…

И из меня потоком полились путаные описания краха, разочарования, гнева и отчаяния, которые пожирали меня изнутри после поражения, нанесенного мне Мэри Хенч и ее распроклятым ослом.

– Понимаете, он был такой *замечательный*… такой *совершенный*. И лапки совершенные, и нос, и шкурка. Лучший крот на свете. Хоть и мертвый. В *любую* другую неделю я получил бы звезду. Да не в звездах дело, а в том, что я ни разу ни одной по природоведению не получил. Ни одной. *Никогда*.

– Зато у вас множество звезд по правописанию, не правда ли? Так говорит мисс Меддлар.

– Да ну, *правописание*…

– Я видел вашего крота. Очень хороший крот, тут и сомневаться не приходится. Вам следует гордиться им.

Под вечер того же дня, когда завершились занятия, я подошел к столу, на котором покоились творения живой природы, взял уже немного подпорченного временем крота и завернул его в носовой платок.

– Это что же, наш крот покидает нас? – спросила мисс Меддлар с проблеском, как мне показалось, надежды в голосе.

– Да, наверное, – вздохнул я. – Видите ли, он немного… н у, вы понимаете.

На середине дороги домой я прислонил велосипед к ограде и развернул платок, решив предпринять научное исследование природы разложения. Шкурка крота, некогда столь плюшевая и красивая, теперь потускнела, пошла пятнами и кишела поблескивающими белыми клещами. Какое-то черное насекомое, сидевшее в мокрой сердцевине кротового тельца, смакуя ее липкую жижу, казалось, вдруг увидело меня или, по крайней мере, увидело дневной свет, возможность выбраться на волю. Яро взмахнув крылами и прерывисто зазудев, точно заводная игрушка, оно влепилось прямо мне в глаз. Я взвыл и уронил объект исследования. А летучая тварь, кем бы она ни была, взвилась в воздух и полетела над полями.

Почувствовав, что лодыжки мои мокры, я опустил на них взгляд. Крот упал мне на сандалии и словно взорвался там, расплескавшись по носкам и ступням. Я завопил и завизжал от страха и отвращения и заскакал на месте, обмахивая платком голени – так, словно их охватило пламя.

Все было слишком ужасно, природа была слишком ужасна. Природа воняла, хлюпала и выблевывала слизь, червей и разорванные кишки.

Думаю, я впервые ощутил тогда потребность *не быть*. Не умереть и уж тем более не покончить с собой – просто не быть. Этот мерзкий, враждебный, уродливый мир для меня не годился – как и я для него. Мир был чужд мне, а я ему.

Ошметки крота лежали рядком вдоль изгороди. Я обтер ноги чистым когда-то, немного хрустким льняным носовым платком, а после поднял его к небу. Они здорово походили друг на друга, платок и вечереющее небо. Кусок полотна и небеса, покрытые пятнами чернил и крови. С тех пор отчужденная недоброжелательность определенной разновидности заката неизменно вгоняет меня в испуг.

– Боже милостивый, – сказала мама. – Откуда этот запах, дорогой?

– От дохлого крота, а ты думала откуда? – сварливо ответил я и затопал по лестнице вверх.

– Ну, тогда тебе лучше поскорее помыться.

– А я, по-твоему, куда иду? Лезу наверх, чтобы… в… *в крокет поиграть*?

Отповедь не из лучших, но ничего ядовитее я придумать не смог.

О природоведении я в тот уик-энд больше не помышлял. Лил дождь, позволявший мне спокойно сидеть под крышей и на природу никакого внимания не обращать.

И только в понедельник утром, катя, как обычно, на велосипеде в школу, я сообразил, что у меня нет ничего для еженедельной демонстрации наших достижений.

Палка, подумал я. Можно отличнейшим образом принести в школу палку. Не хотите крота, получите палку. Палки тоже бывают интересные. Природа, знаете ли, не из одних только ослов, помета выдр, яиц крачки, бобровых черепов и гнилостных ползучих тварей состоит. Принесу им сухую палку.

И я подобрал с земли первую попавшуюся. Самую заурядную палку. Мертвую, но безобидную, не подпорченную смертью. Да к тому же и вещь это полезная, чего никак не скажешь о сгнившем кроте, который, шмякнувшись о твои лодыжки, разлетается на куски.

Я принес палку в класс и демонстративно выложил ее на стол, предназначенный для творений природы.

– Ну что же, – сказала мисс Меддлар, после того как с раздражающим тщанием и медлительностью пенсионерки, расплачивающейся у кассы магазина самообслуживания, изучила собранные на сей раз образцы. – Что же, хорошо. На этой неделе все вы замечательно потрудились. Должна сказать, Мэри, я рассчитывала увидеть сегодня на игровой площадке слона, однако и перо сойки, которое ты нам принесла, очень красиво, очень. Но знаете что? Звезда этой недели присуждается… Стивену Фраю.

– Фрррр?…

Дюжина пар ничего не понимающих глаз заметались между мной, мисс Меддлар и обычной сухой палкой, которая лежала на столе, сильно смахивая на обычную сухую палку.

– Подойдите ко мне, Стивен Фрай. Полностью сбитый с толку, я вышел к доске.

– Звезда присуждается вам не за палку, хотя я уверена, палка очень хорошая. Она присуждается вам за то, что в пятницу вы унесли отсюда вашего крота…

– Простите, мисс?

– …потому что, должна вам сказать, эта дрянь провоняла весь класс. Он и весь коридор провонял, ваш крот. Увидев, что вы его уносите, я обрадовалась как никогда в жизни.

Класс разразился хохотом, а поскольку я давно уже раз и навсегда решил, что смеяться надо мной никому и никогда не позволю, то засмеялся и сам и принял звезду со всеми довольством и достоинством, какие сумел изобразить.

Так вот, не странно ли – не просто странновато, но действительно странно – было обнаружить четверть века спустя, что именно по причине этого пустякового эпизода меня в школе и помнят, – а не по причине моего бестрепетного вранья и хитроумных увертoк.

Джон Кетт был, да и сейчас, надеюсь, остается своего рода мирским проповедником, демонстрацией благодетельности христианства, лучшей, чем сам святой Павел. С другой стороны, по моему непросвещенному мнению, Иуда Искариот, Нерон и граф Дракула тоже демонстрируют благодетельности христианства получше святого Павла… однако это совсем другая тема и для совсем другого разговора. Вы же здесь не для того, чтобы слушать мои невежественные бредни по вопросам теологии.

Но самое ужасное состоит вот в чем.

Все двадцать пять лет, минувших с того дня, до встречи с Джоном Кеттом и другими, до их улыбчивых намеков, я и думать не думал ни о кроте, ни обо всем, что было с ним связано.

В начале праздника я, переходя с видом принца Майкла Кентского от лотка к лотку, при всяком упоминании о кроте делал вид, будто прекрасно все понимаю, то есть лицемерил самым постыдным образом. Я полагал, что речь идет о каком-то телевизионном скетче, в котором я выступил, а после напрочь о нем забыл.

Такое случается часто. Помню, несколько лет назад некий решительно не знакомый мне человек гневно окликнул меня с другой стороны улицы. Он был буквально *багровым* от гнева, грозился кулаком и обзывал меня «убийцей славных кобылей». Я решил, что ему не по вкусу мои политические взгляды, мои телевизионные выступления, мои сексуальные предпочтения, мои повадки, голос, лицо – то есть *я сам*. Меня бы это не удивило. Он мог назвать меня жирным, уродливым, скучным педерастичным леваком, и я понял бы, что он имеет в виду. Однако *убийца*? И каких, собственно, «кобылей»? Может, все дело в том, что на ногах у меня кожаные туфли… в наши дни серийных фанатиков-маньяков ничего ведь заранее не скажешь. Я быстро свернул за угол и пошел прочь. От таких людей лучше держаться подальше. На них, знаете ли, крупными буквами написано: «Добра не жди».

Вообразите же испуг, охвативший меня, когда я увидел, как этот помешанный выскочил из-за угла и припустился за мной вдогонку.

– Мистер Фрай! Мистер Фрай!

Я обернулся – с обезоруживающей, как мне хотелось верить, улыбкой, – высматривая свидетелей, полицейских и пути к

отступлению.

Помешанный поднял, словно извиняясь, руку.

– Я вдруг сообразил, что вам невдомек, о чем я говорю, – сказал он, совсем уже полиловев от смущения и усилий.

– Ну, должен признать…

– Помните Крапчатого Джима?

Судя по интонации, эти слова должны были полностью все прояснить.

И тут до меня действительно начало доходить.

Он говорил об эпизоде из телесериала, в котором я сыграл генерала Мелчетта, – тот отдает под трибунал героя сериала, Блэкладдера, убившего, зажарившего и съевшего любимого почтового голубя генерала, а голубя этого как раз и звали Крапчатым Джимом.

Во время заседания военного суда, которое Мелчетт, не обинуясь соображениями беспристрастности, сам же и проводит, он, разъярившись, бессвязно орет на капитана Блэкладдера, называя его «убийцей фландрских голубей». *Вот что* кричал мне через улицу тот мужчина, а вовсе не «убийца славных кобылей»…

Телевидению присуща некая странность – ты что-то делаешь на нем и думать об этом забываешь, а истовые поклонники смотрят твою программу и смотрят и в конце концов заучивают текст в тысячу раз лучше, чем сам ты знал его перед съемками.

А еще одна западня, в которую попадает автор-юморист, связана с использованием в скетчах имен собственных. Я, подобно многим сочинителям, старался использовать географические названия в качестве фамилии выдуманных мной персонажей, а фамилии моих знакомых – в качестве географических названий.

В тот день среди моих связанных с упоминаниями крота предположений присутствовали и такие: я либо появился в какой-то телепрограмме вместе с кротом, либо дал этому животному имя «Коустон», а то и «Кетт». Я шарил в памяти, пытаясь сообразить, не написал ли я когда-то статью или, может, сыграл в рекламе, скетче, сериале, радиопередаче, фильме либо пьесе, в которых крот упоминался хотя бы косвенно: крот как мелкое животное с лапами лопатой, крот как внедренный в чужую разведку агент, крот как горнопроходческая машина, крот как обозначение слепца, крот, нехорошо обошедшийся с Дюймовочкой, – я перебрал все. Как-то раз мы с Хью Лаури сочинили скетч о людях, которые коллекционируют фарфоровые блюдца с изображениями «чащобных полевок», – блюдца эти расписывались прославленными на весь мир художниками и рекламировались в воскресных таблоидах. Однако от мертвого крота до «чащобной полевки» дистанция огромного размера, к

тому же мы этот скетч ни разу не исполняли, не записывали и уж тем более не пускали в эфир.

Так что ниточки моей памяти стянулись одна к одной и я наконец понял, о чем говорят окружающие, лишь в тот миг, когда Джон Кетт спросил у меня, сохранил ли я еще острый интерес к кротам и не находил ли в последнее время мертвых.

И твердили они об этом дурацком кроте вовсе не потому, что он был самым сенсационным животным, какое забегало в Коустон со времен Черной Смерти, не потому, что он стал героем анекдота, сыгравшего особо знаменательную и любопытную роль в жизни деревни. Теперь-то я знаю то, чего не мог знать тогда, – крота упоминали потому, что жители деревни приготовили для меня небольшой сюрприз, и если бы я не вспомнил эту историю и принял бы их подарок с немым недоумением, все, в том числе и я, оказались бы в положении до крайности неудобном.

– Странно, что вы все еще помните того крота, – сказал я Джону Кетту, когда он повел меня к человеку, отвечавшему за звуковую систему (в каждой деревне имеется хоть один знаток микрофонов и магнитофонов).

После того как мне объяснили принцип работы усилителя и дважды показали местоположение микрофонного выключателя, я спросил у Джона Кетта, помнит ли он, в свой черед, тот случай, когда я так и не решился войти в его класс и передать посланные мисс Меддлар результаты контрольной работы. Он немного подумал и улыбнулся, словно извиняясь.

– Нет, – сказал он, – боюсь, не помню.

В прошлом Джона Кетта светит солнце и поют птицы, в моем – черные грозовые тучи вечно собираются у меня над головой.

Я набираю этот текст, а на моих коленях лежит прямоугольник покрытого лаком дерева с четырьмя аккуратно просверленными по углам отверстиями, чтобы его проще было повесить на стену всем напоказ. Это и есть небольшой сюрприз, подарок, поднесенный мне Коустонской сельской школой в благодарность за то, что я открыл ее праздник. На дощечке опрятным староанглийским шрифтом написано следующее:

Ода кроту

Меня сюда не звали,
Не гнали взашей домой,
Но я здесь был
И отсюда ушел
С единственной звездой.

Коустон 89
большая летняя ярмарка

3

Коустонскую сельскую школу я покинул в марте 1965-го и на следующий месяц оказался в «Стаутс-Хилле» – единственным новым учеником летнего триместра.

Сейчас уже сентябрь. Сэмюэль Энтони Фарлоу Банс и горстка других новичков – это все мелюзга, Стивен же Фрай, который кричал в классе «Мисс, мисс!» и хихикал с девчонками на краю площадки для игры в «классики», скончался, а на место его заступил Фрай, С. Дж. Фрай, молодой Фрай, Фрай-младший, юный Фрай, Фрай Второй, Фрай-Джуниор или, что хуже всего, Мелкий Фрай.

Школа «Стаутс-Хилл», как я уже говорил, представляла собой пародию на замок, каменные башенки и бастионы ее возвышались на холме Бери, под которым притулилась деревушка Ули. На школьном гербе красовался зимородок (являвшийся, вероятно, отсылкой и к школьному озеру, и к преданности главы школы Роберта Ангуса идее дать своим юным подопечным золотые школьные годы), под зимородком значился начертанный на свитке девиз школы: «Τοιζμελλονσι» – «Ради будущего». *Corpus studenti*[33] (как-никак образование нам предстояло получить классическое) слегка превышал пять сотен человек, мальчики были разделены по четырем «Домам»: «Зимородки», «Выдры», «Осы» и «Пантеры». Общие спальни носили названия деревьев – «Ильм», «Дуб», «Бук», «Платан» и «Кипарис».

Столовая ложка витаминного коктейля на ночь, капсула с жиром из печени палтуса за завтраком (впоследствии замененная более приятным «Халиб-оранжем», что, в общем, то же самое, только в сахарной облатке), обучение игре на каком-либо музыкальном инструменте, верховой езде, хождению под парусом, планеризму, лисьей охоте, преподавание элоквенции, умения читать следы, стрелять и фотографировать – все это относилось к разряду Дополнительных Услуг и оплачивалось тоже дополнительно: каждый триместр родители учеников получали соответственный счет, в гинеях. Приходящие ученики в «Стаутс-Хилл» не принимались, а отличающуюся редкостной импозантностью школьную форму – в состав ее входила расчудесная зимняя куртка с рисунком «в елочку» (в середине этой книги есть фотография, на которой брат облачен именно в эту куртку, а на плече его сидит обезьянка), летние рубашки «Аэртекс», зимние «Клайделла», шапка, канотье, серый костюм для праздничных дней и посещения церкви, блейзеры, джемпера, галстуки, спортивные рубашки, спортивные свитера, шорты,

змеиной кожи ремень с цветами школы (те, кому исполнилось десять, могли, хоть и не были обязаны, носить брюки) и совершенно фантастическое количество носков спортивных, носков форменных и положенного вида эластичных подвязок для крепления названных носков, – все это родителям надлежало заказывать исключительно у Дэниела Нила с Ганновер-стрит, а впоследствии, когда Дэниел Нил отошел от дел, у Горринджа с Кенсингтон-Хай-стрит. Вся одежда должна была метиться бирками с именем владельца – прекрасный бизнес для «Мсье Кэш и Компани», заправлявших в те времена на рынке именных меток. Еще одним важным элементом был, разумеется, ящик для сластей с запечатленными на исподе крышки фамилией и инициалами владельца.

Помимо девиц Ангус, женский состав школы включал Систер Пиндер, чей муж служил в Королевском военно-морском флоте, – величавая мантилья, накрахмаленные манжеты и перевернутые вверх ногами часики-кулон (из тех, что входят в наряд медицинской сестры, какой мечтает получить на Рождество каждая девочка). Предпочитавшийся ею метод наказания, которое получали те, кто выводил ее из себя, сводился к резкому шлепку металлической линейкой по ладони – совсем не такому болезненному, как вам представляется. У нее имелся сын моего примерно возраста, Джон, собиравшийся, если я верно помню, поступить в Пангборнский флотский колледж. Откуда мне знать, может, он теперь уж и адмирал, хотя большинство моих однокашников избрало, насколько я в состоянии судить, работу в Сити, в рекламе, торговле недвижимостью, кинопроизводстве – или радостно удовольствовалось положением нуждающихся столяров (с малой примесью керамистов) в Корнуолле. Таково мое поколение. Точно так же, как в фильмах «Ну, давай», у нас имелась сестра-хозяйка, она же «матрона», – при моем появлении в школе должность эту исполняла миссис Уотерстон, а звали ее Матей или Пузырящейся Матей, по одноименной детской пенке для ванн. И у нее тоже учился в нашей школе племянник, но, боюсь, о нем я почти ничего не помню.

Матроны-помощницы наплывали и уплывали, подобно летнему ветерку, – единственной, кого я способен припомнить хоть с какой-то ясностью, была блондиночка в очках, которую звали Мерилин (моя решительно не надежная память уверяет, будто она была евангелисткой). Мерилин играла на гитаре и, если ее просили, усыпляла нашу спальню колыбельной, где шла речь (коли я не спятил окончательно) о каком-то невразумительном «Эль-Пасо». Мерилин удалось завоевать сердце моего брата Роджера – во время летнего пешего похода по

острову Уайт: он вернулся домой со стеклянным маяком, заполненным слоями разноцветного песка с берегов Райда, и адамовым яблоком, сильно превосходившим размерами то, с каким уехал. Символичность этого маяка есть деталь до того избитая, что только реальной жизни хватает нахальства ввести ее в ткань повествования. Секретарша школы, миссис Уолл, носила опрятные твидовые костюмы и приятно пахла цитрусами и перчиком. По-моему, ее звали Энид. Школьного повара звали Кен Хант, его яичные и куриные блюда раз за разом становились жертвами нескончаемых спунеристских острот, увидеть которые на этих страницах вам наверняка было бы неприятно. У него имелось двое помощников: Силия, невероятно толстая, густоволосая испанка, относившаяся ко мне во все проведенное мной в «Стаутс-Хилле» время с ошеломляющей материнской заботливостью, и ее муж, Абиел, почти такой же толстый, волосатый, испанистый и столь же великодушный со мной.

Еще у нас был старший слуга, мистер Дили, перед которым я просто-напросто трепетал. Он носил клетчатые брюки и, похоже, при всякой нашей встрече имел сказать мне только одно: «Ну-ну, мастер Фрай, ну-ну». Каждый раз, как я смотрю фильмы наподобие «Крик и плач» или «Смех в раю»,[34] мне снова слышатся его *почти* жуликоватые интонации, лежащие, так сказать, где-то посередке между Джеком Уорнером[35] и Гаем Миддлтоном.[36] И у него, в свой черед, имелся сынок по имени Колин, на голове которого был устроен набрильянтиненный кок, украшавший, как я теперь понимаю, исполнителей в стиле «рокабилли». Колин состоял на подхвате у отца, умел пускать изо рта колечки дыма и свистеть сквозь зубы, в точности воспроизводя звук казу. Кроме того, он был хранителем ключа от школьного буфета, что придавало его персоне особую весомость. Школьный парикмахер, Джон Оуэн, появлялся у нас раз в неделю; он находил мое имя забавным, поскольку оно напоминало ему о знаменитом аукционисте (знаменитом аукционисте? Ну да, по-видимому, так) Фредерике Фрае. Подстригая меня, Оуэн снова и снова повторял: «Фредерик Фрай, ЧИА, Фредерик Фрай, ЧИА. Член института аукционистов. Фредерик Фрай, ЧИА».

Любовь Роберта Ангуса к животным выражалась – вне стен школы – в обилии пони и лошадей, а также вольера для птиц, в котором среди иных экзотических созданий обретался исключительной красоты золотой фазан. Птичьи клетки имелись и в самой школе. Встроенные в стену рядом с кабинетом директора, они служили жилищем для четы благодушных попугаев и моего особенно близкого друга – майну, индийского скворца. Эта необычайно крупных размеров птица умела

изображать звон школьного колокола, бормотание мистера Дили, с которым тот начищал шандалы в огромной столовой, расположенной по другую сторону клеток, глухие шлепки трости, опускавшейся в кабинете директора на оголенные зады, и голоса большинства тех, кто работал в школе; птица талантливо и точно передавала даже стук, с каким опускались на покрытые куском жаростойкого пластика козлы четыре ящика с трехпинтовыми молочными бутылками, – стук, который она каждый день слышала во время утренней перемены. Вам это может показаться достижением малоправдоподобным, но уверяю вас, я не преувеличиваю. Собственно, не так давно я слышал по радио рассказ диктора и натуралиста Джонни Морриса о его майне, точно передающей звук, с которым эти самые трехпинтовые бутылки молока ставятся на крыльцо дома. Дар акустического копирования звуков, сопровождающих доставку молока, несомненно является общим (хоть и озадачивающим в смысле эволюционном) для одомашненных майн юго-западных (по отношению к Лондону) графств нашей страны – это явление, безусловно, требует дальнейших научных исследований.

Разумеется, семейство Ангус держало и собак. У них имелось большое число вечно прогневанных бостонских терьеров, боксер по кличке Брут, нечто лохматое и громогласное, именовавшееся Цезарем, – все это были питомцы миссис Ангус, женщины ласковой и рыхлой; стоит мне вспомнить о ней, как в голове у меня сразу всплывает образ ее величества королевы Елизаветы, королевы-матери.[37] Именно миссис Ангус вызвала к себе меня и Роджера, чтобы сообщить нам о смерти нашей приемной бабушки. Мне никогда не забыть интонацию, с которой она известила нас о случившемся.

Третья жена моего деда была венской еврейкой, как и настоящая моя бабушка, которой я никогда не знал. Она дружила со Стефаном Цвейгом, Густавом Климтом, Арнольдом Шёнбергом – со всеми великими интеллектуалами венских кафе. Когда я гостил у нее, она позволяла мне печатать на ее пишущей машинке, что было для меня величайшей радостью на свете. Так что искусство машинописи я освоил уже к десяти годам. В девичестве она носила фамилию Грабшайдт. Где-то в доме родителей и сейчас еще стоит огромный дорожный сундук, на боку которого большими белыми буквами выведена эта замечательная фамилия. Во время болезни мы с братом навещали ее в больнице, старушка была с нами очень ласкова и упрашивала не пугаться вставленных ей в ноздри трубок.

А после, уже в школе, нас вызвала к себе миссис Ангус.

– Вы ведь знали, что ваша приемная бабушка сильно

болела, – сказала она, поглаживая одну из своих собак.

Мы с братом кивнули.

– Боюсь, я только что получила от вашей матери известие, что она *уже* умерла…

Не знаю почему, но это ее ударение и поныне пребывает со мной. Стоит мне подумать о тете Клер, как мы ее называли (хотя настоящее ее имя, полагаю, было Клара, что-то в этом роде), и я вспоминаю, что она *уже* умерла.

В пасхальные каникулы, которые пришлись на время между окончанием моего триместра в Коустоне и началом жизни вдали от дома – в месте, которое я мысленно называл «школой Роджера», – я от корки до корки, и не один раз, прочитал Журнал школы «Стаутс-Хилл», в коем имелся раздел, озаглавленный

ПИСЬМА ОБОДРЕНИЯ, ОБРАЩЕННЫЕ К ВОЗМОЖНЫМ НОВИЧКАМ

Журнал лежит сейчас передо мной, я выписываю эти письма, ни буквы в них не меняя. Оказалось, что некоторые из них я все еще помню почти дословно.

Тим Сангстер

Мы играем в машинки, пускаем их с такой вроде как горки.

Джимми Кинг

Здесь очень весело, летом мы играем в крикет, теннис, раундерз[38] и плаваем. Зимой мы играем в футбол и регби. А по воскресеньям обычно смотрим телевизор. Свободного времени очень много – учеба не такая трудная. Можно, если хочешь, работать в огороде, чего-нибудь выращивать. Можно плавать под парусом, если тебе захочется поступить в парусный клуб.

Энтони Макхуэртер

Если ты в четвертой сборной, то иногда катаешься по озеру на лодке, а летом, если тепло, каждый день плаваешь. По воскресеньям можно переплывать озеро по три раза, если ты не вылезаешь из воды.

Эдмунд Уилкинс

Здесь очень хорошо, потому что когда попадаешь в деревню, то играть там не с кем, а в «Стаутс-Хилле»

очень много мальчиков. Летом мы плаваем и катаемся на лодках, а в середине триместра, после соревнований по спорту, у нас каникулы. Если ты еще маленький, то попадешь в младший класс и там тебе поручат работу над горшками. А по субботам мы играем в «южноамериканский футбол»,[39] это очень весело.

Ричард Коли

Тут есть кондитерская лавка, только приносить из нее сладости в школу не разрешается. Еще тут много бабочек, и мы их ловим. А еще есть большое озеро с лодками и устрицами, которые хватают нас за пальцы.

Чарльз Мэтьюс

По пятницам у нас тренировки бойскаутов-волчат, мы надеваем спортивные костюмы, тут везде холмы, так что мы можем много чего делать. А зимой можно кататься на санках, это супер.

Малкольм Блэк

Ты можешь удить рыбу или кататься на гребной лодке, если хочешь. Некоторым мальчикам нравятся игры вроде «Следопыты» или «Отбил-беги».[40] Большинство мальчиков работает в огороде. Летом там везде прыгают лягушата. А иногда мы играем на Бери в «Найди клад». Бойскауты идут в лес и ходят по нему. У них там даже укрытия есть.

Дональд Лейнг

У нас есть музей, а еще кружок моделирования. Есть подвалы, гардеробная и три столовых. В самой школе пять общих спален и еще две не в школе.

Фраза из заметки Эдмунда Уилкинса: «Если ты еще маленький, то попадешь в младший класс и там тебе поручат работу над горшками» – изводила меня все оставшиеся до отъезда в школу недели. Мысль о том, что мне хочешь не хочешь, а придется «работать над горшками», меня попросту ужасала. Да, верно, дома я время от времени писался в постели – «Я же не *ругаю* тебя, милый. Просто ты должен был *сказать* мне. А ты притворяешься, будто ничего не произошло, и меня это страшно *сердит*…», – и оттого в моем горячечном воображении «работа над горшками» приобрела очертания куда более темные и грозные, чем обычные старания не напрудить в постель, и я все каникулы умолял маму отослать в школу письмо с просьбой

избавить меня от этого унижения, каковое, как мне представлялось, совершается на виду у всех, на установленном перед школой высоком помосте.

Да и следующий раздел журнала, некоторые заметки коего принадлежат тем же корреспондентам, явно задумывался не для того, чтобы поселить мир в моей душе.

НАШИ ПЕРВЫЕ ДНИ В «СТАУТС-ХИЛЛЕ»

Дж. Уинн

Когда мы сели в машину, чтобы ехать в «Стаутс-Хилл», я сначала очень волновался. Родители высадили меня и уехали, но тоски по дому я не чувствовал. В тот раз был наш первый день мороженого, и я подумал, что нам следует носить с собой деньги. Я купил два мороженых и сунул одно в мусорную корзину. Мне не пришло в голову отдать его кому-нибудь.

А. Мак-Кэйн

Почти все первые две недели я пролежал в постели больной и вдруг услышал, что приехали мои родители, это было в воскресенье. Мне тогда было только шесть лет. Родители и братья зашли, чтобы проведать меня, и моя сестра тоже. Когда они уходили, я заплакал, поэтому сестра осталась, чтобы побыть со мной, но после ушла и она. Мать и отец отправились на школьную службу, чтобы послушать, как мои братья поют в хоре. Около моей кровати был колокольчик, в который я мог звонить, если мне что-то понадобится. Теперь я очень тосковал по дому и потому зазвонил в колокольчик как можно громче. Я звонил в него некоторое время, а потом услышал на лестнице шаги, и в мою комнату вбежала Джейн. Вся школа услышала звон, так что мне стало немного стыдно.

Р. Мейдлоу

По ночам, когда я лежал в постели, было ужасно, потому что кровать была неудобная, пружины казались мне слишком тугими. А вот завтрак был хороший. Яйца не казались мне слишком крутыми. Моя первая игра в крикет получилась хорошей игрой, во время моей первой игры в крикет я смог сделать несколько пробежек.

Т. Сангстер

Когда мама уехала домой на машине, я познакомился с Дональдом, и мы стали все обходить, осматриваться. Мы с ним пошли и осмотрели сарай рядом с павильоном третьей сборной, потом заглянули в пустой плавательный бассейн. Зазвонил колокол, мы удивились – что это значит, и потому пошли в спальню. Потом кто-то спросил, ужинали мы или нет. Ну мы и сказали «нет», и кто-то принес нам молока и булочек. Когда мы все съели, то стали разговаривать и читать, пока не пришла матрона и не сказала: «Прекратите разговоры». И мы легли спать. На следующий день мы спустились к завтраку – я думал, что я во II «В» и остался с ним на урок, но потом мне пришлось уйти в III «В». Я пришел в середине урока и сел в переднем ряду, в первое утро я почти ничему не научился. Потом я присоединился к четвертой спортивной сборной и поиграл в раундерз – мы набрали на семь очков больше. Меня перевели в третью, но там я справлялся не очень хорошо. В мой первый день в третьей крикетной меня поставили слева от калитки, однако мне не удалось остановить мяч. И подающим меня не поставили.

Иан Хикс

Я беспокоился насчет уроков, боялся, что меня подкуют во время футбола, и гадал, чем нас будут кормить, вдруг у меня произойдет расстройство желудка, как всегда было дома. И как там мама в машине, смогла ли она благополучно вернуться домой. Я лег в постель, и все стали спрашивать, как меня зовут. А на следующее утро учитель вошел в класс и спросил: «Хикс, вы уже научились делать историю?» Я ответил: «Да, немного». К дневному завтраку я уже совсем освоился.

Р. Коли

В мой первый школьный вечер мне стало страшнее всего, когда я увидел, как мама с папой уезжают по дороге. Однако потом я познакомился с мальчиком по фамилии Поуви. Мы с ним немного погуляли до колокола к ужину, а потом пошли на ужин. Я показался всем очень чудным, потому что выпил 3 чашки молока и съел несколько ломтей хлеба и 3 булочки.

М. Долан

Когда пришло время спать, мы умылись и легли в постели. Нам разрешили поговорить до 7 часов, и мы все

время разговаривали. Когда закрывалась дверь, мы разговаривали очень много, а если нас ловили, то приходилось по двадцать минут стоять около кровати. От этого уставали ноги.

Я обнаружил, что меня страшит этот странный мир мороженых дней и павильонов третьей сборной, – мир, в котором тебя ставят слева от калитки. А мысль о том, что меня могут спросить, научился ли я уже делать историю, и вовсе внушила мне ужас. Историю я знал довольно хорошо благодаря и маме, которая сама была историком, и нескончаемым викторинам, которыми я изводил ее, таскаясь за ней по дому, однако в том, что я ни в коей мере не «научился делать историю», сомневаться мне, безусловно, не приходилось.

И еще одна заметка привела меня в недоумение, в коем я пребываю и по сей день. Я чувствовал, что она *намекает* на что-то – на что-то слишком ужасное, чтобы назвать его по имени. И в этом, если учесть название заметки, присутствовала несомненная ирония.

«СТРАХ»

сочинение С. Александера

Страх – это основа трусости, а трусость противоположна храбрости, однако страх храбрости не противоположен. Во многих случаях страх является даже основой храбрости, и потому его можно считать явлением необычным.

Дальше все становится еще сложнее – автор приплетает к своей аргументации Сократа и Дугласа Бадера,[41] так что я и сейчас несколько теряюсь, читая это сочинение.

Зато меня немного ободрило следующее:

ВИННИ

Винни была милой маленькой пони. Нрава она была мягкого и любила повышенное внимание. Когда она умерла, ей было уже много лет. Все, кто ездил на ней, вероятно, надолго запомнят ее. Она была очень стойкой и терпеливо сносила удары, которыми ее осыпали. Я

никогда не видел, чтобы она выходила из себя, и потому думаю, что если Небеса существуют, то Винни сейчас там. Винни отошла в мир иной 30 января, под вечер. Да обретет она покой посреди бесконечных пастбищ Рая.

Дж. Биссет

Мне кажется, я этого Биссета помню. По-моему, он был родом из Родезии, и у него имелся младший брат, который появился в «Стаутс-Хилле» в одно примерно время со мной. В один из триместров младший Биссет сделал заявление неожиданное и необъяснимое – о том, что он сменил фамилию на Тилни. Мы ему немного завидовали из-за этого, а сам я немедленно решил последовать его примеру. Я уведомил дежурного учителя, что отныне и вовек меня следует называть Нухватит, точнее, Перегрин Эйнзли Нухватит, однако учитель сказал, чтобы я не валял дурака, что показалось мне нечестным. Оглядываясь назад, приходишь к выводу, что перемена фамилии с Биссет на Тилни вполне могла объясняться появлением отчима, распадом семьи и иными вещами, в которые нас не посвящали.

Если же вернуться к журналу, то дальше шли нескончаемые страницы с описаниями достижений прежних выпускников, обычные, нагоняющие уныние сведения о постигшей их участи.

Мы рады были получить весточку от Йена, делающего очень большие успехи в компании «Дорогая водокачка» и по-прежнему регулярно играющего в сквош.

Джон делает блестящие успехи в сельскохозяйственной фирме, которая поставляет машины в Уганду.

Адам Картер написал нам из Гибралтара, где он служит в Сомерсетской и Корнуоллской легкой пехоте.

Ни одна вечеринка или встреча друзей не была бы полной без Чарльза Гамильтона. На балу охотников Беркли он в своем килте просто блистал.

Как нам сообщили, Мартин Вуд очень счастлив в Стоу, где он сейчас с энтузиазмом руководит псовой охотой.

Питер Пресланд каждый день приезжает в Лондон, где работает в юридической фирме «Брейсуэлл и Ливер», – днем он работает в ней как знаток

коммерческого права, а ночами в ежедневной газете, в качестве «эксперта» по печатной клевете.

Мне нравятся кавычки, в которые взято «эксперт», они придают этому слову бесчестящий оттенок – и по заслугам.

Еще об одном старом выпускнике, получившем немалую известность благодаря удачной женитьбе, мы узнаем следующее:

Марк Филлипс (1957–1962) Мальборо

Мы все пришли в восторг, когда Марк снова одержал победу в Бадминтоне.

Речь, надо полагать, шла о ежегодных трехдневных испытаниях рысаков, а не о заурядной игре с ракеткой и воланом…[42]

«Стаутс-Хилл» был школой *сельской*, именно это обстоятельство и проступает с наибольшей силой во всех ее школьных журналах. Вспоминая время, проведенное в этой приготовительной школе, я вижу себя под открытым небом: гуляющим, спотыкающимся и падающим, строящим шалаш, гребущим, удящим рыбу, а зимой – скользящим по крепкому льду озера, летящим на санках и скатывающим, спускаясь по склону холма, снежный ком, пока он не вырастает до размеров небольшого автофургона. Я помню, как заучивал названия птиц и полевых цветов, как лазил по деревьям, как заходил в самую глубь леса и как поднимался на холм Бери.

Все это сопровождалось болью. Боль началась с невезения, над коим я никакой власти иметь не мог, а закончилась ощущением телесной неловкости, которое с тех пор и сопровождает меня по жизни.

Невезение сводилось по преимуществу к врожденной астме, унаследованной, я полагаю, от отца, который в детстве пролежал целый год в больнице.

Я вступил в школьный клуб покорителей древесных вершин и, к удивлению моему, обнаружил, что страх высоты нисколько не мешает мне быстро и уверенно забираться как можно выше. Затем, в девять лет, я обзавелся жуткой аллергией на то, что летом извергают из себя липы, – на ту самую штуку, которая покрывает липким слоем крыши машин, по неразумию оставленных владельцами на липовой аллее. Результатом стали два проведенных в постели дня, в которые легкие мои сипели, точно изгрызенные мышами органные мехи. В «Стаутс-Хилле»

училось немало астматиков, считается, что воздух Глостершира полезен для них. Один именно по этой причине туда и поступил. Проведя там всего пять недель – пять недель с постоянно прижатым к губам ингалятором, – он уехал в Швейцарию. А в следующем триместре директор школы сообщил нам на утренней молитве о его смерти – и все повернулись, чтобы взглянуть на меня.

Позже – и особенно в закрытой школе – я научился искусно использовать мою астму для увиливания от неприятных мне занятий. Вызвать приступ ничего не стоило – довольно было сунуть голову в пыльное нутро письменного стола или в кусты, которые, как я хорошо знал, для меня опасны. Я начал отчаянно гордиться моей астмой, так же, как впоследствии возгордился моим еврейством и моей сексуальностью. Обыкновение занимать агрессивно-оборонительную позицию в отношении тех качеств, которые кто-то мог счесть слабостью, стало одной из отличительнейших черт моего характера. Да, полагаю, такой и осталось.

Как-то под вечер я, катаясь с другом на качелях, сломал левую плечевую кость и до конца триместра проходил в пращевидной повязке. Два дня спустя и брат мой сломал руку *точно* в том же месте – вот вам истинное совпадение. Конечно, он сломал руку на поле боя, играя в регби. Я был дурнем, который мог с легкостью избежать увечья, а он – отважным солдатом. Правда, впоследствии выяснилось, что руку он сломал, когда попробовал стибрить из кухни какую-то еду прямо под носом Абеля, и тот спустил его с лестницы. В те дни подобного рода случаи предпочитали замять. Бедный Абель никакого вреда Роджеру причинить не хотел, а травма, заработанная на регбийном поле, выглядела более чем достойно.

Где тут причина, где следствие, сказать не могу, однако на третий мой год в «Стаутс-Хилле», после начала астмы и перелома руки, я обзавелся боязнью физической активности почти в любой ее форме, обратившись в жертву острого ощущения собственной телесной неловкости. Ощущение это было связано и с сексуальностью, однако ею мы займемся несколько позже.

Если приготовительная школа расположена на природе, полна любви, вдохновленной природой и на нее же направленной, то ученик, боящийся природы, боящийся во всех ее проявлениях, естественным образом обращается в одиночку, – а если и домашняя его жизнь протекает посреди природы еще более первозданной, у него возникают серьезные проблемы. Ужас, который внушили мне дохлый крот и насекомые, пожиравшие его мертвую плоть, никогда меня не покидал. Одна только мысль о

чешуйницах и вшах, червях и падальных мухах, дождевиках и прочих лопающихся грибах пугала меня до оцепенения. Зловредность смерти, смрад ее, висевший над лесами, перелесками и приозерными рощами «Ста-утс-Хилла», уничтожали любое удовольствие, какое доставляли мне живость белок и барсуков, спокойное достоинство лиственниц, вязов, дубов и ольхи, нежная красота лесной герани, смолевки, колокольчика и пастушьей сумки.

Более того, само бесстрашие других мальчиков создавало новый повод для страха. То, что они никакой неправильности в мире не усматривали, делало их сильными, а меня слабым.

В то время я, полагаю, не помышлял об этом на сколько-нибудь сознательном, заслуживающем разговора уровне. В конце концов, имелись же в школе и другие мальчики из тех, кого сегодня принято называть «ботаниками». И некоторые из них были еще и поботаничнее меня. Одни носили нелепые очки со стеклами в дюйм толщиной, другие спотыкались на каждом шагу, а координацией движений отличались такой, что я рядом с ними ощущал себя просто-напросто гимнастом. Один из учеников до того боялся лошадей, что весь обливался потом, оказавшись хотя бы в двадцати футах от самого низкорослого пони.

Однако два моих недостатка я сознавал с мучительной остротой – и не стану уверять вас, будто с тех пор изжил их полностью.

На первом месте стояло неумение плавать. Рядом со школой располагалось прекрасное озеро, в котором ученикам дозволялось купаться – под присмотром кого-то из взрослых. А был еще и плавательный бассейн, белый, восхитительно овальный, такой мог бы спроектировать Гропиус,[43] вода поступала в него, проходя через замысловатый гравийный фильтр, из которого вечно бил рядом с бассейном игривый фонтанчик. У самого бассейна, на обоих его концах, были устроены чашевидные углубления, заполненные густо-лиловой жидкостью, в которую полагалось окунать, перед тем как войти в воду, обе ступни, – что-то связанное с бородавками, я полагаю.

Если официально свидетельствовалось, что ученик сумел без посторонней помощи дважды проплыть из конца в конец бассейна, он получал звание Пловца, право носить синие плавки плюс разрешение резвиться на глубоком конце бассейна и прыгать с трамплина. Те, кто Пловцами не стал, носили плавки красные и вынуждены были бултыхаться на мелководье, держась руками за бессмысленные, похожие на надгробия, пенопластовые плотики или, еще того хуже, надевая на костлявые конечности надувные подушки.

Я попал в Пловцы лишь на последнем году учебы.

И за всю мою прошедшую с той поры жизнь ни единого раза не купил себе *красных* плавок.

Ночами, пока все прочие спали, я прокручивал в голове кинофильмы – кинофильмы, в которых я плавал, как Джонни Вейссмюллер,[44] Эстер Уильямс[45] и капитан Уэбб.[46] Я погружался в воду, перекатывался в ней, нырял и, опустив в нее лицо, мощно продвигался вперед, легко и ритмично работая ногами. Я проплывал весь бассейн туда и обратно, один только раз за всю дистанцию поднимая голову над водой, чтобы набрать полную грудь воздуха, а другие ученики теснились вокруг, округлив от изумления и восторга рты, наблюдая за мной, восхваляя меня, подбодряя приветственными криками…

Я мог это сделать, я *знал* тогда, что могу. И мне было ясно, что только это знание для успеха и требуется.

Единственная причина, по которой я не мог плавать, состояла в том, что мне сказали: ты не Пловец. Однако здесь, на жестких пружинах моей кровати, пока все прочие спали, я знал, что я – выдра, морской лев, порхающий дельфин, дитя Посейдона, Ихтиандр, друг Фетиды и Тритона, что я и вода едины.

Если бы только мне позволили надеть синие плавки, я бы им всем показал.

Грубое столкновение мелких частностей, шум и спешка дня спутывали все карты, лишая меня необходимого хладнокровия.

– Переоделись, Фрай?

– Хорошо, входите в воду.

– Ну же, давайте, мальчик!

– Да никакая она не *холодная*, господи ты боже мой…

– Ноги! Ноги, ноги, ноги! Работайте ногами!

– Лицо *вниз*. Это вода, она не кусается…

– Ну что за *коряга*…

Взрывы смеха моих однокашников, добившихся великого успеха и теперь плюхавшихся в воду на глубоком конце бассейна, обращались в далекое издевательское эхо, а во мне закипали кровь и страх.

«Но я же умел все это ночью! – хотелось мне крикнуть. – Видели бы вы меня ночью! Я плавал, как лосось… как плещущийся лосось!»

Посинелый, дрожащий, я толкал перед собой пенопластовое надгробие, накрепко зажмурясь и задрав голову так, что шея отгибалась назад, и молотил по воде ногами, вверх-вниз, пыхтя и ухая от усилий и паники. Потом вставал, глотая воздух и давясь, как новорожденный; сопли струились, переплетаясь, из моего носа, хлорка жгла глаза и горло, однако я был уверен, что уж на

этот-то раз, *на этот раз* проплыл по меньшей мере половину длины бассейна.

– Поздравляю, Фрай, полтора ярда.

Я торопливо пробегал по траве и заворачивался в полотенце, трясясь и задыхаясь от усталости и позора.

С каким мучительным вожделением наблюдал я за Лейнгом, безмолвно скользившим, подобно юному угрю, под водой от одного конца бассейна к другому. Он пробивал поверхность воды, не создавая ряби, не задыхаясь, а после, смеясь, точно бог, плыл на спине, на боку, «баттерфляем», возвращаясь назад, переворачиваясь и переворачиваясь на плаву, и казалось, что вода облекает его серебристой пленкой, которая блестит и подрагивает, точно зародышевый мешок гигантского насекомого.

Плотно, на манер балийца, обмотав талию полотенцем, я исполнял, в первозданной адамовой *pudeur,*[47] неуклюжий балет, заменяя плавки трусами, низвергнутый, абсолютно, безусловно и безнадежно, во тьму страдания, в которой ничто – ни деньги, ни объятия, ни сладости, ни сочувствие, ни дружба и ни любовь – не могли предложить мне даже малейшего проблеска радости либо надежды. Жгучий узел, в который стягивались у меня под ложечкой восхищение, негодование, стыд и гнев, – вот одно из тех фундаментальных ощущений детства, которые, подобно вкусу лимонного мороженого или кружочков помидора на поджаренном хлебе, несут нас по ветру памяти или ассоциаций назад, чтобы порою терзать, а порою, разумеется, тешить.

Плавание было для меня наивернейшим, какое дано человеку, приближением к полету. В нем пребывала свобода, легкость, элегантность, упоительное избавление от всего на свете. Плавать умело каждое живое существо – кроме Фрая. Крохотнейший головастик, самая строптивая кошка, примитивнейшая амеба и простейшая водяная блоха.

А я никогда не буду способен на это, никогда. Никогда не смогу соединиться с другими, хохоча, ныряя, хватаясь за них и вопя. Никогда. Разве что в воображении.

Мы говорим о бессердечии детей. «Дети бывают такими жестокими», – говорим мы. Но жестоким может быть только тот, кому есть дело до других.

Дети же в их отношениях с другими и невнимательны, и беспечны. Ждать, что один девятилетка хоть мимоходом задумается о порожденных неумением плавать страданиях другого, нелепо.

В приготовительной школе учились мои одногодки, которые мучились и терзались полной своей неспособностью усвоить даже начатки структуры предложения: именительный и винительный

падежи в латыни и греческом, понятие косвенного дополнения, абсолютный аблатив и последовательность времен – вот что не давало *им* спать ночами. Были и другие, метавшиеся в страдальческой бессоннице, насылаемой их тучностью, весноватостью или косоглазием. Я не помню этих ребят, не помню, потому что мне было не до них. Для меня имели значение лишь собственные муки.

Ничто из того, о чем ты молишься – таков непреложнейший и неприятнейший закон жизни, – не приходит к тебе во время молитвы. Хорошее неизменно запаздывает. Теперь я плавать умею.

Не могу припомнить, как и когда я прошел испытание и получил те самые синие плавки. Я просто знаю, что это произошло. Знаю, что каким-то образом научился плыть по-собачьи, без помощи надгробия и надувных подушек, что одолел две положенных длины бассейна. Знаю я и то, что плавание никогда не станет тем прекрасным, свободным парением ширящейся радости, каким оно мне грезилось.

Впрочем, терзания по поводу красных трусов были докукой относительно малой, душа моя свербела от них далеко не так сильно, как от томительной муки «прихрепы».

«Стаутс-Хилл» никогда не производил впечатления школы более либо менее религиозной, чем другие известные мне. И потому я не без удивления узнал некоторое время назад, что Роберт Ангус, ее директор, писал одухотворенные христианские стихи. Ныне, когда дурные миазмы евангелизма поднимаются, дабы поглотить нас, со всех концов несчастной Божьей земли, уже с трудом вспоминаешь, что было время, когда добрый христианин мог прожить жизнь, не приплетая к каждому слову «помощь несчастным» и «спасение души». Бог был полным достоинства и великодушия отцом, а Христос – его прекрасным, влажнооким сыном; они любили тебя, даже если видели сидящим в уборной или ворующим сладости. Таково было христианство – вещь никак не связанная с гимнами, псалмами, песнопениями и церковной литургией.

В 1960-х Британия только еще начинала соскальзывать в жуткое болото, созданное духовной музыкой, которая пишется специально для детей, – «Иона», «Господь танца», «Занимается утро» и прочая умонелепая дребедень. Сочинялись новые мотивчики для «О Иисус, я дал обет», и по всей стране учителя музыки и праздные, заевшиеся композиторы донимали нас новыми рождественскими хоралами и новыми музыкальными переложениями «*Te Deum*»[48] и «*Nunc Dimittis*»,[49] кое-кто из них даже тянул, что плохо лежит, из негритянских спиричуэлс и

американских духовных песнопений, и результаты получались столь тошнотворно смутительные, что я и сейчас краснею, вспоминая о них. Упитанные белые британские дети, отдыхавшие летом с родителями в домах прежних плантаторов Багам и Ямайки, хлопали в ладоши, били в тамбурины и звенели в треугольнички под шепеляво распеваемые «Отпусти мой народ» и «Никто не знает моих бед», и все это сопровождалось лязгом цимбал и символикой, которая и поныне терзает мое воображение.

А впрочем, самая мысль о преподавателях музыки, хлопающих в ладоши и скандирующих: «И *раз*, и *два*, и *три,* и та-та-та-тааа!!» – всегда приводит к тому, что кровь ударяет мне в голову, – и какое-либо чувство этнической вины и иные ассоциации этого рода тут решительно ни при чем.

Каждое утро после завтрака колокол призывал нас в небольшую церковь. Беглая служба состояла из не более чем горстки молитв, которые отбарабанивал староста (сильно нажимая по освященной временем британской традиции на выделенные курсивом слова из «Официального варианта»,[50] как будто их именно для того в текст молитвы и вставили), и какого-нибудь хорошо нам знакомого гимна. Однако по воскресеньям служба была настоящая – с множеством кратких молитв, псалмами, антифонами, откликами, общим пением и проповедью. Хор облачался в синие саккосы с крахмальными плоеными воротниками и шествовал со свечами по храму, учителя добавляли к своим мантиям полагающийся горностаевый мех либо алые капюшоны, мы же облачались в лучшие наши костюмы и аккуратно причесывались – благопристойность нашего вида еще в спальнях проверяли Систер Пиндер, матрона и целая команда суровых старост. На каждой воскресной службе пелся – в зависимости от читаемой на ней литании и времени года – свой особый псалом, к тому же мистер Химусс, наш преподаватель музыки, любил использовать воскресенья для исполнения новых гимнов, которых мы никогда прежде не пели. А это означало, что их нужно было разучивать. Поэтому по субботам мы оставались после утренней молитвы в церкви (собственно, то был гимнастический зал с оборудованным в нем алтарем), и начиналась «прихрепа» – сокращение, что мне в ту пору ни разу не пришло в голову, от «приходской репетиции». На ней мы проходили, такт за тактом, завтрашний псалом и мелодии завтрашних же, еще не знакомых нам гимнов. По субботам на завтрак неизменно подавались сваренные вкрутую яйца, а на всем этом свете нет ничего неприятнее помещения, заполненного людьми, которые только что наелись крутых яиц. Каждое пуканье

и рыганье наполняло воздух сернистым газом, гнусными, смрадными дуновениями, и даже сегодня, учуяв их где-нибудь, я немедля возвращаюсь в ад «прихрепы».

Я только что изливал перед вами страстные томления и потуги на самобичевание – все, что обуревало меня по причине моего неумения плавать. Так вот, эти чувства были ничем, ничем и *остались* в сравнении с тем, что я ощущал и теперь еще ощущаю, думая о Господней жестокости и злонравии, о непростительной жестокости Бога, отказавшего мне в музыкальном даре.

Музыка есть глубочайшее из всех искусств, глубинная их основа. Та к сказал где-то Э. М. Форстер.[51] Если плавание наводило меня на мысль о полете, то музыка внушала представление о чем-то гораздо большем. Музыка была своего рода проникновением. Возможно, *впитывание* – слово несколько менее выспреннее. Проникновение или впитывание всего в себя самое. Не знаю, случалось ли вам принимать ЛСД, однако, когда вы его принимаете, врата вашего восприятия распахиваются, о чем не уставали твердить нам Олдос Хаксли, Джим Моррисон и присные их. На самом-то деле это фраза из тех, которые – коли, разумеется, вы не Уильям Блейк – обретают смысл, лишь если по венам вашим действительно кружит ЛСД. Заурядность чашки кофе и сэндвича с бананом, которые стоят сейчас у меня под рукой, обращают эту фразу в нонсенс, – надеюсь, впрочем, что вы меня поняли. ЛСД позволяет нам проникать в *суть* вещей, в их сущность, в их существо. Вам вдруг открывается водность воды, ковровость ковров, древесность дерева, желтость желтизны, ногтеватость ногтей, всецелость всего, ничтовость всего и всецелость ничто. По моему убеждению, музыка тоже дает нам доступ к каждой из сущностей существования и при этом обходится лишь в малую часть той социальной и денежной цены, которую приходится платить за наркотик, к тому же она не вынуждает нас то и дело вскрикивать «Оу!», каковая необходимость есть один из наиболее удручающих и наименее симпатичных побочных эффектов приема ЛСД.

И другие искусства способны на это, однако другие искусства всегда заключены в некие пределы, всегда соотносительны. Скульптура либо фигурально репрезентативна, либо ограничена своим материалом, реальным и осязаемым. Слова стихотворения отсылают нас к чему-то иному, от них веет обозначением и соозначением, иносказанием и пустозвучием, условностью и знаковостью. Краски материальны, а сама картина заключена в раму. Музыка же, при всей точности ее формы и математической деспотичности ее законов, ускользает в вечность абстракции, в

абсурдно возвышенное, каковое пребывает сразу везде и нигде. Хрипоток наканифоленных струн, пузырящийся слюной взрев трубы, скрип потных пальцев на гитарных ладах, вся эта телесность, все неизящество «делания музыки», вся топорность человеческого труда, куда более грязного, чем умело затушеванное пентименто или стыдливо живописная манерность родственных искусств, вырывается из своих пределов в самый миг сотворения музыки, в миг, когда она действительно *случается*, пройдя путь от вибраций инструмента, вибраций динамиков к вибрациям барабанной перепонки, а от нее через внутреннее ухо в мозг, где начинает вибрировать сознание – на частотах, которое оно задает само.

Внематериальность музыки может отливаться настроением слушателя в формы самые строгие, а может и литься сама – свободно, как мысль; музыка может следовать научной, теоретической схеме собственной модальности, а может придерживаться сюжетной или диалектической программы, навязанной вам знакомым, каким-нибудь ученым мужем или самим композитором. Музыка – это все и ничто. Она бесполезна и беспредельна в ее полезных применениях. Музыка увлекает меня в края, полные безграничной чувственности и неосмысленной радости, доводя до вершин восторга, которые никакой нежный любовник и представить-то себе не способен, или погружая в ад нечленораздельно рыдающей муки, до которой не смог бы додуматься ни один пыточных дел мастер. Музыка заставляет меня писать такого вот рода бессвязную отроческую лабуду и нисколько этого не стесняться. Музыка – это на самом-то деле херня собачья. Вот наиболее точное ее определение.

И Я, МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ, ЛИШЕН КАКИХ НИ НА ЕСТЬ СПОСОБНОСТЕЙ К НЕЙ

Я и «Чижика-пыжика» спеть не способен, не сфальшивив. Я даже ритма «Шагайте, воины Христовы» выдержать не могу, непременно вперед убегаю. Я, *мать-перемать, лишен каких ни на есть способностей к ней.*

Да шел бы он, этот Сальери, со всем его манерным, нахальным нытьем. Может, оно, конечно, и худо – уметь творить музыку *лишь отчасти*, не так хорошо, как тебе хотелось бы. Очень я был бы *рад* это проверить. Но я-то, мать вашу так, *вообще ничего* не умею.

Смотреть, как друзья теснятся у фортепьяно, распевая «Всегда ищи в жизни хорошее», «Все пройдет», «Желтую подводную

лодку», «Саммер-тайм», «Лесного царя», «Она придет из-за горы», «Эдельвейс», «Мальчик резвый» – да какая, на хер, разница, что они распевают…

Я-ТО К НИМ, МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ, ВСЕ РАВНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ НЕ МОГУ

И когда на дне рождения все запевают «С днем рожденья тебя», мне приходится разыгрывать мимический этюд… или бормотать и рокотать, да так низко, что расслышать меня могут только кроты, скаты и грибы.

Я не просто человек, лишенный музыкального слуха; музыкально глухой – вот в чем состоит вся распродолбанная, охеренная, блядская *мерзопакость*.

Я ДАЖЕ НЕ ГЛУХ, МАТЬ ВАШУ ТАК, МУЗЫКАЛЬНО

Я музыкально НЕМ.

Мелодии – да, вот они, все здесь, у меня в голове. Они здесь, совершенные до последнего четвертьтонового интервала, до последней семи-деми-полу-восьмой ноты. «Хаффнер», «Фернандо», «Все, что любит Лотта», «Военный марш», «Ночь и день», «Танец феи Драже», «Я слышал это из-за лоз», «Богатырские ворота», «Тема Лары», «Отныне странник», «Помни, ты Уомбл» и даже вступительные такты «Тиля…» мать его «…Уленшпигеля», – я без каких-либо усилий могу мысленно воспроизвести их.

И не только мелодии, но и гармонии, ритмические рисунки, *все*. Я обнаружил также, что обычно способен назвать тональность вещи – до минор, ре мажор, ми-бемоль мажор, для меня они различимы, как простые цвета, не бог весть какой ошеломительный дар, но он хотя бы доказывает, что я не лишен слуха. Однако между тем, что происходит у меня в голове, и тем, что я способен выразить посредством голоса или пальцев… именно здесь и залегает тень, густая и плотная.

– Как там эта мелодийка из «Бонанзы»? – спрашивает кто-нибудь, и все хватаются за лбы и морщатся, насилуя свою память.

Но вот же она, вся тема «Бонанзы», здесь, у меня в голове, со всеми ее причиндалами, полностью оркестрованная, безупречная до последней трели и триоля, каждая частность ее законченна и совершенна, и Венский филармонический играет ее в моем сознании – первая скрипка Исаак Стерн, за дирижерским пультом

Фуртвенглер. Я слышу ее так же ясно, как слышу мощный рев машин, направляющихся в час пик по шоссе A47 из Кингс-Линна в Суоффем.

– Ну так давай, Стивен. Раз слышишь, *напой*… Ха! Хороша шутка. С не меньшим успехом я мог бы попытаться соорудить автомобильный двигатель из спагетти или прилично одетого человека из Мартина Льюиса.[52]

Когда же я пробую, когда действительно пробую воспроизвести согласие сладостных звуков, которые столь совершенно проливаются через мое сознание, то, что я издаю, шокирует людей, приводит их в замешательство. На меня начинают поглядывать косо, с легким отвращением, как будто я совершил нечто непростительно бестактное, небританское, скажем, пукнул в присутствии королевы-матери или врезал Алану Беннетту[53] по яйцам.

Но ведь голос-то у меня есть, так? Голос, который способен сымитировать любой выговор, голос с порядочным репертуаром образов и персонажей. Почему же я не могу передать звуки музыки такими, какими их слышу? Откуда этот музыкальный запор? Почему?! Господи, *почему*?

И почему меня это так *злит*? Вон, разглагольствуя на эту тему, я несколько страниц заполнил самой возмутительной бранью, самыми необузданными выходками, но отчего же я так выхожу из себя? Господи, да некоторые люди и *ходить-то* не могут. Другие же страдают дислексией или церебральным параличом, а я разнылся по поводу отсутствия у меня музыкального дара. В конце концов, что уж такого страшного в неспособности изобразить мелодию?

– Да брось ты, старина, – мог бы попробовать урезонить меня какой-нибудь рассудительный доброхот. – Мы же *все* знаем, как выглядит Мона Лиза, все можем мысленно изобразить ее, вплоть до трещинок на лаке и дымчатых теней в ямочках при уголках рта. Но кто бы из нас взялся ее нарисовать? И мы не жалуемся, просто пожимаем плечами и говорим, что рисовальщики из нас никакие… так почему бы и тебе не сказать примерно то же о своей неспособности петь?

Ну да, конечно, очень мило. Но видите ли, в музыке присутствует нечто большее. Музыка *социальна*, музыка начинается *с танца*. Суть музыки в единении с другими людьми, в *присоединении* к ним. Когда я стенаю по поводу плавания или пения, я на самом-то деле оплакиваю мою неспособность *присоединиться к другим*. Хотя не то чтобы оплакиваю, если быть откровенным. Просто пытаюсь снова проникнуться давними моими страданиями и разобраться в них.

В одном из моих любимых фильмов («На холостом ходу» Сидни Люмета, 1988) есть сцена, в которой Ривер Феникс (в самом жизнерадостном его настроении) появляется в новой школе – под новым именем (Мэнфилд), с новой биографией (выдуманной) и с окрашенными в новый светлый цвет волосами (упоительными). Он и его родители всю жизнь скрываются от ФБР – «пребывают в бегах», как говорят в Америке. Зрители знают, что Феникс – исключительно одаренный пианист, а вот Эд Кроули, который играет преподавателя музыки этой новой школы, ничего такого не знает. Когда Феникс приходит в музыкальный класс, Кроули проигрывает ученикам выдержки из двух музыкальных записей – из танцевальной вещицы Мадонны и из классического произведения для струнных.

– В чем разница между двумя этими сочинениями? – спрашивает Кроули.

В классе раздаются смешки. Разница попросту очевидна.

– Одно хорошее, а другое плохое? – пытается угадать кто-то.

Явная подхалимская чушь. Мы же видим, что большинству учеников Мадонна милее классики.

– Ну, это вопрос вкуса, – отвечает подлизе Кроули.

Феникс, которого с младых ногтей учили не привлекать к себе внимание, обводит класс взглядом. Мы *знаем*, что у него-то ответ имеется, но какой?

Ну ладно, а что бы, коли на то пошло, ответили *вы,* если бы вас попросили назвать разницу между Мадонной и классическим струнным квартетом?

Эд Кроули обращается к новому ученику.

– Мистер Мэнфилд? – произносит он. – Помогите нам разобраться в этом. Что думаете *вы*?

Чуть приметная пауза, Феникс смущенно поигрывает карандашом, но затем отвечает:

– Под Бетховена нельзя танцевать? Мне это нравится.

Под Бетховена нельзя танцевать.

А если нельзя танцевать, так не к кому и *присоединиться*.

Музыка в «традиции регтайма и джаза» (почему мне все кажется, что в слове «традиция» присутствует елейность слова «сообщество»? «Сообщество геев», «разделенное сообщество жителей Северной Ирландии» – «традиция негритянского духовного пения», «фолк-традиция»), а с нею и блюз, ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, соул, фанк, регги, поп, ска, диско, рэп, хип-хоп, техно, эйсид-хаус, джангл, Теско, кошелка, транс, гипно и прочие – все хранят свои ритмы и танцевальные корни, и настоящее место их – все еще танцевальные залы и спальни подростков, ставящих одну запись за другой. Это музыка публичная, открыто

обозначающая возраст ее потребителя, и она по-прежнему *танцевальна*, – собственно говоря, сейчас, когда расцвет фолк-рока и хард-рока миновал, она *танцевальна* более, чем когда-либо.

Если два-три человека собираются, чтобы послушать «Блокбастер», «Продуваемого ветром», «Волынщика у ворот зари», «Серебряный молоток Максвелла», «Давай, Эйлин» или «Релакс», [54] они танцуют другой танец, танец поколения, который объединил этих людей в их десятилетии, в том возрасте, в коем они пребывали, когда эта музыка появилась, – с их нелепыми брючками, любимыми телепрограммами, стереосистемами, которые они неделями собирали, разбирали и снова собирали в своих спальнях, с девочками и мальчиками, о которых они думали, внимая словам этих песен и гитарным аккордам.

Для поколений более ранних такую же роль могут играть «Ты нынче одинок?», «Тискет-таскет», [55] «Мы встретимся снова» и «Лунная серенада» Гленна Миллера. Те, кто, слушая, как «Сестры Эндрюс» поют «Буги-вуги-багл-бой», вскрикивает: «О, это просто возвращает меня к моим первым танцам! К первым нейлоновым чулкам! К моей первой машине “Алвис”!» – были бодры и веселы и в то время, когда Бриттен сочинил «Поворот винта» или Уолтон – «Валтасаров пир», однако, если до них донесется по эфирным волнам «Морская интерлюдия» из «Питера Граймса», [56] вы вряд ли услышите, как они взвизгивают от восторга, вспоминая свои первые выходы в люди, первые поцелуйчики и первую губную помаду. Классическая музыка есть искусство приватное, к ней такого рода ассоциации не пристают.

Этим отчасти и объясняется на редкость головной характер классической музыки. Ее лишенные контекста абстракции уводят и слушателя, и исполнителя из потока общественной жизни в их собственные мысли, как это делают игра в шахматы, занятия математикой и прочие чисто головные затеи. Впрочем, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского не такая уж и головная – каждый, услышав ее, веселеет и поминает шепотком лозунг из телерекламы магнитофонных кассет: «Макселл! Преодоление звукового барьера…»

Классическую музыку можно, стало быть, «спасти» от пустоты головных абстракций, связав ее с кино, телевидением и рекламой, так что Бетховен будет наводить вас на мысли об энергетических компаниях, Моцарт – об «Эльвире Мадиган» и «Поменяться местами», [57] Карл Орф – о лосьоне «Олд Спайс», да и современные нам композиторы – Филип Гласс, Гурецкий и, да поможет нам Бог, Майкл Найман – окажутся подобным же образом, и еще до скончания этого века, поставленными на

службу «Лабораториям Гарнье» и хлопьям «Фростик». Поклонники классической музыки обычно склонны проклинать индустрию рекламы заодно с производителями рекламных роликов и телепрограмм за вульгаризацию их любимого искусства. Если вы не можете слушать «Маленькую ночную серенаду», говорят они, не вспоминая при этом Роберта Робинсона и «Мозг Британии»,[58] или моцартовскую «Музыкальную шутку» без того, чтобы в голове у вас не заскакали галопом ипподром Хикстед и шоу «Лошадь года», значит, вы пошлый человек. Ну так это полная чушь. Такой же снобизм распространяется ныне и в отношении поп-музыки, мы уже слышим жалобы на то, что «Кинкс» впряглись в ярмо «Желтых страниц», а Джон Ли Хукер обратился в крупного торговца.

Деспотический снобизм, в который впадают, когда дело доходит до музыки, приличные во всех иных отношениях люди, попросту не имеет пределов.

В самом начале нашей дружбы с Хью Лаури я неделю покатывался со смеху, наблюдая, как он изображает сцену на молодежной вечеринке: некий безымянный персонаж приближается к стопке пластинок, лежащих близ проигрывателя, перебирает их одну за одной, а после, холодно нахмурясь, с кислым неодобрением спрашивает: «Так у вас что же, никакой порядочной музыки нет?»

Наводящие тень на плетень журналисты из «НМЭ»[59] и понятия не имеют, насколько близки они к помешанным на опере геям, балетоманам и симфоническим рецензентам журнала «Граммофон». Близнецы-братья, вот кто они такие. Или вернее сказать, братья-разбойники.

Племенная принадлежность, сексуальная общность, ощущение *партии* – таковы популярные музыкальные подношения, а для меня они всегда были запретными зонами. Отчасти по причине моего музыкального запора – танцевать не умею, к хору присоединиться не могу, – отчасти по причине ощущения мной собственного телесного «я», ощущения, что я смешон, долговяз, лишен координации и нескладен.

С другой стороны, я не Бернард Левин.[60] Я не влюблен в сам мир классической музыки, я не стараюсь проторить интеллектуальный, личный или эстетический путь, который приведет меня к личным отношениям с Шубертом, Вагнером, Брамсом или Бергом. С третьей же стороны, я не Нед Шеррин,[61] преданный мюзиклам, «Аллее луженой посуды»[62] и песенкам двадцатого века. Я, правда, приобрел первую известность с помощью постановки мюзикла, однако сам он для меня мало что значит. Боюсь, я не шоу-гёрл.

Я не способен должным образом выразить то, что делает со мной музыка, не показавшись при этом манерным, претенциозным, чрезмерно чувствительным, дающим себе слишком много воли и нелепым. А потому не способен и выразить должным образом то, что сделали со мной годы и годы понимания: мне никогда не удастся создавать музыку хотя бы самого примитивного сорта.

Я *хотел бы* танцевать. Не профессионально, просто когда танцуют все прочие.

Я *хотел бы* петь. Не профессионально, просто когда поют все прочие.

Я хотел бы *присоединиться*, понимаете?

Чувство вины, как говорит нам Майкл Джордж, сбивает ногу с ритма.

Нет, *играть* я могу… я хочу сказать, что, сделав над собой волевое усилие, могу выучить фортепианную пьесу и воспроизвести ее так, что люди, услышавшие *это*, не обязательно побегут кто куда, зажимая ладонями рты, и рвота будет сочиться между их пальцев, а из ушей капать кровь. Да ведь игра на фортепьяно и не требует умения создавать мелодию. Я нажимаю клавишу «до» и знаю, что получится «до». А вот если бы я попробовал освоить игру на струнном или духовом инструменте, из которого надо уметь извлекать звучащие ноты, то страшно даже подумать о том, какой результат у меня мог бы получиться. Игра на фортепьяно и создание музыки – это совсем не одно и то же.

Все это не так уж и важно само по себе, однако мне все кажется, что оно как-то связано с вечным моим ощущением отдельности, ощущением неспособности присоединиться к другим, сказать себе: пусть все идет как идет, стать частью племени; кажется, что именно поэтому я всегда лишь язвил и иронизировал, сидя на скамейке запасных игроков, именно поэтому так никогда, никогда и не избавился от моей всеподавляющей самосознательной самосознательности.

Впрочем, оно не так уж и плохо. Обостренное самосознание, отстраненность, неспособность присоединиться к кому бы то ни было, физическая стеснительность и неприязнь к себе – все это вовсе не плохо. Эти бесы были также и моими ангелами. Без них я никогда не попытался бы укрыться в языке, в литературе, в игре ума, в смехе – во всех этих сумасшедших глубинах, разобравших меня на части и собравших снова.

Пение начиналось для меня, как и для большинства из нас, в форме общинной. Не помню, было ли то «Все прелестно и

прекрасно», «Милый маленький малыш», «Укладываясь в ясли» или «Спасибо за хлеб наш насущный» – обычно именно с их помощью дети впервые пробуют свои голоса в музыке. Я, подобно всякому другому ребенку, присоединился к прочим детям и больше на сей счет не задумывался – пока не попал в приготовительную школу и на «прихрепу».

У школьных старост имелось обыкновение патрулировать во время «прихрепы» ряды церковных скамей, удостоверяясь, что все, кто их занимает, относятся к происходящему с должным вниманием и вообще стараются что есть сил.

В одну из суббот, возможно на третьей или четвертой моей неделе в «Стаутс-Хилле», наш учитель музыки выбрал для завтрашней службы гимн «Золотой Иерусалим». До того дня мы никогда его не пели. Не знаю, знаком ли он вам, – вещь очень красивая, но не легкая. Множество необычно детонированных нот, трудноуловимый ритм, кажется, на тысячи миль отстоящий от простенького трам-па-пам «Шагай же, воинство Христово» – гимна, который сможет пропеть-проговорить-пробормотать, не привлекая к себе большого внимания, любой старый дурак.

Мы послушали Химусса, несколько раз проигравшего новую мелодию на фортепьяно, потом, как обычно, первую свою попытку предпринял хор. А потом пришел наш черед.

Обычно я над происходящим особенно не задумывался, просто бессмысленно присоединялся к другим, но тут вдруг заметил, что рядом со мной остановился староста, Керк. Он придвинул лицо вплотную к моему, приблизил ухо к моему рту, а затем громко крикнул:

– Сэр, Фрай фальшивит!

Жгучая волна ударила мне в лицо, потом ударила снова. То были жар и дрожь, которые способна породить лишь несправедливость – гнусная, злая, непотребная, непростительная несправедливость.

Химусс перестал играть, сотня голосов стихла и смолкла, сотня лиц повернулась в мою сторону.

– Ну-ка, Фрай, давайте отдельно, – сказал Химусс, – и *два*, и *три*, и…

И…

…молчание.

Рот мой круглился, принимая форму слов, в горле могло посипывать, а могло и не посипывать хрипловатое дыхание, однако ученики школы не услышали ничего и ничего не увидели, кроме алой, заливающей лицо краски да зажмуренных от стыда глаз.

– Это не *игра*, Фрай! *И* два, *и* три…

На сей раз я постарался. Правда постарался. И несколько слов соорудить мне удалось.

Однако дальше, чем «благословенны мед и млеко», я не добрался: Химусс прервал игру, Керк прошипел: «Господи, *ни одной верной ноты*!» – и через секунду церковь словно взорвалась от ухающего, лающего хохота.

С тех пор мне не раз приходилось бывать на свадьбах и похоронах горячо любимых друзей, и всегда выяснялось, что я способен лишь шевелить губами, изображая произнесение слов, которые мне столь отчаянно хотелось пропеть. И я ощущал себя виноватым в том, что смог почтить тех, кого так любил, лишь пустыми, в буквальном смысле, словами. Поскольку по части словес и актерской игры я все же довольно силен, меня в таких случаях нередко просили произнести короткую речь, и уж с этим-то я справлялся. Однако хотелось мне совсем другого. Все, чего я вечно жаждал, – это стать частью хора, слиться с ним.

Это и на самом деле так?

Я только что написал эти слова, но правду ли я написал?

И вот что странно. Я вовсе не помнил, как меня осмеяли на «прихрепе», пока почти двадцать лет спустя не отправился на прием к гипнотизеру.

Эх, ничего себе… теперь еще и гипнотизер?

Да, так случилось, но визит этот был предпринят из соображений чисто практических.

В 1980-х мы с Хью Лаури писали и исполняли сценки характера более-менее юмористического для комедийно-музыкального шоу «Живьем в субботу», шедшего по Каналу 4. Это была та самая программа, с которой началась широкая слава Бена Элтона и Гарри Энфилда.[63]

И как-то раз мы с Хью сочинили скетч, в конце которого мне предстояло спеть. Даже и не спеть по-настоящему, а так – продекламировать стишок в манере «ритм-энд-блюз», не более того. Гарри Энфилд должен был дирижировать, стараясь добиться довольной улыбки Ронни Хейзлхерста,[64] оркестриком, состоявшим из музыкантов в забавных наушниках, а Хью, по-моему, – играть на гитаре или фортепьяно. Уже и не помню, почему петь выпало мне, а не Хью, который обычно заведовал у нас вокальной частью. Может, ему еще и с губной гармоникой управляться приходилось. Хью-то поет будь здоров и играет на любом музыкальном инструменте, какой ему подсунут, сукин сукин сукин сукин *сукин* сын.

Я сказал Хью и всем, кто готов был меня выслушать: «Но это безумие! Ты же знаешь, я не *могу* петь…»

Хью не то по злобе, не то потому, что состроил коварный

план, который вынудил бы меня загнать моих музыкальных демонов по уши в землю, ответил, что я просто *обязан*, и делу конец. Думаю, все происходило в среду: программа, как следует из ее названия, шла в прямом эфире субботними вечерами.

К утру четверга от меня осталась только подсыхавшая на полу лужица.

Ну как я мог спеть, да еще и в прямом эфире?

Беда состояла в том, что даже если бы я просто проговорил мой стишок, то все равно переврал бы ритм. Начнется музыкальное вступление, а я не смогу попасть в нужное место нужного такта. И то, что я в итоге учиню, исказит весь смысл скетча. Он окажется сценкой, в которой человек издает пугающий шум без всякой на то причины.

Страх сцены присущ многим. В тот самый миг, когда таким людям приходится заговорить или изобразить что-либо на публике, у них перехватывает горло, подгибаются ноги, а слюна обращается в их ртах в алюминиевую пудру. Вот и со мной происходит то же самое, но только когда дело касается музыки, а не слов. Оставаясь наедине с собой или, скажем, принимая ванну, я, если по приемнику, стоящему в ванной комнате, передают музыку, способен просто купаться в правильных ритмах. Но если мне кажется, что меня кто-то слышит, пусть даже домашняя муха, я краснею, бледнею, и все идет вкривь и вкось: я лишаюсь способности хотя бы подсчитать число ритмических ударений в такте.

И потому мне пришло в голову – тогда, в четверг, – что, возможно, гипнотизеру как-то удастся избавить меня от этой стеснительности и, оказавшись в субботу перед камерами и публикой, я смогу одурачить себя, внушить себе, что я один и никто меня не видит.

Чем дольше я размышлял над этой идеей, тем более разумной она мне представлялась. В Моцарта или в Мадди Уотерса он меня не превратит, но, быть может, сумеет убрать психологический барьер, в который я утыкаюсь всякий раз, как встречаюсь на людях с музыкой.

Для начала я отправил на прогулку мои пальцы, а затем последовал за ними на Мэддок-стрит, 31, где держал небольшую приемную гипнотерапевт по имени Майкл Джозеф. Тут меня ожидал полный комплект – успокоительная повадка и более чем утешительный венгерский выговор. Запанибратские, диск-жокейские интонации Пола Маккенны,[65] вероятно, обратили бы меня в бегство, а вот звучный среднеевропейский акцент оказался именно тем, что требовалось. Помимо всего прочего, он напоминал мне о дедушке.

Я изложил суть моих затруднений.

– Понимаю, – сказал мистер Джозеф, складывая перед собой ладони, совершенно как Шерлок Холмс в начале консультации. – И что да… как вы скадали… что да *реплика* служит сигналом к началу вашего пения в этой программе?

Мне пришлось объяснить, что, ну, в общем, я должен запеть, едва лишь мне скажут: «Валяй, сучка…»

– Так. Ваш друг, он говорит: «Валяй, сучка…» Датем начинается мудыка, и вы должны дапеть. Да?

– Да.

Погружение в транс оказалось делом по-детски простым и удручающе пустяковым. Карманными часами перед носом моим не покачивали, медленная музыка или пение китов на заднем плане не звучали, и никакие гипнотические глаза в душу мою не проникали. Мне просто было велено положить руки на колени и ощутить, как ладони тают, стекая в ноги. Спустя недолгое время я уже не мог отличить рук от коленей, а с расстояния в несколько миль до меня доносился густой и звучный венгерский голос, объяснявший, какую приятную расслабленность я начинаю испытывать, каким тяжелым свинцом наливаются мои веки. Все немного походило на спуск в колодец, при котором голос гипнотизера удерживал меня, подобно веревке, от испуга и ощущения полной покинутости.

Когда же я впал в то, что мог бы, пожалуй, назвать трансом, меня попросили поделиться всеми воспоминаниями и мыслями, связанными с пением. Тогда-то в мое сознание и хлынули без всякого удержа подробности касательно Керка и унижения, сопровождавшего мою попытку изобразить соло «Золотой Иерусалим».

Так вот оно что! Вот что столько лет держало меня в узде. Память об испытанном в детстве, на глазах у всех, унижении, твердившая, что я и не мог никогда, и никогда не смогу петь на людях.

Голос гипнотизера, сразу и далекий, и невероятно близкий, внушал мне, что, когда я услышу слова «Валяй, сучка…», я почувствую себя абсолютно свободным и уверенным, как если бы сидел один в ванне и никто бы меня не оценивал, в том числе и я сам, и стесняться мне будет нечего. Я спою то, что должен спеть в субботу, – с пылом, с жаром, с радостью и облегчением, с довольством и самодовольством компании валлийцев, которая катит в железнодорожном вагоне на матч по регби. Уподобление не его, но именно это он и имел в виду.

Я впитал внушение и сделал в собственном сознании странную, словно эхом отзывавшуюся пометку насчет того, что

все это чистая правда, что ужас, который внушало мне субботнее выступление, просто нелеп, а между тем сам я бормотал, со всем этим соглашаясь.

Произведя обратный отсчет, возвративший меня в сознательное состояние, и рассказав, как свежо и роскошно я буду чувствовать себя до конца этого дня, гипнотизер совершил непременную попытку продать мне выстроившиеся по его книжным полкам в ряд кассеты под названием «Курение, диета и бессонница» и отправил меня восвояси, и я ушел. Бумажник мой облегчился на пятьдесят с чем-то фунтов, а душа – на миллион кило.

То, что я проделал в субботу, не могло, разумеется, сравниться с дебютом Мэрилин Хорн[66] в «Мет» или с выпуском ленноновского альбома «Вообрази», однако я справился – без румянца стеснительности и без острых приступов страха.

И только после шоу, завернув, как обычно, в «Занзибар», в давнее, существовавшее еще до эпохи клуба «Граучо» заведение, в котором предпочитали утолять жажду комедианты, фотографы, художники и тому подобная публика 1980-х, я сообразил вдруг, что чертов жулик снял с меня музыкальные вериги лишь на этот, *один-единственный* случай.

«Валяй, сучка…» было простеньким пусковым механизмом одноразового действия, и он уже сработал – в этот субботний вечер. Гипнотизер не избавил меня от музыкальной заторможенности навсегда. Сила талисмана была израсходована полностью – если бы я захотел еще раз спеть на публике, мне пришлось бы тащиться на новый треклятый прием к гипнотизеру. И я, там и тогда, в припадке питаемой водкой и кокаином запальчивости, дал себе зарок никогда больше этого не делать.

Стивен и пение – две вещи несовместные.

Я благодарен гипнотизеру за встречу с забытым воспоминанием, но больше ходить этим путем ни малейшего желания не имею. В густых терновых зарослях моего мозга наверняка сокрыты и другие воспоминания, однако никаких причин прорубаться к ним я не вижу.

Музыка значит для меня безумно много, я уже сказал об этом, я мог бы исписать страницы и страницы, излагая мои мысли о Вагнере, Моцарте, Шуберте, Штраусе и прочих, однако в этой книге моя страсть к музыке и моя неспособность выразить эту страсть на ее, музыки, языке символизируют всегда остававшееся со мной чувство отдельности, отстраненности. В сущности, они символизируют также и любовь, и мое неумение выразить ее так, как она того заслуживает.

Мне всегда хотелось обрести способность выражать музыку,

любовь и многое иное из того, что я чувствую, на собственном их языке – не вот на этом, *не* посредством этой обстоятельной череды глаголов, прилагательных, наречий, существительных и предлогов, которые катят сейчас перед вами в сторону точки и следующего за нею абзаца, набитого новыми словами.

Понимаете, коли на то пошло, я думаю иногда, что ничего, кроме слов, у меня и нет. Собственно, я не уверен, что способен думать, не говорю уж – чувствовать, обходясь при этом без языка. Есть такое древнее стенание:

Как я могу сказать, что думаю, не услышав того, что собираюсь сказать?

Вопрос этот именно мне на потребу могли и придумать. Впрочем, от ощущения неполноценности меня уже годы назад избавил Оскар Уайльд, – когда я прочитал его написанное в форме платоновского диалога эссе «Критик как художник»:

> ЭРНЕСТ. Даже вы не можете не признать, что сделать нечто намного труднее, чем его описать.
>
> ГИЛБЕРТ. Сделать нечто труднее, нежели его описать? Ничуть. Это заблуждение – широко распространенное и вульгарное. Описать что бы то ни было гораздо труднее, чем его сделать. В жизни реальной это самоочевидно. Придумать хорошую историю может всякий. Но только великий человек способен записать ее. Нет ни одной разновидности действий, ни одного вида эмоций, которые мы не разделяли бы с низшими животными. И только благодаря языку мы поднимаемся над ними – или друг над другом, – благодаря *языку, который есть отец, а не дитя мысли*. (Курсив мой, миссис Эдвардс, курсив мой.)

Язык – это все, что у меня есть, однако я знаю: он никогда и близко не подойдет ни к танцу, ни к пению, ни к способности скользить, рассекая воду. Язык может служить оружием, доспехом или маской, у него немало сильных сторон. С его помощью можно издеваться, улещивать, ублажать, обманывать и запугивать. Порою он позволяет даже услаждать, потешать, очаровывать, обольщать и влюблять, однако это всегда номер сольный, не танец.

Плавание оказалось, когда я его освоил, просто умением двигаться, погрузившись в воду, вперед. Научившись играть пьески на пианино, я обнаружил, что никакой способности летать

не обрел и к пониманию космических сил не приблизился. Язык же, чего уж душой-то кривить, вывел меня в люди, и не в последние. Он позволил мне добиться успехов преподавательских, затем финансовых, а затем и таких земных благ, о каких я и помышлять не решался. Я научился пользоваться им как средством защиты от издевок, насмешек, отказов. Язык и сейчас позволяет мне делать то, что я всегда рад был делать. Никаких причин жаловаться на язык у меня не имеется.

Зато у других людей причин жаловаться на мой язык имелось предостаточно.

Потому что они его не понимали.

В первый мой триместр в «Стаутс-Хилле» я обнаружил, что добиться понимания – дело для меня почти невозможное. Я едва с ума не сошел – что бы я ни произнес, ясно и членораздельно, реакция всегда была одной и той же:

«Что? М-м? Что он сказал?»

Глухие они все, что ли?

В конце концов один из учителей, обладатель острого слуха, сообразил, в чем дело. Я говорил слишком быстро, слишком. Говорил с такой скоростью, что никто, кроме меня самого, понять ничего не мог. Слова и мысли изливались из моих уст как из рога изобилия, и при этом без каких-либо пауз.

Например, фраза: «Сэр, а правда ли, что в Ирландии совсем нет змей, сэр?» – выглядела примерно так: «Саправирсозмрр?»

Я-то слышал себя совершенно отчетливо и страшно обижался, получая один и тот же оскорбительный ответ:

«*Не глотайте* слова, мальчик».

Решение, найденное школой, явилось ко мне в образе милейшей Маргарет Резерфорд – приятнейшей старой дамы, отличительными чертами которой были янтарные бусы, аромат лаванды, редкие растрепанные волосы и диплом логопеда. Каждую среду и пятницу она приезжала из Челтнема в Ули на машине, сильно смахивавшей на плашкоут из Лондонского музея транспорта, и в течение часа преподавала мне искусство дикции.

Терпеливо восседая за столом, покачивая вверх-вниз головой и с поразительной быстротой помаргивая, она говорила мне:

– И прочь его! И прочь его! Я послушно повторял:

– Ипчиго, ипчиго.

– Нет, дорогой. «И-э, прочь-э, его-оо!» Понимаешь?

– И-э, прочь-э, его-оо?

– Мне не нужно, чтобы ты говорил «и-э, прочь-э», дорогой. Мне нужно, чтобы ты сознавал: «ч» на конце «прочь» должно перетекать в «е», которым начинается «его», понимаешь? И. Скажи мне: «и».

– И.

Может, она меня *младенцем* считает?

– Хорошо. Теперь «прочь».

– Прочь.

– И прочь.

– Ипчь.

– И-э прочь!

– И-э прочь!

Бедняжка, в итоге она своего все же добилась. Она научила меня получать удовольствие, вслушиваясь в последовательность взрывных и зубных согласных, – получать чисто физическое наслаждение, доставляемое звуками, ощущениями приникающего к зубам языка, – научила, поведав о глупом греке, история странствий коего учит нас тому, сколь осторожным должно быть в неведомых нам водах. История же была такая:

– Ехал грека через реку видит грека в реке рак сунул грека руку в реку рак за руку грека цап.

А от грека мы перешли к следующему: «Она стоит в дверях лавки рыбных соусов и зазывает их всех вовнутрь».

Насчет стояния в дверях я затруднений не испытывал – как два пальца и так далее, – а вот «зазывание вовнутрь» едва не лишило меня миндалин.

– Н-да, возможно, для тебя это пока трудновато, дорогой.

Трудновато? Для *меня*? Ха! Ну *я* же *ей* покажу.

В уик-энд я провел несколько часов, осваивая искусство зазывать их всех вовнутрь. И на следующем уроке выдал эту фразу на манер накачавшегося бензедрином Лесли Говарда.[67]

– *Очень* хорошо, дорогой. А теперь скажи так: «Она стоит в дверях лавки рыбных соусов и зазывает *его* вовнутрь».

Фуууууу! Крушение. Я взял разбег и с размаху врезался в барьер «ает» и «его», обративший мою гортань в большое блюдо спагетти.

– Ну вот видишь, дорогой. Мне вовсе не нужно, чтобы ты заучивал эти фразы, как скороговорки. Мне нужно, чтобы ты попытался *почувствовать*, что такое обычная речь. Чтобы ты позволил словам идти друг за другом. Твой ум забегает вперед, обгоняя язык. А мне хочется, чтобы твой язык чувствовал, какие слова поджидают его впереди, точно цветочки на обочине, которые можно сорвать, лишь поравнявшись с ними. А сорвать их еще издали лучше и не пытаться.

Кислая сентиментальность этого образа заставила меня поежиться, однако что к чему сводится, он для меня прояснил. Спустя недолгое время я уже мог внятно изложить запутанную историю о Кларе, Карле, кларнетах и кораллах.

– Так это ты украл у Клары кораллы?

– Нет, я украл у Карла кларнет.

Я мог много чего рассказать о том, где дрова, а где трава, и про графа Порто, который играл в лото, и как графиня узнала про то, что Порто продулся в лото.

Тем не менее не все наши колпаки были сшиты по-колпаковски, и один колпак ей хотелось переколпаковать в особенности.

– Это не забег на сто метров, дорогой. Мне нужно, чтобы ты *любил* каждое движение твоего языка, твоих губ и зубов. Ну-ка, что ты должен любить?

– Кждое движение языка, и губ, и зуб.

– Каждое, дорогой, не кждое. Нам же не нужно, в конце-то концов, чтобы тебя принимали за иностранца. Правда, ты уже сказал «языка, и губ, и зуб». А пару недель назад у тебя получилось бы «язгуб-у-зуб».

Я кивнул.

– И теперь тебе известен наш волшебный секрет. То, как это прекрасно – слышать любое движение твоего языка, и губ, и зубов.

Мы перешли от «Морских баллад» Джона Мейсфилда[68] к «Труби, трубач, труби» Альфреда Теннисона, и еще до конца триместра я обратился в говоруна вполне вразумительного. Подобно чужеземцам из приключенческих романов, тем, которые, разволновавшись, выпаливают: «Карамба!», «Доннерветтер!» или «Дьябло!» – я, когда на меня накатывало возбуждение, мог еще изливать стремительные потоки Стивеновой тарабарщины, однако, по большому счету, я от нее исцелился. И при этом со мной приключилось нечто волшебное и новое, нечто прекрасное, простому пониманию недоступное. Я открыл для себя красоту речи. У меня вдруг возник неисчерпаемый запас новых игрушек: слов. Бессмысленное, существующее лишь само по себе, инструментальное пустословие стало моим эквивалентом бурчалок Винни-Пуха, моей *музыкой*. Во время каникул я часами изводил мою бедную маму, сидя с ней рядом в машине и повторяя снова и снова: «Мое имя – Гвендолина Брюс Снеттертон». Гвендолина Брюс Снеттертон. Снеттертон. Снеттертон. Снеттертон. Шут с ней, с половой принадлежностью этого имени, сейчас она нам нисколько не интересна, нам интересны лишь песни, которые я все-таки смог же спеть. Путь от согласной к гласной, легкая поступь ритма, *текстура* – вот что доставляло мне наслаждение. Точно так, как другим западает в память мелодия, мне западали в память слова и фразы. Я мог, к примеру, проснуться и обнаружить, что к губам моим прилипли

слова: «Восстав поутру молчаливо». И я твердил их под душем, твердил, пока закипал чайник, твердил, залезая в почтовый ящик. А случалось, и целый день.

И кстати сказать, я чуть с ума не сошел, когда годы спустя «Монти Пайтон» использовали в одном из своих скетчей имя Винс Снеттертон. Снеттертон – это деревня в Норфолке, и я почувствовал себя обворованным. С той поры Гвендолина Брюс Снеттертон существование свое прекратила.

Получается, что язык был не просто арсеналом, не просто моим прибежищем в мире племенных восклицаний и атлетизма *этих* – пловцов и певцов, – он был также частным собранием самоцветов, лавкой сладостей, сундуком с сокровищами.

Однако в такой культуре, как наша, язык есть путь к исключению, не к включению. Людям, которые легко управляются со словами, никто особенно не верит. Меня всегда подводили к мысли о том, что умники, без усилий сыплющие словесами, стараются скрыть и исказить настоящую правду. Британская идея золотой середины сводилась (да и теперь еще сводится) к здоровой невнятности речи. Середина, оно конечно, – но золотая ли? Скорее уж свинцовая. Сознание здорового британца (этим феноменом мы с вами еще займемся) чует в жонглировании словами некое интеллектуальное жульничество, что-то фальшивое, *еврейское*. Джордж Стайнер,[69] Джонатан Миллер,[70] Фредерик Рафаэль,[71] Уилл Селф,[72] Бен Элтон, наконец… как часто на них лепили дурацкий ярлык «умники», как часто в них *метали* этот ярлык, подобно чернильному дротику, седовласые, раколицые шуты, состоящие в клубе «Гаррик»[73] и печатающиеся в «Санди телеграф» и «Спектейторе».

Но тут я, как у меня это водится, забежал вперед.

4

Когда я служил учителем в приготовительной школе «Кандэлл-Мэнор», что в Северном Йоркшире, – лет через одиннадцать или двенадцать после моего поступления в «Стаутс-Хилл» (взгляните на фотографию, на молодца в пижонском блейзере, и спросите себя, как такому фраеру вообще разрешили и дальше жить на свете), – мальчики, с которыми я садился, чтобы позавтракать, за один стол, раз за разом просили меня снова поведать им историю о Бансе и деревенском магазине. Думаю, их воодушевляла мысль, что учитель мог быть когда-то *скверным* – не просто озорником, но по-настоящему скверным мальчиком.

Дисциплина в «Стаутс-Хилле», хоть я и назвал обстановку этой школы семейной, дружелюбной и теплой, была жесткой, – во всяком случае, сейчас ее именно жесткой бы и назвали. И держалась она, более или менее, на палке: на «горячих», как именовали это учителя, ученики и матроны.

– Вот поймают тебя за этим делом, получишь тогда горячих… – мог пообещать вам ближайший друг, да еще и облизнуться от удовольствия.

– Так вот, Фрай, если вы ровно через десять секунд не окажетесь в постели, не миновать вам горячих, – предупреждал дежурный учитель.

– Сколько горячих ты заработал на этой неделе, Фрай? – с почтительным удивлением спрашивали меня.

При моем появлении в «Стаутс-Хилле» директорствовал там Роберт Ангус, основатель школы. За шторами его кабинета укрывалась коллекция гибких бамбуковых тростей, которые использовались им с неизменной регулярностью – особенно в устрашающую «Неделю здоровья», в пору, когда директор ясно давал понять всем нам, что его руки и плечевые суставы нуждаются в хорошей разминке, каковую они и будут получать при всяком удобном случае. При наступлении «Недели здоровья» малейшее нарушение правил, каравшееся обычно многократным переписыванием какой-либо чуши или отсидкой в классе после уроков, приводило к порции «горячих». А проступок, за который в другое время совершивший его ученик получал три удара, в этих случаях влек за собой целых шесть – и так далее.

«Недели здоровья» все мы побаивались, однако гораздо пущий страх внушали нам времена, когда Ангус заболевал или уезжал куда-то, а бразды правления школой, равно как и отправление телесных наказаний, переходили в руки его

заместителя Мида Кемпа.

«Мид», как я с большим огорчением обнаружил, когда собирал материалы для этой книги, было сокращением от Миддлтон. До совершения этого открытия я всю жизнь считал, что его звали Мидфредом, – такое имя шло ему много больше.

В моей памяти ладони Мида Кемпа, его твидовые куртки с заплатами на локтях, усы и волосы – все они желты от никотина. Не знаю, что такое случилось с современными сигаретами, однако прежних покрытых пятнами пальцев курильщика, яично-желтых прядей в белых его волосах теперь уже не увидишь. Мид Кемп выглядел и разговаривал совершенно как Ч. Обри Смит[74] в «Четырех перьях». Любимым словечком Кемпа, словечком, которое мне доводилось слышать множество раз, было «задница». В той или иной мере задницами у него были все и каждый, однако я превосходил по этой части всех, кто учился в школе. На самом-то деле я достиг в таковом смысле успехов больших, чем кто бы то ни было, поскольку во множестве случаев оказывался задницей *надменной*. Значение слова «надменная» я выяснил не сразу и потому полагал, что оно происходит от «над», – и гордился тем, что, будучи задницей надменной, я возвышаюсь над всеми прочими задницами.

Судействуя на крикетных матчах, Мид Кемп нежил собственную задницу в кожаном уюте трости-сиденья. Он восседал слева от ворот, окруженный никотиновым облаком, уплывавшим мимо бэтсмена на другую сторону поля.

В отсутствие Ангуса школьники получали от Мида Кемпа трепки самые жестокие. Вместо простого сечения нам доставалось особое, на которое только он был и горазд, – «нарезка», вертикальные секущие удары, какими разделывает окорок мясник. Усилий они требовали много меньших, чем обычные пологие шлепки, а болезненностью отличались несравненно большей.

Впрочем, уже в первые мои годы в «Стаутс-Хилле» Кемпа сменил в должности заместителя директора зять Ангуса, А. Дж. Кроми, выпускник дублинского «Тринити-колледжа», обладатель необычайно свирепых усов, нагонявших на меня ужас куда больший, чем он способен был вообразить. Кроми водил немыслимой красоты синий «роллс-ройс», носил (во всяком случае, так мне это помнится) особой прочности костюмы из зеленого ирландского твида и преподавал нам французский язык – с акцентом, который даже в те мои малые годы казался мне весьма далеким от аутентичного галльского.

От Ангуса я получил в его время немало «горячих», обязанность эту он всегда исполнял с мягкой печалью. Мид Кемп

также сек меня время от времени – со скукой, отчасти пугавшей, отчасти сводившей с ума. От Кроми же мне досталось побоев больше, чем от кого-либо другого, поскольку он обратился в директора школы как раз в ту пору, когда я переходил из детства в отрочество, а стало быть, и от простого озорства к закоснелой порочности. И порол он меня с неизменным мрачным смирением пред неизбежностью.

– О боже, опять вы… – отрывисто произносил он, подходя к своему кабинету и обнаруживая меня стоящим у двери, на месте, отведенном присланному для порки ученику. – Ну-с, и что же вы натворили на *сей* раз?

Принесли мне все эти побои какой-нибудь вред? Принесли какую-нибудь пользу? По правде сказать, не знаю. *Autres temps, autres moerus*[75] – ныне такое наказание почитается варварским, садистским, вредоносным, позорным, извращенным и непростительным. На мой же взгляд, оно обладало, по крайности, тем достоинством, что совершалось быстро – в отличие от сидения в классе после уроков, многократного переписывания всякой бессмыслицы или метения и мытья полов, коими карались преступления меньшего калибра. Собственно говоря, если выбор наказания предоставлялся мне, я нередко выбирал именно порку.

И прошу заметить, *удовольствия* я от нее не получал никогда. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мои сексуальные фантазии не менее причудливы, пугающи и нелепы, чем ваши, или ближайшего соседа вашего, или его ближайшего соседа, однако истязание плоти, порка ремнем или розгой, вообще причинение самомалейшей физической боли всегда представлялось мне абсолютно недопустимым.

Вот в том, чтобы отправиться после порки прямиком в школьный сортир, удовольствие, безусловно, *присутствовало*. Стянуть с себя штаны и трусы, погрузить зад в воду, с легким шипением выпуская сквозь зубы воздух, совершенно как Том, садящийся в бочку с водой после того, как Джерри подпалил ему хвост, – вот этим я и впрямь наслаждался. Да и в демонстрации товарищам по спальне моего исполосованного зада – на манер прусского юнкера, похваляющегося дуэльными шрамами, – некая заветная и гордая радость также присутствовала.

– Ух ты, смотри какие…

– Хорошая *кучность*…

– Вообще-то, Фрай, если он прорвет тебе кожу до крови, ты можешь пожаловаться правительству, и его посадят в тюрьму, так мне говорили.

– Я слышал, если он поднимает руку выше плеча, это уже незаконно…

Быть может, кто-то из вас, прочитав все это, решит, что люди, способные истязать подобным образом детей, попросту свиньи.

И это ужасно меня огорчит, поскольку люди, которые меня пороли, свиньями вовсе не были.

Быть может, вы решите, что люди вроде меня, готовые простить тех, кто наносил им в детстве побои, – а то и заявить, что тут и прощать-то *нечего*, – суть жертвы некоего «цикла надругательств». Быть может, вы решите, что мне следует яриться, проклиная школьных учителей, поровших меня, моих родителей и всех прочих мужчин и женщин, допустивших подобное безобразие.

Быть может, вы решите, что нет ничего более жалкого, ничего, с большим совершенством иллюстрирующего все огрехи и пороки старой Англии, чем питомец учебного заведения, норовящий защитить и оправдать систему, которая подвергала его телесным наказаниям.

Может быть, вы и правы. Может быть, я и впрямь тип прискорбный и жалкий. Может быть, я, сам того не ведая, пал жертвой губительных последствий варварской, устаревшей системы образования. Может быть, она самым безжалостным образом нарушила гармоничность моего сознания. Может быть, она меня исковеркала. Хрен ее знает. *Я* уж точно не знаю, да и вы, не сочтите за грубость, тоже, ни в малой степени. Мы с вами попали в статистически редкостный, маловероятный период британской жизни. Последние двадцать лет суть единственные в нашей истории десятилетия, в которые детей *не* пороли за недостойное поведение. Каждого британца, какого вы только способны припомнить, от Чосера до Черчилля, от Шекспира до Шилтона,[76] секли в его малые годы как миленького. Если вам нет еще тридцати – вы составляете исключение из этого правила. Возможно, мы стоим на пороге прекрасного нового мира, населенного уравновешенными, прекрасными во всех отношениях британцами. Хочется верить. Нет, на защите того мнения, что побои дело якобы *стоящее*, равно как и на рекомендациях вернуться к розге, вы меня не поймаете. Я просто и честно считаю, что телесные наказания имеют в жизни большинства нормальных людей значение не большее, чем турнюры, хула-хупы, брюки клёш, бакенбарды и всякие иные причуды. *До тех*, то есть, *пор*, пока кто-нибудь не заявит, что это не так. Я, собственно, о чем? – как только человечество *решит*, что практика сечения исполнена глубокого смысла, она тут же оный смысл и приобретет. С легкостью могу себе представить, что, если бы я *сейчас* был ребенком и меня высек бы школьный учитель, я непременно получил бы ужасную травму, поскольку вся наша

культура твердит мне, что сечение есть, говоря по-американски, «наказание необычное и жестокое», – ну так я бы и счел себя подвергнутым обращению несправедливому, мучительному и, соответственно, взвыл бы.

Давайте попробуем – видит бог, это не просто – рассуждать логично. Если мы возражаем против телесных наказаний, а я полагаю, что мы против них возражаем, то на каких, собственно говоря, основаниях? На тех, что причинять ребенку страдания нехорошо? Ну не знаю, может, и так, однако когда я вспоминаю страдания моего детства, то в голову мне приходит не зубная боль, не то, как я грохнулся о землю спиной, не переломанные кости, ушибленные пальцы ступней, разбитые колени и вывихнутые лодыжки, – я вспоминаю боль одиночества, тоски, заброшенности, унижения, отверженности и страха. И вот *эту* боль, донимающую меня, случается, и поныне, *всю* эту боль, почти без изъятия, причиняли мне либо другие дети, либо я сам.

Я задержался на теме телесных наказаний потому, что ныне она обросла культурной нагрузкой, делающей спокойное рассмотрение ее почти невозможным. В сознании множества людей она слишком сблизилась с понятием «надругательство», а это слово, прозвучав шагах в десяти от слова «ребенок», мгновенно приводит почти любого человека в состояние истерическое, обращая его если не в слабоумного, то уж во всяком случае в дурака.

Я знаю: если бы я бесстрастно описал вам, как меня били тростью, описал без каких-либо комментариев, не устраивая по этому случаю заседания судейской коллегии, многие из вас задумались бы, к чему это я клоню и все ли у меня в порядке с головой. Что ж, выносите суждение сами, однако постарайтесь понять, что, когда я вспоминаю, как меня раз за разом секли за разговорчики после того, как погасят свет, или за то, что я толкал однокашников в очереди в буфет, – и за иные столь же злостные нарушения законов приготовительной школы, – воспоминания эти язвят меня много меньше, чем мысли о наказаниях за проступки, которых я не совершал. И если бы вы смогли доказать мне, что кто-то из учителей, лупя меня тростью, получал сексуальное удовлетворение, я подумал бы: «Бедный старикан, по крайней мере, никакого вреда он мне не причинил». Надругательство есть эксплуатация доверия, использование власти, а от них мне, по счастью, ни разу пострадать не пришлось, равно как и от проявлений жестокости, настоящей или воображаемой.

Существует такой штамп: в большинстве своем штампы верны, – и, подобно большинству штампов, этот неверен тоже.

Палки и камни могли бы, конечно, сокрушить мои кости, однако наибольшую боль мне доставляли слова.

Кости срастаются, да еще и крепче становятся ровно в том месте, в котором срослись; раны душевные гноятся и ноют десятилетиями, открываясь от тишайшего шепота. Когда Керк привлек всеобщее внимание к тому, как я пою, это и стало *надругательством*, а между тем Керк был глупым мальчишкой, не ведавшим, что творит. Когда же Мид Кемп донимал меня своими «нарезками», это было *игрой*, и она мне нравилась.

Все, заседание суда объявляю закрытым.

Из всех школьных правил, какие я нарушал, пренебрежение запретом покидать ее территорию доставляло мне наибольшее удовольствие.

Возможно, тут присутствует некая метафора, – надеюсь, что нет, вся эта психология становится несколько утомительной.

Территория школе принадлежала обширная. Я поминал уже озеро, лес, выгул для пони. Деревня же Ули лежала вне школьных границ, и посещение ее было незаконным. По особым воскресеньям нас водили строем в тамошнюю церковь – на рождественскую службу, к примеру, или когда Пасха приходилась на школьный триместр, или когда в сельском зале собраний показывали школьный спектакль («Миссис Хиггинс Стивена Фрая украсила бы любую гостиную» – моя первая рецензия), однако во все прочие времена Ули была *verboten* – «вход воспрещен», «осторожно, злые драконы», даже и думать не смей.

А между тем в Ули имелся сельский магазин, он же почтовая контора, битком набитый «Шербетными фонтанами», «Нескончаемыми полосками» и двумя видами «пенсовой жвачки»: «Фруктовым салатом» и «Жженым сахаром». Не знаю, почему ее обозвали «пенсовой», а не «фартинговой» – за один пенс можно было купить четыре этих обернутых в фантики квадратика упоительно вкусной, липкой зубодробилки. Продавалось в сельском магазине и подобие пастилы, раскатанной в плитки вроде табачных, а вкусом напоминавшей, если не ошибаюсь, кокос. Завернута она была в вощеную бумагу с изображением испанского галеона. Нынешнему чувствительному пуританину эта и прочие бесконечные разновидности якобы курительных материалов – карамельные сигареты с красными кончиками, сигареты шоколадные, завернутые в настоящую папиросную бумагу, и лакричные трубки – должны представляться не меньшим злом, чем школьные порки и охота на лис. Но самым главным было в этих лакомствах то, что *в школьном буфете их не продавали*. В школьном буфете продавали «Восточные сладости

Фрая» (проклятие моей жизни – и сама эта дрянь, и бесчисленные прозвища, из нее извлекаемые), «Хрустики» и шоколадки «Пикник», однако купить заполненные шербетом летающие блюдца из рисовой бумаги, розовые зефирины, вылепленные в виде креветок, мягкие, словно резиновые, бутылочки с молоком и шоколадные пуговицы, осыпанные «цветным сахарным горошком», можно было только в деревне.

Обладание этими запретными плодами и потаенная их раздача обратились в тотем героизма, почти такой же великий, как наличие лобковых волос, – обе эти тайны школьники поверяли друг другу с точно теми же смешками, стеснительными, но хвастливыми. А поскольку никакие щипки, заклинания, угрозы и мольбы не способны были вытянуть из моего лобка хотя бы один шелковистый и светлый миллиметровый волосок, доказательством мужественности стали для меня сладости.

Помимо прочего, само ускользание из школы, огибание озера, проход мимо лодочного сарая, пересечение спортивной площадки с ее кольями, к которым привязывали во время объездки лошадей, и ямами для прыжков, потом второй спортивной площадки, а там и лужайки, за которой начиналась Запретная Зона, – от одного только этого тебя пробирала дрожь волнения. К тому же мне открывалась в такое время лучшая сторона природы, та ее сторона, которая обходилась без ползучих гадов и липкого гноя. Если говорить о литературе, «Сидр с Рози» был для нас едва ли не частью школьной формы, многие ученики близко знали Лори Ли[77] – он иногда пил в пабе Ули пиво и временами приезжал в школу, чтобы нам почитать. А услышав, как Лори Ли описывает природу, ее полюбил бы и сам Терминатор.

Дорога от школы до деревни занимала, сколько я помню, примерно с милю, однако мне нравилось растягивать этот путь. Сейчас я словно вижу себя – из глаз течет, лицо все в пятнах сенной лихорадки – сижу под вязом, разбрасывая почки подорожника; пытаюсь выдуть трубные звуки из травинки, большими пальцами прижимая ее к губам; протираю щавелем обожженные крапивой голени. Мощный аромат водяной мяты сопровождал меня от самого озера, пока мои сандалии не продавливали хрусткую, кожистую корочку коровьей лепешки, после чего за мной влекся уже один только благородный запах подпеченного солнцем навоза. Еще одно причудливое удовольствие – бывшее, возможно, отрыжкой наших с Тимоти чешэмских «дикарств» – состояло в том, чтобы стянуть с себя штаны и покакать в траву не видимым никем, кроме скота. Не исключено, что в этом присутствовало нечто первобытное, не

исключено также, что я был мальчиком не без странностей.

Проделывать этот путь в чьей-либо компании я не любил. Однажды попробовал – ничего хорошего не вышло. Мой спутник слишком боялся предпринять этот поход в одиночку, слишком торопился подъесть все сладости до возвращения в школу, слишком опасался, коротко говоря, что его поймают на преступлении. Для меня же поимка, как я теперь понимаю, самым-то главным и была.

Сейчас мне иногда случается услышать:

– Знаете, Стивен, в школе я вел себя не лучше вашего. Но дело в том, что меня ни разу не схватили за руку.

«Ну так и что в этом *интересного*? – всегда подмывает меня ответить. – Чем тут *хвастаться-то*? “Меня ни разу не схватили за руку” – видали, какой я умный?»

Нет, я абсолютно уверен, что я – исключение, а они – правило. Я в этом уравнении просто ненужная закорючка, тут и сомневаться-то нечего. Хоть я и не могу сказать, будто, действительно, *сознательно* жаждал поимки.

Я просто любил сладкое, видит бог, любил. Одно лишь обилие нынешних пломб да дырки там, где должны торчать коренные зубы, доказывают, что сладкое я любил и много позже отведенного для него возраста.

Однажды под вечер – мне было лет одиннадцать, еще немного, и я стану одним из «старших» – я наткнулся в какой-то из спален на каталог магазина, торговавшего разного рода потешными штуками. Думаю, все прочие играли в это время в крикет либо следили за игрой, а я, по обыкновению, от занятий спортом отлынул, соорудив себе приступ астмы. Мне нравилось ощущать себя хозяином школы, нравилось слышать далекие крики, отзывавшиеся эхом в совершенном безмолвии нашего здания. И когда раздавался финальный свисток и школьный шум валил, нарастая, в мою сторону, сердце мое неизменно падало – я понимал, что больше уже в этом затерянном мире не царствую.

Некий голос нашептывает мне сейчас, что найденный мной каталог принадлежал мальчику по имени Ник Чарльз-Джонс, но, впрочем, это дело десятое. Из самого же каталога следовало, что, переведя по почте полкроны,[78] любой желающий мог получить:

- громко лязгающие поддельные зубы;
- маленькую круглую тканевую мембрану с жестянкой, каковая позволяет ее обладателю испускать трели, говорить щебечущим голосом и вообще изображать чревовещателя;
- кусок мыла, окрашивающего физиономию того, кто

им умоется, в угольно-черный цвет;

• чесотный порошок;

• кусок сахара, который, растаяв в чашке жертвы розыгрыша, оставляет плавать на поверхности чая неотличимого от настоящего паука;

• перстенек, издающий громкий писк;

• совсем настоящую с виду жевательную резинку, которая, однако ж, щелкает во рту, как мышеловка.

Горе все было в том, что отправить почтовый перевод я не мог, не имел я такой возможности. В отличие от Билли Бантера,[79] мальчика из Уинслоу[80] и иных прославленных школьников, я просто-напросто *не знал*, что такое почтовый перевод. А уж если говорить со всей честностью, не знаю и поныне.

Однако мне пришло в голову, что если я наберу два шиллинга и шесть пенсов мелочью, обмотаю монеты клейкой лентой и отправлю их обладателям «Самой уморительной коллекции розыгрышей и шуток, какая КОГДА-ЛИБО существовала на свете», присовокупив к деньгам записку с извинениями, то не принять мой заказ не сможет и самый жестокосердый из торгово-посылочных магазинов розыгрышей.

Что-то около шиллинга у меня имелось, а значит, оставалось разжиться еще одним шиллингом и шестью пенсами. Шиллинг и шесть пенсов (семь с половиной пенсов по нынешним меркам) – сумма не бог весть какая, однако в одиннадцать лет любые деньги, коими вы не обладаете, выглядят состоянием. Думаю, нынешние школьники, как и все прочие люди, по четыре раза на дню отправляют почтой бланки заказов, указывая в них номера своих кредиток, но в те времена все было иначе. «Барклайкард», золотистая, как песок, и синяя, как морская волна, только-только была пущена в оборот, и пользовались ею поначалу личности довольно сомнительные – из тех, что курили «Ротманс», водили спортивные «ягуары» и разгуливали повсюду с наплечными сумками, на которых значилось «БЕА»[81] – в общем, те, кого лучше всех играли Лесли Филлипс[82] или Гай Миддлтон.

К этому времени воровство уже обратилось в мою вторую натуру, поэтому я направился для начала в ученическую гардеробную и неторопливо прошелся вдоль одежных крючков, легко постукивая по брюкам и блейзерам и останавливаясь, когда раздавался звон монет.

Красть можно у школы, как таковой, у банка, у магазина. Но красть деньги из карманов друзей… что это? Не шалость, не слабость или неспособность совладать с собой, не трудность роста; это так дурно, что дурнее уже и некуда. Порок, *зло*. Оно

обращает тебя в…

ВОРА

…а воров никто не любит.

Я и теперь краснею и вздрагиваю, услышав, как кто-нибудь вызывающим тоном произносит это слово. А в кино и на телевидении это происходит сплошь и рядом.

«Джентльмены, с сожалением должен сказать, что среди нас завелся вор».

«Остановите вора!»

«Ты, жалкий дрожащий крысеныш…»

«Господи, да ты же всего-навсего лживый, не заслуживающий никакого доверия воришка…»

Это слово и поныне действует на меня очень сильно.

Гардеробные. Звон монет. Отрывистое дыхание. Приоткрытый рот. С силой бьющееся сердце. *Они* снаружи, на спортивном матче. Путь свободен.

Я и теперь прилагаю немало усилий, стараясь простить себе те годы воровства. Кражи в магазинах, происходившие много позже, и куда более обаятельное помешательство на чужих кредитных карточках – надо всем этим можно посмеяться, а то и ограничиться простым пожатием плеч. Наверное.

Но вот это – это было *гнусностью*, мерзким *лукавством*.

«В вас постоянно присутствует нечто *лукавое*, Фрай».

Тон, которым произносили мою фамилию некоторые из учителей и старост, подразумевал – как мне, ведающему за собой вину, представлялось – некое присущее мне коварство, нечистоплотность, нечто жалкое, хитроватое, нездоровое, лживое, двуличное и *лукавое*. Лукавый Фрай.

Я мог бы сказать в свое оправдание, что старался в тот день соблюсти, производя поборы, определенную справедливость. Мог бы сказать, что нуждался (*нуждался?*) всего лишь в шиллинге и шести пенсах и потому брал у каждого понемногу – у кого монетку в три пенса, у кого однопенсовую, – вместо того чтобы обчистить и обобрать одну какую-нибудь несчастную жертву.

Но это неправда.

Я брал помалу у многих лишь потому, что не желал лишнего шума.

«Черт побери! У меня еще днем в кармане целый шиллинг лежал…» – так вскричал бы любой лишившийся шиллинга ученик.

Тогда как «Хм, совершенно уверен был, что у меня тут

завалялось два пенса…» почти наверняка ни к каким чрезмерным волнениям не привело бы.

Гардеробные «Стаутс-Хилла», потом «Аппингема». От сапога Мэри Хенч к почти ежедневному обшариванию карманов моих однокашников в поисках мелочи. Гардеробные стали моими охотничьими угодьями.

И я все еще пытаюсь приискать себе оправдания. Гадаю, не было ли мое поведение своего рода местью. Я так ненавидел спорт, так ненавидел тех, кто любил спортивные игры и жаждал в них отличиться. Может быть, потому я и воровал главным образом в раздевалках с раскиданными по ним трусами и грязными шнурками, с их вечным застоялым запахом пота?

Ненавидел ли я спортивные игры потому, что спортсмен из меня получился дерьмовый, или спортсмен из меня получился дерьмовый потому, что я ненавидел спортивные игры, а ненавидел я их по причине…

ДУШЕВЫХ?

Может быть, с *этого* все и началось? С ужаса перед бесстыдной наготой душевых?

Она просто-напросто пожирала меня живьем – мысль о необходимости догола раздеваться при всех. Она разъедала меня, подобно кислоте, – и в школьные дни, и после.

К этой теме я еще вернусь. Пока же скажем просто: я был порочным мальчишкой. Когда мне требовались деньги или сладости, я их крал, а где и у кого – это мне было без разницы. Дома я крал из маминой сумочки, в школе – из столов и карманов товарищей. Давайте пока что назовем меня пакостным сволочонком и на этом остановимся.

Да, так где мы теперь? Я уже набрал столбик из девяти-десяти монет, вернулся в спальню и обмотал их клейкой лентой. Затем они вместе с заполненным аккуратным почерком заказом были уложены в плотный конверт, туда же я засунул, дабы придать моему почтовому отправлению вид сколь возможно невинный, носовой платок, – в конце концов, почтальон мог оказаться жутким *ворюгой*, мог нащупать в конверте денежки и просто-напросто *спереть* их, а это было бы слишком *ужасно*…

Платок, кстати сказать, принадлежал Джулиусу Мазеру – имя значилось на метке, любовно пришитой к ткани или сестрой, или няней, или *au pair*. Сам-то я, к великой маминой досаде, сохранить носовой платок больше недели был решительно не способен.

– Что ты с ними *делаешь*, милый? Ешь ты их, что ли?

И мне приходилось повторять вечное оправдание школяра:

– Ну, мам, *все же* теряют носовые платки. Или валить вину на школьную прачечную:

– Оттуда ничьи платки не возвращаются. Это уж *всем* известно…

Да, стало быть, я тихонько поднялся наверх, теперь мне требовались марки.

Я знал, что Кроми судействует на крикетном матче, а дверь его кабинета, скорее всего, не заперта.

Незаконное, самовольное пребывание в кабинете директора школы доставляло мне удовольствие особенно острое. Некоторое время назад я, пробравшись туда, порылся в лежавших на столе бумагах и наткнулся на одну, как раз меня и касавшуюся. Речь в ней шла о результатах, показанных мной на «экзамене для одиннадцатилеток».[83]

Экзамены эти мы в «Стаутс-Хилле» сдали, даже не зная, что они собой представляют и для чего нужны. Мой классный руководитель, майор Добсон, просто принес однажды в класс стопку бумаг и заявил: «Вы в последнее время совсем разленились, так что займитесь-ка вот этим».

Он роздал нам непривычного вида листки с отпечатанным на них текстом и сказал, что у нас есть полчаса – или пятьдесят минут, в общем, не помню, – чтобы ответить на все вопросы.

Нам так и не сказали, что мы проходим пресловутый «экзамен для одиннадцатилеток», обязательную для всех детей страны проверку, определяющую, кто из них отправится в среднюю классическую школу, а кто в среднюю современную, отделяющую всезнаек от бестолочей, неудачников от победителей, елейных прохиндеев от прискорбных горемык, мозговитых проныр от никчемных лоботрясов. Более идиотической и сеющей рознь ерунды ни в одной демократической стране не встретишь. Как много жизней было изгажено, как много надежд загублено, как много гордых душ исковеркано этой дурацкой, изуверской, иррациональной попыткой социальной инженерии.

Поскольку мы учились в приготовительной школе именно для того, чтобы перейти потом в закрытую, которая так или иначе на подобную чушь никакого внимания не обращает, преподаватели в «Стаутс-Хилле» относились к этому экзамену как к большой ненужности, неприятной и неуместной бюрократической причуде, каковую следует сбыть с рук сколь возможно спокойно и без суеты, а уж школьникам о ней и вовсе ничего не рассказывать.

Сам экзамен представлял собой подобие идиотических тестов на выявление коэффициента интеллекта – способности распознавания форм, умения добавить к двум заданным словам еще одно, получив сразу две осмысленные фразы, ну, например:

ИДИ… ВОДУ

Ответ: «иди, отлей» или «отлей воду» – впрочем, мне почему-то кажется, что именно этого вопроса нам в тот раз не предложили. Я запомнил другие.

«СЛУХ, чтобы слышать, ЗРЕНИЕ, чтобы…»

«Продолжите последовательность чисел: 1, 3, 5, 7, 11…»

И так далее, и тому подобное.

Итак, обшарив в тот вечер письменный стол директора, я наткнулся на список, озаглавленный: «Результаты экзамена для одиннадцатилетних» и содержавший «коэффициенты умственного развития» или еще какой-то бред в этом роде. Внимание я на него обратил потому, что в самом верху списка стояло мое имя, помеченное звездочкой и добавлением взятых в скобки слов: «Без малого гений». Кроми, наш директор, подчеркнул их темно-синими чернилами и приписал рядом: «Черт, это же *все* объясняет…»

Вам может показаться, будто я расхвастался, однако я, узнав, что у меня столь высокий IQ, не обрадовался нисколько. Во-первых, мне не понравилось «без малого» в формулировке «без малого гений» (уж если тебя определяют в придурки, так пусть хоть в полные, зачем же останавливаться на полпути?), а во-вторых, мне стало несколько неуютно от мысли, что меня выделили из общего ряда за что-то, над чем сам я никакой властью не обладаю. Вот так же меня могли бы похвалить за рост или за цвет волос, которые к личности моей никакого, вообще говоря, отношения не имеют.

Несколько лет спустя я, уже обратясь в подростка, впал в ошибку, решив, что содержимое моей головы – это я сам и есть, и дошел в итоге до крайности самой трагической – заполнил и отослал по почте тест на «интеллектуальность», тем самым доказав себе, что гениален я далеко не «почти», и испытав вследствие сего большое удовлетворение. А после сообразил, что интеллект, которому *припадает охота* проходить подобные тесты и который *с успехом* проходит их и других к тому подстрекает, отстоит от интеллекта, обладание коим представляется мне делом достойным, на расстояние просто-таки астрономическое, и в итоге от радости моей остались рожки да ножки. Как раз в

ситуациях подобного рода я и возносил Богу хвалы за мои преступные наклонности, за мою гомосексуальность, за мое еврейство, за присущую мне ненависть к буржуазности, условностям, респектабельности, которую Он-то, полагаю, мне и внушил. Ведь как легко, при малейшем изгибе мельчайшего гена, торчащего на самом дальнем конце моей спирали ДНК, я мог обратиться в одного из тех жутковатых придурков, антисоциального толка либералов правых наклонностей, которые полагают, будто их умение разбирать анаграммы и перекручивать кубик Рубика есть серьезный показатель умственных способностей. При всем при том я и сам иногда не прочь разобраться с кубиком Рубика и горжусь моей сноровкой по части быстрого решения кроссвордов «Таймс». Однако я оправдываю сие греховное тщеславие, уверяя себя, что делаю все это лишь для того, чтобы доказать: человек может играть в подобные игры, *не* обращаясь в непристойно бородатого дурака из «Союза свободы» или чокнутого а-ля Клайв Синклер.[84] А когда у меня случается приступ честности, я говорю себе, что эти занятия мыслительной мастурбацией потребны для того, чтобы от случая к случаю доказывать себе, что наркота и пьянство мозг мой пока еще не угробили. Мой великий кембриджский друг Ким Харрис – тот, которому я посвятил второй свой роман, «Гиппопотам», – великолепно играет в шахматы, он еще в юном возрасте получил звание гроссмейстера; так вот, он получает порочное наслаждение, винопийствуя за шахматной доской, – в отличие от запорошенных перхотью, круглоликих, очкастых недотеп, сидящих по другую ее сторону. Думаю, нам с ним хватило бы честности признать, что оба мы повинны в снобизме самого прискорбного толка.

Пока мы не расстались с темой «интеллектуальности», хочу сказать, что никогда не находил это качество привлекательным в ком бы то ни было и потому не ожидал, что кто-нибудь найдет его привлекательным во мне. Меня очень огорчает, что многие принимают меня за интеллектуала, – или верят, будто я сам себя таковым считаю, или верят журналистам, так меня называющим, – и думают, будто я сужу о других именно по этому признаку. Как часто люди, с которыми я только-только познакомился, начинали разговор со мной таким примерно образом:

– Я, конечно, не такой мозговитый, как вы…

– Я понимаю, что глуповат, однако… А то и похуже:

– А вам не скучно общаться с актерами? Я, собственно, что хочу сказать, они же в большинстве своем тупы как полено.

Ну и как такой разговор продолжать? Я не знаю.

Даже если верно, что актеры в большинстве своем дураки, а это не так, при одной мысли о том, что я могу показаться кому-то персоной, которая усматривает в интеллектуальности показатель человеческой ценности, у меня мурашки по коже бегут. Я могу время от времени произносить длинные и умные слова, говорить слишком быстро, вставлять в разговор имена, показывающие мой высокий культурный уровень, – в общем, выламываться, изображая этакого мэтра, но если это создает впечатление, будто мне нравятся манеры подобного пошиба в других, так я уж лучше буду лопотать до конца моей жизни какое-нибудь «биб-бли-буббли-ваббли-снибли бу-бу нафиг», читать исключительно Джоржетт Хейер,[85] смотреть только «Санта-Барбару», играть в бильярд, нюхать кокаин, надираться до поросячьего визга и никаких слов длиннее, чем «мудак» и «хер», не произносить.

Мне известно совсем немного людей, способных справиться с кроссвордом «Таймс» быстрее меня. Но с другой стороны, я знаю десятки бесконечно более интеллектуальных, чем я, людей, для коих простая анаграмма есть тайна за семью печатями, причем тайна, проникать в которую они ни малейшего желания не имеют.

Следует сказать и о том, что знакомых, которые сравнились бы со мной по непроходимой тупости, у меня тоже раз-два и обчелся.

Я, может быть, и отличаюсь неспособностью хладнокровно сносить вздор, который какой-нибудь честный йоркширец вроде Бернарда Ингема[86] несет о здравом смысле, практической сметке и Университетах Жизни, – «понимаете ли, эти ваши так называемые интеллектуалы, учившиеся во всяких там Оксбриджах, это все очень хорошо, да только видели вы хоть раз, чтобы кто-нибудь из них сумел сварить покрышку или сменить яйцо?…» и прочая хренотень в этом роде, – но каким бы кошмаром ни отдавали подобные взгляды, они ничем не лучше врожденного снобизма тех, кто считает, будто умение углядеть в слове «шербет» слово «брешет» или перечислить в алфавитном порядке американские штаты поднимает их над уровнем среднего обалдуя, запоминающего номера всех проезжающих мимо машин, или каламбурщика а-ля Жиль Брэндрет.[87]

Обнаружив нацарапанную Кроми против моего имени фразочку «Черт, это же *все* объясняет…», я решил, что не мешает заглядывать в его кабинет при каждом удобном случае. Мне совсем не понравилось, что про меня пишут всякое, а я ничего об этом не знаю.

Ладно, давайте вернемся к основному течению событий. Сейчас я в кабинете один. И на сей раз пытаюсь найти марки.

У Кроми был элегантный, полированного дерева, письменный стол со множеством ручек, скользящих на роликах ящиков, резных украшений и потайных отделений – стол, с которым лукавый проныра вроде меня мог играть бесконечно.

Я нащупал под столешницей деревянный колышек, нажал на него, сработала пружинка, и из стола словно сам собой выдвинулся ящик – и что же я в нем увидел?

Сладости.

Пакеты и пакеты со сладостями.

Конфискованными, разумеется. Зефирные улитки, фруктовые салаты, жженый сахар, лакричные полоски – все, какие только можно вообразить, дары магазинчика Ули.

С бьющимся сердцем, приоткрытым ртом и раскрасневшейся физиономией – в общем, в состоянии, которое может обозначать и любовный восторг, и трепет вины и страха, я выгребал из каждого пакетика по четыре, пять, шесть или семь лакомств и набивал ими карманы, не способный поверить своему великому счастью. Это же надо, приходишь, чтобы спереть несколько марок, и натыкаешься на ящик, набитый сокровищами, о которых ты мог только мечтать.

Дедушка все видел, это я понимал. То был один из главных червяков, сидевших во всяком уворованном мной упоительно вкусном яблоке. Мамин отец умер совсем недавно и обратился для меня в *figura rerum*, в моего личного призрака. Я знал, что всякий раз, как я разгуливаю по спальне голышом, присаживаясь на зеркала, или засовывая палец в дырку в попе, или проделывая любой из тех безрассудных, нагнетающих чувство вины детских кунштюков, которые психологи именуют инфантильными сексуальными играми, Дедушка Все Видит. И когда я совершал поступки по-настоящему дурные – крал, лгал и мошенничал, – Дедушка Тоже Все Видел. Разумеется, я научился игнорировать его, не обращать внимания на разочарование в его глазах, когда он с отвращением от меня отворачивался. Он-то ожидал от своего внука поведения намного лучшего. Но с другой стороны, я научился игнорировать и грустные, ласковые ожидания мягкоглазого Иисуса, который тоже видел все мои дурные дела. В то время я никогда не думал о себе как о еврее – и хорошо, что не думал, иначе *эти* два еврея, один недавно скончавшийся, другой каждое утро порхавший, подобно голубю, над алтарем церкви, могли бы довести меня до безумия и неприязни к себе намного больших, чем те, с какими мне уже приходилось мириться.

Засовывая в последний еще оставшийся свободным карман финальные пластинки «пенсовой жвачки», я услышал, и совсем недалеко, скрип деревянных ступеней под чьими-то ногами.

Я задвинул потайной ящик и выглянул из двери кабинета.

Никого – только пустой коридор да птичьи клетки. Может быть, это майна разучивала новые звуки?

Я выскользнул из кабинета, тихо затворил за собой дверь и, повернувшись, увидел мистера Дили, старшего школьного слугу, выходившего из столовой с серебряными подсвечниками и огромным канделябром в руках.

– Так-так, мастер Фрай, – сказал он в обычной его манере Джека Уорнера «я-кой-чего-пови-дал-на-белом-свете-и-номер-твой-у-меня-записан».

Я не сомневался – о том, что я был *внутри* кабинета, он и понятия не имеет. У двери он меня застукал, но, может, решил, что я, по обыкновению, жду снаружи?

– В такой погожий денек вы директора в кабинете не застанете, юный Фрай, – произнес он, подтвердив мою догадку. – Да и вам не стоило бы под крышей сидеть. Молодой парень. Денек солнечный. Это нездорово.

Я, изобразив одышку, ткнул себя пальцем в грудь.

– Освобожден от спорта, – сказал я и, постаравшись принять вид храбреца, вздохнул глубоко и сипло.

– Хо, – отозвался Дили, – так, может, тогда пойдете со мной, поучитесь серебро начищать?

– Ни в коем разе! – заявил я и поспешил смыться.

Опасные приключения подобного рода неизменно приводили меня в состояние маниакальное. Полагаю, мое тогдашнее пристрастие к книгам и фильмам о военнопленных проистекало из того, что я отождествлял себя с ними, ходившими по самому краю… сдвигавшими плиту, под которой таился подкоп, *перед* самым появлением лагерного коменданта… утыкавшимися носами в землю за *секунду* до того, как над ними проносился луч прожектора. Книги наподобие «Деревянного коня»[88] и «Добраться до небес»[89] были переполнены подобными эпизодами, и я поглощал эти книги с лихорадочным восторгом.

На сей раз мне удалось улизнуть, вырваться на свободу, да еще и с карманами, набитыми сладостями, – и фрица ни одного не видно, и до швейцарской границы рукой подать.

Я выскользнул из здания школы и направился к озеру. Тамошний лодочный сарай был самым подходящим местом, чтобы посидеть и полакомиться моей добычей.

Однако по пути я наткнулся на Доналдсона. От спортивных игр его освободили, как и меня, зато у него имелась в запасе игра совсем новая.

Участок одного из полей обнесли проволокой с пропущенным по ней электрическим током. Здесь намеревались разбить

крикетное поле или что-то в этом роде, а изгородь требовалась для того, чтобы сюда не забредали пони. Учеников школы заблаговременно оповестили об этом, предупредив, чтобы к проволоке они не прикасались.

– Пойдем, посмотришь, – сказал Доналдсон и повел меня к изгороди.

Я последовал за ним не без опаски. Собственно, мы с ним особо и не дружили, с Доналдсоном-то. Мальчик он был рослый, крепкий, от спорта его освободили не потому, что он чего-то там боялся или был хиляком, а из-за травмы. Меня он никогда не задирал, даже и не пытался, но все-таки я опасался попасться на какой-нибудь розыгрыш: вдруг он толкнет меня на проволоку и я получу удар током. Выросший в доме с проводкой викторианских еще времен, я знал об этих ударах достаточно и страшился их, зловещих и тяжких.

Доналдсон встал у изгороди, сделал мне знак – замри! – а после вдруг наклонился и схватился рукой за проволоку и тут же ее отпустил. Не дернулся, не подпрыгнул, ничего такого.

– Его отключили, что ли? – спросил я.

– Там прерыватель стоит, – ответил он. – Послушай.

И точно, на одном из угловых столбов забора висел, тихо пощелкивая, какой-то контрольный прибор.

– Он при каждом щелчке заряд посылает, – пояснил Доналдсон. – А если хвататься между щелчками, ничего не будет. Давай. Попробуй.

Все еще опасаясь розыгрыша, я вслушался в щелчки, усваивая их ритм, а после коснулся проволоки и сразу отдернул руку.

И ничего.

Я расхохотался. Здорово!

Мы поиграли еще немного, оттачивая умение держаться за проволоку все дольше и дольше, все лучше осваиваясь с ритмом щелчков, – нас с Доналдсоном соединило одно из тех совершенных в их полноте мгновений детской дружбы, которые длятся, лишь пока не завершилась игра, и оба мы понимали, что при новой нашей встрече мы будем друг к другу не ближе, чем прежде.

Вскоре к нам присоединились другие мальчики, возвращавшиеся с крикета, с раундерза и прочих спортивных занятий, и мы с Доналдсоном, церемониймейстеры, посвятили их в Тайну Прерывателя.

И тут мне пришла в голову мысль.

– Знаете что? – сказал я. – Давайте выстроимся в линию и возьмемся за руки. Потом один схватится за проволоку и получит настоящий удар. Ток пойдет по линии, все время слабея, пока не

доберется до последнего человека.

– А смысл?

– Ну, побеждает тот, кто набирает больше очков. Нас здесь сколько? Пятнадцать. Тот, кто берется за проволоку, получает пятнадцать очков, следующий четырнадцать – и так далее. Последний в цепочке получает одно. А кто разрывает цепь, выходит из игры.

Некоторые организационные усилия все же потребовались, но в конце концов правила, позволяющие каждому стать Пятнадцатым, тем, кто касается проволоки и получает главную порцию тока, были в общих чертах выработаны.

Физической храбростью никогда не отличавшийся, я решил, бог весть по какой причине, занять это место первым. Вставший за мной Доналдсон ухватил меня за свободную руку. И, когда все мы соединились, я склонился к проволоке.

– Запомните, – твердо сказал я. – Каждый, кто разорвет цепь, из игры ВЫЛЕТАЕТ. Насовсем.

Пятнадцать голов важно закивали. Я протянул руку, задержал дыхание и сжал проволоку.

При первом щелчке я получил удар, едва не сваливший меня с ног, но удержался, дожидаясь второго, почти не слыша вскриков и смешков, раздававшихся вдоль цепочки.

После третьего, не то четвертого удара я разжал ладонь и оглянулся на товарищей.

Четырнадцать мальчиков подпрыгивали на месте, покрикивая и смеясь. Цепочка была цела.

А тем, кто замыкал ее, тем, кто получил самый слабый удар током, был не кто иной, как Банс, – раскрасневшийся и улыбавшийся во весь рот, радуясь, что испытание он выдержал и руку не оторвал.

Так мы проиграли примерно с полчаса – не думаю, что я еще когда-нибудь испытывал счастье столь полное. В тот раз сошлись воедино упоения самые разные: знание, что карманы мои набиты сластями, сластями и сластями; гордость вдруг обнаруженной в себе физической отваги; удовольствие не просто участника игры, но ее распорядителя; наслаждение мыслью, что я, сам не ведая как, ухитрился подбить целых четырнадцать мальчиков на нарушение школьных правил.

Банс так и не забыл о доброте, которую я, без всякой задней мысли, проявил к нему при нашей первой встрече в поезде, стоявшем на Паддингтонском вокзале. Он не набивался ко мне в друзья, врожденное чувство собственного достоинства не позволяло ему обратиться в чьего бы то ни было прихлебателя, но он всегда любил меня, какие бы выходки я себе ни позволял,

всегда улыбался, встречаясь со мной взглядом, и неизменно огорчался, если меня дразнили либо ругали, – в общем, при любом неприятном переплете, в какой я попадал.

Каждый из нас, поочередно, постоял за Пятнадцатого, мы уже выяснили, какое число ударов током должен он получить для достижения полного нашего удовлетворения, и теперь держали совет – я и Доналдсон, то есть, – пытаясь выдумать правила более изощренные. Он предложил обратить цепочку в полукруг – последний из стоящих в ней должен будет хвататься за проволоку одновременно с первым. Кто-то из игроков уведомил нас, трепеща от испуга, что этак мы получим Короткое Замыкание, что два удара током сойдутся на том, кто стоит в середине, и от него только кучка пепла останется. Может, лучше привести сюда пони и использовать его как подопытное животное? Мысль о том, чтобы поставить в середку полукруга пони, показалась нам страшно забавной, а Доналдсон, представив, как бедное животное сгорает дотла, и вовсе пришел в небывалый восторг.

– Нет, это *точно* надо попробовать! – заявил он. – О, смотрите! Вон Тучка ходит. Давайте Тучку возьмем.

Тучкой звали серенькую старую кобылку, пони с обвислым пузом, словно сошедшую с картинки Нормана Телуэлла.[90] Она была первой лошадью, на какой я когда-либо катался, и убивать ее электрическим током мне ничуть не хотелось. Я унаследовал от родителей любовь к животным и готов честно признать, что взгляды у меня на сей счет антропоморфные и до крайности сентиментальные. Да и кто из нас при виде медведей, тюленей или каких-то еще более милых взору млекопитающих не пускал обильную слезу? Я вот никогда не забуду красной мглы, заволокшей мне, годы спустя, глаза, когда я увидел подростков, швырявшихся камушками в уток, – дело было в парке, в Кингс-Линн. Под руку мне подвернулся какой-то строительный мусор, и я, выбирая из его груды каменюги побольше, начал метать их в мальчишек, выкрикивая бессмысленные непристойности, которые способен породить в сознании человека один только беспримесный гнев. «Ааа, засранцы задроченные, недоделанные… нате, получите, сучьи потроха, кидалы недокиданные…» Примерно так.

Следовало ли мне поругаться с Доналдсоном, не допустить, чтобы Тучку втянули в нашу игру? На самом-то деле, не знаю, к тому же мне не хотелось оказаться занудой, который гасит овевающее души друзей тепло, давит их радость, уничтожая совершенство ритма, в коем расцветает новая мысль. Наскоро придуманные детские игры, как, собственно, и сами дети, неуловимо непредсказуемы и в прочности их, и в хрупкости.

Я вовсе не хочу изобразить Доналдсона каким-то лютым чудовищем. Уверен, ему хотелось угробить ни в чем не повинную старую конягу ничуть не сильнее, чем любому из нас.

Впрочем, проверить это нам так и не удалось.

С верхушки холма донесся голос, прервавший нашу игру. Густой, почти уж сломавшийся голос Эванса, старосты и лучшего боулера школы. При одной из подач он, было дело, рассадил пополам средний столбик крикетной калитки. Эванс каждый год завоевывал кубок, присуждавшийся крикетирам за самый лучший бросок, а однажды запузырил мяч так далеко, что тот улетел с поля и его никогда уже не нашли.

– Фрай! Фрай-младший здесь?

– Так-так, – сказал Доналдсон и ткнул меня локтем в бок.

Я молча обогнул его и прочих и пошел вверх по склону, к силуэту Эванса, маячившему на гребне холма.

А чего я такого сделал?

Глупость, конечно, я отлично знал, чего я такого сделал, другой вопрос – как меня сумели изобличить? Невозможная же вещь.

Может, Дили все-таки *видел*, как я выходил из кабинета Кроми? Может, кто-то обнаружил пропажу нескольких пенсов, лежавших в кармане, и догадался, что это я их попятил? Может, у них даже и свидетель имеется?

– Давай побыстрее, ладно? – сказал Эванс, стоявший под выросшим на верхушке холма большим конским каштаном. – Я тут весь день торчать не собираюсь.

На нем была белая форма крикетиста, исполосованная травяной зеленью, – доказательство, что бросаться, ловя мяч, на землю он не боится.

– Извини, Эванс, – сказал я. – У меня же астма, понимаешь? Я в такую погоду бегать ну никак не могу.

– А, ну да, астма. Ладно, неважно. Мое дело – к директору тебя отвести.

– Как-как?

– У тебя и со слухом тоже неладно?

– Но почему? Что я сделал?

Едва я долез до верхушки холма, Эванс повернулся и пошел к школе, не интересуясь, иду ли я следом.

– Это уж тебе лучше знать. Кроми выглянул из кабинета, увидел меня и крикнул: «Эванс, найдите юного Фрая и приведите его сюда, *немедленно*».

Для Эванса происходившее было просто помехой, отвлекавшей его от стояния на воротах или от чего-то подобного, я видел, что он ведет меня к директору без удовольствия либо

сочувствия, но лишь с небрежным безразличием. И плелся за ним, как мокрый спаниель, лихорадочно гадая, что мог прознать Кроми.

До кабинета мы добрались слишком быстро, я не успел придумать никаких оправданий, не успел войти в образ храброй и стойкой невинности, которую должен буду изобразить, когда Кроми объявит о содеянном мной преступлении, не успел отрепетировать отрицания, пылкие и полные негодования, громогласный гнев, в который я впаду, когда директор обвинит меня… но *в чем*?

– Войдите!

Эванс уже стукнул в дверь. А я словно врос в пол.

– Это означает «войдите», – сказал Эванс, раскрывая передо мной дверь.

Кроми сидел не за письменным столом. Он сидел, читая что-то, в одном из двух кожаных кресел. Я же первым делом бросил быстрый взгляд на письменный стол – не выдвинут ли потайной ящик? Нет, не выдвинут.

– Благодарю вас, Эванс. Вы очень распорядительны.

– Сэр.

Эванс развернулся на каблуках и удалился. В дальнейшей жизни он поступил в Харроу, играл за эту школу в крикет и блистал на занятиях по военной подготовке, и там умение лихо разворачиваться на каблуках принесло ему, нисколько в этом не сомневаюсь, «Почетный меч» и всеобщее обожание.

Я замер на пороге. Веселые искры в на редкость синих глазах Кроми, его лихо закрученные кверху рыжие усы озадачивали меня и наполняли страхом.

Весьма вероятно, что глаза у него были карие, а усы зеленые, – надеюсь, он простит мне эту неточность. Уверен, он достаточно умудрен, чтобы знать: ложные воспоминания бывают порою намного точнее запротоколированных фактов.

– Входите, Фрай, входите! – воскликнул он с учтивой самоуверенностью архидиакона, призывающего служку к задушевной беседе о пелагианской ереси.

– Вы очень добры, сэр, – сказал я с развязностью махнувшего на все рукой человека.

– Присаживайтесь, – предложил Кроми, указывая на второе кресло, сиденье и подлокотники которого мне приходилось до этого случая видеть лишь вверх ногами, сгибаясь над их поблескивающей кожей в ожидании порки.

Я присел, ничего уже не понимая.

До окончания школы мне было слишком еще далеко, и, значит, рассчитывать на прославленный Разговор С Выпускником

покамест не приходилось. О разговоре этом по школе распространялись в конце каждого триместра слухи самые несусветные: покидавший школу ученик получал в ходе его сведения о Влагалищах, Зачатии, Детородном Члене, Половом Влечении и Поведении Некоторых Мальчиков – в общем, обо всем, что он и сам уже знал давно и досконально.

Ощущая безнадежное замешательство, я уперся взглядом в ковер.

Прошло около ста лет, и наконец Кроми отложил книжку, которую читал, и наставил на меня мерцающий взор.

– Фрай, – произнес он и пристукнул себя по твидовому колену. – Я намереваюсь сделать предсказание.

– Сэр?

– Вы очень далеко пойдете.

– Как это, сэр?

– Да уж поверьте мне. Вы пойдете очень далеко, очень. Я, правда, не могу точно сказать, куда вы в итоге придете, в Вестминстерский дворец или в Уормвудскую тюрьму.[91] Насколько я знаю нашего друга Фрая, он, скорее всего, побывает в обоих этих местах. – Кроми потер пристукнутое колено с видом старика, которого чертовски донимает не то артрит, не то фронтовая рана, – донимает, конечно, но и напоминает по-приятельски о добрых старых днях. – И знаете, Фрай, почему вы пойдете так далеко?

– Нет, сэр.

– Потому что вы обладаете *дерзостью*, равной которой не то чтобы мало, а просто и *нету* больше на свете.

– Правда, сэр?

– Фантастической, наиполнейшей, сверхъестественной дерзостью, подобной которой я никогда еще не встречал.

Произносилось все это тоном легким, дружеским и – выбор этого слова может показаться безрассудно нелепым, но никуда не денешься – *восхищенным*.

– У Фрая возникает проблема, – продолжал Кроми, обращаясь на сей раз, по всему судя, к книжному шкафу. – Ему нужно отправить по почте пакет, но, черт побери совсем, у него нет марки. И что же он делает? Он отправляется в кабинет своего директора, хладнокровный, как я не знаю что, и, увидев там стопку писем и бандеролей, ожидающих, когда их оклеют марками, кладет поверх них свой пакет и уходит. «Старина Дили оттащит всю эту музыку в почтовую контору, а там и моему пакету марка достанется», – думает он. Откуда ж ему было знать, что директор заявится в кабинет еще до того, как Дили унесет из него всю почту, и мигом распознает весьма индивидуальный

почерк самого дерзкого проходимца, какого эта школа имела честь лелеять в своих стенах?

Господи, Господи, Господи… магазин розыгрышей… мой почтовый заказ… склеенные скотчем монеты. Я про них напрочь забыл.

Обнаружив потайной ящик, набитый сладостями, я впал в такой восторг, что просто оставил мой пакет на столе.

Боже милостивый всесильный.

– Столь возвышенная дерзновенность заслуживает особой награды, Фрай, – сообщил Кроми. – И состоять она будет в том, что Дили отнесет ваш пакет вместе с прочими в деревню и отправит его куда следует за счет школы, с чем и примите мои поздравления.

Он поскреб подбородок и хмыкнул.

Может быть, Иисус Христос и дедушка не такие уж и строгие судьи. Может быть, они все еще любят меня.

Я понимал, чего от меня ожидают, и выдал Кроми полный репертуар: уныло и виновато растянутый рот, стыдливую робкую улыбку, неловкое смущенное ерзанье в кресле.

– Ну, понимаете, сэр, я просто подумал…

– Я прекраснейшим образом понимаю, сэр, что вы подумали, – ответил Кроми и, улыбаясь, поднялся из кресла. – Возможно, вы впервые покидаете этот кабинет без боли в седалище. Что ж, считайте, что вам повезло. И в будущем постарайтесь найти для вашей безмерной дерзости лучшее применение.

Что верно, то верно, до сей поры я покидал общество Кроми, лишь получив то, что мне причиталось. И в последний раз – за визит в сельскую лавку. Три удара плюс обещание удвоенной порции, если меня поймают на том же проступке еще хоть раз.

Я тоже встал и в страхе зажмурился, услышав донесшееся из моих карманов шуршание бумажных пакетов. Только и не хватало, чтобы из них посыпались, точно монеты из «однорукого бандита», краденые сладости.

– Ладно, ладно, испуг изображать не обязательно. Ступайте.

– Огромное вам спасибо, сэр, и простите меня.

– Иди и впредь не греши[92] – вот все, что я могу сказать. Иди и впредь, задери тебя черт, не греши.

Полчаса спустя, сидя под ливанским кедром и запихивая в рот одну зефирную креветку за другой, я размышлял о странностях судьбы. Быть может, я и впрямь обладал храбростью – определенного толка. Чтобы обманывать, врать, изворачиваться и грешить, тоже требуется храбрость. И даже большая, чем та, с какой касаешься проволоки под током.

Свет летнего вечера приятно играл на траве лужаек и поверхности озера, а у меня еще оставались в карманах блейзера пакетики с фруктовым салатом и летающими блюдцами.

– *Фрррааай!*

Когда мое имя выкликалось с такой угрозой, это могло означать только одно: Поллока. Школьного старосту Поллока, мальчика с волосами цвета воронова крыла и садистской ненавистью ко всему, из чего состоял Фрай-младший.

Я и опомниться не успел, как он выскочил из-за дерева и вырвал из моих рук пакетик.

– Так-так, значит, мы опять в деревенскую лавку ходили?

– Нет! – возмущенно ответил я. – Не ходили.

– Кончай врать. Креветки, молочные бутылочки, летающие блюдца и лакрица. По-твоему, я идиот?

– Так точно, Поллок. По-моему, ты идиот. А в деревню я *не ходил*.

Он ударил меня по лицу:

– Ты давай не наглей, ничтожество. Выворачивай карманы.

После падения в Чешэмской школе мой нос обзавелся колоссальной чувствительностью к малейшим сотрясениям. И от самого слабого удара из глаз у меня брызгали слезы. А в те дни к слезам добавлялось еще и унизительное понимание того, что выглядят они совершенно как настоящие.

– О господи, перестань реветь и выверни карманы.

Несправедливое обвинение, естественно, породило слезы еще пущие.

– Сколько раз тебе повторять? – взвыл я. – *Не ходил я в деревенскую лавку!*

– Ну да, ну да. Разумеется, не ходил. А тут у тебя что?

Если бы это воспоминание не было столь абсурдно анахроничным, я, пожалуй, поклялся бы, что Поллок надорвал один из пакетиков и тронул кончиком языка шербет – как голливудский коп, пробующий на вкус белый порошок.

– Это вовсе не из деревни! Не из магазина, понял?

Однако этого идиота ничем было не пронять.

– Знаешь, на сей раз ты нарвался на очень крупные неприятности, – сказал он и повернулся лицом к школе, намереваясь снести в нее все мои трофеи.

И при этих его словах прозвучал удар колокола, призывавший школьников к ужину. Поллок взглянул на главное здание школы.

– Сразу после ужина под кораблями, – буркнул он и затопал вверх по холму.

Удивительное дело – выражение «под кораблями» всплыло в моей памяти только теперь.

В конце коридора, другой конец которого упирался в кабинет директора школы, висели в стеклянных ящиках две модели боевых кораблей. Староста, который отправлял тебя к директору, обычно говорил: «После обеда под кораблями…» или «Еще раз пискнешь, отправишься под корабли». Странно, что я ни разу не вспомнил о них, рассказывая эту историю. Мне кажется, одним из них был линейный крейсер «Шлем», хотя я могу и ошибаться. Зато я уверен, что трубы у них были красными, а это для боевых кораблей необычно. Может, они все-таки были пассажирскими лайнерами? Так или иначе, от них за милю несло неприятностями.

Впадая все в большую панику, я плелся за Поллоком и кричал ему в спину, что не был я, не был, не был, *не был* в деревне. Но вскоре он уже скрылся в школьном здании, из которого в ответ мне донеслось лишь эхо его хохота.

И тут прямо под боком у меня прозвучал тоненький голосок:

– Что случилось, Фрай? Что случилось?

Я обернулся и увидел наставленные на меня карие, озабоченно мигающие глаза Банса.

Я утер рукавом сопли, смахнул им же слезы со щек. Не мог же я допустить, чтобы человек, который так хорошо ко мне относится, увидел меня в подобном состоянии.

И пока я орудовал рукавом, в голове моей возникла идея – уже полностью оформившаяся и готовая к употреблению. У меня чуть дыхание не перехватило от скорости, с которой осуществились ее зачатие, рождение и рост. Ведь совсем недавно, в этот же день, я дотащился за Эвансом от самой электрической изгороди до кабинета Кроми и не смог придумать никаких ответов ни на какие обвинения, а сейчас – попав в беду куда более серьезную – в одну секунду измыслил план спасения. Он сложился у меня в голове еще до того, как я успел отвести рукав от лица.

Как не уставал повторять своим товарищам Биггльз,[93] выход найдется *всегда*. Всегда. В какой бы переплет мы ни попали, а вспомните, братцы, мы ведь и не в таких, как этот, бывали, а выход найдется *всегда*. Выше голову, Элджи, и передай-ка мне вон ту веревку…

– Поллок только что застукал меня с кучей добра из сельского магазина, – произнес я негромко и обреченно.

Глаза Банса округлились еще пуще. Я видел абсолютно ясно: романтическое обаяние, экзотичность сельского магазина и зачаровывают, и ужасают его. Шел уже второй, по-моему, год его учебы, но каким-то образом он, подобно Артуру из «Школьных дней Тома Брауна»,[94] всегда оставался – в смысле

функциональном – самым маленьким мальчиком в школе. Помню, в тот же летний триместр, несколько раньше, учитель мимоходом сделал ему замечание за то, что он явился на физическую подготовку в белых парусиновых туфлях вместо черных, и Банс покраснел, как герань, и еще несколько дней потом продрожал и проплакал. Он провел в школе шесть триместров и ни разу даже близко не подошел к возможности наказания или порки, так что это первое совершенное им нарушение буквы школьного закона расстроило его ужаснейшим образом.

– Господи, – сказал он, – тебя же всего на прошлой неделе выпороли как раз за…

– То-то и оно, – перебил его я. Главное было – не дать ему успокоиться. – И Кроми сказал, что, если я опять попадусь, меня выгонят из школы.

– *Выгонят?!* – Банс выдохнул это слово испуганным шепотом, как если б оно было нитроглицерином, способным взорваться от неосторожного обращения.

Я трагически покивал.

– Не знаю, что тогда сделают со мной мать и отец, – сказал я и немного пошмыгал носом.

– Но *почему же*?

– Почему? Потому что расстроятся сильно, вот почему! – пояснил я, несколько даже раздражившись от такой его тупости.

– Да нет, я не о том. Почему ты опять пошел в сельскую лавку, если заранее знал, что тебя могут исключить?

Ну, знаете ли. Бывают же люди.

– Это… это довольно трудно объяснить, – сказал я. – Да и какая теперь разница почему, главное, что положение мое безвыходно. У Поллока на руках все улики, и он собирается…

Ту т голос мой прервался как бы от изумления перед поразившей меня мыслью:

– Если, конечно…

– Если *что*?

– Нет-нет… попросить об этом я никого не могу, – сказал я и покачал головой.

– Если что? – снова пискнул Банс.

– Если… я подумал, если бы можно было сказать, что в деревне я не был, а сладости получил от кого-то *другого*…

Продолжать я не стал.

– Ты насчет того, – произнес Банс, – что если какой-то мальчик скажет, что это он был в деревне, а не ты, то выяснится, что ты там не был и тебя из школы не выгонят?

В грамматический разбор этого странного предложения я

вдаваться не стал, а просто с силой покивал, решив, что Банс уже вступил на правильный путь.

– Беда только в том, – мрачно сказал я, – что никто же этого не сделает.

Я наблюдал с отрешенным, но пытливым интересом истинного исчадия ада, как Банс моргает, прикусывает губу, сглатывает, прикусывает губу и снова моргает.

– *Я* сделаю, – после долгого молчания сказал он.

– О нет! – запротестовал я. – Уж *тебя-то* я об этом просить не стану ни в коем случае. Ты чересчур…

– Чересчур *что*?

– Ну… я о том, что все же знают, ты малость… ну, ты понимаешь…

И я умолк – слишком тактичный, чтобы закончить эту фразу.

Лицо Банса потемнело.

– *Что* немного? – спросил он, с некоторым даже рыком в голосе.

– Ну, – мягко произнес я, – ты немного слишком *хороший*.

Он покраснел и уставился в землю – с таким видом, будто я обвинил его в причастности к холо-косту.

– Да нет, это не страшно, – сказал я. – В общем-то, я *сам* дурак. Не знаю, что на меня находит. Просто не могу вести себя хорошо, и все.

Банс поднял на меня взгляд – внезапно и впервые в жизни обозлившись на себя за то, что он-то просто не может вести себя *плохо*. А мне от него только это и требовалось.

Господи, какой же я умный, сказал я себе. Может, это и означает «без малого гений»? Присущее мне умение обвести человека вокруг пальца – или «гений» это все же нечто иное…

Я видел – Банс совсем уже близок к тому, чтобы принять самостоятельное решение. Вернее сказать, полагает, что принимает его самостоятельно.

– Значит, так, – произнес он голосом твердым и решительным, – ты скажешь мистеру Кроми, что это я был в деревне. Я, а не ты.

– Нет, Банс, нет…

– Да. Ты должен сделать это. И пойдем, не то нас накажут еще и за опоздание к ужину.

– Боже ты мой, Фрай, – вскрикивал Кроми, расхаживая взад-вперед по кабинету, точно сумчатый дьявол, только что запертый в клетку. – Не более часа назад я поздравлял вас с присущей вам дерзостью, а теперь вы возвращаетесь ко мне с доказательствами, что никакая это не дерзость, а нахальство, хамство и *чистой воды*

наглость!

Я стоял посреди ковра, ожидая благоприятного момента.

– Говорил я вам или не говорил, юноша, что если вы еще раз хотя бы издали взглянете на эту лавчонку, я из вас кишки выпущу? А?

– Но, сэр…

– Отвечайте, черт побери! Говорил или не говорил?

– Но, сэр, я ни в какой лавке и не был.

– Что? – Кроми застыл на месте. – Вы пытаетесь уверить меня…

И он повел рукой в сторону лежавших на письменном столе конфискованных у меня сластей. Я просто-напросто поражался, как же ему не пришло в голову заглянуть в потайной ящик с собственными его запасами. Может быть, он про них забыл?

– Нет, сэр. Я, конечно, все это ел, однако…

– Что «однако»? Вы их под кустом нашли? Выловили в озере? Я, к вашему сведению, не вчера родился.

«Я не вчера родился». «Придумайте что-нибудь поумнее». «Я из вас кишки выпущу». «Не учите отца сами знаете чему». «Ну, теперь смотрите». «Зарубите на носу».

Интересно, эти обороты все еще в ходу у школьных учителей?

– Да нет, сэр, я просто хочу сказать, что не ходил в деревенский магазин.

– То есть… как это? – Кроми в отчаянии всплеснул руками. – Что это, черт возьми, значит?

– Ну, то, что я и сказал, сэр.

– Вы пытаетесь внушить мне, будто эти сладости принес вам кто-то *другой*?

Я кивнул. Дошло наконец.

– И кто же, позвольте осведомиться, эта всемилостивая особа, удивительный филантроп, посещающий сельскую лавку лишь для того, чтобы осыпать друзей даровыми лакомствами, подобно некоему благоволительному лорду, жертвующему имущество своим крестьянам? М-м? Кто он?

– Я… я не хочу наушничать, сэр…

– О нет. Разумеется, нет. – Кроми купился и на *это*. – Однако, если вы не хотите также получить обещанные вам шесть ударов, тогда лучше скажите мне правду, и *сию же минуту*.

Нижняя губа моя задрожала: все-таки выдать друга – это не шутка.

– Хорошо, сэр. Это был Банс, сэр.

Не думаю, что мне еще хоть раз в жизни довелось увидеть человека настолько удивленного. Брови Кроми взлетели к потолку, губы мгновенно побелели.

– Вы сказали – Банс? – хриплым, неверя-щим шепотом осведомился он.

– Сэр, да, сэр.

– И ваше «Банс» означает *Банс*? Я кивнул.

Кроми смотрел мне в глаза секунд, наверное, пять, словно стараясь проникнуть взглядом до самого дна моей души. Потом покачал головой, прошел мимо меня, открыл дверь и рявкнул громовым, как у вулкана Кракатау, голосом:

– *Банс! Банс!* Кто-нибудь, пришлите сюда Банса!

– О боже, – отозвался один из попугаев и выкинул из клетки ореховую скорлупку. – О боже, боже, боже!

Я ждал, стоя как вкопанный, слушая, как по школе разносятся крики, призывавшие Банса, точно свидетеля в зал суда.

За ужином я время от времени поглядывал на него через стол. Он апатично отправлял в рот кусочки поджаренного хлеба – с видом смертника, ошибшегося в выборе последнего завтрака. Когда Банс отрывал взгляд от стола и встречался со мной глазами, щеки его заливала алая краска, но он тем не менее подчеркнуто кивал, изображая губами безмолвное «Да». Нет, в Бансе я не сомневался. Банс был столько же храбр, сколько и честен.

Три минуты спустя Банс уже стоял рядом со мной на ковре кабинета Кроми – руки крепко сцеплены за спиной, рот сложен в твердую линию, вот только торчащие из шортов коленки немного подрагивают.

– Банс, – ласково произнес Кроми. – Фрай сказал мне, что…

Закончить он не успел.

Плотину прорвало, и в кабинет хлынул поток слов:

– Сэр, это правда, сэр. Я ходил в деревенский магазин, сэр. Ходил. Я. Я там был. Фрай ходил. То есть это я ходил, а Фрай не ходил. *Я* ходил в деревенскую лавку, а не Фрай. Он ничего там не покупал. Это я. Я все купил. Когда ходил в деревенскую лавку. Сходил и купил. Я сам…

Выпалено все это было с такой скоростью, что Кроми даже заморгал от изумления. Засим последовал целый циклон слез и всхлипов, смутивший нас всех.

– Выйдите, Фрай, – сказал Кроми.

– Сэр, это означает?…

– Просто выйдите. И подождите снаружи. Я вас потом позову.

Закрывая за собой дверь, я услышал, как Банс попискивает:

– Это *правда*, сэр. До последнего слова. Я ходил в деревню, и, простите меня, сэр, я больше никогда…

Остаться у двери и подслушать дальнейшее я не мог, слишком много народу толклось в коридоре. Крики, призывавшие

Банса к директору, сильно заинтересовали всю школу.

– Что происходит, Фрай? – осведомился кто-то. Я с самым наплевательским видом пожал плечами и ушел в конец коридора, к кораблям.

На той стене, выше «Шлема», «Дредноута» – или «Неукротимого», или «Отпора», не помню я, как они назывались, – висели дощечки с выведенными золотом именами ученых и иных выпускников школы, отметивших свои жизни серьезными достижениями. Я стоял и смотрел на них. Ле Пойдевин, Уиншип, Маллетт, де Вер, Ходж, Мартино и Хазелл. На краткое время я задумался – не появится ли здесь когда-нибудь и мое имя, но тут же мысль эту отбросил. Я знал – этого не будет. Список состоял из имен тех, кому удалось *присоединиться*. Из капитанов регбийных и крикетных команд они обращались в капитанов кораблей и индустрий. Возможно, подумал я, вспомнив фразу, которую так любил майор Добсон, они стали также хозяевами своих судеб и капитанами своих душ.

«Получается, что вы *майор* вашей души, сэр. А скажите, это лучше, чем быть ее капитаном?» – однажды спросил я у него, только что прочитавшего нам это стихотворение Уитмена, и он весело улыбнулся. Я любил майора Добсона – и потому, что он был хорошим учителем, и потому, что жалел его на странный и неуместный, присущий порою детям манер. Думаю, мама водила меня в нориджский театр «Маддермаркет», на постановку рэттигановских «Отдельных столиков», совсем еще маленьким, и с тех пор майоры всегда ассоциировались у меня с разочарованиями, сожалениями и этим ужасным оборотом: «обойден по службе».

«Совсем неплохо для обойденного по службе майора…» – говорит полковник Росс майору Долби в «Досье Ипкресс».[95]

Вообще-то майор Добсон, как я теперь знаю, попал во время эвакуации из Дюнкерка английского экспедиционного корпуса в немецкий плен, бежал и просражался всю войну, закончив ее в Сицилии и Италии. Храня верность старой традиции, он никогда об этом не рассказывал. Как, собственно, и мистер Брюс, проведший годы войны в японском лагере для интернированных и преподававший нам историю и богословие с щегольством и блеском краснобая былых времен. Он был ярым патриотом Шотландии и с особой страстностью говорил об Уильяме Уоллесе,[96] восстании Монтроза[97] и якобитских войнах 1715 и 1745 годов. Как вы еще узнаете, у меня имеется особая причина питать благодарность к Джиму Брюсу.

Эти и другие биографические подробности стали известны мне всего две недели назад, когда я получил от милейшего Энта

Кроми список ответов на целую кучу моих вопросов, касавшихся «Стаутс-Хилла». Чарльз Найт, который преподавал нам латынь и греческий, внешне походил на убийцу Криппена,[98] но был добрейшим и мягчайшим из всех учителей, каких я когда-либо знал, человеком, любившим учить, а к дисциплине и строгостям никакого интереса не питавшим; он очень гордился тем, что я получил в двенадцать лет школьный приз за познания в греческом (приз и теперь у меня – избранное Джона Китса), – Найт тоже воевал, сначала в пустыне, потом в Италии. Я так ясно помню уроки истории, посвященные войне, помню, как они завораживали всех нас, поскольку посвящены были событиям, происходившим всего за двенадцать-тринадцать лет до нашего рождения. Почти каждый ученик школы мгновенно распознавал силуэт «дорнье» или «хейнкеля», рисовал «харрикены», «спитфайры» и танки «панцер». И, однако же, ни один из учителей, кого я помню, не рассказывал нам о собственном военном опыте. Если б я знал о его существовании, я засыпал бы их вопросами, бомбардировал бы оными и обстреливал – одиночными залпами и очередями. Это молчание старых солдат ставит меня в тупик и поныне.

Глядя на имена прежних выпускников, я всегда думал о войне. Хотя школа была основана всего лишь в 1935 году, перечень имен над кораблями выглядел как список павших на войне, в нем присутствовала точь-в-точь такая же меланхолическая неизменность. Поименный список твоих однокашников, какие бы *outré*[99] или громкие фамилии он ни содержал, все равно отзывается некой живой бойкостью, – в списке тех, кто учился здесь же поколение назад, присутствует приглушенная, мрачная нота похоронного звона.

Мне не пришлось так уж долго смотреть на фамилии ле Пойдевина, Уиншипа и Маллетта – вскоре я увидел в стекле одной из корабельных витринок отражение открывавшейся на другом конце коридора двери. И обернулся.

Кроми стоял в дверном проеме и манил меня к себе одним согнутым пальцем. Я шустро зашагал к нему по коридору.

Каким-то образом я сразу понял: игра моя проиграна. Думаю, я также понимал, что это правильно, что так и должно было случиться. Банс вылетел из кабинета, точно перепуганная собачонка, проскакивающая между ног хозяина, и понесся по коридору мне навстречу. Когда он пролетал мимо, я мельком увидел белки его выкаченных глаз и вроде бы услышал произнесенное задыхающимся шепотом слово, которое вполне могло быть словом «Прости».

Пока я приближался к Кроми и к открытой двери его

кабинета, он повернулся к шести или семи ученикам, торчавшим в коридоре, делая вид, будто они беседуют с попугаями или рассматривают висящие на стенах картины.

– А вы что тут забыли? – рявкнул он. – Заняться больше нечем? Давно дополнительных заданий не получали?

Мальчишек как ветром сдуло.

Теперь в коридоре остался лишь я, шедший к Кроми, который стоял в раме двери, чернея силуэтом на фоне окна своего кабинета. Коридор словно бы становился все длиннее и длиннее, как в какой-нибудь наведенной «наркотиком правды» галлюцинации из фильмов наподобие «Мстителей» или «Человека в чемодане». Палец Кроми все продолжал манить меня, но мне казалось, что с каждым моим шагом я от него удаляюсь.

Когда дверь за нами наконец закрылась, наступила мертвая тишина, ни одного отзвука школы сюда не долетало. Примолкли даже попугаи с майной.

Кроми повернулся к зашторенному окну. За этими шторами и хранились трости.

– Вы, разумеется, понимаете, Фрай, – вздохнув, сказал он, – что мне придется вас высечь, не так ли?

Я кивнул и облизнул губы.

– Мне просто хотелось бы верить, – продолжал он, – что вы понимаете, *по какой причине*.

Я кивнул снова.

– Отправиться в сельскую лавку – это одно. А послать в нее вместо себя мальчика вроде Банса – совсем другое. Не будем дурачить друг друга.

Банс никогда не пошел бы туда, если бы вы его не попросили. И если вы сознаете, сколько в этом трусости, низости, подлости и опять-таки трусости, возможно, для вас еще существует хоть на йоту надежды.

Помнится, слово «йота» я услышал тогда впервые. Странно, как это человеку порой удается с первого раза понять слово со всеми его смысловыми оттенками.

– Я думаю, восемь ударов, – сказал Кроми. – Столько я еще никому не давал. И надеюсь, мне никогда больше столько давать не придется.

За все время нашего с ним знакомства Банс так и не простил себе то, как он меня подвел. Остался при убеждении, что мог бы исполнить свою роль и получше. Другой на его месте заважничал бы, изображая самого настоящего, закоренелого и нечестивого завсегдатая сельского магазина. Мне хотелось обнять его за то, что он такой милый. Крепко обнять в знак уважения к его

добродетели.

Мне хотелось обнять и себя.

За то, что я одурачил Кроми.

Он так ничего и не понял. Не докопался до настоящей правды. Я крал у него сладости, крал деньги у его учеников, я истерзал словами хорошего мальчика, принудив его солгать ради меня. А высекли меня всего-навсего за стандартное школьное преступление – за «дурное влияние».

Когда я в конце 1970-х учительствовал в школе «Кандал-Мэнор», мои ученики часто просили меня рассказать им эту историю. Я не изображал себя в красках *совсем уж* черных, о *настоящих* моих кражах не упоминал, но в остальном рассказывал все, как было, и им это *нравилось*.

– Расскажите еще раз, сэр. Про вас и про Банса… пожалуйста, сэр!

И я раскуривал трубку и приступал к рассказу.

Сейчас я оглядываюсь на школу «Стаутс-Хилл», закрывшуюся в мой первый кембриджский год, и только головой качаю, размышляя о том, каким я был тогда человеком. Я думаю, в детях больше злобы, чем во взрослых, – у взрослых, по крайней мере, есть чем себя извинять, любовь. А ребенок только и хочет, что впиваться всеми зубами в сладости.

Он так и не научился шагать в ногу со временем, наш «Стаутс-Хилл». Энт Кроми, человек амбициозный, создал хороший театр. Однако идея насчет большого числа приходящих учеников никогда не представлялась ему привлекательной. Стоимость обучения была высокой, школьная форма оставалась сказочно стильной, а между тем родителей все меньше интересовали пони и греческий и все больше – результаты общего вступительного и деньги. Они проголосовали за миссис Тэтчер и проголосовали против пони по имени Тучка, против лодочного сарая, озера, бывших майоров и капитанов. У меня все еще стоят на книжной полке «Подступы с Востока» Фицроя Маклейна,[100] одолженные мне Йеном, мужем Падди Ангус. Надо бы все же как-нибудь отослать ее назад. Фицрой Маклейн теперь уже мертв, как и «Стаутс-Хилл».

Интересно, кто теперь там отдыхает? Интересно, оставил ли я в атмосфере этого дома миазмы вины и стыда? Интересно, впитались ли в его стены горестные чувства Банса, порожденные его добродетелью?

Я был там счастлив. Я хочу сказать этим, что не был несчастлив *там*. Несчастье и счастье я вечно носил с собой, куда бы я ни попадал и кто бы меня ни окружал, – просто потому, что

никогда не умел присоединяться.

Попытка единения

1

Школа «Аппингем» была основана в правление королевы Елизаветы Первой, но, подобно большинству закрытых школ, долгое время мирно дремала там, куда определила ее судьба, – в маленьком и милом графстве Ратленд, известном лучшими в стране охотничьими угодьями, пока уже в девятнадцатом веке великий, революционно настроенный директор не дал школе, как это было заведено у великих, революционно настроенных директоров, хорошего пинка, озарив ее недолгим сиянием славы.

Великим и революционно настроенным директором «Аппингема» был Эдвард Тринг, и легко предположить, что он имел какое-то отношение к «Габбитас и Тринг», к «схоластическому агентству». С определенностью можно сказать, что Эдвард Тринг основал «Ассоциацию директоров», организацию, которая определяет всю политику закрытых школ. Даже сейчас, если вы не состоите в АД, вы никакая не закрытая школа, а всего лишь «независимая».

Тринг, подобно всем викторианским революционно настроенным школьным директорам, веровал в огромные бакенбарды и в Целостное Развитие Ребенка. В пору его директорства «Аппингем» стал первой в Британии закрытой школой, построившей плавательный бассейн. Тринг поощрял занятия столярным, плотницким, гончарным, типографским делом, равно как и иными ремеслами. Он считал, что у каждого ребенка имеется какой-то талант, а долг школы состоит в том, чтобы этот талант выявить. Если мальчик не способен сладить даже с азами латыни, греческого или математики, утверждал Тринг, значит, следует найти что-то другое, в чем он способен превзойти всех остальных, ибо Каждый Мальчик К Чему-Нибудь Да Способен. Бакенбарды Эдвард Тринг отрастил куда более внушительные, нежели те, что имелись у Томаса Арнольда, возглавлявшего школу «Регби», однако у «Аппингема» не было ни Уэбба Эллиса,[101] способного изобрести новую спортивную игру, ни Томаса Хьюза, способного изобрести новый литературный жанр, вследствие чего «Аппингем» – при всей пугающей пышности бакенбард Тринга, плескавшихся на его щеках, подобно пламенным знаменам, – так никогда и не достиг вершин славы и блеска «Регби» и в ходе двадцатого века мерно съезжал к теперешнему его среднему уровню среднеклассности, среднелобости и среднеанглийской осредненности.

Англичанам свойственна просто-напросто мания приклеивать слово «философия» к самым элементарным и банальным общим

местам. «Наша философия состоит в том, чтобы удовлетворять клиента», «Поступайте с другими так, как они поступали бы с вами, – вот моя философия», «Сочетание традиционного комфорта с современными удобствами – такова основная философия отеля “Чертополох”» – и прочая белиберда в этом роде. Особенно варварскому обращению подвергается это неудачливое слово в устах странно напыщенного животного, директора закрытой школы, создания, сыгранного Питером Джеффри[102] в киношедевре Линдсея Андерсона «Если…»,[103] где его с такой безжалостностью и блеском пристреливают, набивают соломой, водружают на постамент и выставляют на всеобщее обозрение.

Директора закрытых школ, как и сочиняемые ими брошюры, используют слово «философия» с такой же частотой, с какой девицы из Калифорнийской долины слова «типа того», – непрестанно и неосмысленно.

Например, философия «Аппингема» в значительной мере состоит в том, чтобы применять заповеди и принципы Эдварда Тринга в современной жизни.

Иными словами, школа добавила к плотницкому делу металлообработку и мастерскую трафаретной печати.

Философия «Аппингема» в значительной мере состоит в том, чтобы развивать потенциал каждого ученика.

Иными словами, результаты экзаменов повышенного уровня и процент поступающих в Оксбридж выпускников здесь ниже среднего.

Философия «Аппингема» в значительной мере состоит в том (даже в мои дни это произносилось без всякой иронии), чтобы растить воспитанных, неунывающих, разносторонних юношей.

Иными словами, средний выпускник «Аппингема» – это благовоспитанный и благопристойный, надежный и несколько пустоголовый молодой человек.

Если все сказанное смахивает на язвительную критику, то в мои намерения она нисколько не входила.

Благовоспитанные, благопристойные, надежные и несколько пустоголовые молодые люди были плотью и кровью двух мировых войн. Поддерживаемые в достойном порядке мемориалы «Аппингема» предъявляют нам список павших, куда более длинный, чем можно было бы ожидать, исходя из размеров школы. Другие школы, более фешенебельные, давали блестящих генералов и тактиков, передвигавших флажки на картах Генерального штаба, «Аппингем» же поставлял доблестных молодых ребят, которые без какого-либо уныния и вопросов поднимались по окопным лесенкам и вели своих солдат на

верную, грязную и кровавую смерть. И, что еще более важно, те аппингемцы, которым удалось уцелеть, никогда не позволяли себе непорядочности и безвкусицы, потребной для того, чтобы писать потом о пережитом высокоумные, скептические стихи.

Существует еще одно слово, которое и поныне многое значит для англичан и которое долгие годы было бичом для моей спины, шпорой для моих устремлений, фурией, от которой надлежало бежать, Немезидой, врагом, анафемой, тотемом, пугалом и обвинением. Я и поныне стараюсь не прибегать к нему и всем его близким родственникам. Это слово обозначает все, к чему я никогда не стремился, все и вся, от чего я ощущаю себя отчужденным. Оно – тайный пароль клуба, в который я ни за что не вступлю да и вступить не смогу, – клуба, у дверей коего я могу стоять, глумливо ухмыляясь, однако какая-то потаенная часть меня все равно будет с жалкой неприязнью к себе наблюдать, как избранные члены его проходят, посвистывая, счастливые и самоуверенные, сквозь вращающиеся двери. Слово это

ЗДОРОВЫЙ

и с ним неплохо бы разобраться поосновательнее. Значение его родственно понятиям «целостный», «здравый», в мышлении же оно связано с добродетельностью и целительностью. Быть здоровым – значит быть целостным и добродетельным. Быть нездоровым – значит быть нечистым и недобродетельным, антисанитарным и ненормальным.

В английском языке слова «здоровый» и «здравый» передавали, в наилучшем их смысле, образ толстопузого румяного бражника, беззаботной и благочестивой жизни, достойных Фальстафа праздничных зимних пирушек. Однако к концу семнадцатого столетия здравомысленная здравость языческих увеселений была изгнана из пиршественных залов заодно с Фальстафом и сэром Тоби Белчем, а на смену ей явилась набожность церковных праздников и чванное пуританство Мальволио, Мильтона и Принна.[104] «Здравие!» обратилось из тоста громогласного выпивохи в качество бессмертной души. Здравие отождествлялось уже не с задушевностью, но с чистотой.

«Ради здравия душ ваших…» – любил говорить священник.

Томас Арнольд, а вместе с ним Эдвард Тринг и полчище прочих великих революционно настроенных школьных директоров викторианских времен отыскали, плеща по ветерку бакенбардами, новое значение для слова «здоровье». Они вывихнули отдающее цинизмом пожелание бедного римского

сатирика, обратив это пожелание в максиму Мускулистого Христианина:[105] «*Mens sana in corpore sano*».[106]

«В здоровом теле здоровый дух» – вот намеренно силлогистичный и неверный перевод, который лег в основу их «философии». Чистота, как втолковывалось одному поколению британцев за другим, есть почти что благочестие. Чистоту тела должно рассматривать как внешний, зримый знак того, что именовалось (людьми, без всякого на то права присвоившими прекрасную поэзию Причастия) внутренним, духовным здравием.

Кое-какие причины веровать в благодетельность здоровья, под которым я подразумеваю здесь гигиену, у Тринга имелись. В пору его правления школой город Аппингем отказался предпринять хоть что-то для улучшения школьной канализации, древность и средневековая беспомощность которой приводили к регулярным вспышкам сыпного и брюшного тифа среди учеников и работников школы. Это прогневало Тринга настолько, что он с бешеной энергией и несгибаемой волей всех великих викторианцев перенес школу на несколько сот миль, в валийскую береговую деревню Борт, где школа и оставалась до тех пор, пока упадок, который постиг в итоге экономику Аппингема, не вынудил горожан улучшить собственные санитарные условия – выгрести, говоря прямыми словами, свое дерьмо. Тринг и школа триумфально возвратились в оздоровленный Аппингем, и с тех пор в ней ежегодно отмечается «день Борта».

Но одно дело сооружать санитарные системы, которые препятствуют распространению заразных бактерий и бацилл, и совсем другое – строить системы образовательные, препятствующие распространению нездоровых идей и верований. Помимо всего прочего, если все мы не сомневаемся в том, что холера и тиф, будь то сыпной, будь брюшной, явления нездоровые, нам не удается и близко подойти к согласию относительно здорового или нездорового характера тех или иных *идей*. Насколько мне известно, ныне приобретает в связи с этим популярность слово «меме», оно заимствовано из жаргона ученых-эволюционистов и обозначает применение модели эгоистичного гена и алчного самовоспроизводящегося вируса к любым направлениям мысли, философии, религии, к политическим тенденциям, модным течениям в сфере индивидуализма и сексуальной распущенности, к росту, развитию, изменению и идейному разнообразию во всем – от прав животных до прав человека. Любая модель ничем не хуже всякой другой, однако, если нынешние мемологи полагают, будто первыми стали рассматривать идеи как заболевания, они просто дурачат сами себя. Их собственный вывих состоит в том, чтобы именовать

религию вирусом, а те, кто им предшествовал, взирали, как на заразные поветрия, на атеизм, гуманизм и вольномыслие. Ученые, стремясь прояснить проблему, опираются на чистую нейтральность φνσιζ,[107] на красоту и святость работающей без чьей-либо помощи природы. Их деды, неистовые современники Чарльза Дарвина, взывали к Библии, эдиктам Империи и той удивительной викторианской морали, что веровала, будто достояние равнозначно достоинству, а здравомыслие – это и есть здоровье.

Хвала Господу, религиозность закрытых школ сеяла в этой системе взглядов семена ее же разрушения, поскольку краеугольным камнем образования, которое давала такая школа, было изучение языков классической древности, латыни и греческого, а углубление в классических авторов уводит их читателя от притязаний учения церковников к красоте и святости Сократа, Платона и Лукреция.

У школы «Аппингем» имеется лишь очень небольшое число выпускников, которыми она может похвастаться, отвешивая поклоны безжалостной девке по имени Слава. Малое число политиков (ныне самым ярким примером является Стивен Доррелл[108]), еще меньшее исследователей и оригиналов (Кэмпбеллы, Доналд и Малколм,[109] к примеру), один-два актера (в моем Доме состоял Уильям Генри Пратт, обретший вечную славу под мудро перемененным именем Борис Карлофф[110]); здесь же учился и великий режиссер Джон Шлезингер,[111] а вот писателей и художников за школой числится всего ничего. Впрочем, в перечень наиболее известных авторов, учившихся в «Аппингеме», входит самая экзотическая троица второстепенных писателей начала двадцатого века. Джеймс Элрой Флеккер,[112] например, поэт и драматург, к лучшей из пьес которого, «Гассан», написал музыку Дилиус,[113] – в пьесе этой имеются прелестные якобы восточные мудрости наподобие «Так, может быть, мне лучше отложить иглу инсинуаций и ухватиться за дубину доводов?» и куплет, который следовало бы взять в девизы каждому нездоровому школяру:

> *Пожелавши узнать, что нам знать не положено,*
> *Золотою Дорогой мы идем в Самарканд.*

Современником Флеккера по «Аппингему» был экзотический Артур Аннзли, больше известный как Роналд Фербенк,[114] автор романов «Тщеславие», «Валмаут» и «Печаль под солнцем», который столь неудачно переименовали в «Надменного ниггера». Фербенк и поныне возглавляет у каждого начитанного

гомосексуалиста список рекомендованной литературы. Его очень любили писатели «получше» вроде Ивлина Во, Олдоса Хаксли и Айви Комптон-Бернет,[115] а написанное им служит, *par excellence*,[116] ярким примером того стиля язвительной и пышной прозы, который Сирил Коннолли[117] определил как «мандаринский». Э. М. Форстер[118] писал о нем и о созданном им *louche*[119] мире бирет, корсетов на шнурках и ароматических шариков так: «Нарочит ли он? Да, неизменно… Здоров ли он сам? Бегите этой мысли!»

Норман Дуглас,[120] третий участник аппингемского триумвирата, несколько старший двух других годами, но зато и проживший дольше их, одно время был для меня своего рода литературным и социальным героем, – я и по сей день собираю его первые издания. И вот что сказал Дуглас об «Аппингеме» в своих изданных в 1933-м мемуарах «Оглядываясь назад»:

> В заведении этом царил библейский душок ложной мучнистой росы – здесь разило Иеровоамом и Иисусом; учителя поражали меня разительным сходством с надменными мошенниками; еда была отвратительной настолько, что в первые один-два дня после возвращения с каникул я не мог взять ее в рот. Приличным здесь был только сыр из соседнего Стилтона, но его нам, разумеется, никогда не давали. А плата… После смерти матери я обнаружил среди ее бумаг счета «Аппингема». Господи, как же они ее надували! Надеюсь, теперь там все переменилось.

Душок ложной мучнистой росы и тот самый дурной запах Иеровоама и Иисуса порою ощущался в воздухе самых прочных викторианских зданий «Аппингема» еще и в мое время, да и «Стилтоном» нас точно никогда не кормили, но в прочем школа, как и надеялся Дуглас, определенно переменилась. Плата за обучение была да и сейчас осталась более высокой, чем во многих школах с лучшей репутацией, не думаю, однако, что «Аппингем» можно обвинить в надувательстве. Большинство учителей поражало разительным сходством с надменными мошенниками и меня тоже, но, с другой стороны, учителя всегда представляются нахальным подросткам надменными мошенниками. Если в школе и имелся подлинный надменный мошенник, так, можете не сомневаться, им был я.

В Дугласе и Фербенке меня очаровывало то, что они были, как выразился Форстер,

Напыщенность темного бомбазина, под знаком которого проходило викторианское детство и школярство, наделило двух этих писателей глубоко укоренившимся стремлением к свету, цвету, экзотике и язычеству. В случае Фербенка – к связанному с культом Марии язычеству папистской церкви, в случае Дугласа – к подлинному язычеству фавнов, дриад и великого бога Пана. Они инстинктивно тяготели к стилю, который представляет собой антитезу темноты и напыщенности, и лучшее слово для обозначения его – это не «мандаринство» Коннолли, но «кэмп».

А что такое кэмп? Вот слово, которое многие понимают неверно. То есть каждый понимает его по-своему, но я понимаю так:

Кэмп – это не регби.

Кэмп – это не Ветхий Завет.

Кэмп – это не святой Павел.

Кэмп – это не уроки латыни, хотя к греческим его применить и можно.

Кэмп любит цвет.

Кэмп любит свет.

Кэмп получает удовольствие от поверхности вещей.

Кэмп любит краски так же, как живопись.

Кэмп предпочитает стиль стильности.

Кэмп бледен.

Кэмп нездоров.

В кэмпе нет ничего *английского*, пропади оно пропадом.

Но…

Кэмп – это не китч.

Кэмп – это не наркотики.

Кэмп далеко не так поверхностен, как вам хотелось бы верить.

Кэмп отметает все страхи.

Кэмп силен.

Кэмп здоров.

И, взглянем правде в лицо…

Кэмп гомосексуален.

(По большей части.)

Какое число тонко чувствующих *гетеросексуальных* мальчиков притянули шелка, свет, язычество, отрава и роскошь кэмпа – это большой вопрос. Насколько сильно такой мальчик *нуждается* в альтернативном мире – вопрос не меньший. Да если обычному мальчику такой мир и нужен, куда проще найти его уже готовым к употреблению в современном внешнем мире рок-н-ролла, спорта, автомобилей и девушек. Так просто, что он, в сущности, оказывается вовсе и не альтернативным, а лишь открыто отличным от мира старшего поколения – и в мере, достаточной, чтобы позволить подростку ощущать себя бунтарем и молодчагой.

Мальчика, сознающего себя *другим*, понимающего, что мир устраивался в расчете не на него лично, и способного уяснить закон, подразумеваемый словами «здоровье» и «приличие», вот такого мальчика может притягивать ослепительный свет и варварский мрак, ядовитые краски и тяжелые, опасные ароматы, ожидающие его за калиткой секретного сада, калиткой, которую придерживают открытой Патер,[121] Уайльд, Дуглас, Фербенк… даже Форстер со всей его сентиментальностью и чопорностью.

В мои дни мальчик, лишенный «благодеяний» классического образования и осознававший, подрастая, свое отличие от других, мог уходить в мир «Волшебника страны Оз», «Кабаре», мюзиклов, глэм-рока и моды. Ныне у геев, к какому бы слою общества они ни принадлежали, имеется мир геевской музыки, танца и телевидения, помогающий утвердить свою самость. В Манчестере существует квартал геев, в Лондоне – Олд-Комптон-стрит, геи всего мира ежедневно встречаются в Интернете, чтобы поболтать, попутешествовать и взбодриться. Они уже не нуждаются в горстке исторически завладевших Капри и Танжером старых гомосексуалистов, которые растолковали бы им, кто они, откуда взялись, имеют ли они право жить с высоко поднятой головой или не имеют.

А вот я в них нуждался. Нуждался отчаянно, и уж не знаю, что бы я без них с собой сделал.

Разумеется, геи были не единственными нездоровыми людьми, пятнавшими английское общество. Существовали еще и евреи.

В мальчиках я своим еврейством особенно не интересовался. Произвольная странность отличия западного родового обычая от присущего иудаизму главенства материнской крови означала, что благодаря фамилии я схожу за нееврея. Фамилия отца, Фрай, была настолько староанглийской, насколько оно возможно, уходящей в квакерство до самых корней этого движения. Джон Фрай, мой предок-парламентарий, поставил подпись под

смертным приговором, вынесенным Карлу Первому. Мой двоюродный дедушка Джордж Фрай написал книгу, озаглавленную «Саксонское происхождение рода Фраев», – то был достойный ответ еретическим родственникам (производящим шоколад свиньям из Бристоля), считавшим, будто они происходят из нормандского города Фрай. Книга эта, которую, увы, мало кто прочитал, открывается такими словами:

> В отличие от многих так называемых английских семейств, предки Фраев не прибыли сюда в 1066-м с Вильгельмом Завоевателем – они встретили его здесь.

Мама могла быть чистокровной еврейкой, однако фамилию я носил решительно английскую, а только она и определяла, целиком и полностью, то, кем я себя считал. Для англичан все это означало, что я англичанин со слегка экзотическими обертонами; для евреев – что я еврей с одним вполне простительным недостатком. В итоге я был люб и вашим, и нашим. В Британии имеется множество происходящих от отцов-евреев и матерей-неевреек людей, которых вследствие того евреи евреями не считают, однако фамилии их – Гольдберг, Коэн или Файнштейн – приводят к тому, что англичане относятся к ним, по словам Джонатана Миллера, как к «чистопородному скоту». Помимо же прочего, и внешность моя, насколько я в состоянии судить, не была особо еврейской, а это тоже существенно.

Я помню по «Аппингему» лишь трех других мальчиков-евреев, фамилии они носили такие: Одли, Хайлбронн и Грин. Для них собственное еврейство было, возможно, важнее, чем мое для меня. Я использовал мою смешанную кровь как невнятный дополнительный элемент экзотичности, которым я мог бы и похвастаться, поскольку ощутимый антисемитизм в «Аппингеме» отсутствовал – всего лишь привычно бездумное использование слов «жид» и «жидиться» по адресу тех, кто был прижимист по части деньжат, но и не более того.

Да и по поводу английского антисемитизма чувства я питал смешанные, под стать моей крови. Те члены маминой семьи, которым удалось пережить холокост, перебрались, за единственным исключением моего дедушки, в Америку и Израиль. И когда в разговорах со мной они начинали, покачивая головой, дивиться решению дедушки поселиться в такой антисемитской, по их представлениям, стране, как Англия, я напрочь выходил из себя.

«А как насчет Бенджамина Дизраэли? – находчиво возражал им я. – Он уж больше ста лет назад был премьер-министром. Это от него королева Виктория получила Суэцкий канал и титул

Императрицы. И умер он графом. А когда у вас тут приведут к присяге первого еврейского президента Соединенных Штатов?» Удобства ради я забывал добавить, что отец Дизраэли перешел в христианство. «Или возьмите Руфуса Исаакса,[122] – продолжал я. – Когда он был вице-королем Индии, президенты и монархи должны были кланяться ему и называть его Ваше Высочество. Умер маркизом. Да у Маргарет Тэтчер половина кабинета из евреев состоит. А ваш “Нью-Йоркский атлетический клуб” еще несколько лет назад евреям членства не давал. Можете вы представить лондонский клуб, позволяющий себе столь низменную и наглую вульгарность?»

Лицемерия и патриотичности мне было не занимать. Мне могли указывать в ответ на отказ британцев военного времени поверить в то, до каких бездн может дойти антисемитизм нацистов, или на манипуляции тех же британцев с Палестинским мандатом.

Однако дискутировать на этом уровне аргументации я готов не был. Впрочем, внутренне я и не сомневался в том, что определенного рода антисемитизм в Британии существует. Я уже упоминал об использовании слова «умник» и о том, как оно прилагалось, в частности, к людям наподобие Джонатана Миллера и Фредди Рафаэля. Евреи, подобно гомосексуалистам, считались людьми не вполне *здоровыми*. Они были частью парада бледных умников, которые на рубеже двух веков смутили наш здоровый мир разговорами о релятивизме и неопределенности, туманными идеями насчет исторического предопределения и расщепления личности. Эйнштейн, Маркс и Фрейд взяли старое, здоровое понимание человеческой греховности, уходившее корнями в Эдем и распятие Христа, – понимание, которое западная культура довольно успешно очистила от всех оттенков еврейства, и снабдили нас комплектом грехов, от которых ни холодный душ, ни игра в регби человека уже не очищали. По правде сказать, эти извращенные свиньи способны были приглядеться и к *самому* холодному душу или игре в регби и различить даже в них всякие пакости, увидеть которые по силам лишь бледному, нездоровому созерцателю. Они, евреи и пидоры, всегда готовы и в самых невинных занятиях усмотреть *все, что угодно*. Да если *усмотрение одного смысла в другом* не является излюбленным занятием интеллектуала, то я и не знаю, есть ли у него вообще какое-нибудь излюбленное занятие. Коли на то пошло, вспомните-ка давние, подзабытые уроки латыни – разве слово «интеллектуал» не *означает* на самом-то деле «понимание», в смысле «усмотрение»? Ну вот видите? Нынешние люди уже не способны взглянуть на вещь самую простую и ясно сказать вам,

что она собой представляет. Интеллектуалы – что левые, что правые, – они «усматривают». Поганые, нездоровые свиньи.

Что ж, в такой джон-баканьерской[123] манере теперь никто уже не высказывается, однако сам этот склад мышления, а вернее сказать, антимышления никуда не делся – он по-прежнему с нами, все такой же настырный и такой же не верный. И поныне существуют люди, которые валят на евреев вину и за капитализм с его крайностями, ибо кто у нас контролирует банки и финансовые учреждения? – и за социализм с его либеральным консенсусом, угрожающим самой стабильности капитализма и свободного рынка. Они, евреи, с их чертовой Торой и распроклятым Талмудом, просто-напросто подталкивают людей к излишествам по части усмотрения одного смысла в другом, к самодовольному раввинскому умному-преумному умничанью.

Школьников «Аппингема», безусловно, не обучали усматривать в чем бы то ни было слишком большое количество смыслов. Тем из преподавателей, кто был наделен воображением и интеллектом, и без того хватало забот, им нужно было подготовить своих учеников к экзамену обычного уровня, никакими особыми идеями головы детям не забивая; они делали все для них посильное, но ведь так легко забыть о том, что коллективный ум школьников гораздо мощнее индивидуального интеллекта преподавателя. Определить преподавателя в ломаки школьникам намного легче, чем преподавателю назвать школьника лишенным воображения. Я помню бесконечные споры (ну видите, вот еще чем вы, евреи, вечно занимаетесь… *спорами*) с другими мальчиками по поводу великого греха «усмотрения одного смысла в другом». *Здравомыслящие* школьники всегда говорили мне, такое у них было клише: «Да ведь во всем можно усмотреть какой угодно смысл. Черт подери, ну хоть того же Шекспира возьми. Они из него все на свете готовы вытянуть. Да вот сегодня, на уроке литературы, Брэдди, ты не поверишь, завел волынку насчет своего дурацкого Гамлета с его мамашей, и все “фрейдистские” да “фрейдистские”… Господи боже, до какой же тупости можно дойти! А то ему не известно, что Фрейд родился на сотни лет позже Шекспира? Откуда Шекспиру было знать про эдиповы комплексы и прочую чушь? Просто в голове не укладывается, что наши родители платят людям, способным нести такую херню».

Все это означает лишь, что нападки на слабоумную тупость столь безнадежного толка, как и попытки высмеять столь кошмарное отсутствие воображения, уже и сами по себе обличают трагический недостаток ума, что истинные страдальцы – это люди, сошедшие в могилу так и не озаренными светом идей,

однако тогда я этого не понимал, а думал, будто филистимляне уже победили, будто жизни разума и воображения угрожают со всех сторон. К тому же я был жутким выпендрехой и реагировал на подобные разговоры гневно, с великим нравственным пылом и всей жидовской, пидорской силой моего нечестивого языка. Но никакие споры этого рода не могли поколебать уже устоявшееся убеждение крепкого умом аппингемца насчет того, что искусство, литература и игра идей – это не что иное, как «херня». На деле, чем изощреннее ты с ним спорил, тем надежней доказывал ему, что все на свете – слова, слова, слова.

«Ну, на словах-то, Фрай, ты что угодно докажешь. Но это еще не значит, что ты прав».

Одна из великих ироний британской (анти-) интеллектуальной жизни состоит в том, что расплывчатый смысл релятивизма двадцатого века был воспринят и впитан ею весьма основательно, а затем стал использоваться для поношения и отрицания всего логического и рационального. В итоге любые воззрения на искусство отвергаются как «ломание» и «херня» – иными словами, как нечто неубедительное, лишенное связи с действительностью, – и в то же самое время любая логичная, рациональная защита этих воззрений отвергается как «всего лишь мнение», «пустословие» в мире, где «в конце-то концов, все относительно…».

Жаль, что вышедший в 1934 году из-под пера Форстера некролог художественного критика Роджера Фрая (не родственник, насколько мне известно) был написан не мной… Лучшего панегирика я не знаю.

> Что отличало его и делало столь бесценным в Англии двадцатого века, так это вера в разум, при том, что человеком он был современным…
>
> [Он] отвергал авторитет, не доверял интуиции. Вот почему утрата его столь непоправима… Если вы говорили ему: «Это безусловно верно, так говорят все знатоки… Так говорит Гитлер, так говорит Маркс, так говорит Христос и даже “Таймс” говорит так», он отвечал: «Да? Интересно. Давайте разберемся». Он разбирался сам и вас заставлял разбираться. И вы начинали понимать, что влиятельное мнение может пользоваться влиятельной поддержкой и, однако же, оставаться вздором…
>
> Интуицию он не отвергал. Он понимал, что это часть нашей оснастки, что с ней связана восприимчивость, которую он ценил и в себе, и в других. Но понимал и то,

что она способна всех нас обращать в танцующих дервишей и что человек, который верит в правоту чего-либо лишь потому, что ощущает эту правоту нутром, не так уж далеко ушел от человека, который верит в авторитет полицейской дубинки.

Иными словами, Форстер говорит о классическом разуме, о разуме древнегреческом. Как много иронии в том, что классическое образование в английском стиле не дает ничего, кроме антиклассических установок. Порождение английской закрытой школы может прожить всю жизнь в уверенности, что воображение есть не что иное, как фантазия, что идеи суть обманчивые прикрасы, а прикрасы – это лишь довески к жизни; такой человек есть абсолютно верное зеркало нашего века неразумности: кропотливое и тщательное построение выпускниками Наффилда[124] эмпирических схем дело хорошее, однако выводам их верить не следует. Он живет между крайностями богооткровенных общепринятых истин, современной морали, с одной стороны, и невежественного безумия неверно понятого релятивизма, грозящего пальчиком Нового Века – есть-многое-на-свете-друг-Гораций-что-и-не-снилось-нашим-мудрецам, – с другой, путая загадочность с мистицизмом, а релятивизм с идеей о том, что за любое воззрение можно ухватиться, не поверяя его логикой, разумом и личным опытом. И для того чтобы чешуя сия отпала от глаз его, [125] нередко требуется какая-нибудь катастрофа, крушение, несчастный брак, личная трагедия. Прошу понять меня правильно. Говоря об этом порождении, я говорю о себе, но отнюдь не взираю на него с высот Геликона.

Ибо, несмотря на всю мою отличность от других, что бы она собой ни представляла, я никогда не был всего только остро чувствующим сторонним наблюдателем, отвергнутым евреем, непотребным пидором или отстраненным интеллектуалом – всем тем, чем мне нравилось себя воображать. Я никогда не был *настолько* интеллектуальным, как полагал, *настолько* смелым в моем неприятии общепринятого, *настолько* отчужденным от всех в моей сексуальности, *настолько* погруженным во внутреннюю жизнь искусства и разума. Я с готовностью и жадностью впитывал уроки Э. М. Форстера. Я собирал его первые издания с такой же алчностью, с какой собираю издания Нормана Дугласа. Стоит процитировать здесь почти полностью один его знаменитый пассаж, который словно парит над всеми прочими. Он взят из «Замечаний об английском характере», первого эссе его сборника 1936 года, «Абинджерская жатва», в котором также

прослеживаются темы Роджера Фрая и Фербенка. В «Первом замечании» речь идет о том, что английский характер определяется по преимуществу средним классом; после краткого исторического обоснования этого утверждения Форстер говорит следующее:

> Основательность, осмотрительность, целостность, распорядительность. Отсутствие воображения, ханжество. Эти качества характеризуют средний класс любой страны, однако в Англии они являются и характеристиками национальными, поскольку лишь в ней средний класс пребывает у власти вот уже сто пятьдесят лет. Наполеон назвал нас, в свойственной ему грубоватой манере, «нацией лавочников». Мы предпочитаем называть себя «великой торговой нацией» – звучит почтеннее, однако оба названия сводятся к одному и тому же.

«Второе замечание» содержит знаменитое выражение – «неразвитое сердце».

«Второе замечание».

> Точно так же, как сердце Англии – это средний класс, сердце среднего класса – это система закрытых школ… С каким совершенством выражает она его характер – намного лучше, скажем, чем университеты, в которые уже проникли всякого рода общественные и духовные сложности. Эта система с ее пансионами, обязательными занятиями спортом, старостами и порками, с настойчивым требованием хорошей формы и *esprit de corps*[126] порождает тип людей, влияние которых не идет ни в какое сравнение с их числом…
>
> Они [выпускники закрытых школ] выходят в мир, который вовсе не состоит только из тех, кто закончил такие же школы, он даже из одних только англосаксов не состоит, – он состоит из людей пестрых, словно пески морские; в мир, о богатстве и тонкостях которого они никакого представления не имеют. Они выходят в него с хорошо развитыми телами, сносно развитыми умами и неразвитыми сердцами… С неразвитыми, не холодными. Различие существенное…
>
> Когда-то давным-давно (это подлинная история) я отправился отдыхать на Континент с моим другом из

Индии. Мы замечательно провели время, оба сожалели о том, что неделя пролетела так быстро, однако при расставании повели себя совершенно по-разному. Его охватило отчаяние… А я не понимал, почему он так расстраивается по пустякам… «Встряхнись, – говорил я. – Ну давай, встряхнись». Встряхиваться он не пожелал, и я оставил его погруженным в настроение самое мрачное.

Завершение этой истории представляется мне еще более поучительным. Когда через месяц мы с ним встретились снова, произошедший между нами разговор пролил значительный свет на английский характер. Я стал журить моего друга. Я говорил ему, что нехорошо испытывать и выставлять напоказ столь много эмоций по поводу столь пустяковому, что это поведение несоразмерное. Слово «несоразмерное» привело его в ярость. «Как? – воскликнул он. – Ты отмеряешь свои чувства, точно картофелины?» Сравнение с картофелинами мне не понравилось, однако, поразмыслив с секунду, я сказал: «Да, отмеряю; и более того, я считаю, что так поступать и следует. Мелкое событие требует малых эмоций, так же как большое чувство требует события великого. Я стою за соразмерность эмоций. Может быть, это и означает, что я отмериваю их, как картофелины, но оно все же лучше, чем выплескивать их, будто воду из бадьи, на присущий тебе манер». Сравнение с бадьей ему не понравилось. «Если взгляды твои таковы, они разлучают нас навсегда», – воскликнул он и выбежал из комнаты. Однако, сразу же и вернувшись, добавил: «Нет – но все твое отношение к чувствам неверно. Ни с какой соразмерностью чувства не связаны. Важно только одно – их искренность. Меня охватили сильные чувства. Я это показал. А следовало мне их испытывать или нет, это никакого значения не имеет».

Эти слова сильно меня затронули. И все же согласиться с ними я не мог, я сказал, что ценю чувства не меньше, чем он, однако пользуюсь ими иначе; если я стану изливать их по мелким поводам, у меня ничего не останется для больших, и, когда в моей жизни наступит какой-либо кризис, я окажусь банкротом. Отметьте это слово, «банкрот», я выразился как представитель расчетливой нации, неизменно стремящийся расплатиться по всем долгам. А друг мой говорил как человек Востока… ощущающий бесконечность своих

ресурсов точно так же, как Джон Буль ощущает их ограниченность.

И вот как заканчивает Форстер:

> …Английский характер не полон в одном его качестве, которое особенно раздражает иноземного наблюдателя. У него дурная оболочка, состоящая из самодовольства, черствости, замкнутости. Под оболочкой этой кроется множество эмоций, однако они никогда в дело не пускаются. Там много и мыслительных способностей, но и они зачастую используются лишь для того, чтобы скорее оправдать, чем рассеять предрассудки. При таком оснащении быть популярным англичанин не может. И все-таки повторю: в нем мало порочного и нет подлинной холодности.
>
> Сам я надеюсь и верю, что в следующие двадцать лет [это было написано в 1920-м] мы станем свидетелями огромных перемен, что национальный характер изменится, обратившись в нечто менее уникальное и более привлекательное. Владычество среднего класса понемногу заканчивается. Какие новые элементы привнесет рабочий класс, сказать никто не может, но, во всяком случае, рабочие хотя бы образование получают не в закрытых школах…
>
> Народы *должны* понять друг друга, и побыстрее; причем без вмешательства со стороны их правительств, поскольку земной шар уменьшается в размерах, и это отдает народы в руки друг друга. Незначительным вкладом в такое понимание и являются эти заметки, посвященные тому, что особенно поражает писателя в английском характере.

Ну и как, стали мы свидетелями «огромных перемен»? Владычество среднего класса закончилось? Хрена лысого оно закончилось. Даже сегодня характер жителя Англии определяется, *mutatis mutandis*,[127] характером ее среднего класса (все еще разрастающегося), а характер этого класса определяется характером влиятельных (все еще непропорционально) выпускников закрытых школ. Школы-то, разумеется, переменились, и настолько, что их ученики щеголяют в бейсболках и дорогих кроссовках «Найк», слушают рэп, возвышают в конце каждого предложения голос, имитируя странноватую «австралийскую вопросительную интонацию», заимствованную из телевизионных мыльных опер, и то и дело

вставляют в разговор словечки «клево» и «опупеть». Все это несомненно до тошноты и очевидно до краски в лице, однако в основе своей не изменилось ничто. Вряд ли кто-нибудь возьмется всерьез утверждать, будто выпускник английской закрытой школы выходит из нее наделенным ранимостью уроженца южной части Лос-Анджелеса или обликом, душой и характером потомственного сварщика. Тело его, по всем вероятиям, развито теперь еще лучше, мозг развит все так же сносно, а вот сердце остается, как и прежде, неразвитым. Британцы всегда впитывали чужие культурные влияния без ущерба для своего характера. В конце концов, тот же Хамфри Литтлтон[128] и представители его поколения 1930-х слушали в Итоне черный джаз и, вероятно, использовали в качестве обращения слова «киска» и «старик». В наши дни мы произносим «полный улёт» и «типа того, что…», однако на нашей англичанистости это никак не сказывается. *Plus ça change…*[129]

Стоит отметить, я полагаю, что упоминаемый в «Замечаниях» индийский «друг» Форстера был, конечно, его любовником; стоит отметить и то, что представления Форстера об английском характере были связаны не только со средним классом, но также исключительно с *мужским полом*.

Так случилось, что первое издание «Абинджерской жатвы», которым я располагаю, принадлежало прежде историку Р. У. Кеттон-Кремеру, который вложил в эту книгу давнюю, вырезанную из «Санди таймс», номер от 22 марта 1936-го, рецензию на «Жатву», написанную выдающимся критиком Десмондом Маккарти, – в те дни и вправду существовало такое явление, как «выдающийся критик».

Маккарти с великой проницательностью и изяществом отмечает следующий тонкий момент:

> Его [Форстера] странное сочетание качеств намного чаще встречается в женщинах, чем в мужчинах; и если бы меня не удерживала боязнь быть не понятым теми, кто считает интеллект мужской специальностью, я добавил бы, что его позиция… и как критика, и как творца, отзывается скорее женщиной, чем мужчиной… Нелепости и трагедии, похоже, говорит он, суть следствия неспособности связать воедино познанное на собственном опыте – неспособности к установлению связей. Таков «посыл» мистера Форстера. Ну так вот, подход мужчины к жизни состоит, по существу своему, в том, чтобы управляться с разными ее обстоятельствами по отдельности. Мужчина говорит себе: вот мой дом и

> моя частная жизнь, состоящая из личных отношений; вот мой бизнес, моя работа; а вот моя жизнь как гражданина страны. И применительно к каждому «отделу» у него имеются принципы, определяющие то, как надлежит справляться с возникающими в этом отделе ситуациями. Однако принципы, применяемые в каждом отделе, различны. Искусство жить состоит для мужчины в том, чтобы разрывать связи – это упрощает проблемы… Напротив, женщина – объясняется ли это особенностями женского образования или самими основами женской натуры – руководствуется стремлением видеть жизнь скорее как континуум. Отчасти это я и имел в виду, когда сказал, что мистер Форстер и как писатель, и как критик стоит на женских позициях.

Интуитивное, а затем и уверенное знание, что Форстер был в чем-то схож со мной – был Не Таким, Как Другие Мальчики, – позволило мне установить с ним, как с писателем, внутреннюю связь более естественную, чем та, что могла бы образоваться без этого знания. И разумеется, «Замечания об английском характере», а впоследствии «Говардс-Энд» стали для меня в «Аппингеме» священными текстами, наряду с исполненными совершенства «Врагами обетов» и «Теорией перманентного отрочества» Сирила Коннолли:

> Это теория, согласно которой опыт, приобретаемый мальчиками в прославленных закрытых школах, опыт их побед и поражений, обладает такой силой, что направляет жизни этих людей, тормозя дальнейшее их развитие. В результате представители правящего класса остаются, по большей части, отроками – мыслящими, как школьники, легко смущающимися, трусоватыми, сентиментальными и в конечном счете гомосексуальными.

Мне сложно было толком понять, как с этим качеством справиться. С одной стороны, я был уверен, что так и родился гомосексуалистом, с другой – мне нравилось думать, что это Школа Кругом Виновата, что я – жертва порочной, растленной системы. Коннолли, как я теперь понимаю, подразумевает гомосексуальность столько же социальную, сколько эротическую, отсюда и его «в конечном счете», – однако выпадали дни, когда я, недовольный моим сексуальным уделом, предпочитал винить в особенностях моей натуры получаемое мной образование. Ихаб Хассан[130] был, как это с ним часто случается, прав на все сто,

когда сказал в своем «Антигерое»:

> Двойственность буржуазного героя, принадлежащего к обществу, подавляющим влиянием в котором обладает средний класс, проистекает из проблем отчужденности и общности, искренности и имитации, честолюбия и молчаливого согласия… Грустная история антигероя – это не что иное, как история изменения самосознания человека… Это хроника его отступничества… А человек между тем, строя из себя шута, прокладывает свой сентиментальный путь в вечность.

Порою трудно бывает смотреть, как твою уникальную, героическую жизнь столь безжалостным образом раскладывают по полочкам. Выпадали, конечно, дни, когда я готов был со всем согласиться, все одобрить и все подтвердить; однако по мере того, как я, строя из себя шута, прокладывал свой сентиментальный путь в вечность и сражался с проблемами отчужденности и общности, искренности и имитации, честолюбия и молчаливого согласия, меня бросало из крайности в крайность – от мучительных размышлений о том, стою ли я вообще хоть чего-то, к размышлениям о том, стоит ли гроша ломаного хоть что-то, кроме меня.

Простите мне столь обильные заимствования из других авторов, однако напоследок я все же призову себе на защиту Монтеня:

> Если я цитирую других, то лишь для того, чтобы лучше выразить свою собственную мысль.

И еще. Если у вас ненароком создалось впечатление, будто я начиная с тринадцати лет проводил все время в библиотеке, читая Сирила Коннолли, Мишеля де Монтеня (сказочного издания его, в переводе носящего сказочное имя М. Э. Скрича, тогда еще не существовало), Э. М. Форстера, Рональда Фербенка и Ихаба Хассана, тогда я просто обязан сказать, что, говоря о них здесь, я сплавлял совсем разные годы, сжимал, если угодно, время.

И чтение это, и попытки соединить или отождествить себя с написанным и прожитым другими начались лишь после того, как произошло великое событие – я влюбился. А до того я в огромных количествах читал «Шерлока Холмса», П. Г. Вудхауса, Талбота Бейнса Рида[131] и Дж. Хенти,[132] Алистера Маклина и Агату Кристи, Биггльза и Бакана, Хэммонда Иннса[133] и Лена Дейтона, Дорнфорда Йейтса[134] и Дороти Сейерс.[135] Более того, я и

сейчас их читаю.

2

Думаю, «Стаутс-Хилл» хотел, чтобы я покинул его как можно скорее. В двенадцать лет я держал экзамен, позволявший получить именную стипендию «Аппингема», – держал, да не выдержал. Однако я подобрался к ней достаточно близко для того, чтобы «Аппингем» порекомендовал мне совершить несколько позже еще одну попытку. Впрочем, «Стаутс-Хилл», как я подозреваю, считал, что С Него Довольно, – мысль о том, что я еще целый год буду путаться у него под ногами, Кроми ничуть не устраивала, и в итоге решено было так: я переберусь в «Аппингем», а уже там буду сдавать вступительный экзамен. И я простился со «Стаутс-Хиллом» – двенадцатилетний, так и не ставший старостой, или, иначе, префектом, не включенный ни в одну из спортивных команд, не получивший вообще никаких отличий, если не считать рекордного числа порок да горстки академических наград.

О чем я говорю? Я завоевал третье место (большой диплом и книга весом в два фунта) в «*Национальном* художественном конкурсе» Ассоциации независимых приготовительных школ благодаря написанному мной портрету под названием «Незабываемая личность». Неверно прочитав название на одной из баночек с краской, стоявших в классе живописи, – я решил, что на ней написано «Грунтовочная жидкость», – и пытаясь исправить нанесенный моему произведению ущерб, я наложил вокруг глаз на портрете такое количество лака, что он стал более чем отвечать своему названию. Я даже думаю, что судьи того конкурса и по сей день не в состоянии забыть поблескивающих, мерцающих глаз и грозно насупленных бровей, бороды и очков моего персонажа, что он является им в страшных снах подобием покрытого лаком Рольфа Харриса.[136]

Собственно говоря, в «Стаутс-Хилле» существовала еще должность «субпрефекта» – с обязанностями она была сопряжена неопределенными, а привилегии давала нулевые. В «Касабланке» это звучит прекрасно – «Выездную визу можно получить в конторе субпрефекта за обычную плату», – однако я думаю, что пост этот был учрежден в школе лишь для того, чтобы предоставить безнадежным недотепам вроде меня возможность вписать хоть что-то в выпускную характеристику, с которой им потом жить да жить. Думаю, я вправе также отметить, что был «3-м забивающим» – роль, которую я исполнял один или два раза, но только во внутренних матчах: выпустить меня на игру с другими школами никому бы и во сне не привиделось.

Итак, я, не то чтобы *исключенный* из школы, проведя дома каникулы, в середине которых мне исполнилось тринадцать, в сентябре 1970-го появился в «Аппингеме». Роджер уже год как учился там, с обычным его добродушием приготовляясь к новой встрече со своим хлопотным братаном. В те летние каникулы мы с ним оставались неразлучными, о чем в школе нечего было и думать. Мы поругивались, конечно, как это заведено у братьев (помню, при одной нашей ссоре я запустил в него дротиком; всплывающий время от времени в памяти вид этого дротика, торчащего у него из колена, и сейчас нагоняет на меня тошноту), но это случалось редко, и, оглядываясь назад, я только дивлюсь тому, какое количество творческих сил вложили мы в то лето, проведенное в месте, настолько удаленном от любых городских увеселений. Мы с Роджером попали в ситуацию столь же затруднительную, как та, в которой оказался, застряв в деревне, преподобный Сидни Смит[137] – в письме к другу он говорит, что наилучшим образом его положение описывает фраза «просто-напросто во множестве миль от ближайшего лимона». Сидни Смит – на случай, если он вам не известен, – более чем заслуживает прочтения, ему присуще уникальное сочетание тонкого, сюрреалистического и добродушного остроумия. К примеру, сведя знакомство с Даниэлем Уэбстером,[138] он сказал, что тот произвел на него впечатление «паровой машины в штанах», а во время одного из званых обедов кто-то слышал, как он произнес, обращаясь к соседке по столу: «Мадам, всю свою жизнь я искал человека, который ненавидит мясную подливу так же сильно, как я, – давайте поклянемся в вечной дружбе». Так вот, мы с Роджером оказались не просто во множестве миль от ближайшего лимона, мы оказались во множестве миль от ближайшего кафе, ближайшего кинотеатра, ближайшего магазина игрушек, ближайшего кегельбана и ближайшего приятеля. Вот нам и приходилось довольствоваться друг другом. Правда, к тому времени у нас уже имелась сестра, Джо, – в лето 1970-го ей было шесть, – обожавшая меня и безоговорочно верившая каждому моему слову. Я самым серьезным образом уверил ее, что умею летать и что, когда ей исполнится семь лет, научу летать и ее. Вскоре после седьмого дня своего рождения она напомнила мне, возвратившемуся домой после первого триместра в «Аппингеме», об этом обещании. Я отвел ее наверх, усадил на подоконник и объявил, что ей нужно лишь спрыгнуть вниз, а все остальное – дело моей магии. Немного поразмыслив, она решила на одни лишь мои слова не полагаться. Рад сказать здесь, что Джо ни разу в жизни – ни словом, ни видом – не дала понять, что недовольна своим братом или разочарована в нем.

Однако для тринадцати-четырнадцатилетних мальчишек девочки шести лет – не более чем игрушки, так что большую часть времени Джо проводила в обществе своей замечательной нянюшки Райзборо, служившей в нашем доме еще при прежних его хозяевах, с самых юных своих годов.

Чтобы не создавать у читателя чрезмерно брайдсхедовской[139] картины моего детства, я, пожалуй, опишу, совсем коротко, жизнь в Норфолке. Дом, в котором я вырос и в котором родители мои живут и поныне, был, безусловно, большим, однако отцу, после того как он отказался от ученой карьеры, обнаружил, что жизнь в основном русле индустрии его не устраивает, и решил создать собственное дело, как раз большой дом и требовался. Еще когда мы жили в Чешэме, он потратил немало дней, колеся по Англии в поисках пригодного для его целей поместья с множеством надворных построек. Я помню наши бесчисленные поездки в огромные, не пользующиеся спросом дома, стоявшие в окружении запущенных парков. Мама одним махом обходила кухни и гостиные, отец же хмурился и качал головой, не удовлетворенный пристройками. А мы с Роджером бродили по огородам, и скучно нам было до изнеможения.

В конце концов один из подчиненных отца, рабочий сахарного завода, обнаружил в крохотной норфолкской деревушке Бутон выставленный на продажу дом. То было импозантное викторианское загородное поместье с огромной конюшней и на удивление нелепым обилием надворных построек, имелся и отдельный коттедж размером с приличный городской дом. Поместье могло также похвастаться необъяснимым числом наружных уборных – их было пять, – великолепным огородом с грядками спаржи, яблоневым садом, теннисным кортом, площадкой для игры в бадминтон, свинарником, выгулом для лошадей, курятниками, зловещими зарослями ревеня и летним домиком. Дело решили размеры и состояние конюшен. В них предстояло разместиться лаборатории отца. В конюшнях хватало места для такого количества токарных станков, осциллографов и прочих гудящих, пищащих и ухающих приборов, каким удовольствовался бы и самый безумный изобретатель.

Да и с прислугой там в ту пору все обстояло хорошо. Миссис Райзборо стряпала и нянчила Джо. В деревне Коустон у нее имелась невестка и подружки, которые мыли в доме полы, прибирались и разжигали зимой камин. Братья Табби садовничали и огородничали, впрочем, со временем их сменил мистер Годфри, который долгие годы ухаживал потом за нашим огородом, потешая меня и брата бесконечным и нескончаемым

потоком жалоб на почву, каковую он при всякой морозной погоде именовал «сучарой». Поскольку мистер Годфри был пожилым человеком, потреблявшим каждый день огромные количества сладкого рулета, замерзшая земля и должна была казаться ему сучарой, и мне неприятно теперь вспоминать, как мы с Роджером хихикали, слушая его. Сад и огород при доме были очень и очень не маленькие, самые что ни на есть викторианские, предназначенные для того, чтобы круглый год обеспечивать большой дом овощами и фруктами. В надворных постройках всю зиму сохранялись яблоки, груши и картошка, а миссис Райзборо варила варенье и готовила желе и маринады из созревавших в саду слив, вишен, клубники, малины, терносливa, крыжовника, ежевики, красной и черной смородины. При условии, конечно, что мама не добиралась до них первой. Мама была помешана на кисленьких ягодках и могла обобрать куст крыжовника быстрее, чем пастор раздевает мальчишку-хориста.

Я, как вы знаете, не так чтобы очень стар, однако то время кажется мне принадлежащим к другой жизни – жизни, шедшей в одном ритме со сменой времен года; жизни, остававшейся по сути своей неизменной в течение десятилетий. Все для нее потребное в дом доставлялось: по средам привозили на телеге рыбу (не будучи католиками, мы не видели смысла приберегать ее до пятницы). Смешно, но правда – я действительно не настолько стар, однако в наш дом каждую неделю приезжал рыбник, и лошадь его цокала копытами совсем как Геркулес Степто.[140] Хлеб доставлялся тоже, помнится, три раза в неделю. В среду утром мама звонила в Ричс или Рипхэм и заказывала всяческую бакалею, которую затем привозил в фургончике мистер Нили, приветствовавший меня, как приветствуют все норфолкцы мальчиков, словами: «Здрасьте, молодой человек!» – после чего он трепал меня по щеке. Молоко доставляли из местной маслодельни в навощенных картонных коробках, которым потом была уготована судьба растопки – шипящей, плюющейся и потрескивающей. Поступало оттуда и наижелтейшее, наисладчайшее сливочное масло, каждый брусок которого нес со всех боков следы лопатки, которой его обхлопывали при взвешивании. Мясо же привозилось фургоном из Тадденхэмса или Коустона – в тех краях почему-то считалось, что коустонский мясник лучше рипхэмского. Примерно раз в месяц наезжал угольщик, а раз в неделю у дома останавливалась разъездная библиотека.

Фруктами и овощами (если не считать апельсинов, лимонов и бананов) нас оделяли сад и огород.

«Никогда не есть спаржу после “Аскота”[141]» – таково было

одно из маминых правил.

Грядки спаржи полагалось засевать в самом конце июня, так что идея эта представлялась разумной. Однако, будучи женщиной не вполне последовательной, мама вечно совершала набеги на них ради замечательных стеблей этого растения, которые очень хорошо смотрелись в букетах. Я помню также, что осенью спарже требовались огромные количества соли. Мистер Годфри (временами ему помогал я) высыпал соль мешок за мешком на высокие грядки, пока они не начинали блестеть и посверкивать, словно их прихватила ранняя изморозь.

Викторианские устроители огорода разделили его на части, использовав для этого ряды гравийных тропок, вдоль которых тянулись прямоугольные зеленые изгороди. «Сучья работка – держать их в порядке», – любил напоминать мне, брату и всем кроликам с галками, какие могли его услышать, бедный мистер Годфри.

Он сожительствовал с некоей миссис Блейк и время от времени просил разрешения забирать из нашего огорода избыток плодов для семейного стола. Однажды настал день, в который он удивил Коустон, обратив ее в порядочную женщину, однако и после заключения брака продолжал именовать супругу «миссис Блейк». Люди Норфолка если и меняются, то медленно. Я хорошо помню эту пожилую чету, жившую в маленьком коттедже с надворной уборной. Они уже много лет как перебрались в новый, построенный муниципалитетом дом со всеми современными удобствами. Но и сегодня, если вы приходите к ним в гости и у кого-то из хозяев возникает желание посетить уборную, они приводят еще не знающих их людей в сильное недоумение, поднимаясь по лестнице со словами: «Мне только в огород заглянуть…»

На дальнем конце огорода стоял красный деревянный свинарник, в те дни, увы, уже не использовавшийся, а за ним располагался конский выгул, на котором мы одно время держали огромное стадо гусей – невыносимо злобных, крикливых и прожорливых, подъедавших все, кроме крапивы, отчего выгул выглядел лысоватым и клочкастым.

Каждый день миссис Райзборо стряпала нам ленч, да так, как теперь умеют стряпать лишь очень немногие. Не думаю, чтобы она хоть раз в жизни заглянула в поваренную книгу, да она вряд ли когда-нибудь и видела таковую – или миксер, или морозильную камеру. Она готовила яичные заварные кремы, яблочные пироги, салаты из ревеня, бифштексы и пудинги из почек, костные мозги с мясным фаршем, цветную капусту и макароны с сыром, самые разные английские пироги, пирожки и

плюшки. Роджер любил пироги с патокой, посыпанные сверху кукурузными хлопьями, я любил их без хлопьев, поэтому каждый четверг мы попеременно получали то такой, то этакий. Миссис Райзборо научила меня сооружать в центре пирога розочку, беря на ноготь большого пальца слой сладкого теста, потом нанося еще один под углом в сорок пять градусов к первому и так далее, а затем надсекая их острием ведомого вдоль большого пальца ножа. В августе и сентябре она заготавливала мясной фарш и смеси для рождественских пудингов, занимавшие пять или шесть огромных чаш. В смесь для пудинга входила морковь и макесоновский кремовый портер. Мясной же фарш пропитывался бренди и сохранялся для пирогов, которые пеклись в дальнейшем.

Представления миссис Райзборо о салатах с их порождениями английского огорода – свеклой, редисом, карликовым латуком и кочанной капустой, помидорами и огурцами, смешанными со сваренными вкрутую яйцами и приправленными петрушкой, – сейчас показались бы смешными: какой-нибудь там эруки, цикория, латука кудрявого или листьев кориандра в них и помину не было. Мне ни разу не удалось наесться таким салатом досыта, если, конечно, под рукой у меня имелось достаточно салатного соуса «Хайнц».

Впрочем, кой-какие причудливые идеи она все же исповедовала. К примеру, миссис Райзборо питала твердую уверенность в том, что если добавить к залитому водой латуку кусочек угля, то листья салата станут хрусткими, а время от времени объявляла, что в теле ее накопился избыток крови – надо бы ее носом пустить. С другой стороны, как знать? Насколько мне известно, в некоторых больницах снова пошли в ход пиявки, может, скоро и до банок дело дойдет.

Миссис Райзборо трудилась на кухне, в которой раковина отсутствовала, а водопроводный кран имелся только один, да и тот помещался низко, едва ли в футе над полом. Водопровод к Бутону подведен не был, приходилось каждый день повторять процедуру «подкачки». Колодцев имелось два: один давал жесткую грунтовую воду, которую мы пили, другой был просто цистерной для сбора дождевой воды, используемой при стирке и мытье. Низкий кухонный кран был единственным в доме источником питьевой воды. Гости, особенно лондонцы, приняв ванну, неизменно отмечали мягкость нашей воды, но большинство их дивилось, как нам хватает сил ежедневно возиться с дурацким насосом и почему зимой вода внутри дома всегда холодней, чем снаружи.

Насосная была оборудована электрическим мотором, – не

хочется, чтобы в вашем воображении нарисовалась картина, на которой мы с Роджером корячимся, точно средневековые прихожане, посреди поросшей зеленой травкой деревенской площади. Мотор приводил в движение огромные колеса, от которых тянулись широкие ремни, громко хлопавшие при работе. Когда мы только переехали в Бутон, к нам заглянул инспектор службы здравоохранения, забравший образец воды для анализа (на дне цистерны кишмя кишели красные нематоды). Несколько месяцев спустя мы получили сообщение, что пить эту воду *можно*, но только не детям, еще не прожившим своего первого года. Поскольку Джо ничего другого все эти месяцы не пила, было решено махнуть на эти глупости рукой.

Дом оставался нетронутым со времени его постройки, помещения и удобства его были (да и теперь еще остаются) викторианскими: кухню окружали кладовки обычные, кладовки для дичи, моечные, наружные моечные плюс нечто, именовавшееся сервизной буфетной. Обшитые деревом уборные отличались огромностью размеров – на цепочках их унитазов значилось слово «тяни», а умывальные тазы крепились на вертлюгах и опустошались простым переворотом. Глажка осуществлялась с помощью гигантского электрического бельевого пресса, все рычаги которого были украшены бакелитовыми шишечками. На стене тыльного коридора висел большой ящик из тех, что производила в Нориджe компания «Манн Эгертон», – пока она не решила, что наживет больше денег, продавая «роллс-ройсы», – из ящика этого выскакивала жестяная звездочка, показывавшая, в какой из комнат дома нажата кнопка звонка для вызова слуг, а рядом с ящиком свисал толстый, синий с красным, колокольный шнур, который полагалось дергать, вызывая нас, детей, из сада – к обеду, к ужину или на предмет выволочки.

После полудня, вслед за молчаливым обедом (отца сердила моя неспособность правильно держать вилку или инфантильность некоторых рекордов из книги «Гиннесс», о которых я торжественно всех оповещал), няня Райзборо выводила Джо на прогулку – поначалу в коляске, позже в креслице на колесах, а там и на своих двоих. Иногда им составляли компанию сиамская кошка Джемина и я, с прогулки мы возвращались, в зависимости от времени года, с корзинками черной смородины либо нарциссов, на которые я, как выяснилось после одного старательного их сбора, обзавелся аллергией. Меня пришлось спешно свезти в соседний городок Эйлшэм (почти семь миль от дома), чтобы тамошний доктор вколол мне адреналин. Худшими приступами награждали меня с тех пор только шампанское да пиво, которое варят в Бельгии монахи-трапписты.

Конюшни, в которых работал отец, именовались у нас «Не Видать». «Папы не видать?» – таким был основной вопрос дня. Когда его видать не было, мы могли слоняться по дому, съезжать по перилам, играть в любые игры, валяться на диванах и даже, если хватало смелости, *смотреть телевизор*.

Если же «не видать» папы не было, это означало, что он у себя в кабинете, и уж тогда мы передвигались по дому с такой опаской, точно ступали по яичной скорлупе. Самое страшное было – утвердиться в уверенности, что его не видать, а потом обнаружить, что ты просто не услышал, как он возвратился в дом. В самом разгаре какой-нибудь игры до нас вдруг доносилось красноречивое постукивание трубки о пепельницу – это отец выбивал остатки табака, – и мы понимали, что папа, о ужас из ужасов, В Доме. И все наше веселье, приволье и непринужденность мгновенно сменялись испуганным молчанием. В этих случаях лучше всего было выскользнуть из дома и найти себе какое-нибудь занятие в огороде.

Выпадали порою волшебные дни, когда он и вовсе оставлял Бутон, уезжая в Норидж, а то и в Йоркшир. Если это случалось в будни, то означало, что мы можем навестить людей, работавших в «Не Видать», помогавших отцу в конюшнях. Когда мы входили туда, они отрывали взгляды от паяльников, подмигивали и весело произносили: «Здрасьте, молодой человек!» – и позволяли нам покрутить ручки осциллографов и понажимать на приманчивые зеленые кнопки станков.

За время работы там отец наизобретал и запустил в производство кучу самых разных вещей. Он изобрел нечто под названием «Дуговая линейка», которую даже показали, и с немалым восторгом, в телепрограмме «Том-Том», предшественнице би-би-сишного «Мира завтрашнего дня». На одном из этапов работы значительная часть конюшен была отведена под производство электрических автоматов для продажи клейкой ленты «Селлотейп» – их весело собирали женщины из ближних деревень, слушавшие, когда Босса не было рядом, Радио 2. В другом случае отец помогал компании «Форд» в создании электронной системы управления коробкой передач, и по всем конюшням валялись части фордовской модели «Капри». В 1970-х здесь изготовлялись приборы «тиристорного контроля», для чего они были нужны, я понятия не имею, но помню, что их хитроумно заливали клеем «Аралдайт», дабы никто, купивший такой прибор, не смог разобраться в том, как он работает, не расколотив его на мелкие куски.

Позже отец сконструировал и соорудил самую занимательную штуковину, какую только видел мир, «Тэк-

Стрип», – машину для обслуживания «гвоздичного транспортера», которая зачем-то понадобилась мебельной промышленности. Она напоминала ублюдочный плод любви кинопроектора, парового молота и поточной линии шоколадной фабрики, а собрана была в тот самый день, когда Хит Робинсон надумал, что любопытно, наверное, попробовать на завтрак галлюциногенные грибы. Я мог наблюдать за работой «Тэкки» часами; смотреть, словно зачарованный, как тысячи и тысячи маленьких, синеватого металла гвоздиков перемешиваются в большой вибрирующей чаше, как они затем ссыпаются, будто муравьи-воины, по наклонному желобу, как выбрасываются с него действующим на сжатом воздухе молоточком, по шесть-семь штук в секунду, на движущуюся ленту толстого картона, который затем режется, складывается и продвигается в сторону упаковочного ящика. Ящики эти составлялись на поддоны, которые увозил, погуживая, маленький электрический вилочный подъемник. Когда отец уезжал, мы с братом спорили, да так, что доходило до драк, на которые жутко было смотреть, за право управлять этим подъемником.

Разумеется, кое-кто из местных относился к отцу с благоговейным трепетом, называя его Чокнутым Изобретателем. Когда в три часа утра из конюшен начинали доноситься странные звуки, я едва ли не ожидал, что толпа жителей деревни обступит с горящими факелами в руках наш дом и потребует, чтобы им объяснили, с какими такими темными силами водится отец. Деревенские годами даже мельком не видели отца, и это лишь усиливало его загадочность. Если мама, заразившись гриппом, к примеру, лишалась возможности организовывать до последних мелочей его жизнь, отцу волей-неволей приходилось проезжать две мили до Рипхэма, дабы пополнить запас жестянок с трубочным табаком. И тогда он, беспомощно протягивающий, точно перепуганный иностранец, полную горсть монет табачнику, представлял собой зрелище более чем занимательное. Не думаю, что он и сейчас способен толком описать монету в двадцать пенсов или сказать, какие из великих людей Британии на обороте какой из ее банкнот изображены. Впрочем, не стоит преувеличивать: каким-то образом он все же посещал собрания «Британского легиона»[142] и Консервативной партии (в 1960-х и 1970-х, еще до того, как Консервативная партия окончательно сошла с ума), каким-то образом пересекал время от времени Северное море, плавая с другом-мореходом в Голландию, а совсем уже недавно исполнял, усердно и трудолюбиво, должность члена правления средней школы Рипхэма. Совершенным профессором Паганелем он никогда не был, однако и радостно

ухмыляющегося господина с наклейки «Папиного соуса» тоже не напоминал. Наиболее интересными вещами, вышедшими до сей поры из его конюшенных лабораторий, было целое семейство, носившее название «Штуки». «Штука» представляла собой стальной шкаф, оснащенный таким числом регуляторов и переключателей, какое вообразить нормальный человек попросту не способен. У отца и его рабочих уходили недели и недели на то. чтобы изготовить одну-единственную «Штуку», которые обычно предназначались для филиалов «Ай-Си-Ай»[143] в Мексике, Израиле или Турции, где они после их установки осуществляли Контроль. Что и как они контролировали, я не знаю, однако проект «Штука» заставил отца провести в кабинете не один месяц – с логарифмической линейкой и такими листами ватмана, о каких можно только мечтать; затем еще большее число месяцев – в чертежной, где он спроектировал десятки печатных схем, которые вставлялись в «Штуку», точно медовые рамки в улей.

Пока «Штуку» собирали, казалось, что она состоит из одних кишок: ее обвивали мили и мили проводов, она бугрилась блоками питания, обмотанными медной проволокой и оттого походившими на соленоиды, – в общем, выглядела «Штука» очень уязвимой и голенькой. Когда же все провода подсоединялись, а печатные платы распаивались и вставлялись на положенные места, металлический корпус «Штуки» покрывали жаростойкой эмалью, зеленой, как на чудесных кухонных плитах 1930-х, добавляя к нему переключатели, круглые шкалы и кнопки. Последней крепилась табличка, на которой значилось «Алан Фрай Контролс Лтд., Бутон, Норфолк, Англия» и стоял логотип компании, образованный буквами «f-r-y», нарисованными отцом так, что они напоминали цепочку импульсов на экране осциллографа.

Тем временем мама печатала на машинке и звонила по телефону, готовя транспортные накладные, документы на экспорт и управляясь с бог весть какими еще административными и бюрократическими кошмарами, сопряженными с отправкой «Штуки». Документации требовалось, похоже, многое множество, и оттого самая покладистая женщина на свете обращалась на неделю с чем-то в близкое подобие старого дракона. Даже укладка чемодана перед отъездом в школу выливалась у нее, в прочих случаях куда более благодушной, чем гуляющие в ясный денек по Солнечному городу Пиквик, Мальвина и Крошечка-Хаврошечка, в сварливую драму.

И наконец, «Штуку», которая была слишком тяжела, чтобы переносить ее вручную, а монтировалась в самом большом из помещений конюшни, находившемся на втором этаже, сгружали

через огромную опускную дверь во двор с помощью системы цепей и блоков, именуемой, если не ошибаюсь, полиспастом, – понять принцип ее действия мне так никогда и не удалось. Вся семья гордо собиралась на дворе, наблюдая за спуском «Штуки», зеленой, поблескивавшей, совершенной и как две капли воды похожей на какую-нибудь машину из «Доктора Кто». Все мы стремились принести ей дань уважения, насладиться атмосферой, возникающей на верфях Клайдсайда при спуске очередного судна на воду, однако мне больше всего хотелось увидеть самую увлекательную часть этой операции – часть, которая предшествовала водружению «Штуки» на грузовик и последнему прощанию с ней. «Штуку», почти всегда предназначавшуюся для стран с жарким климатом, надлежало защитить от неизбежных при ее транспортировке перепадов температуры. Иными словами, чтобы избежать конденсации влаги, «Штуку» заворачивали в гигантские листы прозрачного пластика, которые затем запаивались так, что оставалось лишь одно крошечное отверстие. После чего отец торжественно вставлял в это отверстие патрубок пылесоса и высасывал весь воздух.

Зрелище пластиковой оболочки, вдувающей, так сказать, щеки и ласково льнущей ко всем покатостям и выступам «Штуки», производило впечатление сильное, комичное и упоительное, в точности противоположное удовольствию, какое получаешь, наблюдая за шевелением, подергиванием и разбуханием надуваемого горячим воздухом аэростата или дирижабля. Противоестественного состояния, именуемого полным вакуумом, достигнуть таким методом было, понятное дело, невозможно, однако, когда шланг пылесоса выдергивался, а крошечное отверстие мгновенно запечатывалось, «Штука» приобретала самое импозантное из всех, какие встречаются на свете, обличье, а моя гордость отцом возрастала неимоверно.

Он был, говоря простыми словами, человеком замечательным. Многие сыновья гордятся отцами и, несомненно, имеют на то причины: замечательных людей в мире хватает. И все ж, оставляя в стороне всю семейственную лояльность, должен сказать, что я никогда не встречал человека, который хотя бы приблизился к отцу по силе ума и воли, способностям и аналитической мощи. Я встречал мужчин и женщин, которые и знали больше, и большего достигли, однако со столь адаптивным и мощным умом не сталкивался ни разу. Способность отца решать проблемы – механические, математические, технические – безгранична, иначе говоря, она ограничена лишь пределами столь дорогих ему универсальных законов: Ньютона и термодинамики. Ясность его мышления, совершенство и изящество абстрактного и

интеллектуального моделирования и практических разработок, его способность к непрестанному сосредоточению, работе мысли и труду ошеломляют меня, просто-напросто ошеломляют.

Расти рядом с этим задумчивым (а на четвертом и пятом десятках лет поводов для раздумий у него было предостаточно), мрачноватым человеком, наделенным столь мощным умом, было для всех нас невероятно трудно. Он работал каждый день, включая Рождество и прочие праздники, – годы, и годы, и годы. Ни выходных, ни перерывов, чтобы посмотреть телевизор, ничего, только работа. Лишь временами можно было услышать звуки Бетховена, Брамса, Баха, а изредка Скарлатти или Шопена, извлекаемые им из огромного рояля «Бродвуд», который он разобрал на части и снова собрал в гостиной, однако и это не означало, что отец отдыхает. Музыка тоже была чем-то, предназначенным для анализа, нередко весьма эмоционального, но все же анализа, основанного на глубоком знании теории и формы.

Одна моя школьная подруга, впервые увидев его, воскликнула: «Господи, да это же Шерлок Холмс!»

При этих словах сердце мое упало, поскольку на Шерлоке Холмсе я был помешан. Я состоял в лондонском «Обществе Шерлока Холмса» (членство в нем было напрямую связано с моим исключением из «Аппингема») и знал большинство рассказов о нем почти наизусть. Я никогда прежде не понимал или не признавался себе в этом, что всякий раз, как я думаю о Холмсе или слышу его голос, в голове моей возникают голос и образ отца. Описания, которые Ватсон дает этой доводящей людей до бешенства, холодной, выстраивающей безупречные логические цепочки мозговой машине, питаемой страстью и воодушевлением полностью эгоцентрическими, в точности отвечали моим представлениям об отце. Подобно Холмсу, отец, когда у него случался приступ рабочей горячки, абсолютно забывал о еде и прочих земных благах, равно как и о людском обществе. Подобно Холмсу, он был очень одарен музыкально; подобно Холмсу, мог быть безобразно грубым с близкими и очаровательным с людьми вполне посторонними; подобно Холмсу, он наслаждался пикантностью разрешения проблем ради самого их разрешения; подобно Холмсу, соединял мечтательную абстракцию с безжалостной логикой и безмерной неутомимостью; подобно Холмсу, был очень высок, силен и худ. Да черт побери, отец даже трубку курил – он провел многие годы буквально окруженным плотным облаком дыма.

В отличие от Холмса, отец предпочитал из дому не выходить; в отличие от Холмса, он никогда не разрешал проблем,

возникавших в жизни других людей; в отличие от Холмса, он не обрел ни какой-либо славы в своей стране, ни уважения со стороны пап, принцев и премьер-министров. В отличие от Холмса, он был живым человеком. Моим отцом.

Я ни разу не встречал человека, который с таким же упрямством отказывался проявлять хоть какой-нибудь интерес к тому, что происходит в мире. Сам-то я всегда обладал душой алчной, всегда любил земные блага и знамения успеха. И приходил в отчаяние, глядя на человека, который мог бы множество раз сколотить огромное состояние – проектируя высококлассную звуковоспроизводящую технику, компьютерное программное обеспечение, бытовые приспособления или промышленные предприятия, – и, однако, упорно не желал продаваться кому бы то ни было. Конечно, я преклонялся перед этим нежеланием и гордился им: в умении торговаться, хвастливости и саморекламе хорошего мало, но и в чрезмерной скромности, думаю, присутствует свой эгоизм, а я считал, что улавливаю в отце мизантропичность и надменность, от которых просто на стену лез – отчасти, разумеется, потому, что они составляли такой контраст собственному моему преклонению перед успехом, славой, деньгами и положением в обществе.

А для того, чтобы оправдать мою неприязнь к отцу, я использовал мать. Я считал, что она заслуживает большего, нежели жизнь, которая целиком вращается вокруг требований и велений ее мужа, намеренно отрешившегося от мира сего. Считал, что она заслуживает отдыха под солнцем, тепла зимой, права принимать несколько больше приглашений погостить у друзей, возможности ездить за покупками в Лондон. Не сомневаюсь и в том, что я испытывал ревность – видя ее преклонение перед ним и энергию, с какой она старалась облегчить, как только возможно, его жизнь.

Я не могу припомнить ни единой ссоры родителей. И помню всего один случай, когда я услышал, как они повышают друг на друга голос, и перепугался при этом до полусмерти.

Дело было ночью, я уже час лежал в постели и вдруг услышал – через три этажа, – как отец кричит, а мама стенает. В страхе прошлепал я в комнату брата, растряс его и разбудил.

– Слушай! – прошипел я.

Мы уставились один на другого в испуге и изумлении. Происходило нечто абсолютно беспрецедентное. Попросту неслыханное. Наши родители *никогда* не ругались, *никогда* не кричали друг на друга. На *нас* – это да. Бывало. Но друг на друга – никогда. Никогда, никогда, никогда.

Мы с братом прокрались по задней лестнице вниз и, трепеща,

вслушивались минут, может быть, десять в звуки, доносившиеся из кабинета отца. Он рвал и метал, просто рвал и метал, а мама невыносимо подвывала и взвизгивала. Что мы могли сделать? Только дрожать и дивиться. В конце концов мы вернулись по той же лестнице назад и потратили какое-то время на обсуждение того, что бы это могло значить, а после разошлись по своим комнатам и попытались заснуть.

На следующее утро я опасливо заглянул на кухню, почти ожидая застать там маму, понуро, в слезах, сидящую за столом.

– С добрым утром, милый! – радостно сказала она и улыбнулась обычной своей улыбкой – как лягушка, которой щекочут пятки.

Я подождал, пока миссис Райзборо выйдет из кухни, и нерешительно поинтересовался, все ли у нас в порядке.

– В порядке? О чем это ты?

– Ну, о прошлой ночи. Мы с Роджером… э-э, в общем, поневоле услышали…

– Услышали? – Она была искренне озадачена.

– Как ты плакала, а папа кричал…

– Плакала?… – Лицо ее выразило полное недоумение, но после вдруг просветлело, и мама захихикала: – *Плакала?* Да я *смеялась*!

– Как это?

– Знаешь, это было *настолько смешно*… Оказывается, прошлой ночью отец рылся в своем письменном столе, отыскивая нужную ему папку.

– Черт побери, стоит на секунду выпустить вещь из рук, и она тут же исчезает… Что происходит в этом доме?

Мама, расположившаяся на софе, отлично видела, что на самом-то деле он на этой папке сидит, – отец так и просидел на ней минут десять, нисколько о том не ведая, разбрасывая бумаги, вытягивая ящик за ящиком и приобретая в неуправляемом гневе все большее сходство с Бэзилом Фолти,[144] а на маму накатывали один за другим порывы все более неудержимого смеха.

Вот *это* мы и услышали.

Не самая увлекательная история в мире, я понимаю, однако главная ее суть в крайней редкости (как я теперь знаю) супружеской пары, в которой никто ни на кого никогда не кричит и вообще никаких ссор не затевает – по крайней мере, на слуху у детей. Мои родители *обожают* друг друга, почитают и ценят. Не сомневаюсь, что временами они друг друга разочаровывали, это только естественно, и знаю, что мама годами переживала из-за моих испорченных отношений с отцом. Ей приходилось сносить бормотание надувшегося подростка: «Ненавижу отца. *Ненавижу*»,

как приходилось сносить и обращенные ко мне речи отца о том, какой я бесцеремонный, бестолковый, не способный думать и ни на что не годный.

Когда я впервые услышал, как родители другого ребенка кричат друг на друга, я чуть не помер от смущения. Я просто не верил, что такое возможно, что это происходит и что подобное можно стерпеть. Для меня и поныне остаются невыносимыми любые скандалы, столкновения, крики, попытки дать отпор.

Быть может, эта близость, взаимозависимость и безоглядная любовь друг к другу отчасти и объясняют страх, который столькие годы удерживал меня от совместной жизни с другим человеком. Мне всегда казалось невозможным найти кого-то, с кем я сумею завязать отношения, достойные тех, что существуют между моими родителями.

Они полюбили друг друга с первого взгляда и с первой же встречи знали, что поженятся. Оба учились в Лондонском университете, мать на историческом, в «Вестфилд-колледже», отец на физическом, руководя одновременно музыкальным обществом «Империал-колледжа». Мамино еврейство отца только радовало, а ее отец обожал этого блестящего молодого человека и был, думаю, особенно доволен тем, что тот говорил по-немецки, – отец выучил немецкий, чтобы читать статьи по физике, многие из которых публиковались на этом языке. Сам дедушка языков знал до смешного много, он говорил по-венгерски, по-немецки, на идиш, чешском, словацком, румынском и английском. У меня хранится фотография деда – еще молодого, роскошно выглядящего в форме офицера австро-венгерской кавалерии, – снимок был сделан как раз перед тем, как ему пришлось, в самом начале Первой мировой, ходить в атаку на сербские пушки. В Англию он приехал в 1930-х, чтобы научить британских фермеров выращивать сахарную свеклу, поэтому мама, младшая из трех его дочерей, родилась в Лондоне, росла в Бери-Сент-Эдмундсе и в Солсбери, с самых малых лет училась в женском «Молверн-колледже» и была во всех отношениях девочкой очень английской – благо нацисты могли того и гляди вторгнуться в Британию, а дед кое-что знал о том, как они обходятся с евреями. Он носил фамилию Нейманн, которую переменил в Англии на Ньюман. *Его* отец, мой прадед, – тоже, разумеется, венгерский еврей – одно время жил в Вене, и о нем всегда говорили, что он из тех, кто готов отдать человеку последнее пальто. Вообразите, как похолодела у меня в жилах кровь, когда я, читая при подготовке к последнему моему роману «Как творить историю» материалы о ранних годах Гитлера, обнаружил в книге Аллана Буллока «Гитлер: исследование тирании» следующее:

> После их ссоры Ганиш потерял Гитлера из виду, однако он дает описание Гитлера, каким знал его в 1910-м, в возрасте двадцати одного года. Гитлер ходил в дряхлом старом пальто, которое получил в ночлежке от торговца подержанным платьем, венгерского еврея по фамилии Нейманн, и которое спускалось ниже его колен… Нейманна, относившегося к нему по-дружески, очень обижал безудержный антисемитизм Гитлера.

Полагаю, венгерских евреев в Вене 1910 года было очень немало, полагаю также, что многие из них носили фамилию Нейманн, и все же не могу не гадать – неужели мой собственный прадед дружил с человеком, заботился о том, чтобы ему было тепло, и этот же человек впоследствии уничтожил большую часть его семьи и еще около шести миллионов тех, кто принадлежал к его народу.

Обвенчались родители тайно: по каким-то странным причинам маму, если бы стало известно, что она вышла, не доучившись на старшем курсе, замуж, лишили бы стипендии. Сейчас, после сорока двух лет их совместной жизни, на сердце у меня становится тепло, когда я слышу в соседней комнате голоса этих удивительных супругов, болтающих так, будто они только что познакомились.

Дом с тех пор почти не изменился. Процедура подкачки воды теперь стала проще, чем была, однако на кухне так и остался только один кран, а вся посуда моется в особой комнатушке при ней. Из плиты «Ага» все еще приходится каждый вечер выгребать пепел, центральное отопление в доме по-прежнему отсутствует. Те, кто приезжает в него погостить, дивятся этой «капсуле времени», а иногда даже завидуют моему везению – везению человека, выросшего в таком месте.

Я-то думал, что жизнь в этом доме мне ненавистна, однако все годы моего бунтарства, отверженности и безумия возил с собой его фотографию; она и сейчас у меня, потрепанная, надорванная, – единственная копия снимка, сделанного с воздуха примерно в то, полагаю, время, когда я переходил из приготовительной школы в частную. Может быть, для меня уже начался тогда мой первый триместр в «Аппингеме», может быть, снимок сделали, когда я в последний раз убыл в «Стаутс-Хилл», – во всяком случае, ни меня, ни Роджера на снимке нет, не исключено, впрочем, что мы с ним скачем по площадке для бадминтона, которой на фотографии не видно. Наверное, я не хранил бы эту фотографию столько лет, если бы дом ничего для меня не значил, и не глотал бы сейчас, глядя на нее, слезы, если

бы воспоминания, которые она пробуждает, были вялыми, стерильными и не способными глубоко меня тронуть.

Это дом, в котором я вырос.

Он вмещает спальню моего брата – с отстающими от стен обоями, рисунок которых сделан Уильямом Моррисом;[145] вмещает мою спальню, в которой я проводил большую часть времени, часами и часами лежа без сна, в самовольной бессоннице отрочества, или мочась из окна в ночь, чем и погубил росшую под ним жимолость, слишком ленивый, разгильдяистый и нечистоплотный, чтобы спускаться в уборную. Вмещает спальню сестры с еще висящими по стенам плакатами с изображением крикетиста Дерека Ранделла. Вмещает кабинет, на ковре которого я столько раз стоял, вызванный отцом по поводу какой-то новой школьной характеристики, нового учиненного мной безобразия, нового оскорбления, нанесенного мной школьному начальству, новой возмутительной выходки, услышав о которой мама в горе и отчаянии выбегала из кабинета, прижимая к губам платок. Он вмещает все те же вещи и воспоминания, тех же родителей, которые сотворили меня из собственной плоти и которых я так люблю. Это дом.

В своде правил «Аппингема» первое было таким:

КАБИНЕТ УЧЕНИКА – ЕГО КРЕПОСТЬ

Единственным другим оплотом уединения, предоставлявшимся ученику «Аппингема», была «tish» – кабинка в общей спальне. Там находилась его кровать, маленький столик и те личные вещи, какие удавалось затиснуть в этот столик либо под кровать. Занавеска кабинки задергивалась, и «tish» также обращалась в крепость ученика. Можно предположить, что слово «tish» происходит не от немецкого «стол», но представляет собой сокращение от английского «partition», то есть «перегородка», однако использование логики применительно к английскому сленгу дело, как правило, пустое. Думаю, впрочем, что можно с уверенностью произвести «ekker», как именовали в «Аппингеме» спортивные игры, от «exercise», то есть «упражнения». «Wagger», или «wagger-pagger-bagger»,[146] как обозначалась у нас мусорная корзинка («waste-paper basket»), есть пример странного жаргона 1920–1930 годов, вследствие которого принца Уэльского называли «Pragger-Wagger», то есть Болтун-Надоеда. Даже сегодня в головокружительном мире высокого англиканства в таких святилищах ароматов и колокольного звона, как церковь Св. Марии на Берн-стрит, я собственными ушами слышу, как

развязные, манерные священники обозначают Святое причастие словечком «haggers-commaggers», а мама и поныне описывает любые страдания и муки, чем бы они ни причинялись, зубной болью или дорожной пробкой, словами «aggers and torters».[147]

Единственным другим жаргонным словечком, которым мне стоит поделиться с вами на этом этапе, было обозначение префектов, или старост, которые в «Аппингеме», как и некоторых других частных школах, именовались «praepostor'ами» – на удивление (радостное) нелепое слово, являющееся, согласно Оксфордскому английскому словарю, «синкопированной формой слова præpositor[148]».

Словарь приводит следующий пример использования этого слова:

> **1887** *Athenæum* 29 Oct. 569/3 He [Rev. E. Thring] strongly encouraged self-government among the boys, and threw great responsibilities upon the prɤpostors.
>
> {**1887** «Атеней», 29 окт., 569/3. Он [преподобный Э. Тринг] весьма поощряет самоуправление учеников и возлагает на старост значительную ответственность.}

Приятно сознавать, что Тринг с его огромными длинными баками (мама называла их «скобками прохвоста») мастерски владел современным искусством спихивания ответственности.

Через восемьдесят три года после публикации в «Атенее» этой статьи на «praepostor'ов», повсеместно именуемых «Попками» (в попугайском смысле этого слова), все еще возлагалась значительная ответственность. Существовали Попки домашние, обладавшие властью только в пределах своих Домов, и Попки школьные, обладавшие властью повсюду. Школьный Попка имел право расхаживать с зонтиком и носить канотье. С гневом до неловкости *faux*,[149] который обратили в свою специальность бунтари среднего класса, Попок именовали также – разумеется, за глаза – «Подсвинками», например: «Он и Подсвинок-то всего лишь домашний, не имеет он права тобой командовать» или «Ты слышал, что Баррингтона собираются назначить школьным Подсвинком? Тьфу!» Замечания подобного рода отпускались, как правило, с подобием приглушенного рыка, до которого столь падки члены Революционной рабочей партии, – ученики закрытых школ умели воспроизводить его в совершенстве, хотя к их мелким горестям он нисколько не шел.

А с другой стороны, разве бывают горести мелкими? Я прекрасно понимаю, что *мои* горести мелки. История нежного молодого росточка, пробивающегося в грубой чащобе английской частной школы, вряд ли способна пробудить сочувствие в сердце

каждого читателя. Да и тему эту заездили до смерти еще в начале века – в романах, воспоминаниях, автобиографиях. Я – клише, и сознаю это. Меня не похищали работорговцы, не заставляли в три года надраивать до блеска ботинки на улицах Рио, садист-трубочист не чистил мной дымоходы. Я вырос и не в низкой нищете, и не в фантастическом богатстве. Меня не подвергали жестокому обращению, не эксплуатировали, я не был заброшенным ребенком. Меня, порождение среднего класса, пребывавшее в среднего класса школе, которая стояла в самой середке Англии, хорошо кормили, хорошо обучали, обо мне заботились – на что я могу жаловаться? История моя, как таковая, это история удачи. Однако это *моя* история, и стоит она не больше и не меньше, чем ваша или чья-то еще. И в моем, по крайней мере, понимании это история трогательной любви.

Я предпочел бы назвать ее *pathétique*[150] или даже *appassionata*,[151] однако сойдет и «трогательная», во всех смыслах этого слова.

Первой проблемой, всецело поглотившей меня в «Аппингеме», было «испытание шестерки». Каждому новому ученику надлежало в первые его две недели пройти через эту смесь ритуала инициации и ознакомительного экзамена. А готовил его к испытанию «наставник шестерки», мальчик, учившийся в школе уже второй год, – для меня им стал атлетически сложенный паренек по имени Питер Паттрик.

Когда я появился в «Аппингеме», система «шестерок» уже сходила на нет. Личные шестерки, каких можно найти в романах о закрытых школах, более или менее упразднились. По поручениям Попок шестеркам бегать еще полагалось, однако предмета основных моих страхов: приготовления гренок, чистки обуви, уборки в чужих кабинетах, согревания сидений в нужниках, поглаживаний по голове, бедрам и ягодицам и иного рода тяжелой работы, рабства, надругательств – ничего этого уже не было. В основном шестерки удовлетворяли разного рода общие нужды, и здесь наиболее приметными были «утренняя шестерка», которой полагалось будить Дом (об этом я еще расскажу поподробнее), и неприятно поименованная «сортирная шестерка», которая всего-навсего мела коридоры, а к уборным, насколько я помню, никакого касательства не имела. «Бумажной шестерке» надлежало выходить рано поутру, еще до завтрака, в город, забирать выписанные Домом газеты и разносить их по кабинетам учеников. Еще одна шестерочная работа состояла в том, чтобы дважды в день спускаться вниз, к открытым почтовым ящикам старших мальчиков, и приносить их корреспонденцию в Дом, что-

то в этом роде. Не помню, как назывался тот, кто ее исполнял, – «почтовой шестеркой», я полагаю, но опять-таки, было бы безумием ожидать тут какой-либо логики, почем знать, он мог называться и «кошачьей шестеркой», и «дутой шестеркой», и «шестеркой этической».

Читателю следует понимать, что слово «Дом» прилагается к пансионам, на которые разделялась школа; то была, я думаю, миниатюрная версия Оксфорда – в том смысле, что ты жил, кормился и спал в Доме, а на уроки ходил в собственно школу, точно так же, как студенты Оксфорда живут, кормятся и спят в своих «колледжах», а на лекции ходят в здания университета. Хотя, с другой стороны, систему колледжей тоже растолковать непросто, и потому бессмысленно пытаться объяснить суть одной загадочной системы, ссылаясь на другую, столь же запутанную.

Коротко говоря, в «Аппингеме» училось шестьсот мальчиков и имелось двенадцать Домов по пятьдесят, плюс-минус, человек в каждом. Каждый Дом возглавлялся директором, который нес самую непосредственную ответственность за обучение, поведение и благополучие мальчиков, – по существу, этот человек был для них *in loco parentis*.[152] Когда я только появился в моем Доме, «Феркрофте», там на кухне работали женщины, которых мы, мальчики, называли, стыдно вспомнить, «прислугой». В оправдание наше могу сказать лишь одно: никакого уничижительного смысла мы в это слово не вкладывали, просто пользовались им, потому что не знали другого. Да собственно, эти женщины мальчикам и прислуживали: если кому-то требовалось пополнить чашку водой или чаем, он мог, продолжая разговор с соседом по столу, просто поднять руку с чашкой повыше и помахать ею в воздухе. А если на него сразу внимания не обращали, он восклицал: «Воды!» или «Чаю сюда!» – и чашку уносили, наполняли и возвращали назад. Теперь, разумеется, все там организовано на манер кафетерия – раздаточная и, верно, широкий выбор травяных чаев, изотонических энергетических напитков, вегетарианский фалафель. Я вот чего не могу понять – каким это образом город Аппингем сумел в мои дни обойтись без кровавой революции? Наверное, прислуживать горластым ученикам частной школы, выполняя все их капризы, все же лучше, чем сидеть без работы, однако я не удивился бы, узнав, что некоторые из самых грубых, наименее тактичных мальчиков получали чай, основательно сдобренный плевками, а жареную фасоль – какашками.

При «Феркрофте» имелись: парк, крокетная лужайка, рощица, в коей висел гамак, выведенные за штат надворные уборные («нужники», так мы их называли, – впоследствии именно в них

разыгралась неромантическая сцена, в ходе которой я лишился невинности) и, поскольку наш Дом был одним из самых удаленных от школы, два корта для игры в «файвз». «Файвз» бывает двух сортов – один культивируют в Итоне, другой в Регби. Мы играли в итонский, он, говорю без всякого снобизма, поинтереснее, поскольку в этом случае в корт с одной его стороны выдается подобие контрфорса, предположительно скопированного с контрфорсов знаменитой, построенной в стиле перпендикулярной готики часовни Итонского колледжа. В «файвз» кое-кто с энтузиазмом играет и поныне, однако у вечного соперника Итона, у Харроу, имелась своя давняя игра, которая быстро входила в моду – и не только в школах, но и в мире потливых бизнесменов и в появившихся совсем недавно клубах здоровья. Ко времени моего приезда в «Аппингем» сквош уже превзошел по популярности «файвз» и Пять Кортов обратились всего лишь в велосипедные стоянки, да еще за заборами их школьники – компаниями или в одиночку – покуривали, попивали сидр и онанировали.

Директором нашего Дома был Джеффри Фроуди, старый друг моих родителей. Студенческие годы он провел в оксфордском «Мертон-колледже», однако его жена, Элизабет, училась с моей матерью в «Вестфилде». Супруги Фроуди и мои родители вместе провели на Мэлл ту дождливую-дождливую ночь, что предшествовала коронации Елизаветы, вместе махали руками проезжавшей мимо со своим завтраком Салоте, королеве Тонга. [153] Такие переживания, естественно, связывают людей навсегда, и как раз благодаря тому, что Джеффри Фроуди получил место в «Аппингеме», я и Роджер с ранних лет предназначались для этой школы. Разумеется, все это делало мою последующую неприемлемость в качестве ученика еще более огорчительной. Человек, то и дело донимаемый неуправляемой испорченностью сына близких друзей, оказывается в положении особенно тяжелом. Однако вернемся к испытанию шестерки. Оно представляло собой письменный экзамен и требовало от испытуемого знания всех Домов школы (в алфавитном порядке), их директоров, «капитанов» и местонахождения. Следовало также знать как имена и инициалы всех классных наставников, так и расположение закрепленных за ними классных комнат. Будучи заведением старинным, достигшим полного расцвета в викторианской Англии, «Аппингем», подобно доброму английскому городу да, собственно, и самому английскому языку, разрастался, раздувался и разбухал беспорядочно и сумбурно, без какой-либо логики, плана или разумных оснований. Новичку надлежало знать, где находится каждая спортивная площадка,

какова планировка музыкальной школы, школы художественной, столярных и слесарных мастерских и других самых разных помещений. Таковы были обязательные, вполне предсказуемые составляющие испытания шестерки, и они мне никакого страха не внушали. Ту т я мог полагаться на мою великолепную память. Величиной неизвестной было право «капитана» Дома, который и выставлял испытуемым оценки, добавлять к вопросам, касающимся твердых фактов, еще и свои, непредсказуемые, связанные со школьным жаргоном, прозвищами, обычаями и традициями. К примеру, мощенная камнем дорожка, шедшая мимо библиотеки к центральной колоннаде, именовалась «Волшебным ковром», а аллейку, выложенную маленькими выпуклыми квадратными плитками, иногда называли «Шоколадкой». И таких прозваний существовало десятки и десятки; относившиеся к людям, уголкам школы и целым ее частям, они естественным образом накапливались в течение месяцев и лет, и уяснить их все за полторы недели было делом сложным.

Цена провала была высока: неудачник получал порку от «капитана» Дома. А я питал пугающую уверенность, что мальчики в этом смысле намного безжалостнее директоров приготовительных школ. «Капитан» нашего Дома, носивший имя Пек, щеголял великолепными бакенбардами, – до тех, что украшали Эдварда Тринга, им было далеко, однако впечатление они производили немалое и свидетельствовали, как я полагал, об огромной физической силе. Да и в самом слове «порка» присутствовало нечто ужасное, населявшее воображение картинами, на которых привязанный к мачте матрос при каждом ударе бича впивается зубами в особую кожаную подушечку.

Питер Паттрик, выделенный мне шестерочный наставник, взялся за мою подготовку с решительностью и энергией, поскольку в случае провала наказание ожидало и его. В случае же, если я выдержу испытание, и выдержу хорошо, нам полагалась награда: Паттрик должен был угостить меня чаем в буфете. Буфетов в школе имелось три, то были помеси кофейни с чайной, кондитерской и кафе-мороженым. Назывались они Верхний буфет, Средний буфет и Нижний буфет. Я более всего ценил и любил Нижний, как то моей натуре и подобает, – здесь принимали только наличные, а командовала этой щедро снабжавшей нас холестерином перекусочной супружеская чета, мистер и миссис Ланчберри или, возможно, Лэнчберри. Миссис Ланчберри (остановимся на этом, гласных в моем распоряжении не так уж и много) имела обыкновение с особым шиком ронять два яйца в озеро кипящего сала, равных которому (озеру то есть)

по размерам я с тех пор так и не встретил. И по нынешний день – дайте мне двойную порцию яиц на гренках, тушеную фасоль, а к ним стакан игристого «Лопуха и одуванчика», и я *ваш*. В Верхнем буфете заправляла миссис Алибоун, он представлял собою скорее магазинчик, торговавший сладостями, кофе, печеньем, хлебом, сыром, мороженым и прочими предметами потребления, – торговавший в кредит. Там использовалась какая-то система бланков-заказов, и, если ученик оказывался на мели, миссис Алибоун тотчас безошибочно это определяла, – я находил такую ее способность пренеприятной и свидетельствующей о дурном вкусе. Средний буфет крылся где-то в «Миддле», то есть, опять-таки, «Среднем» – одном из самых больших стадионов Англии, на котором одновременно могли разыгрываться десятки (буквально) крикетных матчей, равно как и матчей теннисных, хоккейных, регбийных и бог весть каких еще.

Итак, перед испытанием шестерки нам показывали издали пряник, а вблизи кнут. Подобно большинству малолетних мальчиков, оказавшихся в новой для них школе, я руководствовался скорее кнутом, чем пряником. Хотя, честно говоря, перспектива чаепития с Питером Паттриком пугала меня почти так же, как возможность получения порки от Пека.

Паттрик (я говорил уже, что он был атлетом? особенно хорошо давался ему теннис) решил, что лучший метод обучения состоит в том, чтобы свести меня в библиотеку Дома, взять там самый большой, какой только отыщется, том, скажем «Греческий лексикон» Лидделла и Скотта, и держать его надо мной, проверяя мои познания. Стоило мне ошибиться или запнуться, и – *хрясь!* – том врезался в мою черепушку. Проку от этого не было никакого, я только сильнее запутывался. Все сказанное мне я запоминал практически с первого раза, а огромный, с переплетом цвета *eau de nil*[154] том, висевший над моей головой, просто гипнотизировал меня и отуплял. В одну из таких минут – том вознесся ввысь, я понес какую-то чушь – дверь библиотеки отворилась и вошел мой брат. Что происходит, он понял с первого взгляда. Я завращал умоляюще наставленными на него глазами, а он произнес следующее:

– Так его, Питер. Если будет лентяйничать, выбей из него дурь.

Я *ненавижу* себя за то, что рассказываю эту историю, поскольку она дает слишком неверное представление о Роджере, едва ли не добрейшем из всех, какие известны мне, человеке, – злобности в нем меньше, чем в любимой тетушке сенегальского лемура. Однако с фактами не поспоришь, и должен отметить, что я немного *обиделся* на него, ничем мне не помогшего и не

защитившего. Никакой злости я, конечно, не затаил, поскольку считал, что сам во всем виноват и что так оно в большой школе и делается. Нечего и говорить о том, что приготовительная школа готовит нас к школе закрытой не лучше, чем любая из них готовит нас к жизни. Изменение масштаба, внезапное падение с высоты старшинства к абсолютной ничтожности – все это если и дает какие-то уроки жизни в обществе, то стоят они меньше чем ничего. Первые дни в частной школе особенно тяжело давались тем, кто набирал в приготовительной больше всех наград, чинов и власти. Должен отметить и еще одну странность – то, что брат назвал Паттрика по имени. Такая манера считалась среди учеников второго, третьего и четвертого года клевой и взрослой.

– Здорово, Марк.

– Гай! Как дела?

Когда Марк и Гай, выйдя из школы и закончив университет, уже на третьем десятке лет поступали на службу в один и тот же банк, клевым, разумеется, оказывалось возвращение к фамилиям.

– Черт побери!! Это же Тейлор!

– Халлетт, ах ты старый ублюдок! Все это весьма загадочно и нелепо.

В итоге, с помощью Лидделла и Скотта или без оной, я набрал на испытаниях девяносто семь очков из ста, поставив рекорд Дома. Помню восторженный трепет, охвативший меня при виде слова «Великолепно!», выведенного рукой Пека рядом с моим результатом. Пек носил брюки в полоску и черный жилет шестиклассника, а с ними канотье школьного Попки, мне помнится также (если я не окончательно спятил), что еще он любил кремового цвета шелковые чулки из тех, в какие облачаются егеря. Я считал его без малого богом – чувство это только усилилось, когда я увидел его играющим в школьном спектакле Вольпоне и понял, какой он превосходный актер. Думаю, Пек был единственным превосходившим меня годами мальчиком, на которого я когда-либо западал, – если вы простите мне столь жеманный оборот. Называть это чувство обожанием или «влечением», есть еще и такое пакостное словечко, не стану – «западать», по-моему, описывает его целиком.

Я и теперь еще могу, как, наверное, всякий старый аппингемец, назвать все двенадцать Домов школы в алфавитном порядке – вот, прошу любить:

Бруклэндс
Констеблс
Фарли
Феркрофт

Холл
Хайфилд
Лодж
Лорн-Хаус
Мидхерст
Скул-Хаус
Вест-Банк
Вест-Дин

Я делаю это, чтобы показать приятно буржуазный характер названий большинства Домов. «Мидхерст», «Фарли» и мой собственный Дом, «Феркрофт», – имена их звучат так, точно они относятся к Каршалтону или Рихэмптону,[155] к виллам, выглядывающим из зарослей лавра и тени араукарий. Дома эти были больше средней пригородной виллы, поскольку им приходилось вмещать общие спальни и умывалки, рассчитанные на пятьдесят мальчиков, кабинеты, душевые, столовую и кухни плюс всякого рода хранилища и то, что агенты по продаже недвижимости именовали некогда «обычными удобствами». Следовало также предусмотреть место и для директора, «личное помещение», так это называлось, в котором он мог вести жизнь, какая уж получится, с женой и детьми. У Фроуди было двое детей и золотистый лабрадор по кличке Шутник. Не думаю, что живой, энергичной собаке часто выпадает жизнь лучше той, какую она проводит в школьном пансионе. Как бы ни злили мальчика само существование этого заведения, начальство или собственная персона, он всегда поделится с собакой едой и любовью. Подростку, изо всех сил старающемуся выглядеть взрослым, холодным и циничным, собака позволяет заливаться смехом, забавляться и кувыркаться точно так, как если бы он был нормальным ребенком.

Каждый Дом обладал своим характером, своей натурой, своим привкусом и атмосферой. Одни славились большим, нежели среднее, числом способных учеников, другие давали непропорциональное число хороших спортсменов. Один Дом мог иметь репутацию недисциплинированного неряхи, другой – рассадника педерастии и распутства. «Феркрофт» находился где-то посередке. Фроуди не был солдафоном, учеников он не лупцевал и не запугивал. Директором «Вест-Банка» (не требуется большого воображения, чтобы догадаться, какое прозвище носил *этот* Дом) был самый устрашающий господин, какого я когда-либо встречал, и, если верить слухам, подопечных своих он сек как машина… Господин этот преподавал нам латынь, а вклад, сделанный им в школьный отчет о моих успехах за один из

триместров, выглядел так:

Нерадив, непоседлив, вычурен и уклончив. Разочаровал.

Характеристика почти исчерпывающая. Сам он мне пожалуй что и нравился – по крайней мере, он был человеком последовательным. Вообще, учителя, внушавшие мальчикам чувство полного, презренного ужаса, вызывали у меня скорее облегчение. Однако, если бы этот господин, Аббот, состоял в директорах моего Дома, я, наверное, сбежал бы оттуда в первую же неделю. Как-то раз, посреди урока латыни, он, рассказывавший нам о Горации, вдруг замолк. Пробудившись вследствие этого от дремоты, мы обнаружили, что он смотрит на голубя, влетевшего в открытое окно и опустившегося на подоконник. Мы начали недоуменно переглядываться. В конце концов голубь взмахнул крыльями и улетел. Аббот повернулся к классу.

– Мне платят, – объявил он, – не за то, чтобы я учил голубей.

В «Скул-Хаусе» директорствовал удивительный человек по имени Джон Ройдс, бывший некогда полковником индийской армии и состоявший в Бирме личным адъютантом Орде Уингейта. [156] Роста он был невысокого, но словно источал силу и обладал способностью внушать благоговейный трепет, что, собственно, от директора Дома и требуется. Он умел, к примеру, запахивать мантию самым устрашающим образом, а слог предпочитал телеграфный, чопорно-саркастический и лапидарный. Отведенная ему в колоннаде доска объявлений пестрела меморандумами, красиво отпечатанными на электрической пишущей машинке «Ай-Би-Эм».

Касательно: Ношения значков на лацканах

Полагаю, что нет.

ДжЧР

или

Касательно: Дня рождения Ее Величества Королевы

Пришелся на нынешний день. Ура и проч. Радуйтесь без оглядки.

ДжЧР

или

Касательно: Мусора в Старой Школьной зале

Он начинает нас раздражать. Имейте в виду: мы бдим неусыпно.

ДжЧР

И прочее в том же роде. Каждое утро он выходил из своего Дома и твердой, решительной поступью, за которой крылся мучительнейший артрит, приближался к росшим в парке кустам роз, срезал одну, красную, и вставлял ее в петлицу своего угольно-серого костюма. Одно время Ройдс страдал опоясывающим лишаем, который вынудил его носить чернейшие, совершенно непроницаемые очки – в любое время и в любых обстоятельствах, в том числе и когда он обращался с речью к своим подопечным, – эти очки, сочетаясь с пасмурностью его одеяния, наделяли Ройдса зловещим обличьем Алана Бадела в «Арабеске»[157] и пугающей невозмутимостью тарантиновского гангстера *avant la lettre*.[158]

На заявление о приеме в «Аппингем» следовало наклеивать свежую фотографию кандидата. В первый день триместра Ройдс просматривал эти заявления, после чего узнавал каждого нового ученика в лицо.

Все эти подробности я, разумеется, узнал позже. Пока же я прошел испытание шестерки и мог невозбранно заниматься любимым делом – охмурять окружающих. Только это и имело значение.

Питер Паттрик был рад-радешенек, в доказательство чего радостно и гордо треснул меня по плечу. Денег у него было – куры не клюют (он принадлежал к числу внушавших мне острую зависть мальчиков, которые получали по почте нескончаемые, казалось, чеки, связанные с загадочными трастовыми фондами и пакетами акций, да еще и на суммы, от коих у всякого отвисала челюсть, – как если бы вся жизнь этих счастливцев состояла из неизменно успешной игры в «Монополию» или им вечно благоволил некий благотворительный фонд, – смутно помню, что несколько лет спустя я безнадежно увяз в наделанных у него долгах), так что Паттрик мог позволить себе устроить в мою честь такой кутеж, какого Нижний буфет никогда не видел. К сожалению, он заказал для меня, помимо яиц, бекона и сосисок,

еще и огромное количество чипсов. В отличие от большинства известных мне людей, я ничего привлекательного в чипсах не нахожу, и потому сердце мое упало, когда я понял, что Паттрик намеревается проследить за тем, чтобы его ученик поглотил возвышающуюся на тарелке гору до последнего ее жирного атома.

Именно в случаях вроде этого мне и приносили серьезную пользу годы, которые я прокорпел как ненормальный над книгами по искусству престидижитации. С самых первых дней в Бутоне я жадно набрасывался на любую книгу этого рода, какую только удавалось найти на полках разъездной библиотеки. «Удар», как именуют свою технику фокусники, у меня не первостатейный – даже стандартный трюк с колодой карт требует примерно стольких же упражнений, сколько приходится выполнять перед исполнением музыки концертирующему музыканту, – зато отвлекать внимание я умею очень хорошо. Время от времени я заставлял не замечавшего никакого подвоха Паттрика отводить взгляд в сторону – к примеру, указывал вилкой на вошедшего в буфет ученика и спрашивал, как его зовут, – а сам тем временем сгребал другой рукой полную горсть чипсов и пересыпал их на покрывавшую мои колени салфетку.

Иллюзион и, в частности, та его сторона, что связана с ловкостью рук, – это форма искусства, перед которой я преклоняюсь; следует, однако, признать, что почти каждый его технический прием был изначально придуман для той или иной мошеннической проделки. Почти все движения пальцев, уловки, пассы, финты, кунштюки, фортели, трюки, передергивания, перетасовки, сдвиги колоды и сбрасывания, составляющие основной репертуар карточных, к примеру, фокусников, были изобретены в девятнадцатом веке промышлявшими на речных пароходах шулерами на предмет, грубо говоря, надувательства, жульничества и обмана. Названные приемы можно найти в посвященном этому предмету шедевре Джина Хагарда и Фредерика Брау «Высшая карточная техника», который все еще переиздает, надеюсь, «Фейбер энд Фейбер». Полагаю, те, кто не любит и не уважает фокусов, считают, во-первых, что фокусники суть господа сомнительной репутации, мстительные неудачники, аутсайдеры, которые испытывают наслаждение, надувая других; а во-вторых, что и сами фокусники не настолько уверены в себе, чтобы, попавшись на чужой обман, отнестись к нему с юмором. Такие люди норовят подергать иллюзиониста за рукав, не дав ему закончить фокус, или заявляют, презрительно фыркая, что все это, в конце-то концов, дешевый трюк и не более того.

Я думаю, хоть мне и неприятно говорить об этом, что между моей любовью к фокусам и пристрастием к воровству

существовала некая связь. Мне не хотелось бы, чтобы вы построили, исходя из этого, обратную цепочку рассуждений, которая приведет вас к выводу, что всякий любитель фокусов, от Орсона Уэллса до Дэвида Мамета, есть, по необходимости, потенциальный вор, боюсь, однако, что применительно ко мне это было правдой. Усвоенные мной приемы иллюзиониста сделали из меня превосходного вора, я мог *преподавать* искусство краж, мог *читать о нем доклады*. По счастью, – в конечном счете по счастью, – сидевший во мне шоумен всегда ставил – в том, что касается воровства, – сидевшему во мне же пройдохе палки в колеса, и оттого меня обычно хватали за руку, за рукав, из которого тут же начинали дождем сыпаться тузы…

Но Паттрик, по крайней мере, ничего не заподозрил. Я съел на заданном им великанском пиру все до крошки, а полную чипсов салфетку перенес, изыскав удобный момент, к соседнему столику.

Меня приняли. Я прошел испытание и стал частью единого организма.

3

Мой первый год в «Аппингеме» прошел без особых, более-менее, событий. Учеба давалась мне легко. Хоть как-то справляться с математикой и естественными науками я даже и не пытался, что эту самую учебу лишь облегчало. Я уже за несколько лет до того определил себя как «математического кретина» и лишь огорчался тем, что это состояние не получило такого же официального статуса, какой имелся у дислексии, которую как раз тогда начали признавать в качестве синдрома или приемлемого состояния. На самом-то деле никаким числовым эквивалентом дислексии, если таковой вообще существует, я не обладал, – боюсь, это мое состояние было связано в первую очередь с отцом. Если отец демонстрировал в каком-либо роде деятельности блестящие успехи, то я изо всех сил старался показать себя в нем не просто плохо, но ужасно – до оторопи и испуга. И касалось это не только математики с естественными науками, но и музыки тоже. Сочетание моего пунктика по части пения и музыкальной одаренности отца гарантировало, что я и музыка – мы никогда общепризнанными друзьями не станем. Еще в пору «Стаутс-Хилла» Химусс прислал моим родителям письмо с униженной просьбой избавить его от выполнения изматывающей нервы задачи: от обучения их младшего сына игре на фортепиано. В «Аппингеме» я бог весть почему выбрал виолончель, которую преподавала нам довольно сексуальная, изысканная женщина по имени Хиллари Унна, – я неизменно вспоминаю ее, увидев бесподобную кинобогиню Патрицию Нил.[159] Хиллари Унне я (полагаю) понравился – никогда не забуду, как при первом нашем знакомстве она хрипловатым голосом женщины-вамп произнесла: «О, какой стройный мальчик…» В то время и в том моем возрасте подобный комплимент, сделанный мальчику, физически столь в себе неуверенному, заставлял его неделями рдеть от счастья. Конечно, я был тогда тощ, не просто тощ, но костляв, и с пугающей скоростью набирал рост, однако считал себя неуклюжим и физически нескоординированным, – собственно говоря, всякий раз, как я ронял мяч или спотыкался, мне приходилось слышать неприятное «ну и ну». Говоря без обиняков, я обладал примерно такой же координацией движения глаз и рук, какая была присуща лорду Нельсону, плюс грацией жирафа, собранного ребенком из деталей металлического конструктора.

Музыкальная школа была самым любимым моим местом. Сидя в ее классах, за двойными дверями, ты мог молотить по клавишам пианино, совершенно как Бетховен в последние его

глухие годы. Я часами выколачивал из этого инструмента нисходящие аккорды и восходящие арпеджио, которыми открывается фортепианный концерт Грига, и воображал себя при этом сидящим на сцене Уигмор-Холла.[160] Здесь имелась и библиотека граммофонных записей, в которой я запирался и, вопя и ревя от восторга, дирижировал – разумеется, неритмично – бетховенским «Эгмонтом» и увертюрами Россини, которые и по сей день втайне ставлю выше великих художественных свершений Баха и Брукнера. Я все еще не способен, учуяв особый запашок виниловых дисков, пыльных усилителей и антистатических бархоток для протирания пластинок, не унестись душою назад, в ту комнату с ее аспидной доской, на которую был нанесен нотный стан, с мешаниной уложенных один на другой музыкантских пюпитров и стульев, – назад к ошеломительному наплыву восторженной, буйной радости, к потокам невыразимо страстного волнения, которые проливались сквозь меня, когда в одном-единственном «ликовском» динамике начинала бушевать музыка. Сейчас я могу тратить тысячи на самые мудреные воспроизводящие системы и знать при этом, что при всех их ваттах, при всей чистоте звучания музыка никогда уже не будет захватывать меня *именно* так, как захватывало то, что я получал от той примитивной моносистемы. Хотя, с другой стороны, меня и ничто уже не захватывает именно так, как захватывало тогда.

Ученики «Феркрофта» делились на клевых и неклевых. В конце концов, Англия, в которой мы жили, была уже не эдвардианской, не тем миром, в котором имели хождение фразы вроде «Да простит тебя Бог, Блэндфорд-Крессуэлл, потому что я тебя точно не прощу», или «Боже, какие грязные слова, Девениш», или «*Шухер*, друзья, приближается старина Чиггерс». Стоял 1970 год, и движение хиппи, а с ним и фолк-рок уже утверждались на неверных от наркотиков ногах.

В первую мою неделю меня остановил в коридоре Рик Кармайкл (из клевых), спросивший:

– Ты ведь брат Роджера Фрая, верно? Я кивнул.

– Ага, а ты не мог бы кое-что передать от меня одному человеку?

Я кивнул снова.

– Видишь вон того типчика? – Кармайкл указал на стоявшего, прислонясь к стене коридора, мальчика с опасно длинными волосами, волосами, почти достигавшими воротника, волосами, пряди которых он подергивал, поглаживал и накручивал на палец – задумчиво, любовно и мечтательно.

– Да, – ответил я, – вижу.

– Ну так вот, его зовут Гай Казуэлл, и мне нужно, чтобы ты

сказал ему: «Капитан Бифхарт[161] лучше Эдгара Бротона[162]». Запомнил?

– Как-как? – Вместо «Бротона» мне послышалось «Бодуна», и я решил, что меня вовлекают в какой-то мерзопакостный розыгрыш, от которого потом не оберешься неприятностей.

– Ничего сложного. «Капитан Бифхарт лучше Эдгара Бротона». Передашь?

– Хорошо, Кармайкл. – Я испуганно сглотнул и пошел по коридору, повторяя и повторяя про себя странное заклинание. «Капитан Бифхарт лучше Эдгара Бротона, капитан Бифхарт лучше Эдгара Бротона, капитан Бифхарт лучше Эдгара Бротона». Мне оно казалось полной бессмыслицей. Может, это поляки какие-нибудь?

Достигнув длинноволосого мальчика, я нерешительно кашлянул…

– Извини…

– Да?

– Ты Казуэлл?

– Да.

– Э-э, капитан Бифхарт лучше Эдгара Бортона.

– *Что?* – Левая рука его немедля прервала уход за лоснистыми локонами.

О господи, может, я все-таки что-то переврал? Или он меня не расслышал?

– Капитан Бифхарт, – медленно повторил я, подчеркивая каждое слово, – лучше Эдгара Бротона.

– Да ну? А ты-то, на хер, что в этом смыслишь? – прорычал Казуэлл, распрямляясь и подступая ко мне.

Я со всей доступной мне скоростью рванул по коридору, проскочил мимо корчившегося от смеха Кармайкла, вылетел во двор и остановился, задыхающийся и полный ужаса, лишь на задах Пяти Кортов.

После ужина я направился в кабинет, который делил с Уитуэллом, новичком одного со мной школьного набора, и вдруг кто-то хлопнул меня по плечу, заставив притормозить.

– Послушай, Фрай… – Это был Казуэлл. – Да нет, все нормально, – сказал он, увидев испуг, заплясавший в моих глазах. – Это ведь Рик, верно? Кармайкл. Он попросил тебя сказать это.

Я кивнул.

– Ладно, давай тогда вот как договоримся. Ты зайдешь в кабинет Кармайкла и скажешь ему: «“Невероятные струнные”[163] лучше “Джетро Талла”[164]».

О господи, во что же я вляпался?

– Неповторимые струнные лучше…

– Какие еще «неповторимые»? *Невероятные* струнные лучше Джетро Талла.

– Джетро Талла?

– Точно. Джетро Талла.

– Это который сеялка? – Мой богатый фактами, воспитанный на Книге рекордов Гиннесса мозг знал, что имя Джетро Талл носил человек, который в 1701 году изобрел скоростную рядовую сеялку, хотя почему это ставит его ниже невероятных струнных, постигнуть я был не в состоянии.

– «Сеялка»? – переспросил Казуэлл. – Никогда об этой группе не слышал. Ладно, ты просто передай ему что я просил, идет?

Вел он себя достаточно дружелюбно, и я понял, что бояться мне нечего, а идея доставки посланий увлекала воображение несостоявшегося скаута-волчонка, который все еще сидел во мне. Приятно было считать себя полезным человеком.

Кабинет Кармайкла, единоличный, находился в другом коридоре. Я постучал в дверь если и нервничая, то совсем немного. Из-за двери неслась громкая музыка, и я постучал снова. Голос ответил:

– Входите…

Я открыл дверь.

Каждый школьник украшал свой кабинет на собственный манер, однако большинство старалось сделать его настолько экстравагантным, насколько то дозволяли средства. Со стен и потолков свисали ткани, создавая впечатление бедуинского шатра или хипповского логова. Ткани эти именовались «гобеленами», или «гобиками». В некоторых кабинетах дымились благовонные палочки, их зажигали либо для того, чтобы скрыть запах табака, либо потому, что это было круто и современно. Кабинет Кармайкла впечатлял, и весьма, – тут психоделический гобик, там низковаттная янтарного цвета лампочка. Однако до кабинета его брата, Энди Кармайкла, этому было далеко. Обладавший инженерными дарованиями Энди Кармайкл соорудил в своем кабинете деревянные помосты и лесенки, обратив его в помесь парка аттракционов с лабораторией Виктора Франкенштейна. Как раз в это время школа гудела от слухов о том, что Энди Кармайкл почти завершил сооружение аппарата на воздушной подушке и очень скоро будет испытывать его на «Миддле». Насколько я помню, аппарат этот Энди действительно достроил, и тот даже работал – точь-в-точь такой же шумный, бесполезный и омерзительный, как его серийные родственники, бороздящие ныне воды Ла-Манша.

По-моему, существовал и еще один, самый старший

Кармайкл, по имени Майкл, однако он школу уже покинул. Мне нравилось воображать, как ему приказывают усесться в семейную машину и бесконечно повторять про себя: «Садитесь в машину Кармайклов, Майкл Кармайкл… садитесь в машину Кармайклов, Майкл Кармайкл».

Впрочем, в кабинете *Рика* Кармайкла меня поразило обилие книг на полках. Шесть «пингвиновских» томиков с рассказами П. Г. Вудхауса о Дживсе. И на обложке самого первого из них, на «Дживсе в отпуске», я увидел кадр из показанного Би-би-си три-четыре года назад сериала, в котором Дживса играл Деннис Прайс, а Берти Вустера… Йен Кармайкл.

Рик поднял на меня взгляд и увидел, куда я смотрю.

– Вы… он? То есть… – залепетал я. – Знаете, по телику?…

– Это мой дядя, – сказал Рик, приглушая проигрыватель, из которого лилась довольно приятная песня про тигров и Индию, впрочем, о ней чуть позже.

– *Страшно люблю* П. Г. Вудхауса, – торжественно сообщил я. – *Обожаю*.

– Вот как? Не хочешь взять одну почитать? Я уже перечитал их все, все рассказы и романы о Дживсе, – начав в тот день, когда школьная подруга матери, Маргарет Попплуэлл, подарила мне на день рождения «Так держать, Дживс». Какое-то время я покупал все издания Вудхауса, какие мне попадались, и собрал довольно внушительную коллекцию. Впрочем, великий человек написал почти сотню книг, так что путь меня ожидал еще долгий.

– А можно?

Он протянул мне «Дживса в отпуске». Именно эта книга лежит сейчас у меня рядом с клавиатурой компьютера. На обложке ее мы видим прекрасно одетого Йена Кармайкла с моноклем в глазу (ставшим для вудхаусовцев источником долгих споров – Берти с моноклем упоминается в книгах всего один раз, да и то потому, что таким он изображен на портрете, который впоследствии обратился в афишу, – впрочем, вам это вряд ли интересно) и красной гвоздикой в бутоньерке, на редкость синие глаза его лучатся добродушным, восхитительно глуповатым испугом. Над стоящим рядом с названием книги пузатым пингвином напечатано *«3/6»* (сумма, которой вскоре предстояло обратиться в семнадцать с половиной пенсов), а на задней обложке читаем:

> Фотография на обложке изображает Йена Кармайкла, сыгравшего Берти Вустера в снятом Би-би-си сериале «Мир Вустера» (продюсер Майкл Миллс, по соглашению с Питером Коутсом. Оператор Никлас

Акраман).

Многие годы спустя мне довелось работать с Майклом Миллсом, человеком до ужаса сварливым и просто-напросто пугающим. В мире развлечений мало было такого, чем бы ему не пришлось заниматься, а к актерам непунктуальным он относился далеко не по-дружески. В самом начале моей «карьеры» я получил роль в получасовой комедии, называвшейся «Один шанс на миллион», – главную роль в ней играл Саймон Кэллоу,[165] с которым мне страх как хотелось познакомиться, поскольку его книга «Быть актером» еще в университете служила для нас великим источником вдохновения. Я не знал, что дорога из Ислингтона, в котором я тогда жил, до Теддингтонского шлюза, рядом с которым располагались в то время студии телекомпании «Темза», занимает больше часа, и потому опоздал самое малое на тридцать минут. Майкл Миллс, принадлежавший к числу людей, которые носят просторные кардиганы и очки полукружиями с прикрепленным к дужкам черным шнурком, смерил меня испепеляющим взглядом и объявил, что вынужден будет написать моему агенту о столь непрофессиональном опоздании на работу. Насколько я знаю, теперь он уже мертв, а я так никогда и не нашел возможности поговорить с ним о том, как он ставил в 1960-х сериал «Мир Вустера».

Странно сейчас прикасаться к этой книге, которую более четверти века назад с обаятельной ленцой вручил мне Рик Кармайкл. Тем более странно, полагаю, что я провел четыре года, играя Дживса в другом телевизионном переложении тех же самых рассказов.

– Что-нибудь еще? – спросил Рик.

– О! – вскинулся я и оторвал от книги благоговейный взгляд. – Да, конечно. Немыслимые струнные лучше Джетро Талла.

Кармайкл улыбнулся.

– Э-э, думаю, ты хотел сказать «невероятные струнные», ведь так?

– О, – выдавил я. – Черт. Да.

– Понятно, – сказал Кармайкл. – Иди и скажи Гаю, что Кэрол Кинг[166] лучше Фэрпортской конвенции.[167]

Теперь уж и не упомню, сколько раз мне пришлось бегать от Кармайкла к Казуэллу и обратно, доставляя оскорбительные послания, касающиеся любимой ими музыки, однако в итоге эти двое, а с ними и ближайший друг Рика Мартин Суинделлс, именовавшийся просто Мартом, а иногда «Собакой», довольно

быстро начали относиться ко мне как к своему. Они дружили еще с одним мальчиком, которого звали Роджером Итоном, он был рыж и носил прозвище Ру – в австралийском просторечии так именуется кенгуру. Они были клевые, вся их компания – Гай, Рик, Март и Ру. Клевые и благожелательные. Престиж, честолюбивые помыслы, слухи относительно преподавателей и школьников, все, что связано с положением в обществе, их не интересовало. Они не получали удовольствия, измываясь над слабыми или подлизываясь к сильным. Они любили слушать музыку, любили дурачиться. Один из них, не скажу кто, вдруг это прочтут его родители, показал мне первый из увиденных мной в жизни косячков. Покурить не дал, просто показал. Шут его знает, может, это был и не косячок, а просто свернутая наподобие его сигаретка.

Рок-музыка была, разумеется, не тем же самым, что рок-н-ролл. И не тем же, что поп. После распада «Битлз» поп-музыка и синглы стали восприниматься как на редкость нехипповые, во всяком случае в частных школах. Теперь рок означал – альбомы. А альбомы означали – «Пинк Флойд», «Ван Дер Грааф Дженерейтор», «Кинг Кримсон», «Дип Перпл», «Лед Зеппелин», «Дженезис» (милые ребята из школы «Чартерхаус» плюс барабанщик-кокни), а – ближе к фолку – «Джетро Талл», «Прокол Харум», «Стилай Спен» и, да благословит ее Бог, «Инкредибл Стринг Бэнд».

Значительную часть этого рока сейчас назвали бы «тяжелым металлом». «Юрайа Хип», «Айрон Мэйден» и «Блэк Саббат» в то время, если только я не забегаю вперед, уже начинали; люди клевые уже знали, кто такой Дэвид Боуи, – год назад его «Майор Том» с треском провалился, однако за ним было будущее. Ходили также разговоры, будто прежний клавишник Лонга Джона Болдри,[168] Элтон Джон, выпустил альбом до того уж накрученный, что дальше и некуда.

Я ничего этого не знал.

Впрочем, была одна группа, о которой я вскоре узнал все, что смог. Где-то в середине моего первого триместра у Рика Кармайкла вышли деньги и он решил устроить «кабинетную распродажу» – аукцион, на котором все вещи, одежда и прочий хлам, без которого он мог обойтись, отдавались тем, кто назовет самую высокую цену. Я покинул распродажу обладателем всех связанных с би-би-сишным сериалом «пингвиновских» Дживсов и долгоиграющей пластинки, начальная композиция которой, «Поиски тигров в Индии», как раз и звучала, когда я впервые постучался в дверь Рика. Альбом назывался «Головастики» и был записан группой «Бонзо Дог Ду-Да Бэнд».[169]

Слышать об этой группе мне уже приходилось, поскольку, когда я еще учился в «Стаутс-Хилле», она в первый и в последний свой раз возглавила хит-парад с песней «Городской космонавт». Альбом этот выглядел престранно, и разглядывать его было одно удовольствие. В глазах изображенных на его обложке участников группы были проделаны дырки, а внутри имелась карточка, которую можно было двигать вперед-назад, отчего в пустых глазницах появлялись существа самые удивительные. Под названием «Головастики» стояла фраза:

> Млейте от мотивчиков, которые вы мурлычете с вашей милашкой, когда смотрите с ней «Не подстраивайте ваш телевизор» на канале «Темза»,

но надпись эта, с сожалением должен сказать, ничего мне не говорила, поскольку в нашем доме передач канала ITV не смотрели. Я не уверен даже, что в те дни телевизор родителей вообще *мог* принимать ITV. Помню (я ненадолго отвлекусь), что, когда нам пришлось переехать в Норфолк, Роджеру и мне (девяти– и семилетнему) *отчаянно* хотелось в первый же вечер посмотреть телевизор, поскольку за неделю до этого, еще в Чешэме, мы увидели самую первую серию «Доктора Кто» и безнадежно в нее влюбились. Однако с нашим красного дерева телевизором «Пай» при переезде что-то стряслось и его маленький серый экранчик попросту не загорался. Так что вторую серию мы пропустили, о чем я горюю и по сей день.

Теперь-то я знаю, что передача «Не подстраивайте ваш телевизор»[170] представляла собой вечернее комедийное шоу с участием Майкла Палина, Терри Джонса и Эрика Айдла, к тому времени уже присоединившихся к Джону Клизи, Грэму Чапмену и Терри Гиллиаму и создавших с ними «Летающий цирк Монти Пайтона», который тогда только еще начинал просачиваться в наше сознание. Музыку для этого шоу поставляла очень странная компания студентов-художников и музыкантов, именовавшаяся «Бонзо Дог Ду-Да Бэнд». Ко времени, когда я заинтересовался ими всерьез, они отбросили «Ду-Да» и обратились в просто «Бонзо Дог Бэнд». Двумя главными светилами в этой группе были невероятно искусный музыкальный *pasticheur*[171] Нил Иннес (который продолжал сотрудничать с парнями из «Пайтон» – сочинял песни для «Ратлз», «Святого Грааля»[172] и прочих, да и сам играл в этих фильмах) и покойный ныне, великий и удивительный Вивиан Станшэлл, один из самых одаренных, расточительных, причудливых, абсурдных, доводящих до исступления, непостижимых и великолепных англичан, когда-либо дышавших воздухом нашей страны.

Станшэлл (сэр Вив для его поклонников) погиб несколько лет назад при пожаре, я тогда страшно корил себя за то, что уже многие годы не поддерживал с ним никакой связи, – собственно, с тех пор, как написал кое-что для сочиненного им мюзикла «Стинкфут» («Вонючая нога»), который лет десять с чем-то назад шел в лондонском «Театре Шоу» под молчание ничего в нем не понявшей публики.

В последующие мои аппингемские годы я покупал другие их альбомы – «Гориллу», «Пончик в бабушкином парнике», «Кейншэм» и, наконец, «Давай помиримся и будем друзьями» – самый последний, включающий в себя рассказ Станшэлла «Ролинсон-Энд», который я и сейчас помню наизусть и который он затем расширил, обратив в *outrй* киношедевр «Сэр Генри в Ролинсон-Энд» с Тревором Говардом в роли сэра Генри и Дж. Г. Девлином в роли его морщинистого дворецкого по прозвищу «Старый тестикул». Когда я впервые услышал шуточку: «Тестикул, испытанный морщинистый слуга», я хохотал так, что, ей-ей, боялся помереть от удушья.

Ну да, я понимаю – не Александр Поуп и не Оскар Уайльд, однако я наслаждался этим, как только может наслаждаться человек. Благодаря Станшэллу в голове моей взорвалась новая вселенная, в которой сходились на безумное пиршество наслаждение языком, его тканью, красотой и звучанием и сам английский язык, абсурдный и шокирующий.

Думаю, наибольшее наслаждение доставлял мне голос Станшэлла. В нем было два регистра, один легкий, шаткий и валкий, с тембром едва ли не шансонье 1920-х, способный забираться очень и очень высоко, Станшэлл использовал его для песен наподобие бродвейского стандарта «У водопада»; другой, похожий на сдобный кекс, поразительно глубокий, богатый и сочный, способный имитировать Элвиса (как, например, в песне «Катафалк для милой») и выдавать, если прибегнуть к фразе а-ля Станшэлл, громовые тромбонные взревы гортанно ленивого британского безрассудства.

Большинство людей знакомо с его голосом по инструментам, которые он имитировал в альбоме Майка Олдфилда[173] «Цилиндрические колокола», в остальном полностью инструментальном, – в начале 1970-х этот альбом разошелся миллионными тиражами и стал основой состояния Ричарда Брэнсона.[174]

«Бонзо» стали моим мостом, соединившим рок-музыку и комедию, однако комедия была для меня намного важнее рок-музыки. Со временем я купил альбом «Инкредибл Стринг Бэнд», называвшийся, стыдно сказать, «Жидкий акробат с точки зрения

воздуха», равно как и «Приставалу», «Заслоненного облаками» и другие ранние альбомы «Пинк Флойд», однако сердце мое принадлежало не им. Оно принадлежало комедии. Не просто современной комедии «Бонзо» и «Монти Пайтон», и не только чуть более ранней комедии Питера Кука и Дадли Мура,[175] как бы ни преклонялся я перед этими гениями. Я также собирал записи с названиями наподобие «Золотые дни радиокомедии» и «Легенды “Холла”», заучивая наизусть номера таких комиков, как Макс Миллер,[176] Сэнди Пауэлл,[177] Сид Филд,[178] Билли «Почти джентльмен» Беннетт,[179] Мейбл Констандурос,[180] Герт и Дейзи,[181] Томми Хэндли,[182] Джек Уорнер и особенно Робб Уилтон.[183]

Возможно, мы снова возвращаемся к теме «петь не могу, танцевать не могу – ну и не буду». Если я заучивал комедийный монолог, то мог повторить его – *исполнить*, подбираясь тем самым к пению и танцу настолько близко, насколько мне это по силам. Я неплохой подражатель – не Рори Бремнер[184] или Майк Ярвуд,[185] конечно, но неплохой, – и, заучив номер, я воспроизводил его слово в слово, интонация в интонацию, пауза в паузу. А после этого мог попробовать показать что-то свое.

В этом я был не одинок. Любовь к комедии разделял со мной мой одногодок Ричард Фосетт. Он тоже был хорошим имитатором, изумительно смелым и блестящим актером. Мы вместе слушали комедийные записи, растолковывая друг другу, почему тот или иной номер так смешон и что делает его еще даже более смешным, стараясь добраться до самой сути, *постичь* нашу увлеченность, хватаясь за все это, как оно свойственно подросткам, обеими руками.

У Фосетта имелась своя коллекция, в которую входили номера Бенни Хилла и Фрэнки Хауэрда,[186] а с ними удивительная песня под названием «Баллада Батнал-Грин», сочиненная человеком, имя которого я, боюсь, запамятовал (по-моему, собственно имя было таким: Падди, – надеюсь, кто-нибудь напишет мне о нем). Там были замечательные строки наподобие:

Рам-тиддл-тиддл, рам-тиддл-тиддл,
Пена на воде,
Пух в твоем пупке и песок в твоем чае.

А еще в одном месте великолепное:

И трам-там-там и бум-бум,
Ненавижу мою старенькую маму.

Фосетт разделял со мной и любовь к словам, мы вместе прочесывали словарь и просто завывали, корчась от наслаждения, когда нам попадались такие роскошные экземпляры, как «стробил» или «велеречивый», и старались перещеголять друг друга в умении произносить их на уроках без тени улыбки. «Стробил» в обыденную речь вставить трудновато, поскольку этим словом обозначается сосновая или еловая шишка как орган размножения, а вот «велеречивым» мне однажды воспользоваться удалось.

Я, по обыкновению своему, всегда заходил чуть дальше, чем следует. Один из учителей как-то укорил меня на уроке за тавтологию. Он, как и всякий человек, столкнувшийся с пижонистым обладателем хорошо подвешенного языка, хватался за любую возможность поставить меня на место. Однако преподавал он отнюдь не английский язык, да и самым умным на свете человеком тоже не был.

– Итак, Фрай. Вы говорите, что в вашей пробирке образовался осадок «лимонно-желтого цвета»? Полагаю, вы еще обнаружите, Фрай, что все лимоны желты и что «желтый» – это цвет. Попробуйте не прибегать к трем словам там, где хватит и одного. М-м?

Ну что же, уел, и по заслугам. Однако через неделю с чем-то я с ним поквитался.

– Ну же, Фрай. Это очень простой вопрос. Что такое титрование?

– Видите ли, сэр… это такой процесс, посредством которого…

– Давайте, давайте, Фрай. Вы либо знаете ответ, либо не знаете.

– Простите, сэр, я стараюсь не впасть в плеоназм, однако, думаю…

– *Во что* вы стараетесь не впасть?

– В плеоназм, сэр.

– И что это, собственно, значит?

– Простите, сэр. Это значит, что мне не хочется быть слишком выспренним.

– *Каким*?

– Выспренним, сэр.

– О чем вы вообще говорите?

Я позволил прокрасться в мой голос нотке стыдливости и замешательства.

– Мне не хотелось быть выспренним, сэр! Ну, вы понимаете, плеонастичным.

– Послушайте, если вам есть что сказать, скажите. Что это еще за «плеоназм» такой?

– Это термин, сэр, означающий использование в предложении большего, чем то необходимо, количества слов. Я старался избежать тавтологичности, велеречивости и избыточности.

– Ну и почему бы вам было не сказать именно так?

– Мне очень жаль, сэр. Я запомню это на будущее, сэр. – Я встал, повернулся лицом к классу и приложил к сердцу ладонь: – Торжественно клянусь, что в дальнейшем, сэр, я буду использовать семь слов там, где хватит и одного. Торжественно клянусь быть настолько плеонастичным, пустословным и многоречивым, насколько вам этого хочется.

То, что этот несчастный не выхватил из кармана нож, не рассадил мне горло от уха до уха и не растоптал мое тело подбитыми гвоздями ботинками, со всей несомненностью знаменует присущее его натуре фундаментальное добросердечие. Впрочем, взгляд, которым он меня наградил, показывал, что он более чем готов рассмотреть такую возможность.

Иисусе, каким же развязным и дерзким свиненком я был. Я отдал герою моего романа «Лжец», Адриану, кое-какие из фразочек, доводивших до бешенства моих учителей.

– Опаздываете, Фрай?

– Правда, сэр? Да, несомненно.

– Только не надо мне ум свой показывать, мальчик.

– Очень хорошо, сэр. Вам какую глупость лучше показать, сэр? Полную или вполне достаточную?

Я сожалею о том, что обращался по временам в столь пакостного, заслуживающего палок мальчишку, но не сожалею о часах, которые провел, роясь – в одиночку или с Ричардом Фосеттом – в словаре или снова и снова проигрывая запись одного комика за другим.

Не знаю, являемся ли мы суммой испытанных нами влияний или суммой этих влияний, к которой добавлена сумма генов, но знаю – мой способ самовыражения, слова, которые я выбираю, мой тон, слог, *язык* представляют собой сплав, который был бы совершенно иным, совершенно и совершенно иным, не испытай я влияния Вивиана Станшэлла.

А с ним – П. Г. Вудхауса и Конан Дойля. Несколько позже к этой смеси могли добавиться фигуры и тропы, совершенства и недостатки других писателей с их риторическими приемами – Диккенса, Уайльда, Фербанка, Во и Бенсона, – однако именно эта первоначальная троица во многом определила то, как я говорю, а следовательно, и думаю. Не как я *чувствую*, но как думаю, если, конечно, мне случалось когда-либо думать, не прибегая к словам.

Я посвятил это длинное отступление миру «Бонзо» и комедии, потому что скоро, слишком скоро начался мой второй

аппингемский год, а мне не хочется, чтобы в сознании вашем остался лишь образ одинокого идиотика Фрая, поглощенного только своей любовью и жгучей болью одинокого же полового созревания. Я пребывал в контексте: Дом населяло полсотни мальчиков, у каждого из них была своя жизнь, и на каждого воздействовал внешний мир с его странностями и фантастичностью.

В первый мой год я дружил с Фосеттом, а после с мальчиком по имени Джо Вуд, с которым делил на втором году учебы кабинет. Джо Вуд был подростком здоровым, причем здоровым как бык. Крепким, циничным, улыбчивым и временами вызывавшим улыбку. В сравнении с Ричардом Фосеттом и мной он выглядел недалеким – слова, идеи да и мир вообще его, судя по всему, не интересовали.

Но вот однажды он сказал мне:

– Похоже, я понял. Все дело в чтении, так?

– О чем ты?

– Ты же очень много читаешь, верно? Оттуда все и идет. От чтения. Ну да, от чтения.

Когда я увидел его в следующий раз, в руках у него был роман Германа Гессе. И больше он ни разу не попадался мне на глаза без книги – в руках или еще где-то на теле. А через несколько лет, услышав, что он поступил в Кембридж, я подумал: я знаю, как это случилось. В один прекрасный день он решил взяться за чтение. Я многое узнал от него, от Джо Вуда, о том, что такое воля. И не только об этом – Вуд был терпеливым другом, которому на второй наш год пришлось много чего натерпеться от мальчика, с которым он вынужден был делить кабинет, от мальчика, чья жизнь внезапно разбилась вдребезги, на миллионы мелких осколков.

Единственной в этот первый год мухой в благовонной масти, [187] если, конечно, оставить в стороне бессмысленные столкновения с учителями, была «игра». «Эккер». Спорт.

У «Бонзо» имелся отличный номер под названием «Спорт», в нем прослеживалась школьная участь тонко организованного мальчика (носившего, что не лишено приятности, имя Стивен), который предпочитал лежать в высокой траве с карманным томиком Малларме (еще один «Стивен»), пока школьники покрупнее и поздоровее гоняли футбольный мяч. Хор хрипло распевал:

Спорт, спорт, мужественный спорт,
Ты готовишь отрока к жизни!

Спорт творит человека отменного сорта,
Подозрителен тот, кто не любит спорта!

Я хохотал, слушая эту песню, но также и обливался слезами – внутренне. Я ненавидел спорт, «эккер», спортивные игры, как бы их ни называли. А в «Аппингеме» отвертеться от «эккера» было охеренно трудно, много труднее, чем в приготовительной школе. «Охеренно трудно» есть образчик языка, который в то время имел там хождение – вне пределов слышимости персонала, разумеется. То было одним из первых замеченных отличий «Стаутс-Хилла» от «Аппингема»: *язык* – точно так же, как для Роберта Грейвза в «Прощай, всё» отличие школы «Чартерхаус» от «Королевских валлийских фузилёров»[188] знаменовалось ошеломительным повышением крепости брани. Из мира «черт подери» плюс подворачивавшихся время от времени «яиц» судьба забросила меня в общество, где «хер», «дрочила», «мудак» и «говно» звучали просто-напросто через слово. Утверждать, что меня это шокировало, было бы смешно, однако легкий испуг я испытал. Сквернословие представляло собой новый шаг к мужественности, неотъемлемую часть здоровой личности. Кабинетные аукционы, воровство в магазинах и продуктовых кладовках – такого рода независимость я понять еще мог, но вот разного рода проявления мужественности меня устрашали. А ничто не было более мужественным, чем Спортивные Игры.

Игры значили в «Аппингеме» *очень многое*. Если ты получал право носить цвета первой сборной по регби, ты автоматически обращался в персону благородных кровей. Вообще, если ты выступал в каком-либо виде спорта хотя бы за свой Дом, не говоря уж о всей школе, это сообщало тебе значительность, давало повод для гордости, ощущение превосходства, которому нисколько не угрожали даже умственные муки, доставляемые тебе неправильными глаголами. В конечном-то счете хорошая учеба содержала в себе гомосексуальный оттенок, так что стыдиться плохому ученику было решительно нечего.

Спортивные соревнования происходили у нас постоянно. В Доме мы занимались «эккером» каждый день недели за вычетом пятницы. Однако особо радоваться наступлению пятницы не приходилось, поскольку пятницы отводились под обязательную военную подготовку, на которой нам, составлявшим «Объединенный кадетский корпус» школы, приходилось маршировать туда-сюда в походном обмундировании времен Второй мировой. Я был определен в наземные войска, в разнесчастную пехоту, – брат мудро предпочел авиацию. На

солдата я походил примерно в той же мере, в какой Майк Тайсон походит на нарцисс. Я шаркал по плацу в плохо подогнанной форме, сползавших сапогах и тесном черном берете, никак не желавшем загибаться должным образом вверх, – я выглядел в нем не столько солдатом, сколько французским продавцом лука, – поеживался в кусачей гимнастерке цвета хаки, стараясь приладить мой шаг к колебаниям болтавшейся у меня на плече винтовки «Ли Энфилд», а школьный старшина, бывший полковой старшина морской пехоты, именовавшийся «Шикарным» Кларком, что-то орал мне в ухо.

И все же вы могли поиметь меня ананасом и обозвать вонючей свиньей, высечь цепями и что ни день нещадно гонять в военной форме по плацу, и я со слезами на глазах благодарил бы вас, если бы это избавило меня от занятий спортом. С мерзостностью «игр» не могло сравниться ничто, просто ничто.

Время от времени проводились нелепые спортивные состязания «Младшие против старших», в которых те, кому еще не исполнилось шестнадцати, выступали против тех, кому шестнадцать исполнилось, а также соревнования школьные, на этих ты был обязан просто присутствовать, наполняя воздух радостными кликами. Занятия физической подготовкой вдруг сами собой объявлялись в расписании – в часы, отведенные под *учебу*. Нелепые, получившие образование в Лафборо[189] недоумки именовали на них всех и каждого «пареньками» и называли по именам, словно находя снобизм закрытой школы вредным для их здорового, приятельского мира, построенного на пиве, *bonhomie*,[190] промежуточных результатах забегов и квадрицепсах.

– Отличный ты паренек, Джейми!

О, Джейми отыскивался всегда, отличный паренек Джейми, подтянутый, проворный, стремительный, энергичный полузащитник Джейми, вечно вбрасывавший мяч в игру. Джейми умел взбираться по канату, точно герой Артура Рэнсома,[191] умел вспархивать вверх по гимнастической стенке, перелетать через гимнастического коня, элегантным кувырком разворачиваться под водой, доплывая до стенки бассейна, вертеть на турнике «солнце», хоть вперед, хоть назад, и соскакивать с турника так, что опрятные ягодицы его светились и лучились тренированностью, крепостью и милейшей джеймисоватостью. *У-у, мудила.*

В то время им, полуграмотным питекантропам в особо носких футболках и темно-синих тренировочных штанах, с трогательно многофункциональными секундомерами на толстенных шеях, еще хватало наглости упоминать в школьных характеристиках какие-

то «процентили развития моторики» и прочую херотень в том же роде, как будто их никчемные, ничтожные толчки и рывки составляли часть некой признанной научной дисциплины, что-то значащей, действительно что-то *значащей* в нашем мире. Да даже прискорбный консультант по менеджменту, напичканный статистическими данными и психологическими рекомендациями насчет «искусства управления людьми» – искусства настолько, мать его, очевидного, что у нормального человека от разговоров о нем начинает кровь носом идти, – и тот имеет *какое-то* право смотреться каждое утро в зеркало, но *эти-то* бабуины с их зажимными пюпитрами, и свистками, и статистикой накопления молочной кислоты в мышечных тканях, носящиеся по полю с кожаными мечами под каждой мышкой и вопящие: «Давай, Фрай, пошевеливайся, *финти*, Фрай…»

Тьфу! Повизгивание резиновых подошв по полам спортивных залов, тухлая вонь только-только начавшего выделяться тестостерона; хруст усыпанных шлаком беговых дорожек; уродливый глухой шлепок регбийного меча, слышный через секунду после того, как ты, наблюдающий за матчем, видишь, как эта уродливая мертвая штуковина плюхается в затвердевшую грязь; стук хоккейных клюшек; скрежет подбитых гвоздями ботинок по полам раздевалок; отдающее сладковатым дерьмом льняное масло; суспензории; щитки на голенях; отвратительные кожаные шапчонки, надеваемые перед «схваткой»; ботинки; трусы; носки; шнурки; шипение и пар душевых.

Ма-а-а-а-а-ть! Мне хочется выблевать все это прямо сейчас, всю эту здоровую рвотную массу. Она, подобно кислоте, въелась в мою душу и теперь, подобно раку, проедает себе путь наружу. Я презирал ее с такой силой… с такой силой… с такой… Глубина, высота, тяжесть и размах пожиравшей меня ненависти едва не стоили мне рассудка.

Игры! Да как же они *посмели* использовать это великое, благородное слово для описания столь низменной, заляпанной грязью, варварской мерзости, как регби или хоккей? Как *смели* принять то, чем они занимаются, за *игру*? Гд е в нем *игривость*, где веселость? – одна вислоухость.

Вислоухость и мертвенный дух, достойный дохлой куропатки.

Дерьмо, вот что это такое, барахтанье в орущем, воющем, скотском, первобытном *дерьме*. И самым дерьмовым дерьмом были душевые.

Да, я мог быть высоким, да, мог расти почти на глазах, да, у меня мог ломаться голос, но *что со мной происходило в душевых*? А вот что там происходило, шли бы они все известно куда.

Услышав слово «недозрелый», пусть и в самом невинном

контексте, я заливался багровой краской.

«Недозрелый» означало, что у меня нет там, внизу, волос.

«Недозрелый» означало, что у меня вместо члена соленая улитка.

«Недозрелый» означало позор, несоответствие, поражение и страдание. *Они* могли гордо вышагивать, не обернув полотенцами чресла, *они* могли подпрыгивать и хихикать, когда их шланги хлопались о пупки, а тяжелые лузы о двух шарах подрагивали и раскачивались, они могли намыливать лохматые лобки и распевать под шипящим душем безмозглые песни регбистов, у них все было в порядке, у грязных, проклятых, безжалостных, обезьяноподобных *мудаков*.

А теперь хотите услышать анекдот – тошнотворный, грязный анекдот?

Я люблю спорт.

Я люблю «игры».

Я их обона хержаю. Все до единой. От регби до кеглей. От дартса до бейсбола. Я ими насытиться не могу. Не могу намать ихсытиться.

То есть это *сейчас – сейчас*.

Одна из причин, по которым эта книга уже запаздывает в издательство на полтора месяца, состоит в том, что в Уимблдоне состоялся международный матч по крикету – Англия – Австралия – и одновременно по телевизору показывали турне регбийной команды «Британские львы» по Южной Африке. Я смотрел все матчи – и там, и там. Потом начались соревнования высшей лиги по гольфу, достигли кульминации гонки «Формулы один», а тут еще примешались скачки на «Гудвуде». Теперь вот того и гляди откроется футбольный сезон, по понедельникам начнут показывать «Ночной футбольный обзор Форда», и мне придется отсиживать перед телевизором еще больше драгоценных часов, купаясь в спорте, спорте, спорте – одной из великих страстей моей жизни. Те несчастные, что пытались в своих спортивных залах добиться, чтобы мое безнадежно хилое тело проделало нечто *здоровое* – по канату залезло или перелетело через гимнастического коня, – они старались как могли. Они не были глупы, не были злы. Они остроумно писали в моих характеристиках: «Единственное физическое упражнение, которое он с удовольствием выполняет, это неторопливый выход в центр спортивного зала, предпринимаемый, дабы показать: какая-либо спортивная форма у этого милого мальчика отсутствует» – в таком примерно роде. «Физические упражнения и Стивен Фрай чужды друг другу. Я попытался их познакомить, но чувствую, что подружиться им никогда не удастся». Хорошие люди, старавшиеся

хорошо выполнять свою работу.

Поговорим о презренности.

Чем я могу оправдать этого жалкого, взъяренного, презренного тринадцатилетнего мальчишку, эту испуганную кучку костей, осыпавшуюся на скамью раздевалки и силившуюся придумать, как бы ей прикрыться полотенцем, чтобы никто *не увидел*? Все, что у него есть, – это гнев, ярость, словесная заносчивость, гордость. Без них он съежился бы, обратясь в социальное ничтожество, вполне отвечающее его съежившемуся телесному ничтожеству. Так простим же ему неистовство его ярости, простим гнев, надменность, смехотворную самоуверенность, жертвой которой он стал, – все это не более чем дырявое полотенце. Полотенце, которым он пытается прикрыть свой срам, замаскировать нелепое отсутствие уверенности в себе, жертвой которой он, опять-таки, стал.

Можно ли объяснить столь многое столь (в буквальном смысле) малым?

Le nez de Cléopвtre: s'il eût plus court, toute la face de la terre aurait changé… Это ведь, кажется, Паскаль написал? *Если бы нос Клеопатры был короче, весь лик мира стал бы иным.* Я никогда толком не понимал, почему он сказал «короче», а не «длиннее», – быть может, во времена Паскаля, да и Марка Антония тоже, считалось, что длинный нос красивей короткого. А возможно, я просто не понял, о чем толкует Паскаль. Так или иначе, когда я впервые наткнулся на эту *pensée*[192] (преподаватели французского любят вставлять ее в диктанты по причине обилия в ней немых диакритик), то, помнится, задумался о лике *моего* мира. *Le nœud d'Étienne: s'il eût plus long…*[193]

А с другой стороны, как сказал тот же Паскаль, у сердца свои резоны, нимало не ведомые разуму. Ваше истолкование наверняка будет правильнее моего. Зритель видит спортивный матч лучше, чем его участники.

И потому вернемся к нашему горестному маленькому существу.

Стоит рядовой будний день середины его (существа) первого триместра, время обеденного перерыва. Пока тянется обед, оно все притихает и притихает, ибо ведает, что после обеда его ждет встреча с домашним Попкой и «Журналом “эккера”». И Попка этот должен будет, исполняя свои официальные обязанности, перебрать всех мальчиков Дома и поставить против имени каждого галочку. Или ты представишь ему записку от матроны, объясняющую, по какой причине ты нынче освобожден от «эккера», или он запишет тебя на какую-нибудь игру.

Я жду в очереди, желудок мой перекачивает, точно насос,

горячий свинец. Попка окидывает меня недолгим взглядом.

– Фрай. Регби, команда младшего возраста. Домашнее поле.

– Ой. Я не могу.

– Почему?

– У меня фехтование.

– *Фехтование?*

Пару дней назад я слышал, как один ученик сказал то же самое – и ничего, выкрутился. Попка листает журнал.

– Ты не записан на фехтование.

Мать твою, туда, оказывается, записываться нужно. Об этом я не подумал.

– Но мистер Тозер сказал, чтобы я пришел на занятия, – жалобно сообщаю я. Мистер Тозер, именуемый, естественно, Сперматозером, это наша большая шишка в мире спорта – фехтование, бадминтон, стрельба из лука. Этакий аппингемский Тони Губба.[194] – Мне очень хочется.

– А. Ну хорошо. Значит, фехтование. Только принеси от него записку, чтобы я тебя в журнал занес.

Урра!

Один день отвоевал. День, в который я смогу – главное, не попасться на глаза Попке – делать что захочу и слоняться где захочется. А про записку от Сперматозера он наверняка забудет.

Были, однако, и другие дни, требовавшие новых отговорок. Что ни день, то новехонький ад изобретательства, и иногда, не часто, но случалось, мне приходилось отправляться на занятия спортом, а иногда меня, нездорово и скрытно рыскавшего по Дому, ловили и я получал наказание.

Пек был, по-моему, последним «капитаном» Дома, имевшим право лупить учеников самостоятельно, не испрашивая на то разрешения начальства. Наиболее распространенным наказанием, к числу телесных не относившимся, был так называемый «альковный наряд». «Альковами», как я уже говорил, именовались кабинки, посреди которых стояли в общих спальнях наши кровати. Каждый ученик каждого Дома спал в отдельной кабинке.

Единичный альковный наряд представлял собой клочок бумаги, вручаемый Попкой нарушителю. На листке значилось имя еще одного Попки из другого Дома. Двойной альковный наряд содержал имена двух Попок из двух разных, опять-таки, Домов. Я же неизменно получал наряд тройной – три Попки из трех различных Домов.

Получателю наряда надлежало подняться пораньше, натянуть спортивный костюм, добежать до Дома, значащегося в списке первым, проникнуть в альков Попки, разбудить его и попросить, чтобы тот расписался напротив своего имени. Затем нужно было

отправиться к следующему в списке Попке, обитавшему, как правило, в Доме, расположенном на другом конце школьного городка. Собрав же все подписи, следовало вернуться в свой Дом, переодеться в форму и поспеть к завтраку, начинавшемуся ровно в восемь. Дабы наказуемый не жульничал, обходя Попок в наиболее удобном для него географическом порядке или поднимаясь раньше семи – официального стартового времени, – Попки, которые перечислялись в списке, должны были проставлять рядом со своими подписями время, в которое их разбудили.

Дурацкое, вообще-то говоря, наказание, столь же неприятное для Попок, которых вырывали из объятий сна, сколь и для бедного сукина сына, которому приходилось их обегать. Система эта предоставляла возможности для самых разных злоупотреблений. Попки могли, например, сводить счеты с не угодившими им коллегами, посылая к ним наказанных каждый божий день. Такого рода войны Попок, ведомые по принципу «зуб за зуб», могли продолжаться порой целыми триместрами.

Но разумеется, старосты могли также и оказывать друг другу услуги.

– Слушай, Брэддок, у тебя в регбийной команде есть один такой вбрасывающий, ничего из себя, как же его зовут-то?

– Йелленд, что ли?

– Во, точно. Сказочный малый. Ты бы… это… прислал его ко мне как-нибудь утром, идет? С нарядиком.

– Ладно. Если ты пришлешь мне Финлея.

– Договорились.

Единственным, что доставляло мне, выполнявшему альковный наряд, подлинное удовольствие, была возможность проникновения со взломом. Официально все пансионы оставались запертыми до семи утра, что, как предполагалось, обращало в бессмыслицу ранний подъем и неторопливую прогулку к месту назначения. Однако всегда находилась приставная лестница, какое-нибудь окно в гардеробной или кухне, которое можно было взломать, запор, легко поддававшийся нажатию гибкой слюдяной пластинки. А уж попав внутрь, оставалось только прокрасться в дортуар, войти на цыпочках в альков Попки, подвести его будильник и разбудить бедолагу. Это позволяло выходить на дело в половине шестого, в шесть, избавляя себя от беготни и спешки, которые требовались, чтобы уложиться в сорок минут.

Все это описание альковного наряда я передрал почти слово в слово из «Лжеца», но с другой стороны, и сочиняя «Лжеца», я передрал это описание – почти целиком – из собственной жизни и

потому думаю, что вернуться к нему *здесь* будет только честно.

Вследствие легкости, с которой можно было обойти правила выполнения альковного наряда, доставляемой им *frisson*[195] предвкушения сексуальных возможностей и вследствие того, что я всегда любил просыпаться пораньше, никакого страха мне это наказание не внушало. Кое-кто из мальчиков, получив альковный наряд, белел с лица, что твоя бумага. Эти несчастные исправно вставали в нужное время, действительно облачались в спортивные костюмы, действительно бегали, пыхтя и потея, из Дома в Дом, принимали душ, перед тем как выйти к завтраку, и вручали покаравшему их Попке квиток с необходимыми подписями. Я же не вручал его *никогда*, дожидаясь, пока Попка сам меня не отловит, и позволял ему вкусить минутный триумф, порождаемый мыслью, что я и вправду посмел манкировать альковным нарядом и уж на сей-то раз он наконец сможет показать мне, где раки зимуют.

– Где она, Фрай?

– Вторая дверь налево, мимо не пройдешь. Оттуда так и несет мочой и фекалиями.

– Кончай умничать. Я вчера дал тебе тройной наряд.

– *Правда?* Ты уверен, что не спутал меня с братом?

– Ты давай не наглей, ты все отлично помнишь.

– Боюсь, что твой наряд на самом деле напрочь вылетел у меня из головы.

– *Что?*

– Ну да. Просто жуть какая-то, правда?

– А, ну *в таком* случае…

– А потом вдруг вспомнил о нем, и как раз вовремя. Вот, прошу… По моему мнению, Коппингу удалось расписаться особенно элегантно, тебе не кажется? Сколько надменного изящества в завитках его «К»… сколько беспечной грации в изгибах этого «г».

Была и еще одна работа, доставлявшая мне наслаждение, – исполнение обязанностей утренней шестерки. Большинство младших школьников ее ненавидело, я же со все нараставшим волнением считал дни, остававшиеся до того, в который мне придется выступить в этой роли. Она сочетала в себе то, что я любил больше всего на свете: ранние утренние часы, звуки моего голоса, полезность и легкий оттенок эротизма. Наверное, мне следовало стать стюардом какой-нибудь авиалинии…

В семь пятнадцать, это самое позднее, я выскакивал из кровати, одевался и на цыпочках покидал общую спальню. Я спускался в столовую, где прислуга накрывала к завтраку стол, желал ей доброго утра, уворовывал, если удавалось, ломоть хлеба

с маслом и сверял мои часы с теми, что висели здесь на стене. Затем поднимался наверх. Там, на лестничной площадке, стоял стол, а на нем – здоровенный латунный колокольчик с кожаной петлей вместо ручки. Ровно в половине восьмого я снимал колокольчик со стола и начинал звонить. Штуковиной он был тяжелой, требовалось качнуть его из стороны в сторону раза три-четыре, только после этого язычок перенимал требуемый ритм. Мне следовало не переставая бешено бряцать, обойти по очереди все спальни, выкликая во весь голос магическую формулу, одинаковую для всех утренних шестерок и без музыкального сопровождения бездейственную:

– Половина восьмого времени!

Прокричав это с порога каждой из четырех спален Дома, я должен был затем пробежаться от алькова к алькову, дабы разбудить каждого школьника в отдельности с промежутком в отсчитываемые обратным порядком – это и было самым сложным – пять секунд. То есть чтобы вы поняли, о чем я толкую, – мне надлежало сказать каждому, сколько времени у него осталось до без десяти восемь, до последнего перед восемью часами и завтраком сигнала подъема.

Я заскакивал в очередной альков, встряхивал очередное плечо и кричал в очередное ухо: «Осталось восемнааадцать минут сорок пять секунд… Осталось восемнааадцать минут сорок секунд… Осталось восемнааадцать минут тридцать пять секунд» – и так до следующего обращенного к новой спальне в целом крика и следующего, приходившегося уже на без двадцати восемь, удара колокола.

«Осталось деееесять минут!» – выкликал я с порога и бросался к альковам. «Осталось дееевять минут двадцать пять секунд… Осталось дееевять минут двадцать секунд…» И наконец, звучал последний удар колокола и мой оглушительный рев:

– БЕЕЕЗ ДЕСЯТИ ВОСЕМЬ!

К этому времени мимо меня уже проносилась, топоча и рыча, орава школьников, сквернословящих, застегивающих последние пуговицы, выплевывающих зубную пасту и полные утренней раздражительностью слова.

Некоторых мальчиков разбудить было до крайности трудно, и если тебе это не удавалось, а недовольный тобой ученик был еще и старшеклассником, он обвинял в том, что не поспел вовремя к завтраку, тебя и мог обратить твою жизнь в ад. Другие притворялись непробудными, затевая с тобой потаенную, безмолвно подразумеваемую игру. Они могли лежать в постели голышом, укрывшись одной лишь простынкой, и, входя в альков, ты заставал такого шутника спящим мертвым якобы сном, являя

тебе вид невинной, но надменной утренней эрекции. Безмолвно подразумеваемая игра состояла в том, что, тряся такого однокашника за плечо, ты невольно притирался локтем или предплечьем к его подрагивавшему члену. Утренней шестерке следовало знать, кто из мальчиков падок до этой игры, а кто не падок, – так же как и им предположительно было известно, кто из утренних шестерок готов играть в нее, а кто не готов.

Все это происходило еще до того, как я увлекся мастурбацией, и хотя теоретически я был более чем подкован, а идея секса приятно щекотала мое воображение, игра эта меня особо не возбуждала. Я знал – по полученному в «Стаутс-Хилле» горькому опыту, – какими осложнениями чревато отношение здоровых мальчиков к гомосексуалистам.

В последний год, проведенный мной в приготовительной школе, горстка ребят, занимавших места в спальне старшеклассников, пристрастилась валять в ней дурака, пока все остальные спали. Кое-кто из мальчиков уже обзавелся вполне работоспособными мошонками и кустистой лобковой порослью, другим, и мне в том числе, было до этого еще далеко. Мне очень нравилось подкрадываться к кровати кого-нибудь из однокашников и производить дотошное его обследование. Что, собственно говоря, мне так уж нравилось в этом, я толком не понимал, а увидев впервые пенис, извергающий семя, и вовсе перепугался до полусмерти. Должен признаться, что увиденное показалось мне довольно отвратным, я лишь поразился эксцентричности, с которой устроила это дело природа: подобно Алисе Ноэла Коуарда,[196] я счел, что организовать его можно было бы и получше. Один из обитателей той спальни, назовем его Халфордом, был, подобно мне, мальчиком, зрелости еще не достигшим, но обладал веселым нравом и получал не меньшее, чем я, удовольствие, расхаживая по школе нагишом. Мы оба, с буйно напряженными членами, вернее, с тем, что сходило у нас за буйно напряженные члены, прокрадывались в уборные единственно ради того, чтобы упиться своей наготой. Мы могли показывать один другому наши причиндалы, тыкаться ими друг в друга, хихикая и поглаживая их, производить странные эксперименты, до которых столь падки мальчики, защемляя эти штуки дверьми или ящиками столов, однако все возбуждение, какое нам требовалось, доставлялось наготой и тем, что мы занимаемся этим втайне от всех.

Как-то раз у Халфорда, вылезавшего из плавательного бассейна, жутко свело судорогой ногу. Он взвыл от боли, плюхнулся на траву и страдальчески забил по ней всеми конечностями. Я оказался рядом и потому помог ему встать, а

после повел вокруг бассейна, чтобы он размял затекшую ногу. Полностью оправившись, Халфорд ушел в раздевалку, а я о случившемся и думать забыл.

Пока этот день клонился к вечеру, я обнаружил, что стал вдруг до крайности непопулярным. В двенадцать лет к подобного рода неожиданностям относишься очень чувствительно – я, во всяком случае, относился именно так. Рейтинг моей популярности я отслеживал внимательнее самого изощренного политика. И теперь просто не понимал, что случилось. Это был один из тех редких дней, в которые я мог точно сказать, что решительно ничего дурного не сделал. И тем не менее произошло нечто непостижимое, но несомненное: одни меня игнорировали, другие глумливо усмехались мне прямо в лицо, меня бойкотировали, и стоило мне войти в какую-нибудь комнату, как разговор в ней прерывался.

В конце концов я натолкнулся на того, кто мог мне все объяснить. Я встретил в коридоре пухлого мальчишку по фамилии Мак-Каллум и, проходя мимо него, услышал, как он прошептал некое слово.

Я остановился и повернулся к нему:

– Что ты сказал?

– Ничего, – ответил он, отступая. Никакого веса Мак-Каллум в школе не имел, и я знал, что уж с ним-то справиться мне будет несложно.

– Ты только что пробормотал какое-то слово, – сказал я, схватив его обеими руками за плечи. – Или ты повторишь его, или я тебя убью. Выбор простой. Я лишу тебя жизни – подожгу твою кровать, когда ты заснешь.

– Ты не посмеешь! – заявил он, подтвердив тем самым правильность моего выбора жертвы допроса.

– Еще как посмею, – ответил я. – Ну. Повтори то, что ты только что сказал.

– Я просто сказал… сказал… – пролепетал он и покраснел.

– Да? – поторопил его я. – Я жду. Ты просто сказал…

– Я просто сказал «педик».

– Педик?

– Да.

– Ты сказал «педик», вот оно как? А почему ты это сказал?

– Так все же знают. Отпусти меня.

– Все знают, – повторил я, посильнее стискивая его плечи, – а я не знаю. И что же такое все знают?

– Сегодня днем… у-уй! Больно же!

– Еще бы тебе было не больно! А для чего же я тебе плечи сжимаю – чтобы тебя приласкать? Продолжай. Ты сказал:

«Сегодня днем…»

– Когда Халфорд вылез из бассейна…

– Да, и что же?

– Ты… ты обнял его за плечи, как педик. Халфорд из-за этого просто бесится. Хочет тебе морду набить.

Потрясенный, оскорбленный, в ужасе и негодовании, я снял с плеч Мак-Каллума руки, и он воспользовался этим, чтобы улепетнуть по коридору, точно жирный таракан, успев, впрочем, выкрикнуть «Педик!» перед тем, как свернуть за угол и скрыться из глаз.

Я даже не помнил, как обнимал Халфорда за плечи. Наверное, обнимал, пока водил его вокруг бассейна.

От лица моего отхлынула кровь, я был близок к одному из тех подростковых обмороков, которые иногда остаются с нами на долгие годы, – такое чувство возникает порой у человека, который сидел-сидел, а после вдруг резко встал: в глазах у него темнеет, и ему кажется, что он того и гляди упадет.

Халфорд принял меня за педика лишь потому, что я положил ему руку на плечо. Положил, чтобы его поддержать! Тот самый Халфорд, который всего две ночи назад разгуливал вместе со мной голышом по уборным. Который научил меня просовывать член в дверную щель. Халфорд, который на моих глазах, лежа нагишом на полу, закидывал ноги за голову и засовывал себе палец в зад, да еще и хихикал при этом. И это *он* считает *меня* педиком? Только потому, что я придерживал его за плечи, когда у него ногу свело? Господи Иисусе.

Я поплелся к черной лестнице, надеясь найти там укромное место и выплакаться. Однако на первой же ее площадке уткнулся носом в ворсистую твидовую куртку мистера Брюса, преподавателя истории, когда-то сидевшего в плену у японцев.

– Так-так-так! И что же с нами случилось?

По физиономии моей текли потоками слезы, притворяться, будто все дело в сенной лихорадке, было бессмысленно. Давясь рыданиями, я рассказал о Халфорде и его сведенной судорогой ноге, об отвращении, которое я, похоже, внушил ему, всего лишь пытаясь помочь. О наших ночных вылазках голышом, о чистой воды *лицемерности* реакции Халфорда, о его нечестности, несправедливости и жестокости, которые поразили меня в самое сердце, я, разумеется, рассказывать не стал. Мистер Брюс серьезно покивал, вручил мне свой носовой платок и ушел.

Я дополз до своей кровати и, проплакав в ней до самого ужина, решил, что податься мне некуда, надо привыкать к непопулярности – пойти сейчас в столовую старшеклассников и там предстать перед завывающей их толпой.

Когда я уселся на свое место, вокруг меня образовалась на скамье нарочитая пустота: мальчики демонстративно отодвигались как можно дальше от замаравшего их стол мерзкого пидора. Я, бледный, но полный решимости, принялся за еду.

В самый разгар ужина вдруг прозвучал гонг. Все удивленно повернули в его сторону головы.

В конце столовой стоял мистер Брюс с поднятой вверх рукой, призывавшей нас к молчанию.

– Мальчики, – сказал он, – я хочу сделать особое заявление. Мне только что довелось услышать о героическом проявлении доброты, имевшем сегодня место у плавательного бассейна. Как мне рассказали, у Халфорда свело судорогой ногу и Фрай помог ему встать и сделал именно то, что следует в таких случаях делать, – провел Халфорда вокруг бассейна, все время осторожно поддерживая его. Я ставлю Фраю пять за его благоразумие и выдержку.

Я, не способный пошевелить ни единой мышцей, смотрел в тарелку.

– Да, и еще, – продолжал Брюс с таким видом, будто ему только что пришла в голову новая мысль. – До моих ушей дошло также, что некоторые из мальчиков – те, что помладше, поглупее и ничего в подобного рода вещах не смыслят, – сочли, будто обнять рукой за плечи попавшего в беду друга – это какое-то извращение. Я обращаюсь к вам, к старшеклассникам, разбирающимся в вопросах секса лучше других, – помогите искоренить это детское заблуждение. Надеюсь, кстати, что Халфорд уже должным образом поблагодарил Фрая за находчивость и заботу. Думаю, в этом случае было бы уместным крепкое рукопожатие и достойные мужские объятия. У меня все.

И Брюс, поскрипывая подошвами башмаков по доскам пола, удалился. После полутора секунд невыносимого молчания мальчики один за другим начали прихлопывать в мою честь ладонями по столу, а Халфорд смущенно встал со скамьи, чтобы сказать мне спасибо. Я снова впал в милость.

Энт Кроми написал мне, что Джим Брюс умер два года назад. Да упокоит, напитает и утешит его бессмертную душу Господь. Сейчас он прогуливается в обществе Монтроза, Уильяма Уоллеса и самого Красавца принца Чарли.[197] Он спас для меня последний триместр в «Стаутс-Хилле», и я буду чтить его память вечно.

Но говорит ли вам это – или не говорит – о том, на какое минное поле мы вступали в те дни, когда речь заходила о сексуальной природе человека, о его *сексуальности*, как теперь принято выражаться? О разнице между сексуальной игрой и

педерастией; о слепом ужасе, который внушала подобного рода телесная привязанность, и о легкости, с которой принимались эротические забавы?

Ученики «Аппингема» держались примерно таких же взглядов. Тот, чьего спросонного торчка ты касался, исполняя обязанности утренней шестерки, отнюдь не считал ни себя, ни тебя педиком. Да я и не думаю, что кто-нибудь толком понимал, что это такое, – понимал *по-настоящему*. Даже мысль о педерастии пугала каждого настолько, что он придумывал для этого слова собственные истолкования – исходя из своих страхов и побуждений.

Ты мог открыто любоваться хорошеньким мальчиком – и все ученики средних и старших классов именно это себе и позволяли. На самом деле такое поведение было свидетельством возмужалости.

– Всего десять минут наедине с этой попой… – мог сказать старшеклассник, глядя вслед прошедшему мимо мальчишке. И возведя, точно в молитве, глаза горе, добавлял: – Больше я ни о чем не прошу.

– О нет! – говорил один старшеклассник другому, впервые увидев смазливого новичка. – Я влюбился. Боже, спаси меня от меня самого.

Я *полагаю*, что логическое обоснование таких эскапад состояло в следующем: новички, хорошенькие мальчики, были ближайшим из предлагавшихся «Аппингемом» подобием девочек. У них пока что отсутствовала волосистая поросль там, где у девочек ее и вовсе не бывает, они были миловидными, привлекательными, хорошенькими, как девочки, с девичьими шелковистыми волосами и мягкими губами, а их чарующие маленькие попки были совсем… да нет, чарующие их попки были совсем *мальчишескими*, но, черт подери, на безрыбье и рак – белорыбица, а такого безрыбья, с каким сталкивается отрок, переживающий половое созревание, нигде больше не сыщешь, как не сыщешь и рыбки более милой, чем попка смазливого мальчика. И тем не менее все эти открыто высказываемые восторги оставались не более чем позой – позой настоящего мачо. Доказательством гетеросексуальности.

Впрочем, существовали и мальчики, которые обладали ни у кого не вызывавшей сомнений репутацией «педрил» – в самом злобном и презрительном смысле этого слова, какой только имел хождение в то время, до, это следует сказать, триумфального самоутверждения нынешних гомосексуалистов. Как возникали подобные репутации, понять мне так и не удалось. Возможно, их обладателей винили в том, что они украдкой поглядывали в

душевой на кого-то из своих однолеток, – такая украдчивость награждала человека ярлыком педераста с куда большей верностью, чем откровенное, открытое разглядывание, – возможно, от них исходили некие токи, ничего не имевшие общего с «кэмпом» или женственностью, но внушавшие *здоровым* подросткам мужеска пола враждебность, вожделение или чувство вины. Возможно, наклеивание этих ярлыков было всего лишь генеральной репетицией того племенного камлания, той бури бессмысленных слухов, фанатизма и неприязни, которые образуют в нынешнем мире повседневную основу для суждений о натуре, характере и настрое хорошо известных людей, – суждений, позволяющих считать Боба Монкхауса[198] елейным, Дэвида Мэллора[199] вкрадчивым, Питера Мэндельсона[200] беспринципным, Джона Селвина Гаммера[201] одиозным, а Джона Берта[202] прохвостом.

Я, честное слово, не знаю этого. На мой взгляд, тут все сводилось к гомофобии – если прибегнуть к этому довольно убогому слову, никакого отношения к сексу не имеющему.

– Вы хоть представляете себе, чем на самом деле *занимаются* эти люди?

Ханжествующие члены палаты общин с большим удовольствием задавали этот вопрос во время последних в двадцатом столетии парламентских слушаний, посвященных возможности признать гомосексуалистов людьми не хуже других.

– Дерьмокопатели, вот кто они такие. И нечего тут вилять. Мы с вами говорим о содомии.

Да нет, вовсе не о ней. Это вам только кажется.

Мужеложство распространено в мире геев совсем не так широко, как полагают многие. Не исключено даже, что анальному сексу отводится в гомосексуальных отношениях место не большее, чем в гетеросексуальных.

Мужеложство – это отнюдь не завершение выложенной желтым кирпичом дороги, которая уходит вдаль под гомосексуальной радугой, не цель, не желанная награда, не окончательное разрешение гомосексуальности. Мужеложство не есть достижение, посредством коего утверждается гомосексуалист, оно вовсе не является его самореализацией или конечной участью. Мужеложство является для гомосексуалиста частью существования, необходимой настолько же, насколько обладание пикапом «вольво» составляет необходимую часть жизни семейства из среднего класса, – неразрывная связь между тем и другим существует только в сознании дешевых тупиц. Занятие мужеложством неотделимо от гомосексуальности примерно в той же мере, в какой молочный коктейль с

апельсиновым соком неотделим от обычного обеда: кто-то может, выпив его, немедля потребовать добавки, кто-то к нему и притрагиваться не станет, а кто-то, сделав один глоток, тут же побежит в уборную – блевать.

В гомосексуальном мире присутствует масса вещей, нисколько с анальным отверстием не связанных; понятие же, которое и впрямь пронимает ненавистника геев до самых кишок, идея, которая выводит его из себя и выворачивает наизнанку его желудок, – это самое страшное и пугающее из усвоенных человечеством понятий – понятие любви.

Чего на самом деле не способен вынести гомофоб, так это мысли о любви одного человека к другому, принадлежащему к одному с ним полу. Любви во всех восьми тонах и пяти полутонах полной октавы нашего мира. Любви чистой, эроса и филоса; любви как романтики, дружбы и обожания; любви как наваждения, вожделения, одержимости; любви как муки, эйфории, исступления и самозабвения (все это начинает смахивать на каталог духов Кельвина Кляйна); любви как жажды, страсти и желания.

А все прочее – члены, втыкаемые в задницу, сечение хлыстом, обжимание, помешательство на моче и экскрементах, собачьи позы, одежды из пластика и кожи – все это присутствует также и в мире мужчин и женщин, и нечего тут вилять, присутствует в количествах намного *больших*, о чем и свидетельствует статистика. Зайдите в секс-шоп, поройтесь в первой попавшейся порнографии, порыскайте по Интернету, поговорите с человеком, работающим в индустрии секса. Гомосексуальность представляется вам отвратительной? Но из этого следует, так же как ночь следует за днем, что вам представляется отвратительной телесная любовь, поскольку между двумя мужчинами – да и двумя женщинами, если на то пошло, – не происходит, по объективным меркам, ничего, отличного от происходящего между мужчиной и женщиной.

Более того, так и хочется задать всем этим Тони Марлоу,[203] Перегринам Ворстхорнам[204] и Полам Джонсонам[205] вопрос: а сами-то вы такого рода опытом обладаете? Спросите у себя, какие мысли роятся в *вашей* голове, когда вы онанируете. Если сам физический акт и его подробности имеют для вас значение большее, чем любовь, – обратитесь к врачу, но не выплевывайте ваши тошноты в газетные столбцы, это нехорошо, не по-доброму и не по-христиански.

И если лучшее, на что вы способны, это цитировать, отстаивая свои предубеждения, Библию, так проявите смирение и будьте последовательными. Эта же самая книга, в которой

сказано, что мужчина, ложащийся с мужчиной, делает мерзость, [206] призывает вас не есть свинину и моллюсков, не подпускать женщину в пору менструации к святым местам. Функционалисты могут говорить о том, что кошерная диета имела обоснования чисто местные, метеорологические, каковые теперь отсутствуют; что предубеждения, связанные с овуляцией, носили характер суеверия, но ведь Библия, которой вы лупите нас по головам, объявляет нечистым большую часть того, что делаете *вы сами*, – так не выбирайте из богооткровенного текста только то, что вам по душе, а если начинаете выбирать, тогда уж ограничьтесь местами самыми лучшими, ну, скажем, рекомендациями наподобие «кто из вас без греха, первый брось в нее камень» или «возлюби ближнего твоего, как самого себя».

И прошу, делайте что хотите, но не говорите нам, будто то, что делаем мы – в любви или в похоти, – *неестественно*. Поскольку если вы хотите этим сказать, что *животные* так не поступают, то просто-напросто демонстрируете фактическую неосведомленность.

Если вы настолько малоумны, что полагаете, будто человек не является частью природы, или настолько тупы, что верите, будто слово «естественный» означает «всякое естество, помимо человеческого», то мы готовы представить вам обширный список деяний и качеств, которые естественными с совершенной определенностью не являются: милосердие, например, неестественно; альтруизм, забота о представителях других животных видов и любовь к этим представителям неестественны; благотворительность неестественна, добродетель тоже – даже сама *идея* добродетели оказывается неестественной в этом дурацком, бессмысленном значении слова «естественный», вот в чем вся штука. Животные, бедняжки, кушают друг друга, чтобы выжить, – мы, везунчики, проделываем то же самое, однако у нас имеются еще и сухарики, «Арманьяк», *selle d'agneau*,[207] чипсы, *sauce béarnaise*,[208] фруктовые соки, горячие намасленные блины, «Шато Марго», имбирное печенье, *risotto nero*[209] и сэндвичи с арахисовым маслом. К выживанию все это никакого отношения не имеет, зато имеет к удовольствию, вкусовым изыскам и доброму старому обжорству. Животные, бедняжки, совокупляются ради продолжения рода – мы, везунчики, проделываем то же самое, однако у нас имеются еще и соблазнительные одеяния, журнальчики для дрочил, кожаные плети, стриптиз, статуэтки Дега, порнофильмы, Том Финляндский,[210] эскорт-агентства и «Дневники» Анаис Нин. К продолжению рода все это никакого отношения не имеет, зато имеет к удовольствию, вкусовым изыскам и доброй старой похоти. Мы, человеческие существа,

создали во множестве сфер нашей жизни широкий выбор буквальных и метафорических *haute cuisine*[211] и полуфабрикатов; собственно говоря, в наказание за то, что мы вкусили от плодов райского древа, нас и вытурили из Эдема, наградив напоследок двумя ужасными еврейскими напастями – несварением желудка и чувством вины.

Я готов просить прощения за многое из сделанного мною, однако просить прощения за то, что ни в каком прощении не нуждается, не собираюсь. У меня имеется теория, которая в последнее время все вертится и вертится в моей голове, – согласно этой теории большая часть бед нашего глупого и упоительного мира проистекает из того, что мы то и дело извиняемся за то, за что извиняться ничуть не следует, а вот за то, за что следует, извиняться считаем не обязательным.

К примеру, ничто из нижеследующего не является постыдным и требующим извинений, несмотря на наши самоубийственные попытки убедить себя в обратном.

- Обладать прямой кишкой, уретрой, мочевым пузырем и всем, что из этого проистекает.
- Плакать.
- Обнаружить, что нечто или некто, принадлежащие к какому бы то ни было полу, возрасту или животному виду, обладают сексуальной привлекательностью.
- Обнаружить, что нечто или некто, принадлежащие к какому бы то ни было полу, возрасту или животному виду, не обладают сексуальной привлекательностью.
- Засовывать что-либо в рот, в зад или во влагалище на предмет получения удовольствия.
- Мастурбировать столько, сколько душа просит. Или не мастурбировать.
- Сквернословить.
- Проникаться, безотносительно к деторождению, сексуальным влечением к каким-либо объектам, предметам или частям тела.
- Пукать.
- Быть сексуально непривлекательным.
- Любить.
- Глотать разрешенные и не разрешенные законом наркотические средства.
- Принюхиваться к своим и чужим телесным выделениям.
- Ковырять в носу.

Я потратил кучу времени, завязывая на носовом платке

узелки, коим надлежало напоминать мне, что стыдиться во всем этом нечего, если, конечно, практика такого рода не причиняет страданий другим людям – что справедливо и в отношении разговоров о книгах Терри Пратчетта,[212] вождения хороводов, ношения вельветовой одежды и иных безобидных видов человеческой деятельности. Главное – оставаться человеком воспитанным.

Боюсь, однако, что я потратил слишком мало времени, извиняясь или испытывая стыд за то, что действительно требует искренних просьб о прощении и открытого раскаяния, а именно за:

- Неспособность поставить себя на место другого человека.
- Наплевательское отношение к собственной жизни.
- Нечестность по отношению к себе и к другим.
- Пренебрежительное нежелание отвечать на письма и телефонные звонки.
- Неумение связывать те или иные вещи с их происхождением и нежелание думать о таковом.
- Умозаключения, ни на каких фактах не основанные.
- Использование своего влияния на других для достижения собственных целей.
- Причинение боли.

Мне следует просить прощения за вероломство, пренебрежение, обман, жестокость, отсутствие доброты, тщеславие и низость, но *не* за побуждения, внушенные мне моими гениталиями, и уж тем более не за сердечные порывы. Я могу *сожалеть* об этих порывах, горько о них сокрушаться, а по временам ругать их, клясть и посылать к чертовой матери, но извиняться – нет, при условии, что они никому не приносят вреда. Культура, которая требует, чтобы люди просили прощения за то, в чем они не повинны, – вот вам хорошее определение тирании, как я ее понимаю. Мы, англичане, живем, слава богу, не в сталинской России, не в нацистской Германии и не в баптистской Алабаме, однако отсюда не следует, да и никогда не следовало, что мы обитаем в Элизиуме.

Черт подери, что-то я заболтался, вам так не кажется? Не слишком ли много обещает, и в который уж раз, эта леди?[213] Нет, не думаю. Я если и обещаю, то не от себя, но от имени моего четырнадцатилетнего, смятенного «я».

Я знал уже тогда – знал, что я гомосексуалист. Что, собственно, подразумевают под этим словом другие, я

представления не имел ровно никакого: вся эта непоследовательность, сложный кодекс поведения, который позволяет и плотоядно вглядываться в зады хорошеньких мальчиков, и злобно глумиться над пидорами, сбивали меня с толку и злили, однако знанию моему нисколько не препятствовали. Я знал это, и по причинам самым разнообразным. Во-первых, потому, что просто знал, и все тут, но имелась еще и причина негативного рода, осознать которую не составляло ни малейшего труда: никаких шевелений при виде женского тела или при мысли о нем в моих чреслах не наблюдалось, и от этого простого, неотвратимого факта, как и от всего, что он подразумевал, деваться было некуда. Я понимал, что женщины могут мне нравиться, что я могу любить их как друзей, поскольку с малых лет находил общество женщин и девочек необременительным и приятным, однако с не меньшей уверенностью знал и то, что мысль о физической близости с женщиной никогда не взволнует меня и не возбудит, что разделять мою жизнь с женщиной я никогда не буду.

Физически женщины присутствовали в «Аппингеме» в виде двухмерном, в номерах «Форума» и «Пентхауза», стеснительно передававшихся из рук в руки, точно косячок на подростковой вечеринке, и в трехмерном обличье кухонной обслуги и девушек, встречаемых в городе.

Если кто-либо думает, будто такой обстановки довольно, чтобы обратить любого ребенка в гомосексуалиста, так должен сказать, что большинство мальчиков, пребывавших в одном со мной положении (включая моего брата, который и домашнюю-то жизнь вел точно такую же, какую вел я), только о девушках и помышляли – дышали ими, ели их и пили. А одного из моих однокашников, уже описанного мной на этих страницах, того, с которым я вместе заливался краской стыда, попросту исключили из школы за половую связь с кухонной девушкой. Время, проведенное им в «Аппингеме», обратило его в гомосексуалиста в такой же мере, в какой меня могла бы избавить от этой природной черты учеба в средней школе Холланд-Парка или женском колледже «Челтнем». Думаю, можно с уверенностью сказать, что наши обстоятельства сильно затрудняли для некоторых из моих однокашников *общение* с девочками, но я, видите ли, полагаю, что общение с девочками весьма затруднительно для любого подростка, и ни один из моих гетеросексуальных знакомых, учившихся в смешанных государственных школах, никогда ничего другого мне не говорил. Мне случалось подолгу и с сочувствием слушать рассказы многих моих друзей об их личных сложностях (как и им слушать мои

рассказы, если я набирался потребной для этого храбрости), и из всего, что я когда-либо слышал (или читал в чьих-либо автобиографиях), следует, что для гетеросексуалов секс во всех отношениях столь же сложен, труден и томителен, сколь и для геев.

Однако сознавать свою гомосексуальность – это одно дело, а разобраться в значении этого слова (и в том, какое постигается нашей культурой, и в реальном его значении для меня самого) – совсем другое и куда более трудное. Я уже вроде бы говорил, что в то время даже еще и не мастурбировал. У меня не было поддающихся определению и требующих утоления физических или сексуальных аппетитов. Была лишь пустота, боль, голод, пробел, лакуна, хиатус, *нужда*. Вот вам очередной плеоназм…

Помню, еще в приготовительной школе я как-то сидел у постели одного мальчика, играя (так я это тогда воспринимал) с его огромным, вытянувшимся, твердым пенисом. И, вглядываясь в сей феномен, – я могу припомнить ту сцену в мельчайших подробностях – думал: и что теперь? Я знаю, что это весело, знаю, что это значит, знаю, что это часть чего-то важного, но теперь-то что? Я должен *съесть* его? Поцеловать? Попытаться слиться с ним, стать единым целым? Отрезать его и унести в свою кровать? Попробовать засунуть себе в ухо? К чему тут все клонится? Я вовсе не нахожу этот орган привлекательным или красивым, скорее он кажется мне довольно уродливым, однако знаю одно: это *часть чего-то* значительного.

При всех моих громких тирадах, направленных против тех, кто полагает, будто гомосексуальность сводится к мужеложству, считаю необходимым сказать ясно: я вовсе не утверждаю, что гомосексуальность не имеет никакого отношения к сексу, но лишь стараюсь внушить вам, что гомофоба пугает и раззуживает отнюдь не элемент сексуальный.

Так подразумевает ли гомосексуальность телесную связь? О да, еще как. Она подразумевает сексуальную притягательность, стимуляцию, половое возбуждение и в конечном итоге, разумеется, оргазм. Ту т не в чем и сомневаться. В ней присутствует любовь, а любовь, как вы знаете, важнее чего бы то ни было на свете, однако отсюда не следует, что в ней не присутствует и секс, старающийся все упростить. Если бы *ничего*, кроме секса, в ней не было… как просто и весело жили бы гомосексуалы, как просто и весело жили бы гетеросексуалы. Ну что же, в награду за все наши муки и сердечную боль мы получаем хотя бы Шекспира, Толстого, Бетховена и Кола Портера.

Тогда, сидя у кровати, преклонясь, так сказать, перед престолом детородного органа, я понимал – передо мной нечто

такое, что навсегда сохранит для меня значение. Орган этот существовал словно бы *отдельно*, здоровая, толстая, хрящеватая штука, – и бедный ее обладатель желал лишь одного: чтобы я поскорее закончил и дал ему заснуть. Моя телесная или романтическая участь его нисколько не интересовала – но для меня, державшего эту штуку в руках, она была могучим многозначащим символом *и* просто членом, принадлежащим другому мальчику, не более того; сама отдельность ее в сочетании с нетерпеливым вздуванием и моими столь путаными предвкушениями великой важности и весомости подобных сцен для будущей моей жизни делали и все это переживание, и сам член в высшей степени нелепыми, комичными и лишь отчасти пугающими. И я рассмеялся.

4

К началу моего второго года в «Аппингеме» я владел большей, чем когда-либо прежде, информацией о сексе: и уж почти наверняка у меня имелось более ясное представление о терминах и их значениях: куннилингус, уретра, фаллопиевы трубы, эпидидимис, перепих, киска, титька, малафья и клитор – все нужные слова я знал. Но ведь и что такое малая септима, я тоже знал, однако из этого не проистекала способность петь или играть на пианино. Я знал, что такое гугли, и все равно не мог подать крикетный мяч без того, чтобы двадцать один мальчик не рухнул со смеху на землю.[214] Знание – сила, да не всегда.

Эротическая жизнь не занимала меня и не привлекала особого моего внимания еще и потому, что я не был ни физически развитым, ни сексуально сознательным в мере достаточной для того, чтобы «спускать пар из яиц», чем, похоже, занимались другие мальчики, обменивавшиеся «Пентхаусами», соблазнительными картинками, смешками и коробочками «Клинекса». Занятия спортом и как их избежать – вот что по-прежнему оставалось для меня самым важным. Ну и еще – сладости и где их взять. А секс мог и повременить.

И тогда…

И тогда я увидел *его*, и все переменилось на веки вечные.

Небо никогда уже не окрашивалось в прежние тона, луна никогда не принимала прежней формы, воздух никогда не пах, как прежде, и пища навсегда утратила прежний вкус. Каждое известное мне слово сменило значение; все, бывшее некогда надежным и прочным, стало неверным, как дуновение ветерка, а каждое дуновение уплотнилось до того, что его можно было осязать и ощупывать.

Вот здесь-то язык и отстает от музыки на многие мили. Вспомните аккорд, звучащий у Макса Штайнера[215] в «Касабланке» в тот миг, когда Богард замечает в баре Бергман, – как я могу ввести его в книгу, состоящую из черных закорючек на белой бумаге? Взлет и струение «*Liebestod*»[216] в «Тристане», листовская соната си минор… но даже Альфред Брендель[217] не смог бы вытянуть их из *этой* клавиатуры, этого буквенно-цифрового фортепиано, на котором играю сейчас я. Правда, поп-музыке удается порой взять нужную ноту, так что я могу

попытаться составить для вас список обязательных для прослушивания произведений. Мы могли бы начать с «Манкиз»:

Тут я увидел ее лицо и уверовал навсегда.

Не-а… без толку.

Все, что у меня есть, – это затертые слова и равнодушный шрифт.

И потом, это нужно испытать самому. Изведать любовь. С чего, собственно, я впадаю в такую истерику? Да почти каждый фильм, каждая книга, каждое стихотворение и каждая песня рассказывают о любви. Вы же знакомы со всеми этими жанрами, даже если по какому-то случаю (окаянному или счастливому, это я решить даже и не пытаюсь) изведать ее вам так и не удалось.

Стояло первое утро зимнего триместра, самое начало второго моего года в «Аппингеме». После завтрака я, как обычно, отправился в мой кабинет, который теперь делил с Джо Вудом, собрал там нужные для утренних занятий учебники и «блоки». «Блок» представлял собой стопку бумаги особого аппингемского размера – немного короче и квадратнее, чем лист А4, – купить его можно было только в школьном магазине, а все наши сочинения, заметки и прочее полагалось заносить на бумагу, взятую из такого «блока».

Видите ли, рутинная жизнь состоящей из пансионов школы устроена следующим образом. Вас пробуждает утренняя шестерка. Вы завтракаете в своем Доме и отправляетесь в школьную церковь, а затем на утренние занятия и в Дом до обеденного часа не возвращаетесь. Все классные комнаты, научные лаборатории и спортивные залы, церковь, актовый зал и библиотека сосредоточены вокруг главного здания школы. «Эккер» (тьфу!), возвращение в Дом, в его душевые (не позволяйте мне опять заводиться…), затем послеполуденные занятия в школе и еще одно (порою последнее за день) возвращение в Дом – на ужин. После ужина вы получаете недолгое свободное время, затем колокол призывает вас, если вы ученик младшего класса, в столовую, и там, в тишине, которую поддерживает дежурный староста, вы занимаетесь «подготовкой» (то есть выполняете домашние задания). Старшеклассники занимаются «подготовкой» в уединении своих кабинетов. Потом у вас снова появляется свободное время, и вы, если вас не лишили права выхода из Дома (не сомневаюсь, что теперь это называют там на американский манер: «снять с полетов», – знаете, «вас сняли с полетов, мистер»),

можете отправиться в Художественную школу или «Центр Тринга» (названный так в честь обладателя бакенбардов, там есть электрические пишущие машинки, чертежные кабинеты, гончарные мастерские и тому подобное; ныне он заменен возведенным выпускником «Аппингема» архитектором Питером Гофом роскошным комплексом, который поименован, на мой вкус, отчасти манерно – «Центром Леонардо» – и вмещает телестудию, компьютеры и всякого рода занятные игрушки), пойти в театр, послушать концерт, посетить лекцию, поучаствовать в театральной или хоровой репетиции, в репетиции музыкальной группы либо оркестра, заглянуть в шахматный клуб, клуб бриджа, клуб дзюдо, на собрание поэтического кружка или энтомологического общества – в любое, какое придется вам по вкусу, сборище людей, чьи интересы вы разделяете. Затем вы возвращаетесь в Дом – к вечерней молитве, которую читает его директор или «домашний наставник», преподаватель, у которого собственного Дома пока что нет и потому он время от времени замещает директора. Затем, что немаловажно, какао, булочки, печенье и постель, – а назавтра весь цикл повторяется снова. По субботам вечерняя молитва принимает форму богослужения менее формального. По воскресеньям занятия не проводятся, зато вам полагается отсидеть в вашем кабинете два обязательных часа, носящих странноватое название «Воскресные В» – сокращение от «Воскресных Вопросов». Задуманы эти два часа были, вне всяких сомнений, для того, чтобы укрепить в среде школьников религиозность, здравомыслие и внутреннюю духовную чистоту. День, проводимый в Доме, испещрен перекличками – в фильмах про военнопленных они именуются «построениями». Домашний «капитан» зачитывает список учеников, начиная со старших и далее в порядке уменьшения возраста, и каждый ученик, заслышав свое имя, обязан ответить: «Здесь». Та к и лезет на ум вдохновенный скетч Роуэна Аткинсона «Школьный учитель» или жутковатая пьеса Джайлса Купера,[218] положенная в основу фильма с Дэвидом Хеммингсом,[219] – названием ее служат три имени, щие на перекличке последними: «Уитеринг, Эмминг, Юман».

Вот так. Если вам нужны более подробные сведения и вы состоите в приверженцах буддизма, тогда советую прожить жизнь вашу в грехе и пороке и возродиться в середине 1950-х мальчиком английского среднего класса: испытаете все вам потребное на собственной шкуре.

Итак, вернемся к Триместру четвертому, Дню второму.

Я запихал все необходимые для утренних занятий принадлежности в портфель, покинул вместе с Джо Вудом наш

кабинет и зашагал по коридору, который вел к тропинке, которая вела к дороге, которая вела к школе.

На нашем краю школьного городка стояли четыре Дома. Два назывались так: «Бруклэндс» и «Хайфилд». «Бруклэндс» находился от центра «Аппингема» дальше всех прочих Домов – так, собственно говоря, далеко, что у него имелся собственный плавательный бассейн. Напротив моего Дома, «Феркрофта», располагался «Миддл», огромный стадион, о котором я уже рассказывал, а рядом с ним – «Хайфилд», названный так, потому что его построили на вершине холма, к которому примыкало поле. Четвертый Дом стоял ниже по склону того же холма, ближе к городу и школе, и этот Дом мы назовем «Редвудсом».

«Редвудса» не существует.

Между «Хайфилдом» и подножием холма нет никакого Дома.

Я не хочу, чтобы то, о чем рассказывается в этой книге, причинило кому-либо ненужную боль, вызвало стыд или смущение. Все мной написанное будет правдивым в свете моей собственной памяти, однако правду следует рассказывать с тактом и должным пониманием того, что литература обладает нередко лучшей способностью воссоздавать реальность, чем голое перечисление фактов. Некоторые имена, обстановку, стиль и структуру определенных сцен просто приходится беллетризировать. Не думаю, что вам удастся в каждом случае сказать, *какие* это сцены и *какая* обстановка, да я и не хочу, чтобы вы предпринимали такие попытки. Вы забрались со мной вон уже как далеко и должны верить мне, когда я говорю, что хотя я кое-что переиначил, ни преувеличений, ни покушений на сенсационность здесь нет. Если бы я повел себя по-другому, определенные сцены и события школьной жизни, даже старательно завуалированные, позволили бы любому из моих однокашников мигом связать с ними имена и лица, а это было бы до безобразия нечестно. Двое людей, если они прочитают эту книгу, узнают себя, но и увидят: я замаскировал их так, что больше никто их узнать не сможет.

Но хватит уже, Стивен, – переходи к делу.

Сейчас у нас ясный день середины сентября – из тех, что содержат в себе смешанные в равных пропорциях лето и осень; листья деревьев еще не окрасились в октябрьское золото, красноту, желтизну, однако их зелень уже чуть погрубела, она не так ярка, не так кричаще сочна, как в разгар лета. И словно для того чтобы возместить эту утрату, день отказался от августовской дымчатости, сменив ее нежнейшей мягкости светом, да и гниловатые, болотные запахи позднего лета расточились, и

воздух наполнен теперь хрусткой, кристой свежестью.

Часы занятий в школе, естественно, одинаковы для всех, и потому мы, феркрофтцы, выходя на дорогу, вливаемся в поток идущих к школе ребят из «Бруклэндса»; толпа хайфилдцев переходит, чтобы присоединиться к нам, дорогу, поскольку на их стороне тротуар отсутствует, и, пока мы спускаемся с холма, ее переходят и мальчики из «Редвудса», так что наблюдатель, взглянувший в должное время из центра «Аппингема» вниз, под уклон лондонской дороги, увидит целую треть поднимающихся к нему учеников школы: две сотни мальчиков в одинаковых черных куртках, черных брюках, черных туфлях и белых рубашках – все нагружены портфелями, а те несчастные сукины дети, которым предстоят в это утро занятия спортом, еще и рюкзачками. Пообок этой толпы катят на велосипедах Попки, посвистывая или гнусаво выпевая клэпто-новские гитарные фиоритуры; канотье сидят на головах Попок под углом, который, как они полагают, говорит всем и каждому: «Конечно, канотье – это такая обывательская мутотень. Я-то ношу его, сам понимаешь, *с иронией*…» Да, но ведь носишь же. Хоть, знаешь ли, и не обязан.

Я однажды напялил мое старое, еще из «Стаутс-Хилла», канотье и потащился в нем на занятия. Так школьный Подсвинок, которого я встретил дорогой, просто *взъярился:*

– С какой это, на хер, стати ты разгуливаешь в канотье?

– Но это не канотье, Меррик, это соломенная шляпа, от солнца. Я весьма подвержен тепловым ударам.

– Не снимешь его – будешь весьма подвержен ударам по заднице.

Впрочем, этим утром я ни о чем таком не думаю. Просто прилаживаюсь к общему ритму и радуюсь тому, что в школе появился целый выводок новичков и теперь низшими из низших будут уже они. Собственно, мне придется готовить одного из них к испытанию шестерки.

В этом году я буду сдавать экзамен обычного уровня – по всей программе средней школы. Для четырнадцатилетнего мальчишки оно рановато, однако в те дни, если тебя находили способным сдать этот экзамен, ты его сдавал. Еще через два года я сдам экзамен повышенного уровня, в шестнадцать лет выйду из школы, а в семнадцать поступлю в университет – таково предначертанное для меня будущее. Так тогда делались эти вещи. Если школьное начальство считало, что для подготовки к обычному уровню тебе требуется добавочный год, ты попадал в класс, именуемый «подготовительным». В приготовительной школе тоже имелись «подготовительный» и «промежуточный», именовавшийся, собственно, не «промежуточным», а «раковиной». Я состоял в

«раковине» и никак не мог понять, что это слово значит.

Ну и справился на сей счет в Оксфордском словаре.

Господи спаси и помилуй! Век живи – век учись, не так ли?

> {**15. Апсида в Вестминстерской школе, названная так по причине ее раковичной формы. Отсюда – название класса (промежуточного между пятым и шестым), изначально находившегося в «раковине» Вестминстерской школы и, в переносном смысле, для других закрытых школ, классов, промежуточных между теми, которым присвоены порядковые номера; см. цитаты**.
>
> **1736**. *Джентл. Мэг*. VI. 679/2.
>
> Близ этих [классов] мы зрим высокие вогнутые стены.
>
> **1750**. Честерфилд.*Письма,* CCXXVIII.
>
> Присматривайся… чем заняты наилучшие школяры в Классе, который порядком выше твоего, и в следующем за ним, и так далее, пока не окажешься в раковине и сам.
>
> **1825**. Саути.*Жизнь и переписка* (1849), I. 151.
>
> Он доплыл до Раковины, за пределы которой волна никого уже не уносит.
>
> **1857**. Хьюз.*Том Браун,* i. V.
>
> Нижний пятый, раковина и все младшие классы по порядку [в «Регби»].
>
> **1877**. У. П. Леннокс.*Праздн. Я знал*, I. 43.
>
> Шум нарастал и нарастал, пока березу благополучно не внесли в «раковину» – дальний конец комнаты, именуемый так вследствие его формы [Вестминстер].
>
> **1884**. Форшэлл.*Вестм. Шк.*
>
> Глава школы располагался лицом ко всем ученикам за вычетом обитателей Раковины.
>
> **1903**. *Блэкв. Мэг*. 7 июня 42/2.
>
> Третья раковина, класс, располагающийся в непосредственной близости от самого младшего в школе [Харроу].}

Интересуешься? Ну получи.

В «Аппингеме», сколько я помню, никаких «раковин» не имелось.

На самом деле, шагая этим утром рядом с Джо Вудом к школе, я ощущаю довольство собой, поскольку попал на весь год в «старший IV “А” класс». Это скорее удача, чем свидетельство моей блестящей учебы в прошлом году: школа через год на другой присваивала статус «А» то лучшему математическому

классу, то лучшему английскому – это составляло часть «философии» все того же достойного и разностороннего основателя школы. В этом году настал черед английского класса, вот я и оказался в «старшем IV “А”», тогда как всем блестящим математикам пришлось смириться с унижением и довольствоваться званием «старшего IV “Б”».

Можно учиться в лучшем на данный год классе и быть при этом худшим по каким-то предметам учеником. Я был одним из лучших по английской литературе, истории, французскому, латыни и так далее, но худшим по физике, математике и химии. От географии я отказался, предпочтя ей немецкий язык.

Мой классный наставник и преподаватель английского, директор «Мидхерста» Дж. Б. Стоукс, представлялся мне человеком на редкость культурным: ему было свойственно обыкновение наистраннейшим образом использовать повелительно-вопросительную форму будущего условного времени – надеюсь, я ничего с грамматикой не напутал. Иными словами, вместо «заткнись» он говорил: «Не будете ли вы так любезны умолкнуть?», «Не соизволите ли сесть на свое место?»

Чтобы шуршать, спускаясь с холма, палой листвой, время еще не настало, и тем не менее мы с Джо не отрываем глаз от тротуара. Ребенок быстро запоминает каждую трещинку каждого камня, которыми вымощен каждый участок дороги к школе. Интересно, почему мы вообще потупляемся – из нежелания видеть что-либо или из нежелания быть видимыми?

Не знаю, что заставило меня поднять взгляд. Наверное, неясное осознание того, что мальчики из стоящего за дорогой «Редвудса» переходят ее, направляясь к нам, и в результате сейчас начнется добродушная толчея и плотная черная гусеница школьников разрастется – перед тем как повернуть к «Шоколадке», на «Волшебный ковер» и направиться к Капелле, колокола которой уже звонят, призывая нас на утреннюю молитву, – до максимального ее размера.

Он даже не повернул ко мне головы, но я все уже понял.

Как это возможно? Как может быть, что мне хватило, чтобы понять, и понять сразу, одной лишь его походки, осанки, очертаний головы и отвернутого лица?

Кто-то может, спокойно приглядевшись к описанному мной, сказать, что такой красивый, светловолосый затылок привлек бы внимание всякого. Сказать, что любой сообразил бы – перед ним

предстала первоклассная, очень похожая на персик, роскошная пара ягодиц.

А кто-то мог бы добавить в циничных тонах: «Ты говоришь: “я понял”, но вот если бы он обернулся и показал тебе поросячью физиономию с заячьей губой, кривым носом и косыми глазами, – ты бы сейчас это писал?»

Действительно ли, действительно ли я *понял*?

Да, читатель. Могу в этом поклясться.

В миг, когда я оторвал взгляд от мостовой и посмотрел через дорогу, я увидел среди переходящих ее редвудских мальчиков одного, смотревшего в сторону, словно проверяя, не приближается ли машина. И *в этот миг*, еще до того, как я различил его лицо, все и случилось. Мир изменился.

Окажись он уродом, сердце мое, полагаю, упало бы, но мир все равно остался бы другим, поскольку то, что взволновалось и завопило во мне, уже пробудилось, и снова вогнать его в сон никакими силами было нельзя.

Однако уродом он не оказался.

Он оказался прекраснейшим существом, какое я видел в жизни.

Я словно врос в землю, так что в меня врезался мальчик, шедший следом.

– Смотри, куда прешь, сонная тетеря…

– Извини.

Джо терпеливо обернулся и смерил меня присущим лишь ему одному кислым взглядом жертвы запора, взглядом, заслужившим ему прозвище «Вудиииии», произносимое тоном человека, который стенает в уборной, вцепившись в края толчка и силясь извергнуть какашку величиной с Манчестер.

– Ты что-то забыл? – спросил он.

Должно быть, он решил, что я вспомнил о каком-то забытом мной в кабинете совершенно необходимом учебнике, потому и остановился. Щеки у меня горели, я понимал, что мое лицо заливает самая алая, какую только можно вообразить, краска. Каким-то образом мне хватило присутствия духа, чтобы промямлить: «Шнурки» – и, нагнувшись, начать их перевязывать. Я надеялся, что, когда я распрямлюсь, красноту моего лица можно будет объяснить тем, что при завязывании шнурков голова у меня свисала вниз, – прием, который использует каждый покрасневший человек и который никого одурачить не способен.

Впрочем, я довольно быстро опомнился и тут же устремился в дальнейший путь. *Я должен был* снова увидеть это лицо.

Он только-только достиг тротуара и теперь коротко и быстро оглянулся на холм – в нашу сторону. Глаза его с моими не

встретились, но я увидел, что он еще красивее, чем я полагал. Я и не представлял себе никогда, что можно представить себе представимой подобную красоту. Красоту, которая заставила меня осознать, что прежде я истинной красоты не знал вовсе – ни в людях, ни в природе, ни в звуках, ни во вкусе еды.

Для многих жителей Норфолка понятие «большой город» воплощается Нориджем.

– Я заглянул как-то в Норидж, – говорят они, – мне не понравилось. По мне, так и Суоф-фем достаточно велик.

А уж на что похожи Лондон, Лос-Анджелес или Манхэттен, им остается только догадываться.

В тот миг я понял, что побывал всего лишь в городишках с названиями «чарующий», «хорошенький», «привлекательный», «миловидный», «приятный», «прелестный», «симпатичный» и «славный», а вот теперь пересек наконец городскую черту Красоты. И мгновенно уяснил, что такое Красота, почему греки и Китс поднимали вокруг нее столько шума.

Точно так же, как художник показывает вам какую-то вещь с полностью новой для вас стороны, – как Матисс, к примеру, может показать вам в яблоке некое качество, которого вы прежде не замечали и которое будете отныне различать в любом подвернувшемся вам яблоке, – так и я отныне буду способен видеть красоту, настоящую красоту, во всем, что меня окружает. До этого мгновения я мог находить какой-то частный восход солнца или горный склон ошеломительным либо прелестным, впредь я буду способным видеть в них красоту. Беспримесную красоту.

– Что за херня с тобой творится? – пропыхтел Джо, старавшийся не отстать от меня.

От дивного видения меня отделяли теперь человека три. Я увидел – роста он ниже среднего. На нем была та же школьная форма, что и на всех нас, но преображенная им, как преображался даже воздух, который его окружал.

– Мы же не хотим опоздать, так? – ответил я.

– Ну совсем, на хер, с катушек съехал, – проскрипел Джо.

Если б я только смог услышать *голос*, если бы смог оказаться с ним рядом и хоть мельком увидеть профиль.

Однако увидел я шедшего прямо передо мной Модсли, шестиклассника и регбиста из «Феркрофта», – он подпихнул локтем соседа и произнес громким до невыносимости голосом:

– Ты видишь этого, а? Чтоб я сдох. Охереть можно! – И он помахал правой ладонью, словно обжег ее чем-то. – Эх, добраться бы до этой кормы…

Сердце мое полетело вниз, кровь загудела в ушах.

– *Теперь-то* что? – Джо был человеком терпеливым настолько, насколько это вообще возможно, но ведь всякое терпение имеет пределы. А я опять почти остановился.

– Ничего, прости… ничего. Извини, просто я… ничего.

Невыносимо, *невыносимо* было думать, что человекообразный примат вроде Модсли будет хотя бы *смотреть* на него. Я сразу же понял, в один-единственный миг взбаламутившей душу муки, что сыщутся и другие, другие, которых сразит это существо, это видение, эта немыслимость. Они поведут себя грубее, чем я, очевиднее, их побуждения будут более низменными, и уж конечно, *дважды конечно*, они окажутся более привлекательными. Куда более привлекательными, куда более ловкими, куда более грациозными, куда более соблазнительными во всем, что касается положения в школе и общей приманчивости. Они ухватят мое священное пламя и загасят его шлепками плотных желтых тампонов их грязной дерзости, густоволосая, склизкая похоть их обратит это пламя в шипящее ничто. Ужасно. Они видят перед собою лишь Секс, я знал это. А я – я видел перед собой Красоту.

«Спокойнее, Стивен, спокойнее, – говорите вы. – Мы знаем, что ты гомосексуалист. И знаем также – поскольку, чего уж грехато таить, ты сам не раз и не два тыкал нас в это носом, – что ты не отрицаешь ни секса, ни собственных сексуальных побуждений. Ну так и не пытайся водить нас за нос с этим твоим “священным пламенем” или с какой-то там чистой беспримесной любовью, напрочь лишенной эротических обертонов».

Я говорю вам о том, что чувства, которые обуревали меня, *были* – какими бы мучительно предсказуемыми, жеманными, бесплодными и бесплотными они ни казались – *моими* чувствами, возникшими за время, меньшее, чем требуется свету, чтобы пролететь расстояние в один ярд. Однако готов сказать и другое, положив руку на сердце и не скрещивая пальцев. При том, что мне, как и всякому мальчику, вскоре предстояло обратиться в полного энтузиазма, пыла и преданности своему делу онаниста, *он* ни разу, ни единого разу не становился предметом моих мастурбационных фантазий. Я множество раз пытался включить его в какой-нибудь эпизод, который ставил в воображении для эротического фильма категории XXXX, и неизменно случалось, что некая часть моего сознания не допускала его в актерский состав, потому что его появление в вульгарном порнофильме, который раскручивался на экране моего мозга, произвело бы впечатление вылитого на зрителя галлона холодной воды. Секс *должен* входить в состав нашей жизни, однако *этот мальчик* фуражом дрочилы не был никогда, никогда.

Джо Вуд, человек инстинкта и здравого смысла, сознавал, что со мной произошло нечто неладное, но сознавал также, что происшедшее связано с моим внутренним миром и непонятно мне самому, а потому и не стал сетовать на мое поведение, просто шел рядом со мной, отделяемым от богооткровения теперь уже четырьмя мальчиками.

Всей толпой мы повернули налево и пошли по «Шоколадке», вверх по ее ступеням, – и я отметил изящество, полностью для меня новое, с которым он выкидывал вперед правую ногу, и увидел, как Модсли снова пихнул локтем соседа, и услышал сопроводившее этот пинок «Уууууммм…» Кеннета Коннора. Мы миновали стоявший справа от нас старый викторианский учебный корпус и стоявшую слева библиотеку и зашагали по отливающим блеском булыжникам «Волшебного ковра», извивавшегося подобно коричневатой реке по полю грязно-розового асфальта до самой колоннады. Церковный колокол бил в моей голове все громче и громче, и мне начинало казаться, что она того и гляди взорвется.

Я *должен* увидеть, где он оставит портфель. Хотя бы это увидеть я должен.

Парадный вход Капеллы представлял собой миниатюрное подобие «Мемориала Линкольна», что в Вашингтоне, округ Колумбия: Эдвард Тринг сурово восседал на суровом троне, украшенный сурово изваянными из белого мрамора чудовищными патерналистскими бакенбардами, и всякий проходивший мимо него мальчик понимал, что преподобный Эдвард смотрит ему прямо в душу и увиденное нисколько не одобряет. Пройдя мимо него, мы устремились к колоннаде. С двух сторон она оставалась открытой, а на двух других, закрытых сторонах висели, подрагивая на ветру, извещения, афиши и объявления, прикрепленные к зеленому сукну латунными канцелярскими кнопками. Первой шла директорская доска с ее крошечными афористичными меморандумами, а следом мельтешили печатные или написанные от руки объявления, извещавшие о днях полевых военных учений («нижеперечисленным надлежит собраться в 15.25…»), особых спортивных соревнованиях: «Кандидаты во Вторую регбийную сборную против потенциальных кандидатов в Третью» (наверняка заранее договорятся…) и призывающие вступать в новый, еще даже и не основанный «Клуб спелеологов»: «Обращаться к Эндрюсу, Дж. Г. (М)» – вся та мелочная суета, которую Фрай, С. Дж. (Ф) находил невыносимо скучной. Что касалось меня, весь смысл колоннады сводился в этот день к тому, чтобы оставить в ней перед вступлением в Капеллу свой портфель и увидеть, где *он*

оставит *свой*.

Замечательное зрелище открывалось здесь всякому, кто опаздывал к утренней молитве, – колоннада, в которой нет ни единой души, зато есть шестьсот портфелей и сотня рюкзачков, наваленных у подножий колонн или прислоненных к ее внутренним стенам.

То, что он новенький, просто *бросалось* в глаза. Достаточно было увидеть его приглядывающимся к другим школьникам в стараниях понять, как здесь полагается оставлять портфели. Он подыскал место для своего, новехонького, из темно-коричневой кожи. И я вдруг проникся отвращением к моему, черному. Я-то думал, что черный портфель – это клево, но теперь понял – мне необходим коричневый. Надо будет попросить родителей, чтобы подарили мне такой на Рождество.

– Но, милый, твой же совсем еще новый! И он стоил *таких* денег!

Ладно, родителей я как-нибудь уломаю. А сейчас мне нужно поставить мою черную уродину рядом с его коричневым красавцем. Некоторые ученики украшают портфели своими инициалами – одни классно выжигают их на коже, другие наклеивают буквы из пошлой золотой фольги.

Когда я приблизился, он еще стоял у своего портфеля, но смотрел вбок, на толпу школьников, подходивших к капелле с другой стороны. Боже милостивый, неужели его лицо будет вечно отвернуто от меня? Я плюхнул мой портфель рядом с его и вздохнул, шумно, но весело, словно говоря: «Ну вот. Пошло-поехало. Новый триместр. Эхе-хе! Пропади оно все пропадом!»

Он обернулся.

Он обернулся, чтобы взглянуть на *меня*.

– Извини…

Голос, который… он еще не сломался, но в нем присутствовала хрипотца, оберегавшая его от детской писклявости. Если он поет, то альтом.

– Нужна какая-то помощь? – Я обнаружил, что произношу эти слова тоном таким веселым, дружеским, чарующим, спокойным и успокоительным, каким никто еще и никогда их не произносил.

И я впервые взглянул ему в глаза. Они были синими, не светло-синими, потемнее. Не сапфирово-темными и не слишком яркими. Они были романтически синими. Лирически синими. Они словно переливались через края глазниц, и я тонул в них.

– Никак не пойму, – сказал он, – где тут Западный блок.

Ну конечно, первый день. Его первый день и первый день моей жизни.

– Оглянись назад, – сказал я, дивясь спокойствию своего

голоса, силе и уверенности его звучания. – Представь себе Колдиц. Представь Лубянку. Вон он, прошу любить, Западный блок. У тебя там уроки? Сразу после капеллы?

Я увидел, как спадают сзади его волосы, почти до воротника, как загибаются их кончики – одни внутрь, другие наружу, – и в уме моем мелькнул образ средневекового мальчика-короля. Под ними льнул к впадине загривка мысок перекрещивающихся волос посветлее.

«О, Иисус, помоги мне, – мысленно прохрипел я. – Помоги мне, Иисусе Христе».

Он обернулся и снова взглянул на меня. Да, роста он был ниже среднего. Невысокий, но не *хрупкий*.

– А входить надо вон в ту дверь, так? – Какую сладкую, сладкую, как жженый сахар, хрипотцу порождает его горло.

Помоги мне не плюхнуться в обморок, молил я. И, посмотрев, куда он указывает, кивнул. Одно только то, как он поднял руку, заставило нечто, замурованное во мне, рвануться и забиться в груди, просясь на свободу.

– У кого урок? – спросил я.

– У Финча. Дж. С. Финч, так?

– Ух ты! Немецкий или французский?

– Французский.

– Угу, а я у него немецкий учу. Тебе повезло – вот все, что я могу сказать…

– Какой он?

Я видел, как в глазах его медленно поплыло облачко сомнения и страха, и отметил, с радостью, большей всех радостей, что моя улыбка рассеяла это облачко.

– Да ничего, он в порядке. Орет, вопит, ругается, но в порядке. Ты ведь из «Редвудса», верно?

– Откуда ты знаешь?

В быстроте и прямоте этого вопроса проступил намек *едва ли* не на дерзость. Спрашивая о чем-либо старших, новенькие обычно экают, мекают и просят прощения. Но меня его живость обрадовала. В ней не было развязности. Только… прямота. Один человек задает вопрос другому человеку. Ему захотелось узнать, откуда я знаю. Вот он и спросил.

Я повел головой в сторону его рюкзачка, по темно-синей, как того требовали правила, ткани которого шли тускло-красные, цвета давленой клубники, полоски.

– Цвета твоего Дома, – сказал я и, переведя взгляд много дальше, прибавил: – Видишь то здание? С желтыми трубами? Это «Феркрофт», в котором…

Кто-то с силой хлопнул меня по спине:

– Фрай, сатанинское ты отродье, тебе известно, что нас с тобой включили в один латинский класс?

Ганн из «Скул-Хауса»: почитает себя за интеллектуала и остроумца. Я презирал его всей душой, так человек не переносит тех, кто слишком похож на него, – ему в их обществе неуютно.

– Но я считал, что попаду в класс *лучших*! – с поддельным ужасом воскликнул я. – Кто же это меня к малоумкам сослал?

Черт! *Он* услышит этот дурацкий выпад да дурацким его и сочтет. А меня сочтет заносчивым наглецом. Я слегка полуповернулся к нему, но он уже ушел. Я повернулся полностью и успел увидеть, как он сворачивает за угол, направляясь к задней двери Капеллы.

– Так мы, выходит, влюбились? И откуда же *оно* взялось?

– Кто – оно?

– О господи, Фрай, – с ухмылкой омерзительного превосходства ответил Ганн. – Для такого прекрасного лжеца ты врешь на редкость неубедительно.

В Капелле мы рассаживались по Домам. Место, которое занимал тот или иной Дом, в каждом триместре менялось. В *этом* «Феркрофт» располагался на задах, а «Редвудс» впереди. Я уселся между Джо и Ричардом Фосеттом и начал обшаривать взглядом далекие затылки, отыскивая *его*. Он сидел между двумя мальчиками – шатеном и таким же блондином, как он. Оба были немного выше его. Но я все равно узнал бы его. Даже если б сейчас я увидел этот затылок впервые, в двадцати рядах от меня, – эту золотую головку, уменьшенную расстоянием до размеров шестипенсовика, – я бы ее узнал.

Да, но как же его *зовут*? Господи, как мне выяснить его имя? А если у него с именем что-то *не так*? Вдруг он носит имя совсем заурядное, наподобие Ричард, или Саймон, или Марк, или Роберт, или Найджел? Как это было бы скучно! Если же его зовут Нэйлом, или Кеннетом, или Джеффри – смогу ли я это вынести? И что, если он, да поможет ему Господь, зовется *Стивеном*? Собственное имя я всегда *ненавидел*. Впоследствии я и смирился, и взбодрился, потому что его дал своему герою Джеймс Джойс и потому что такое же носили Стивен Теннант[220] и Стивен Спендер,[221] однако в то время считал его глупым, лишенным всякого стиля, именем, которое может принадлежать только *мальчишке*, да и мальчишке-то ничуть не интересному.

А ведь он может носить и имя банальное, из тех, что вызывают ухмылку, заставляют считать человека пустым местом. Он может оказаться Рупертом, Джулианом, Криспином, Тимом или, оборони Боже, *Майлзом, Джайлсом*, а то и *Пирсом*.

Я перебрал имена, которые готов был стерпеть. Бен – почти

хорошо, равно как Чарльз, Томас, Джеймс или Уильям.

Джонатан? Хм… Джонатан – ничего, хоть уже и у самой границы терпимого. Натан – тут, пожалуй, небольшой перебор. Даниэль и Сэмюэль меня бы устроили, равно как Питер, Кристофер и Джордж, а вот Пол ни в какие ворота не лезет.

С Фрэнсисом невозможно смириться и на секунду, а Фредерик – просто-напросто слишком глупо, чтобы о нем говорить.

Родерик, Александер или Хью, пожалуй, сойдут, если, конечно, он шотландец. Дональд не интересен, Хэмиш – это немного слишком, а Йен попросту ужасен.

Дэвид? Что же, приемлемо, решил я. С Дэвидом жить можно.

Но опять-таки, как указывал еще Берти Вустер, у крестильной купели временами творится черт знает что – вдруг его родителям моча ударила в голову и они выбрали Хилари, Вивиана или Ивлина?

А может, у него имелся богатый дядюшка, к которому следовало подольститься, и бедолага, войдя в сознательный возраст, обнаружил, что его окрестили Эвереттом, Уорвиком, Хэдлеем или Понтоном?

И ведь были еще Грэмы, Норманы и Родни. Невозможное дело.

Джастин, Дэмиэн и Тристрам. Нет! Тысячу раз нет.

С другой стороны, когда солнечный свет пролился сквозь окно и осветил его волосы – ослепительно, так что все остальные мальчики исчезли из виду, – мне подумалось, что он способен преобразить любое имя, сделать его священным, так же, как преобразил и освятил свою школьную форму, портфель, рюкзачок. Да окажись он хоть Деннисом, или Терри, или Невиллом, или Кейтом, имена эти каким-то образом возвысятся над обыденностью. Может, он даже с Гэвином сумеет что-нибудь сделать.

Служба пронеслась в туманной мути таких размышлений, потом мы спели школьный гимн, предназначенный для первого утра триместра:

Ряд за рядом мы снова встаем,
Собравшись со всех концов света.

При исполнении первой строки всю школу внезапно поражала приятная картавость, так что мы, вставая гад за гадом, начали в предписанном порядке выбираться наружу, и, когда я отыскал свой портфель, он уже ушел, ушел в Западный блок, навстречу опасностям Финча и французского языка. Когда я снова

увижу его? И как я смог бы свидеться с ним на срок, дольший нескольких мимолетных секунд?

Вам, может быть, невдомек, насколько затруднено было в то время любое подлинное общение между мальчиками разных лет, состоящими *в одном и том же Доме*. А уж дружба мальчиков из *разных Домов*… в общем, живи он на Луне, хуже не стало бы.

Я со вздохом окинул взглядом Западный блок и окна классной комнаты Финча, подобрал мой кошмарный, кошмарный черный портфель и отправился на сдвоенный урок английского.

> *As flies to wanton boys are we to the gods;*
> *They undo us for their sport.*[222]

С таким неслыханным остроумием переврал я в то утро цитату. Стоуксу хватило снисходительности, чтобы улыбнуться и сказать, что я обратил шекспировскую ритмику черт знает во что. Я не без ядовитости заявил, что оригинал весьма далек от ритмического совершенства. И высказал мнение, что Шекспиру не хватило храбрости написать

> *As* flies *to* wan*ton* boys *are* we *to* God;
> *He* kills *us* for *his* sport.[223]

На это Стоукс совершенно справедливо ответил, что, переведя Бога в единственное число, Шекспир не только нажил бы неприятности с цензурой, но и разрушил бы как языческую атмосферу пьесы, так и весь ход мысли Глостера, не говоря уж о несоответствии единственного «Бога» множественным людям, – или я предпочел бы, чтобы Шекспир написал очевидную несуразность:

> *As flies to* a *wanton boy are we to God*[224] —

мне этого хочется?

Я снизошел до признания, что старина Шекспир, возможно, все-таки дело свое знал, и урок пошел дальше, а я получил возможность погрузиться в размышления.

Куда он отправится на утренней перемене? В Верхний буфет или в Нижний? Может, кто-нибудь расскажет ему о фантастических пирожных «Наполеон», которые можно получить у Ланчберри?

И я направился туда и, войдя в буфет, обозрел все

светловолосые головы.

Судьба бывает доброй к влюбленным – на свой жестокий, небрежный манер. Что до богов, так люди для них действительно мухи. Они наставляют на нас увеличительные стекла, хохочут, когда солнечные лучи, собравшись в точку, сжигают нас так, что мы лопаемся; они топчут нас, давят, бьют и собирают в баночки, чтобы скормить своим любимым рептилиям.

Я увидел его сходящим по ступеням, которые вели в Нижний буфет. Он разговаривал с мальчиком из своего Дома. С мальчиком, которого я знал! С Ником Осборном, мы с ним состояли в одной группе немецкого языка, мне он всегда казался занудой, однако сегодня я мгновенно решил, что он – мой лучший друг.

Я тоже стал проталкиваться вниз, не глядя, кого толкаю, не слыша ругательств, не ощущая пинков и тычков, которые получал в ответ.

– Осборн! – крикнул я.

Он обернулся. Они обернулись *оба*.

– О, Фрай, – сказал Осборн. – Это мой брат, – прибавил он, с ленцой указав на мое божество.

Его брат. Его *брат*! Его-брат-его-брат-его-брат.

– Привет, – сказал я небрежно, но вежливо, как человек, которому кто-то из друзей представляет ничего не значащего младшего брата. – А, ну да, – продолжал я. – Это ведь ты отправился нынче утром на урок к Финчу?

Он смущенно улыбнулся и кивнул, – похоже, довольный тем, что я запомнил его, одного из столь многих.

– Вот-вот, *Финч*, – подхватил Ник, – я как раз говорил Мэтью, чтобы он не обращал на Финча внимания.

Стало быть, *Мэтью*.

Мэтью Осборн. М. О. Мой Обожаемый, Мой Один-навсегда, Мой Ослепительный, Магический Объект.

Мэтью. Разумеется, Мэтью, так я и знал. Кем же еще он мог быть? Смешно даже думать, что его могли звать иначе. Мэтью. И всегда был Мэтью.

– Ну, в общем, так, – продолжал Ник. – Это Нижний буфет. Нам полагается держаться этой стороны. За перегородку заходят только ученики пятых и шестых классов. Пока, Фрай, – бросил он через плечо и начал протискиваться с братом сквозь толпу учеников.

Какой шаг вперед – и как быстро.

Брат Ника Осборна.

Хорошо. Перегруппировались. Думаем. *Думай*, дружок, думай.

Что нам нравится в Нике Осборне?

Не многое. Он умен. Это мы готовы признать. Но спортивен. Очень и очень спортивен. А мы спортсменов не любим.

Чем он увлекается? Как мне с ним подружиться? С Ником я поближе сойтись могу, это пожалуйста, он одних со мной лет, да к тому же и не очень красив, и, значит, судачить на наш счет никто не станет.

Постой. Но как же они могут быть *братьями*?

Ростом Ник примерно с меня – да еще и бреется, пусть даже раз в неделю. У него темные, немного сальные волосы. Не урод, далеко не урод, но разве могут они происходить от одних и тех же родителей?

Впрочем, нет, что-то в них *такое* присутствует, в облике, в выражении лиц, в манере слегка наклонять, оборачиваясь, голову. Общей для них обоих. И глаза у Ника тоже синие, пусть в них и отсутствует ляпис-лазурь. Обычные синие глаза.

После полудня, на уроке немецкого, я нарочно устроился рядом с Ником и принялся его окучивать. А вернувшись после ленча в «Феркрофт», в мой кабинет, посидел и подумал. От спортивных занятий я был, благодарение астме, чудотворно и триумфально избавлен самое малое на неделю: после сильного приступа этой болезни, случившегося под конец августа, сразу вслед за тем, как мне исполнилось четырнадцать лет, домашний наш доктор снабдил меня козырем – не допускавшей двоякого истолкования запиской.

Я достал из письменного стола «блок» и стал записывать то, что знал наверняка.

Его зовут Мэтью. Мэтью Осборн. Он из «Редвудса», как и его брат.

Мэтью Осборн (Р).

С промежуточным инициалом разберемся позже. Осборн М. Дж.? Нет, брат зовется Осборн, Н. Ч. Р., стало быть, и у Мэтью, скорее всего, два промежуточных имени. Осборн, М. П. А.? Мэтью Питер Александер, к примеру? Вполне возможно. Осборн, М. С-Дж. Г.? Мэтью Сент-Джон Георг. Тоже может быть.

Самое главное – выяснить *почему*. Почему он сделал со мной то, что сделал? Я записал этот вопрос.

И *что*.

Что *именно* он со мной сделал? Этот вопрос я записал тоже.

И *как*.

Как он сделал то, что сделал со мной? Я начал записывать

это и вдруг сообразил, что у меня получается подобие текста для песенки. Не так чтобы очень возвышенно. «Как ты делаешь то, что ты сделал со мной…» Банально. Не делай этого, не делай. Это я перечеркнул. Перечеркнул все, смял лист бумаги, разодрал его в мелкие клочья и начал заново.

В «Лжеце» я рассказал обо всем случившемся коротко и насмешливо, вот так:

> В Хьюго Александра Тимоти Картрайта он влюбился с первого взгляда, когда этот мальчик в первый же вечер второго школьного года Адриана медленно вплыл вместе с пятью другими новичками в сумрачный актовый зал.
>
> Хейдон-Бейли подтолкнул Адриана локтем:
>
> – Ну, что скажешь, Хили? Роскошь, а?
>
> В кои-то веки Адриан промолчал. Случилось нечто ужасно неправильное.
>
> Два мучительных триместра потребовалось ему, чтобы разобраться в симптомах. Он выискивал их по всем основным руководствам. Сомнений не было. Все до единого авторитеты твердили одно – Шекспир, Теннисон, Овидий, Китс, Джорджетт Хейер, Мильтон, – все держались единого мнения. Это была любовь. Большая Любовь.
>
> Картрайт с его сапфировыми глазами и золотистыми волосами, с его губами и гладкими членами: он был Лаурой Петрарки, Люсидасом Мильтона, Лесбией Катулла, Халламом Теннисона, светлым мальчиком и смуглой леди Шекспира, лунным Эндимионом. Картрайт был гонораром Гарбо, Национальной галерей, он был целлофаном: ласковой ловушкой, пустой и нечестивой нежданностью всего происшедшего и яркой золотистой дымкой в лугах; он был сладким-сладким, медовым-медовым, живым-живым чириканьем птенца, новорожденной любовью Адриана – и голос горлицы несся над землей, и ангелы обедали в «Ритце», и соловей разливался на Баркли-сквер.
>
> Два триместра назад Адриану удалось заманить Картрайта в уборную пансиона, где они провели занимательные полчаса, да Адриан, собственно, и не сомневался никогда, что сможет стянуть с Картрайта штаны: дело было не в этом. Он хотел от Картрайта чего-то большего, чем несколько судорог удовольствия, которые могли предложить скудноватые по-тирания и облизывания, подбрасывания и сжатия.

> Он не очень хорошо понимал, чего жаждет, но одно знал точно. Любить, алкать вечной привязанности – все это менее приемлемо, чем дергаться, сопеть и захлебываться где-нибудь за кортами для игры в файвз. Любовь была постыдной тайной Адриана, секс – предметом его открытой гордости.

Написать это почти двадцать лет спустя было не так уж и трудно, и все же, составляя эти слова – семь лет назад, в 1990-м, – я поеживался, ощущая вину за мою теперешнюю надменность, за небрежную умудренность, за то, как хорошо я знаю себя прежнего, остроту моих чувств и глубину смятения.

«Два мучительных триместра потребовалось ему» – что ж, полагаю, этим пяти словам присуща достойная честность и краткость. Вот где *никаким* плеоназмом и не пахнет. В вековом искусстве кино существует один такой избитый вопрос: какую самую дорогую для постановки сцену можно описать наименьшим количеством слов? Насколько мне известно, победителем, вошедшим в действительно существовавший сценарий, все еще остается следующее:

Два флота сближаются.

«Два мучительных триместра» – это, вероятно, мое равноценное достижение в области экономии эмоциональных средств.

Сознанию моему, работающему с мучительной медлительностью, когда возникает необходимость уяснить некую сокровенную правду или разобраться в том, что я ощущаю, потребовалось немалое время, чтобы освоиться с чувством, охватившим меня в единый миг.

Я влюбился. Замечательно. Хорошее, пригодное для употребления слово. Допускающее понимание и перевод на другой язык. Взгляды, которыми под аккомпанемент струнных вечно обмениваются на экране снятые немного не в фокусе мужчина и женщина, и вправду не лишены смысла. Это мне усвоить по силам.

И я записал в тот первый день:

Я люблю Мэтью Осборна.

Я инстинктивно сознавал: это означает, что все изменилось.

Написать

Я люблю Мэтью Осборна -

это совсем не то же, что написать

Я люблю Париж

или

Я люблю пиццу.

И потому я добавил:

Все изменилось.

И все-таки, зная, что «все изменилось», я не понимал еще, что *все* – все, что существует на свете, – действительно, истинно, подлинно и положительно *изменилось* – стало иным, другим, и это уже необратимо.

В конце концов, расписание занятий осталось прежним: все тот же немецкий в четыре и математика в четыре пятьдесят, та же военная подготовка по пятницам, вечернее богослужение по субботам, все те же «Воскресные В». Этим вечером мы с Джо собирались прикинуть, как нам украсить наш кабинет, – и ничего тут не изменилось. Плац за окном остался все тем же плацем. Пластинки на моей полке – теми же пластинками.

Я смял и этот листок бумаги и стал смотреть в окно.

5

Не помню, честное слово, не помню, действительно ли события, о которых я собираюсь рассказать, произошли в тот же самый день, в который я увидел Мэтью Осборна. Мое воображение говорит: в тот же, значит, так тому и быть.

Я встал, вышел из кабинета и, пройдя через Дом, оказался в гардеробной.

У нас в «Феркрофте» тоже были красивые мальчики. Я подошел к шкафчику самого красивого, открыл дверцу, тронул тылом ладони висевшую внутри куртку и услышал звон монет.

И украл их.

Украл их все, покинул Дом, дошел до музыкальной школы и там продирижировал любимой моей увертюрой Россини – да так, как никогда еще не дирижировал прежде. Не к «Вильгельму Теллю», не к «Севильскому цирюльнику», но к «Сороке-воровке», и знаете что? – до той минуты смысл этого названия как-то ускользал от меня. Я знал увертюру так хорошо, что слова, ее обозначавшие, утратили для меня какое-либо значение. «Сорока-воровка». Тут все кажется прилаженным одно к одному, упорядоченным и очевидным, совершенно как в романе, и тем не менее это чистой воды Божья правда. Или Дьяволова. Возможно, так мне и следовало бы озаглавить эту книгу. «Сорока-воровка»… или, уж если на то пошло, «Дьяволова правда чистой воды».

Вот и сейчас я поставил ее – «*La Gazza Ladra*», так она называется на этом диске, – слушаю музыку, попрыгиваю в кресле, набирая эти слова, и вижу в ней то, что увидел тогда, и слышу то, что услышал. У Россини солнце выпрастывается из туч таким счастливым рывком, что на какое-то время ничто не кажется больше дурным – даже краденые деньги, которые звякают и звякают в твоем кармане, когда ты повелеваешь вступить группе деревянных и медных духовых, хлеща, как эпилептик, руками по воздуху в твоей *hysterica passio*,[225] судорожно и аритмично вздергиваясь и ныряя вперед, – даже тяжкий груз народившегося в тебе нового знания о том, что детство твое в этот день закончилось и в состав твой вошло нечто новое, способное навсегда лишить тебя разума.

С того дня это стало образом жизни. Я и всегда-то был «скверным мальчишкой» – и открыто, и наедине с собой. Скверным в смысле «настырности» и «злоязычия», стремления выпендриваться перед другими, проскочить те несколько лишних ярдов, что отделяют тебя от неприятностей и наказания, и «скверным» в том, что касается потаенной испорченности. Однако

с того дня мне стало на все наплевать. Просто-напросто наплевать. Если обозначить мое поведение в первый год как чистилище, то теперь оно обратилось в ад.

Иногда это делало меня популярным, иногда ненавидимым. Я потратил первый год на старания поточнее определить установленные племенным сводом мальчишечьих законов границы дозволенного. И научился намного тоньше чувствовать ту черту, переходя которую ты рискуешь впасть в немилость, научился намного лучше держаться на спине брыкливого мустанга популярности.

Некоторые мои шуточки срабатывали превосходно, и меня возносила над одногодками пенистая волна восхищения и славы. Думаю, справедливым будет сказать, что в первый год учебы я очень быстро стал самым известным мальчиком моего набора. Не самым любимым или вызывающим наибольший восторг, но самым узнаваемым и порождающим больше всего кривотолков.

Одним из великих моих подвигов было «дело Бруэра», принесшее мне немало хлопков по спине и веселых поздравлений.

Книжным магазином школы «Аппингем», где мы покупали «блоки» и письменные принадлежности, а также учебники, сборники прозы и стихов – в общем, все то, чем торгуют обычные книжные магазины, заправлял мистер Бруэр, человек отчасти суматошный. Большая часть приобретений совершалась с помощью «бланка заказа», листка бумаги, который следовало подписывать после ленча у директора своего Дома, санкционировавшего таким образом покупку, а в конце триместра родителям ученика высылался счет за все его приобретения. Типичный бланк заказа выглядел примерно так:

Бланк заказа школы «Аппингем»

Имя ..... Дом .....

6 блоков
1 пузырек чернил (темно-синих)
1 пузырек чернил (зеленых)
1 точилка для карандашей

Подпись ..... Утверждаю .....

В поле, как выразились бы ныне мы, привыкшие к

компьютерному жаргону, «Подпись» расписывался ты сам, в поле «Утверждаю» должны были стоять инициалы директора.

– *Зеленые*, Фрай?

– Да, сэр, для сочинений по английской литературе. Думаю, это сообщит им особую элегантность.

– О господи. Ну ладно.

Естественно, я быстро научился воспроизводить торопливо выводимые Фроуди «Дж. Ч. Ф.» и в тех редких случаях, когда в мои вороватые руки попадала стопка чистых бланков заказа, погружался в оргию безумного приобретательства.

Так вот, что-то в мистере Бруэре, в его суетливости и недоверчивости вызывало отчаянное желание затравить и задразнить его до беспамятства.

Первый мой план состоял в том, чтобы извести Бруэра телефонными звонками. Бог знает как, но я обнаружил, что в те дни импульсной телефонии, еще до появления цифровых телефонных станций и тонального набора, можно было набирать номер, ударяя в телеграфной манере по рычажку аппарата: десять ударов давали ноль, девять – девятку и так далее, следовало только выдерживать недолгую паузу между цифрами. Освоив правильный ритм, вы могли позвонить из телефона-автомата по 350466 и разговаривать, не заплатив ни единого пенни. По сравнению с тем, что творят нынешние телефонные воры и хакеры, это выглядит детской забавой, однако удовольствие такая забава доставляла немалое.

В торговом центре города, прямо напротив выходивших на Хай-стрит витрин книжного магазина, стояла красная телефонная будка, и это означало, что мы могли позвонить Бруэру и увидеть, как кто-то из продавцов подзывает его к телефону.

– На проводе мистер Бруэр?

– Да.

– Вы бы лучше слезли с него, по нему сейчас ток пустят.

Начало, по правде сказать, не бог весть какое, однако мы совершенствовались.

– Мистер Бруэр? Вас беспокоят из издательства «Пингвин», нам нужно, чтобы вы подтвердили ваш заказ четырех тысяч экземпляров «Любовника леди Чаттерлей».

– Что? Нет-нет. Это все мальчишки! Я ничего не заказывал. Отмените его! Отмените!

– Понятно. А десять тысяч экземпляров «Последнего поворота на Бруклин»?

Хи-хи.

Можно было также избрать тон отрывистый и эксцентричный – он лучше всего срабатывал, когда Бруэр снимал трубку сам.

– Книжный магазин школы «Аппингем».

– Да?

– Книжный магазин школы «Аппингем».

– А что вам нужно?

– Прошу прощения?

– Чем мы можем вам помочь?

– Это книжный магазин школы «Аппингем».

– Это вы уже говорили, нужно-то вам что?

– Вы же сами мне позвонили.

– Ничего подобного.

– Тогда какой номер вам нужен?

– Мне никакой номер не нужен. Все, что мне нужно, это спокойно жить дальше и чтобы всякие там книжные магазины школы «Аппингем», кем бы они ни были, ко мне не лезли. К вашему сведению, телефонное хулиганство у нас карается законом.

– Но это же вы мне позвонили!

– Послушайте, если вы не освободите линию, я пожалуюсь в полицию. Епископ ожидает очень важного звонка от одной из своих жен.

– А, так это мальчишка, вот оно что!

– Епископ вам не мальчишка, милостивый государь!

– Да я же вас в окно вижу! На всех докладную подам!

Как-то раз мы с Джо Вудом зашли в аптеку «Бутс». Я собирался купить анисового масла и спрыснуть им отвороты моих брюк, дабы проверить теорию Дживса, согласно которой за мной должны будут увязываться все встречные собаки (ничего подобного, кстати, они только гавкали и рычали), и вдруг увидел в соседнем проходе между полками Бруэра. Нас с Джо он не заметил, и в моей голове родилась идея.

– Да нет, это же проще простого, – произнес я негромким якобы шепотом из тех, что заставляют всех вокруг навострить уши. – Бруэр подслеповат, он вообще никогда ничего не замечает.

Джо ответил мне обычным своим натужным, «запорным» взглядом, однако он был достаточно сообразителен и достаточно хорошо меня знал, чтобы понять: я что-то затеял. По тому, какая глухая тишина воцарилась в соседнем проходе, мне стало ясно: Бруэр замер и внимательно вслушивается.

– Значит, приходишь туда с рюкзачком, вроде бы набитым, с парой старых парусиновых туфель поверх всего остального, идешь в книжный отдел и напихиваешь в рюкзак столько книг, сколько в него влезет. Потом опять кладешь сверху туфли, забрасываешь рюкзак на плечо, выходишь из отдела и покупаешь какой-нибудь карандаш. Бруэр никогда ничего не замечает. Я у

него из-под носа буквально *сотни* книг увел. Ладно, если ты здесь закончил, давай заглянем в буфет.

Я переговорил с несколькими приятелями, и на следующее утро мы всемером явились в книжный магазин и с нарочитой небрежностью прошли в книжный отдел, который располагался на своего рода платформе, приподнятой над всем остальным помещением. Там мы, все как один, упали у разных полок на колени и начали перебирать книги, время от времени воровато озираясь и зарываясь в рюкзаки – из них то и дело вываливались на пол спортивные туфли, которые мы торопливо запихивали назад.

Затем мы, с рюкзаками на плечах, спустились вниз и направились к сидевшей за кассой девице. Ей мы предъявили бланки заказа, дозволявшие каждому из нас приобрести по одному карандашу (HB), при этом каждый нервически сглатывал.

Тут-то на нас и налетел, точно коршун, мистер Бруэр, который, как стало ясно, трогательнейшим образом прятался под прилавком. Этого оказалось довольно, чтобы один из нас преждевременно прыснул – мне пришлось быстро лягнуть его по голени, дабы он затих.

– Минуточку, джентльмены! – произнес Бруэр.

Взгляды, полные ошеломленной невинности и удивления.

– Да, мистер Бруэр?

– Вы все. Будьте любезны выложить на прилавок содержимое ваших рюкзаков.

– Право же, мистер Бруэр…

– Делайте, что вам велено! – проскрежетал он. – По одному. Начнем, я думаю, с мистера Фрая. Да. Начнем с вас, мистер Фрай.

Я покорно пожал плечами и перевернул рюкзак, плотно сжав его с двух боков, так что из него только спортивные туфли на прилавок и вывалились.

– Все содержимое! – теперь уже с ноткой триумфа в голосе приказал Бруэр.

– Все? – нервно повторил я.

– Все!

– Ну, если вы настаиваете, мистер Бруэр…

– Да, я настаиваю, мистер Фрай!

Я затряс рюкзаком, и из него вывалились:

- 6 очень грязных спортивных трусов на завязках.
- Около семидесяти мармеладок, мятных подушечек, разного рода лакричных конфеток и леденцов – в ассортименте.
- 12 разломанных печеньиц из тех, что улучшают

пищеварение.

• 4 наилучших «Наполеона» от мистера Ланчберри (трехдневной давности).

• 200 разнообразнейших грузил для ужения рыбы и пулек от духового пистолета.

• Карандашные очистки.

• 1 протекающая бутылочка лечебного шампуня «Восин».

• 1 новехонький экземпляр «Сыновей и любовников» (с предусмотрительно вложенным в него чеком магазина «У. Г. Смит»).

• 1 пачка сигарет «Королевское посольство» и коробок спичек.

Нам всем очень трудно было не повалиться от хохота кучей на пол, однако мы ухитрились сохранить на лицах выражения честные и серьезные.

– Уберите эту дрянь с моего прилавка, – взвизгнул, хватаясь за «Сыновей и любовников», Бруэр, однако остальные мальчики уже добавляли к моей куче собственные приношения, включая презервативы (которые благодаря искусному добавлению в них резинового клея и зубной пасты приобрели пугающий вид уже использованных, да еще и с бешеной страстью), куски рыбы, заплесневелый сыр, осклизлую горстку бараньих почек и многое, многое, многое другое.

– Прекратите, прекратите! – вскрикивал Бруэр.

– Но, мистер Бруэр, вы же *сказали*…

– Вы сами сказали, мистер Бруэр!

– Мы все слышали.

– Господи, ребята, вы на часы посмотрите! – панически воскликнул я. – Того и гляди колокол ударит. Мы к вам на большой перемене заглянем, мистер Бруэр. Лоренса я заберу, он мне понадобится на уроке, а из остального берите себе все, что понравится, не стесняйтесь. Да, и еще мне понадобятся вот эти трусы, *со временем*. Но не скоро, так что пока можете их поносить.

И мы, не внимая его протестующим воплям, выскочили из магазина. Особенно радовали меня возможности оставленного мной мистеру Бруэру маленького проблеска надежды – пачки сигарет и коробка спичек. Пачку я наполнил слизнями, а в коробке сидел десяток пауков.

Вот такими примерно были мои невинные тринадцатилетние забавы на первом году учебы. Жизнь была прекрасна – меня признали за своего такие ребята нашего Дома, как Рик Кармайкл, Март Суинделлс и Роджер Итон, я дружил с Ричардом Фосеттом и

Джо Вудом. Моему брату Роджеру тогда еще не приходилось краснеть за меня. Он еще мог жить на свой кроткий манер, никому не желая зла.

Еще одним старшим мальчиком нашего Дома, приязненно ко мне относившимся, был Пол Уиттом, из которого били, как пар из вулкана, картины, рисунки, сюрреалистические рок-оперы и стихи, – к тому же он великолепно играл и на контрабасе, и в регби. Пол счел меня достаточно интересным, чтобы включить в состав музыкальной группы, которую он создал вместе с саксофонистом из «Бруклэндса» и Риком Кармайклом, бывшим, ко всему прочему, превосходным пианистом. Мы исполняли джазовые стандарты Джека Тигардена,[226] номера «Бонзо» – «Поиски тигров в Индии» и «Веселая ферма» – и такую классику, как «Рок круглые сутки» и «Кресло-качалка» Хоуги Кармайкла.[227] Моя роль сводилась к исполнению соло на трубе в «Кресле-качалке», что я и делал, бешено раскачиваясь и надувая щеки, на манер Диззи Гиллеспи. А тем временем за моей спиной поднимался занавес, являя взглядам публики настоящего трубача, мальчика по имени Сэм Раддер, стоявшего, почти не шевелясь, и игравшего с мирным спокойствием. Если не считать этого фокуса, мое присутствие в группе не оправдывалось, сколько я помню, ничем – ну разве что нечастым любительским бренчанием на пианино в те минуты, когда Рик играл на гитаре или пел. Думаю, я просто околачивал в их компании груши – забавы ради. Выступали мы не без успеха, нас даже пригласили дать концерт в закрытой школе Оукема, находившейся в шести-семи милях от нашей. Выйдя из «Аппингема», Пол Уиттом исполнил данное им Фроуди обещание – почти мгновенно стал миллионером. Поначалу он торговал с лотка картошкой на магистрали А1, но очень скоро обратился в Короля картофеля и картофельной торговли. Картофельное свое дело он продал и теперь управляет едва ли не самым преуспевающим отелем и рестораном Восточной Англии. Время от времени я хожу с ним и его женой под парусом, а несколько лет назад он оказал мне честь, попросив открыть новое крыло его гостиницы – «Хост Армз» в Бернем-Маркет. Если бы я не указал здесь для вашего сведения название и адрес его заведения, он бы мне этого никогда не простил, ибо во всем, что касается дела, Пол нагл и бесстыден настолько, что любо-дорого смотреть. Да и как бы еще мог человек стать миллионером в двадцать два года? Ну а кроме того, я в долгу перед ним, принявшим меня, музыкального бездаря, в свою группу.

Еще одна моя встреча с шоу-бизнесом состоялась, когда Ричард Фосетт и я надумали показать несколько скетчей на

«Домашнем обеде», который давался в «Феркрофте» под Рождество, в конце триместра, – шестиклассники являлись на него в смокингах и пили вино, все прочие дергали за хвостики хлопушки и принимали участие в небольшом концерте, составлявшемся из музыкальных номеров, песенок и скетчей.

Мы с Ричардом переписали сценку Бенни Хилла, в которой викарий дает интервью, не подозревая о том, что у него расстегнута и даже распахнута ширинка. Ричард изображал викария («Я предпочитаю держать мой храм открытым для публики»), а я интервьюера («Вижу, сэр, вижу»). Репетировали мы до упаду и страшно удивились, когда на генеральной услышали донесшийся из-за опустившегося занавеса голос нашего директора, Фроуди, кричавшего: «Без штанов, без штанов!»

Мы переглянулись, совершенно неспособные понять смысл этого замечания (я не понимаю его и по сей день).

Занавес рывком поднялся – Фроуди стоял в зале, сложив за спиной руки.

– Нет-нет, – повторил он. – Вы либо в штанах, либо без штанов. А такие намеки нам ни к чему.

Нам пришлось уйти и наспех состряпать что-то другое.

Пострадали от цензуры и Рик Кармайкл с Мартином Суинделлом, и потому той же полночью в нашей спальне состоялась демонстрация «запрещенных материалов». Мы с Ричардом показали наш скетч про викария, а Рик и Март – диалог, в котором обыгрывалась речь Короля из «Генриха V», произнесенная им в день Святого Криспина и содержащая соблазнительное упоминание о «дворянах», прикусывающих язык в кровати.

К этому времени меня и Ричарда Фосетта обуяло такое увлечение комедией, что мы даже написали на Би-би-си, где как раз тогда затевалась новая серия передач под названием «Открытая дверь» – первопроходец того, что теперь обратилось в гнетуще заурядную программу «Доступ к экрану». «Открытая дверь» создавалась, чтобы предоставить людям, страдающим дислексией, жертвам несправедливости, группам взаимопомощи и так далее возможность рассказать о своих бедах, однако мы с Ричардом истолковали ее цели неверно и решили, что нам выпал шанс Выступить По Телику и Прославиться.

В отправленном нами письме мы напыщенно демонстрировали свой высокий интеллектуальный уровень. С появлением «Монти Пайтон», отмечали мы, комедия вступила в период модернизма. Распадется ли она, подобно другим видам искусства, на две разновидности, абстрактную и концептуальную? Как можно было бы сформулировать самую суть «новой

комедии»? Ну и так далее. Мы планировали показать развитие комедии за последние двадцать лет, сравнив его с развитием музыки, живописи и литературы. Не грозит ли комедии, если она останется соотносимой только с самой собой, опасность задохнуться в собственной заднице? – спрашивали мы. Смешно, я понимаю, но такими уж мы тогда были.

По крайней мере, благодаря этому письму нас пригласили для беседы на Лайм-Гроу.[228] Ничего из той беседы не проистекло, однако визитную карточку продюсера, с которым мы разговаривали, я храню до сих пор. Впоследствии, когда началась работа Канала-4, Майк Болланд стал главным составителем его программ; в те дни он был, надо полагать, младшим из младших сотрудников, обремененным малоприятной обязанностью шугать психопатов, которые лезли в «Открытую дверь». Я время от времени встречаюсь с ним, но мне так никогда и не хватило духу напомнить ему о двух учениках закрытой школы, претенциозно балабонивших о комедии и идеях.

Боюсь, нам придется ненадолго вернуться к сексу (пока я это пишу, подходит к концу «Национальная неделя знаний о сексе», которая, надеюсь, подтолкнет Британию к спокойному разговору о нем и рассеет мглу запретов, чувства вины и страданий, окружающую эту тему, – задача, в выполнение коей и я, как мне кажется, внес свой скромный вклад).

Меня благополучнейшим образом совратили и лишили невинности под конец моего первого школьного года. Следует сказать, что физически привлекательным я себя не считал. И тому имелись три причины:

1. Я был, что называется, «не моего типа».
2. Я не был физически привлекательным.
3. Ну и хватит.

Тем не менее я понимаю, что в чьих-то глазах я мог обладать качествами, к сексапильности достаточно близкими. Смазливым мальчиком я не был никогда (довольно взглянуть на включенные в эту книгу фотографии), но, поскольку с половым развитием у меня случилась небольшая задержка, я сочетал в себе сложную смесь осведомленности, вызывающе совратительной искушенности и аппетитной неиспорченности, способную от случая к случаю увлекать воображение.

Как-то раз, в день, когда я исполнял обычные шестерочьи обязанности, меня призвал в свой кабинет домашний Попка, рыжий шестиклассник по имени Оливер Деруэнт.

– Закрой дверь, – сказал он.

Я подчинился, прикидывая, что я такого успел натворить на сей раз.

– Ты в карты играешь? – спросил Деруэнт.

– Э-э, да. Да. Пожалуй, играю.

Вопрос застал меня врасплох. Может быть, Деруэнт надумал учредить в Доме бридж-клуб? Впрочем, мое дело не гадать, мое дело – смирно стоять посреди ковра и ждать дальнейших указаний.

– Мне просто скучно стало, – с ленцой сообщил Деруэнт. – Вот я и подумал: может, в картишки с кем перекинуться.

Ту т же выяснилось, что единственная игра, в которой Деруэнт знает толк, это покер с раздеванием, – ну мы и стали играть в покер с раздеванием.

– Дверь лучше запереть, – сказал Деруэнт.

– Так точно, – ответил я.

Вы, наверное, думаете сейчас: «Здрасьте! Если этот Деруэнт умел играть в покер *с раздеванием*, так умел и в *обычный* покер играть». Мне такая мысль в голову не пришла. У нас просто не принято было задавать вопросы старшеклассникам. Они лучше знали, что к чему.

Мы присели на ковер, Деруэнт сдал карты. Спустя совсем недолгое время я оказался голее голого, а на Деруэнте остались одни трусы. Я застенчиво поджимал ноги, скрывая то немногое, что имел скрывать, мне было малость не по себе.

– Фрай, – произнес Деруэнт и покраснел – так неистово, как умеют краснеть только рыжеволосые мальчики, – можно мне ощутить твое тело?

Именно так и сказал: «Можно мне ощутить твое тело?» В общем-то, довольно мило.

– Э-э… ладно, – ответил я.

И он принялся ощущать мое тело. Я возбудился, как возбуждался в «Стаутс-Хилле» в обществе Халфорда и прочих. По вздутию на трусах Деруэнта мне было ясно, что и он возбудился тоже.

Затем он произнес длинную, путаную речь о том, как ему не хватает здесь, в «Аппингеме», девушек, и о том, что я, с моей гладкой кожей, в сущности, очень похож на девушку. Может быть, я не буду против, если он займется со мной любовью?

О том, что означает это словосочетание, я никакого понятия не имел, однако звучало оно симпатично, и я ответил, что, по-моему, идея вполне разумная.

И тут кто-то постучал в дверь.

– Деруэнт!

– Минутку!

Я вскочил и лихорадочно завозился с одеждой. Дверная ручка задребезжала.

– Ха! Дрочит! – послышалось из-за двери.

Деруэнт склонился ко мне, приложил к моему уху сложенные чашкой ладони.

– Лезь в окно! – жарко шепнул он. – Через десять минут встретимся в «Нужниках».

Я кивнул, слегка перепуганный, уже отчасти утративший уверенность в том, что мне так уж понравится заниматься любовью, вылез в окно и нырнул в ближайшие кусты.

Одевшись, но все еще продолжая лязгать зубами, я направился к «Нужникам» – череде заброшенных викторианских уборных, стоявших на задах Дома.

Через восемь минут появился и Деруэнт с тюбиком – увы, из песни слова не выкинешь – вазелина и мрачной решимостью довести начатое до конца.

Из самого этого переживания я помню очень немногое. Помню, что мне пришлось наклониться, помню, что я держался руками за щиколотки. Помню легкую боль, громкое сопение Деруэнта и скользкую влагу, живо скользнувшую снутри моих ляжек, как только я распрямился. Я натянул штаны, обернулся – Деруэнта уже не было рядом, и когда мы потом встречались с ним в Доме, то встречались как люди совершенно посторонние, о происшедшем не упоминали, приятельства не демонстрировали – да ничего такого друг от друга и не ожидали.

Я был бы и рад сказать вам, что Оливер Деруэнт стал ныне нашим послом в Вашингтоне или председателем совета директоров Ай-си-ай, однако о том, где он и что он, я ни малейшего представления не имею. Последнее, что я о нем слышал, – он обзавелся детьми и работает в одном из государств Персидского залива. Я не держу на него зла, не считаю, что он нанес мне какой-то вред. Он не обратил меня в педераста, не пустил по скользкой дорожке – и, стало быть, ни в чем, что касается меня, не повинен.

К тому же все это произошло ДМО, до Мэтью Осборна, а ПМО обратило все события ДМО в пустую бессмыслицу.

ПМО я, как уже было сказано, словно сорвался с цепи. Дошел до крайности во всех моих проявлениях, внешних и внутренних. Что касается внешних, я стал необузданным в моих шуточках и диких выходках, что до внутренних – начал воровать все чаще и чаще.

В то время единственным моим спасением, единственным осмысленным действием стало чтение. Именно тогда я начал читать Дугласа, Фербанка и Форстера. Именно тогда открыл для

себя романы и автобиографии, отражавшие и смуту моих чувств, и положение, в котором я очутился, – порою настолько точно, что я то торжествовал, ощущая себя оправданным и утвержденным великими мастерами, то сокрушался, думая, что я не более чем живое клише, – «Фланелевое фуфло» Т. К. Уорсли;[229] «Сепаратный мир» Джона Ноуэлса;[230] «Сэндел» Ангуса Стюарта; «Отвергнутых Господом» Майкла Кэмпбелла; «Бегство из теней» Робина Моэма;[231] «Автобиографию англичанина», автор которой обозначил себя как «Y»; «Мир, плоть и я» Майкла Дэвидсона (со знаменитой первой строкой: «Это история жизни человека, который любит мальчиков»); «Четвертое июня» Дэвида Бенедикта; «Особые отношения» Роджера Пейрфитта[232] и многие, многие другие, приведшие меня, в свой черед, к пресловутому Двенадцатому тому «Греческой антологии»; к «В поисках Корво» А. Дж. А. Симонса[233] (полное издание с приложением пользующихся столь дурной славой «Венецианских писем» барона Корво[234]); романам Саймона Рейвна[235] (по счастью, тогда еще издававшимся во множестве); сочинениям Жана Жене,[236] Оскара Уайльда, Эдварда Карпентера[237] и адептов «Уранийской школы»; к живописи Эйкинса[238] и Тьюка[239] и уйме чудесных, сиропно-сентиментальных историй о школьной любви, сочиненных до и после Первой мировой войны, таких, как «Холм», «Дэвид Блэйз», «Джереми в Крэйле» и «Отблеск юности» Алека Во.[240]

Вот так, с краденными деньгами в кармане и одним лишь Мэтью на уме, я и проводил вечера – либо в библиотеке, либо в Музыкальной школе, подвывая Бетховену и Россини.

Нижний буфет находился на середине пути от ступенек, которые шли вниз, от «Волшебного ковра» к Музыкальной школе, и я, покинув библиотеку записей, поднимался по ним навстречу спускавшимся мальчикам – волосы их были еще влажны после душа, лица румяны от телесных усилий. Поднимаясь, я старался не встречаться с ними глазами. Мои взгляды предназначались лишь для миссис Ланчберри, разбивавшей яйцо за яйцом над чаном кипящего масла, пока я сжимал в кулаке деньги, уворованные у миловидных, спортивных мальчиков, и, конечно, для Мэтью, если и он попадался мне навстречу. Однако я узнал о Мэтью нечто ужасное:

Он был здоровым мальчиком.

Мало того,

Он был хорошим спортсменом.

На самом-то деле *блестящим*. Ему прочили великое будущее. Надо полагать, в деле мы его толком еще и не видели. Считаете его хорошим хоккеистом? Дождитесь летнего триместра, увидите, каков он на крикетном поле. Просто подождите и увидите – так говорил его брат.

Крикетный герой в «Аппингеме» уже имелся – Джонатан Агнью, он играл потом за Лестершир и Англию, а ныне ведет, выступая под фамилией Аггерс, комментарий – остроумно и без (пока что) самолюбования и издевок – в программе Би-би-си «Международные матчи».

Началось ли мое воровство по-настоящему именно в день, когда я впервые увидел Мэтью Осборна, я, как уже было отмечено, с уверенностью сказать не могу, и все же одно с другим, несомненно, связано. Влюбленность здесь извинением служить не может, поскольку, как вы уже знаете, воровал я далеко не впервые. Однако теперь я словно попал в объятия демона. Это занятие обрело черты пристрастия, неотвратимости, мщения. Мщения красоте, порядку, здоровью, благопристойности, нормальности, всему общепринятому и любви. Сказать, что я пал жертвой этих преступных человеческих качеств, что я наказывал сам себя, было бы, пожалуй, нечестно. Существовали, надо полагать, десятки и десятки мальчиков, чьи жизни были на время испорчены и исковерканы внезапным исчезновением их денег. Кража способна взъярить и самую христианскую, самую миролюбивую душу. Вспомните к тому же о старой как мир жалобе насчет того, что жертва воровства кажется себе осквернённой, замаранной, запятнанной чужим вторжением в ее жизнь: быть может, в этом-то все дело и было – куда бы я, сражающийся на манер хассановского антигероя с «проблемами отчужденности и общности, искренности и имитации, честолюбия и молчаливого согласия», ни вторгался, я повсюду оставлял грязный след, что-то вроде капель мочи, метящих мою территорию или отменяющих границы чужой.

Да-да-да – ты был вороватым маленьким дрочилой, мы все уже поняли, сделали необходимые выводы, большое тебе спасибо.

Собственно, и внешнее поведение мое, общее социальное поведение обратилось, о чем я уже говорил, черт знает во что. Бедный старый Ронни Раттер, преподававший мне французский язык. Работать в школе он начал в семнадцать лет, сразу после Первой мировой, и был таким мягким, таким сговорчивым, таким, попросту говоря, милым человеком, что его даже директором Дома не сделали. Во время Второй мировой он в

течение одного триместра возглавлял «Мидхерст», что и стало высочайшим его карьерным взлетом. Я «доставал» его, как это называлось на школьном жаргоне, столь основательно, столь всесторонне, столь *унизительно*, что и сейчас пунцовею, вспоминая этот мой кардинальный грех. Как-то раз я вскочил в классе на стол и, размахивая воздушным пистолетом (из тех, что стреляют дробинами, но походят – на взгляд человека несведущего – на смертоносное автоматическое оружие), завопил: «Вы меня достали! Достали, понятно? Одно движение – и вы покойники! Вы *все* покойники!» Однокашники мои до смерти перепугались, а Ронни постарался сделать все, чтобы меня успокоить:

– Будьте добры, положите ваше оружие на стол. Нам нужно пройти сегодня *очень* большой материал.

В другой раз я соорудил письмо якобы от «подруги по переписке» из Франции, напичкав его всеми грязными, похабными французскими словечками, какие я только знал или сумел отыскать. В конце урока я подошел к Ронни и спросил, не поможет ли он мне разобрать это письмо, мне, дескать, понятны не все содержащиеся в нем слова.

– Очень приятно услышать, что у вас появилась во Франции корреспондентка, Фрай, – сказал Ронни. И принялся переводить мне письмо, заменяя непристойности невинными фразами собственной выделки, старательно притворяясь, будто он держит в руках самое обычное письмо. «Я хочу сосать твой большой толстый хер» обратилось в «Я жду столь многого от посещения вашей страны», а «Лижи мою мокрую писю, пока из нее не польет струей» в «В Авиньоне можно увидеть и сделать так много интересного» – и так далее, по всему тексту.

В направленном им под конец триместра письме к моим родителям он описал меня, если не ошибаюсь, словами «одарен с избытком». «Временами несколько чрезмерным, что не идет ему на пользу». Никакого тебе «дурного влияния», «гнилого яблочка» и «слишком высокого мнения о себе», коими пестрели письма других учителей. Он приглашал меня к себе на домашнее чаепитие с его супругой. У меня ком в горле встает, когда я вспоминаю о мягкости Ронни, о его абсолютной доброте.

И ведь у него *не опускались руки*. Мы говорим иногда, глядя на школьных учителей сверху вниз, что после десяти лет работы они превращаются либо в циников, отрабатывающих положенные часы, либо в чудаков не от мира сего. Ронни не стал ни циником, ни сентименталистом и каждому своему уроку отдавался целиком. В том, что касается дисциплины на уроке, поведение, быть может, совершенно бессмысленное, однако я не знаю ни

одной другой жизни, о которой можно с меньшими основаниями сказать, что сложилась она неудачно.

В «Случае Портного»[241] (книге, которую я прочитал с алчностью и весельем, очаровавшись смелостью сцен мастурбации в ванной) есть такое место:

> …общество не только одобряет низменное, бесчестное отношение людей друг к другу, оно еще и подстрекает к нему… Соперничество, конкуренция, зависть, подозрительность – система вскармливает все, что есть в природе человека злостного. Имущество, деньги, собственность – по таким недостоверным меркам вы, люди, оцениваете счастье и успех.

Да, конечно, не бог весть какая новость, однако и Евангелия тоже не новы, тем не менее в них содержатся мысли, которые не грех повторять и повторять. Только дурак отмахивается от мысли на том основании, что он ее уже слышал.

«Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть», – полагал Чехов. Возможно, Ронни пытался показать мне, каков я есть. И делал это куда более умело, чем многие из прочих учителей, норовивших *растолковать* мне, каков я есть, что далеко не одно и то же. В конечном счете меня начало мутить после каждого урока французского у Ронни Раттера, я стал ощущать приливы тошноты, в которых быстро распознал отвращение к себе. И спустя какое-то время отступился и принялся с ярым лицемерием противиться любым попыткам «достать» Ронни. Кого угодно другого – пожалуйста, с ними все идет на равных, но Ронни заслуживает особого к себе отношения.

А может быть, Ронни *видел*, вот в чем все дело. Может быть, она просто была написана у меня на лице – мука любви, которую мне приходилось сносить.

Ну вот, уже второй триместр года. Я познакомился с Мэтью немного поближе, отчасти потому, что сошелся с Ником, отчасти потому, что следовал наущениям невостребованной любви, которая с замечательным мастерством обучает человека искусству случайных встреч.

Когда любишь, весь распорядок твоего дня подстраивается к перемещениям любимого человека. Расписание Мэтью я знал наизусть. Знал, в каких местах он, скорее всего, появится. Знал, в каких матчах будет участвовать (его уже включили в первую крикетную сборную новичков), знал, в какие клубы и общества он вступил, – и вступил в них тоже. Знал, какую он любит музыку, знал, когда он, по всем вероятиям, заглянет в «Центр Тринга», а

когда, по ним же, останется в своем Доме.

И с каждым днем он становился все более и более прекрасным. Он еще продолжал восходить по пологому склону к пику совершенства. И никогда никаких прыщей, сальных волос, неуклюжести. Что ни день, он обретал все новую грацию, продвигаясь к окончательной завершенности своей красоты.

Я был искусен, бог ты мой, как же я был искусен. Мэтью и на десять секунд не смог бы вообразить, будто я питаю к нему хоть какое-то влечение, не смог бы вывести это ни из наших бесконечных случайных встреч, ни из совпадения наших взаимных увлечений. *Неудовольствия* при виде его я никогда не выказывал, однако и удовольствия тоже. Я относился к нему с добродушным интересом и…

я развлекал его.

Сколько в этом было радости…

Он находил меня занятным.

К тому же Мэтью, подобно Элизабет Беннет,[242] страх как любил посмеяться. Он был одарен. Прекрасно играл на пианино, был одним из лучших спортсменов школы и достойным учеником. Не помню, какую степень получил он впоследствии в Кембридже, но либо первую, либо 2:1, – не говоря уж о том неизбежном обстоятельстве, что он состоял сразу в трех университетских сборных. Однако во всем, что касается слов, Мэтью был зауряден. Он не блистал ни красноречием, ни стилем, ни остроумием, ни какой-либо легкостью в обращении со словами. А поскольку я представлялся ему владеющим всем этим, он считал меня человеком необычайным и, когда мне того хотелось, а хотелось мне часто, покатывался со смеху – котенок, играющий с клубком сплетенных мной слов. Главное было не переборщить… я довольно быстро усвоил, что ему, как и любому котенку, игра может внезапно прискучить, он может вдруг счесть ее поверхностной и недостойной его. И нередко, ощутив возможное приближение этого мига, я бросал веселье, все еще остававшееся на приятно высокой ноте, покачивал головой и изрекал несколько глубоких мыслей о разочарованности, о гневе, который внушает мне несправедливая политика и преступная тупость «этого места», как все мы ворчливо именовали школу.

Помню, как-то раз я сидел в «Центре Тринга», перепечатывая

на большой электрической пишущей машинке роман П. Г. Вудхауса. «Замороженные активы», – по-моему, его. Для меня это было занятием многоважным, мне нравилось само ощущение печатания, нравилось смотреть, как подскакивают и бьют по бумаге шрифтовые ножки, как на ней появляются волшебно четкие слова, нравилось следить за тем, как возрастает скорость и точность моей работы, и, Господи, я просто купался в восторгах соучеников, которые собирались вокруг меня, завороженно следя за тем, как мои пальцы порхают по клавиатуре, на которую я даже и не гляжу. Нынешнее поколение, с пеленок умеющее молотить по компьютерной клавиатуре, сочло бы меня безобразно медлительным, однако в те дни сноровка по части машинописи почиталась достижением щегольским и завидным.

В тот февральский вечер я был один в комнате, отведенной под пишущие и копировальные машины.

Как он вошел, я не слышал, однако за долю секунды до того, как Мэтью кашлянул, собираясь что-то сказать, я ощутил его присутствие – и позже убедил себя в том, что понял: это *он*, еще не услышав его голоса.

– Что ты делаешь?

Едва прозвучал этот вопрос, как огромная волна омыла меня и словно сотни иголок впились в мои щеки (и сейчас со мной, вспомнившим это, произошло то же самое). И что-то сказало мне – он расстроен.

– Это ты, Маттео?

«Маттео» прозвал его *я*, это было *моим* изобретением. «Оззи Второй», ставшее для всей школы «Оззитором», мне не нравилось. Обретение персонального прозвища, пусть даже небрежного и едва ли не снисходительного, – достижение почетное и значительное, а умение дать хорошую кличку есть важнейшее оружие любого романтического совратителя. Я выяснил, что средний его инициал (в отличие от брата, у него имелся только один) это А или, если угодно, Э – Антони, Энтони, кому как больше нравится. Сначала я подумывал о том, чтобы назвать его Мао, как того самого Председателя, однако это представлялось мне слишком очевидным. И тут мне пришло в голову, что Мэтт Э. О. звучит почти как итальянский вариант имени Мэтью, и он обратился в Маттео – для меня и только для меня одного. И после, услышав, как он одернул своего одногодку Мэдли-Орна, посмевшего назвать его этим именем, я целую неделю ног под собой не чуял от радости.

– Меня зовут *не* Маттео, – с горячностью заявил тогда он.

– Фрай же тебя так называет.

– Мало ли как Фрай кого называет, ты-то тут при чем? Если

на то пошло, тебя он называет Медальоном.

Собственно говоря, причина, по которой я проводил вечера понедельников в «Центре Тринга», была такой: я знал, что по понедельникам Мэтью работает в гончарной мастерской. Присоединиться к нему там я даже не пытался, поскольку испортил отношения с гончарным начальством еще в первый мой триместр, ухитрившись для начала сжечь один из моторчиков, приводивших в движение гончарные круги, а затем, на следующей неделе, сломать глиномялку. Глиномялка, если кто не знает, это что-то вроде гончарной мясорубки. Наверху у нее воронка, вы бросаете туда оставшуюся не у дел и просто старую глину, продавливаете ее особым рычажком вниз, и с другого конца машинки выползает чистая, однородная глина – либо этакой толстой колбаской, либо, если вы пристроили на выходное отверстие какой-то шаблон или красящее устройство, более тонкими, извивающимися змейками, которые можно использовать для изготовления витых кувшинов, ваз и горшков, каковые и по сей день производятся в количествах прямо-таки убойных – к великому огорчению и недовольству всех заинтересованных лиц. Решив, что на третьей неделе я могу учинить нечто еще более разрушительное, персонал горшечной мастерской – пол-литр-бюро, как я его называл, – объявил меня персоной *non grata*, и потому я проводил понедельники в том же, что и Мэтью, «Центре Тринга», сидя за пишущей машинкой или наблюдая за песчанками, которые шныряли по прозрачным плексигласовым и иным оплетающим все здание трубам, подобно гражданам грызунового Метрополиса Фрица Ланга.[243] Система труб была спроектирована – как и почти все в «Аппингеме», начиная с театра у дороги, который и поныне словно вырастает из скелета старого викторианского гимнастического зала, до стульев и светильников «Центра Тринга», – руководившим этим центром удивительным человеком по имени Крис Ричардсон, ныне он возглавляет театр «Плезэнс», который, похоже, приобретает все большее значение для «неофициального» Эдинбургского фестиваля, а недавно получил постоянную прописку и в Лондоне. Ричардсон повсеместно известен под прозвищем «Трог» – не знаю почему, возможно, по причине его хогартовской физиономии, напоминающей о картинках работавшего в «Панче» карикатуриста, который использовал этот псевдоним.[244] Ричардсона всегда сопровождал аромат трубочного табака, он терпеливо сносил мое нахальство, легкомыслие и полнейшую некомпетентность и бестолковость во всем том, что давалось ему с такой естественностью: в черчении, проектировании и строительстве, поскольку я «по крайней мере нашел себе здесь

занятие», – хотя все мое использование этого, как теперь выражаются, «ресурса» сводилось к тому, что я лупил, на манер профессиональной секретарши, по клавишам пишущей машинки.

Вот этим самым я, стало быть, и занимался, когда услышал у себя за спиной голос, ставший для меня смыслом жизни.

– Это ты, Маттео?

А то я не знал, кто это. Да и сам вопрос я задал тоном, показывавшим, что мне не так уж и важно, кто сюда заявился, ибо я целиком поглощен Печатанием Важного Документа.

– Угу… Ты что-то пишешь?

– Нет, просто упражняюсь. Что, надоело глину месить?

– У меня там одна штука обжигается.

– А… горячее времечко, стало быть.

– Тссерр! – Более точно изобразить его вызванный моим жутким каламбуром воспитанный смешок я не в состоянии.

Я развернулся на стуле, чтобы вглядеться в него.

Да, я был прав. Он чем-то расстроен. Полагаю, я ощутил это потому, что интонация, с которой он произнес «Что ты делаешь?», затронула во мне некую струну, заставив вспомнить, как сам я задавал этот вопрос маме – прекрасно зная, что она делает, но желая, чтобы она прервалась и дала мне возможность излить душу.

– Ты чем-то расстроен, старый крокус?

Вудхаус пустил в моем языке глубокие корни.

– Да нет, пустяки…

Выглядел он совершенно несчастным. Я уже говорил, что Мэтью был прекрасен, – бессмысленное описание, пустое место, которое вам придется заполнять собственными представлениями о красоте, – и говорил также, что роста он был ниже среднего. В нем присутствовал *намек*, не более, на коренастость, на массивность, намек, который, несмотря на потрясающую красоту его лица и тела, делал невозможными какие-либо сравнения с фарфоровой статуэткой, разговоры о миловидном изяществе, способные представить Мэтью бесполым, безликим существом. Намека этого хватало, чтобы обратить чувство в чувственность, но не умалить его плавную грациозность. И сейчас, отметил я, когда он столь натужно старался не показать своей подавленности, его основательная массивность стала еще более явственной.

– Сколько тебе еще ждать, пока твоя печка не зазвонит, сообщая, что кушанье готово? – спросил я.

– Ну, минут сорок. А что?

– Давай тогда прогуляемся. А то у меня от этой машинки спина уже гудит.

– Давай.

Он подождал, пока я выровняю стопку отпечатанных страниц, выключу машинку, накрою ее серебристым чехлом и помещу поверх чехла записку: «Не трогай, не то умрешь страшной смертью».

То была эпоха, когда высшим шиком считалось ношение армейской одежды. У меня имелась шинель американских ВВС времен Второй мировой – предмет всеобщей зависти; у Мэтью – ее британский эквивалент; ему удалось также разжиться, скорее всего не без помощи брата, старым школьным шарфом, шерстяным, полосатым, той же вязки, как у Роя из «Роуверс»,[245] – совсем не таким, как мой, черно-красный, университетского пошиба. Плотно обернув им шею, Мэтью приобрел вид настолько волшебный и ранимый, что мне захотелось взвыть.

Вечер стоял холодный, начинал падать снег.

– Ух ты, похоже, спортивных занятий завтра не будет, – сказал я.

– Ты ведь и вправду спорт терпеть не можешь, верно? – спросил Мэтью. Из жаркого таинства его горла и уст вырывался парок.

– Наблюдать за соревнованиями я готов, однако «не тот ли это человек, что потерял свою душу»? – И я процитировал, неточно, впрочем: – «Фланелевый фраер у крикетных воротец и чумазая чурка у футбольных ворот».

Я только что прочитал автобиографию Катберта Уорсли,[246] показавшуюся мне попросту сногсшибательной.

– Значит, вот что ты обо мне думаешь? «Чумазая чурка»?

– Я бы так не сказал, – слегка удивившись, ответил я. – Понимаешь, не сочти за грубость, но на самом-то деле я о тебе вообще ничего не думаю.

– А.

Мы прошлись немного в молчании, я пытался понять, к чему, собственно, клонится весь этот разговор.

– Выходит, ты… – явно смущаясь, произнес наконец он, – выходит, я тебе не *нравлюсь*?

– Да нет, конечно, нравишься, глупая твоя голова. Не в моих привычках прогуливаться с людьми, которые мне не нравятся.

– Даже несмотря на то, что я фланелевый фраер и чумазая чурка?

– Открою тебе тайну, Маттео. Причина, по которой я так не люблю спорт… только смотри не говори никому… в том, что мне он ни черта не дается.

– А, – снова произнес он. И затем: – Но почему же тогда я тебе нравлюсь?

– Господи, Осборн, – сказал я, переходя на тон

старшеклассника, единственно из-за паники, вызванной оборотом, который принимал наш разговор. – Да мне *большинство* людей нравится. Ты не вредный. Не остолоп, и, самое главное, тебя веселят мои дурацкие шуточки. Ты что, на комплименты, что ли, напрашиваешься?

– Нет-нет. Прости. Ту т просто… В общем… Мне один человек сказал кое-что…

Ах, мать-перемать, подумал я. Это его братец предостерег. А братцу нашептал невесть что какой-то завистливый сукин сын. Всему конец.

– Кто и что? – спросил я, пытаясь придушить охвативший меня испуг.

– Да оно и неважно – кто. Один мальчик из нашего Дома. Я подметал коридор, понимаешь? А он начал… начал ко мне приставать.

– Ты хочешь сказать, заигрывать с тобой? – спросил я. «Заигрывать»? Ну а каким еще словом мог я воспользоваться?

Мэтью кивнул, отвел взгляд в сторону и, наконец, излил душу, горячо и разгневанно:

– Я сказал, чтобы он не лез ко мне, а он обозвал меня *дешевкой*. Сказал, что всем давно понятно, почему я строю глазки кое-кому из Попок и увиваюсь вокруг людей вроде Фрая. Назвал меня смазливым фуфлыжником.

Я хоть и морщился, слыша от него такие слова, но в уме стремительно перебирал имена, одно из которых могло принадлежать этой неуклюжей, идиотической, злобной сволочи из «Редвудса», и одновременно, с не меньшей стремительностью, – перечень возможных реакций, поз, какие я мог бы принять, выслушав захлебывающуюся, страдальческую исповедь Мэтью: возмущенная; пренебрежительная; поза усталого, повидавшего виды человека; отечески наставительная; товарищески сочувственная… Я переворошил все и решил остановиться на некотором их сочетании.

Меня трясло – наполовину от холода, наполовину от ужаса, вызванного случившимся.

– Это уж мне место! – сказал я. – Это говенное место… Понимаешь, Мэтью, мы ведь живем в теплице. Глядя на падающий вокруг снег, такого не подумаешь, но так оно и есть. Мы живем под стеклом. Под искажающим все стеклом. Вокруг только сплетни, встречные сплетни, домыслы, слухи, зависть, потребность лезть не в свое дело, отчаяние – полный букет. И чтобы выжить здесь, нужно быть человеком простым.

– Простым? – Я затруднялся сказать, была ли влага, прозрачные капли которой поблескивали на кончиках его ресниц,

слезами или растаявшими снежинками.

– В определенном смысле. Нужно полагаться на дружбу.

– Да, но…

– Если у тебя есть надежный друг, тебе, строго говоря, тревожиться не о чем. Ты всегда найдешь с кем поговорить, найдешь человека, который тебя поймет.

– Это как у тебя с Вуди?

Я, разумеется, подразумевал вовсе не меня с Вуди. Отнюдь.

– Ну да. Как у меня с Вуди, – ответил я. – Я могу рассказать Джо все и знаю, что реакция его будет соответственной. Вот в чем весь секрет – в соответственности. Кого бы ты назвал своим лучшим другом?

Мэтью пожал плечами, потом произнес, почти мрачно:

– Трудно сказать. Понимаешь, дело в том, что я ведь знаю, мне брат об этом сказал…

– О чем?

– Ну, ты понимаешь, о том, что я… ну, в общем, *симпатичный*. – Он выплюнул это слово, точно разъедавшую ему язык гнилую маслину.

Симпатичный! Господи, как же я ненавидел это слово. Симпатичный мальчик… только завзятый люмпен, полоумный гетеросексуал мог счесть Мэтью *симпатичным*. Он был прекрасен, как стопа Господня на холмах, прекрасен, как река, как снег, который уже повалил гуще прежнего, прекрасен, как ничто на свете, как все, что в нем есть. И какой-то вонючий Минотавр с волосатым концом посмел лапать его и назвал смазливым фуфлыжником! Да чего уж там, его собственный брат и тот прибегнул к этому дурацкому словечку.

– Симпатичный? – повторил я таким тоном, точно мне это и в голову никогда не приходило. – Ну да, внешность у тебя, по моим понятиям, очень приятная. Правильные черты лица – не то что я с моим кривым носом и ручищами длиной в десять футов. Однако слово «симпатичный» я бы к тебе прилагать не стал. Симпатичным я бы назвал скорее уж Моргана.

Морган был новичком из «Феркрофта», мальчиком, на которого заглядывались многие.

– Томаса Моргана? – удивленно переспросил Мэтью. – О.

Присутствовал ли в его голосе едва уловимый *отзвук, оттенок* уязвленного тщеславия – или мне это лишь показалось?

– Ну, то есть, на взгляд тех, кто неравнодушен к подобным вещам, – торопливо прибавил я. – Мое кредо, как я уже говорил, – *дружба*.

Он немо кивнул, и я воспользовался представившейся возможностью.

– Смотри, – сказал я, обняв его за плечи и прижав к себе. – Вот так поступают в обычном мире друзья. Так выглядит преданность и поддержка – во вселенной, в которой все мы нуждаемся в преданности и поддержке. Но здесь, в этом месте, такой поступок приносит человеку прозвание «гомика», в него начинают тыкать пальцами, над ним глумятся. Мы оба знаем, что это дружба, но если кто-то вроде того злобного мудака из твоего Дома пытается заигрывать с тобой и терпит неудачу, он утешается тем, что винит во всем *тебя*. Главное, помни, он делает это из страха. Он может осыпать тебя оскорблениями, но в душе боится, что ты расскажешь о нем брату, или директору, или всему Дому. Потому и пытается уверить себя, будто ты сам его к этому подтолкнул. Старая-престарая история. Все это уже было – с женой Потифара, с каждым неудачливым насильником мира. И не волнуйся по поводу того, что сказал тебе брат. Побуждения у него были добрые, однако он заронил в тебя сомнения насчет всеобщих мотивов хорошего к тебе отношения. Знаешь, существуют миллионеры, полагающие, будто людям нравятся в них только их деньги. Ты же не хочешь стать их подобием, верно? Начать думать, что к тебе хорошо относятся только из-за твоей внешности. Так жить нельзя. Это не что иное, как отсутствие веры в себя.

Он, нисколько не протестуя, позволил моей руке остаться на его плечах. Кругом темно. Увидеть нас никто не может.

На тот момент это было самое блестящее достижение моей жизни, достижение, построенное на блефе, обмане, ханжестве, жульничестве, злоупотреблении доверием и сочетании элементов мишурной мудрости с благими советами. Давать благие советы намного легче, чем исполнять.

Я снял руку с плеч Мэтью и вернул ее в теплое нутро шинельного кармана.

– Ты-то *сам* считаешь себя миловидным? – спросил я.

Он покачал головой.

– Ну так и всё. Нельзя же жить, постоянно оглядываясь на чужое мнение, верно? Как я уже сказал, главное – простота.

– Спасибо, Фрай, – сказал он. – Эх, если бы я разбирался во всем так, как ты.

– Да ну, брось. Идет всего-навсего второй триместр твоего первого года. Тебе тринадцать лет. Никто и не ждет от тебя знания всех тайн вселенной.

– Вообще-то мне четырнадцать, – сказал он. – На прошлой неделе исполнилось.

Господи, так он что же, всего… на полгода моложе меня?

– Ну пусть четырнадцать. И все равно ты не можешь…

– Столько же, сколько тебе. А ты, похоже, знаешь все на свете.

Басовая партия плохо сыгранной музыки моей жизни. «Откуда вы столько всего знаете, Фрай?»

Мне хочется ответить: «А с чего вы взяли, что я столько всего знаю? С чего взяли, будто *я сам* думаю, что столько всего знаю? Ну с чего?»

Хотя, если честно, я, кажется, понимаю, откуда у людей берется такая мысль.

Возьмите, к примеру, подбор фотографий для этой книги. Та еще была работенка – отыскать хотя бы одну, на которой я не выгляжу самоуверенным, довольным собой котярой, который только что уплел кварту сметаны и знает, где сможет наложить свои наглые лапы на другую. На той, где я стою рядом с Роджером, приодевшимся к первому своему дню в Чешэмской приготовительной школе, это мое самодовольство можно хотя бы истолковать как гордость за брата. А видели бы вы фотографии, которые я забраковал.

Всякий раз, позируя фотографу, я стараюсь изобразить самую дружелюбную улыбку, что-то вроде «Всем привет! Господи! Обалдеть! Здорово, а!». И всякий раз вижу потом на снимке вкрадчиво-самодовольный оскал, от которого мне хочется выть и визжать.

Суета, разумеется, как сказал Екклесиаст, все – суета. Может, и стоило показать вам мою выпускную фотографию и несколько других, от которых вас потом рвало бы два дня.

Вот этот мой *вид*, вид полного довольства собой в сочетании с прискорбным пристрастием сыпать редко употребляемыми словами, разглагольствовать на манер синонимического словаря и щеголять – смотрите, какой я умный! – энциклопедической осведомленностью… Да я был бы самым большим дураком на свете, если бы не понимал, что это и создает впечатление, будто мне известны ответы на все вопросы. Но видите ли, в чем дело, я самый большой дурак на свете и есть.

Мэтью не составлял исключения, он разделял общее мнение обо мне. Смотрел на меня снизу вверх – в смысле и физическом, поскольку я был на целый фут выше его, и интеллектуальном, ибо искренне верил, что мне доступны мудрость и знания, в которых ему отказано. Я очень много читал, обладал хорошей памятью, это было известно всем. Он полагал, будто знания дают мне силу, *даже* при том, что знал, как и все остальные, – я *вечно* наживаю неприятности, и чем дальше, тем их становится больше, хоть и не мог знать, что это в значительной мере связано с ним, что я стою на пороге самой крупной – покамест – из них, каковая и стрясется со мной в аккурат на этой неделе.

И ведь мнение это все держится и держится. Существует немало людей, знающих, какой беспорядок всегда царил в моей жизни, но и они продолжают питать уверенность *либо* в том, что «а, ничего страшного, Стивен, с этим вы как-нибудь справитесь», *либо* в том, что я сам *думаю:* а, ничего страшного, с этим я как-нибудь справлюсь. А между тем ни то ни другое верным отнюдь не является – сколько бы я ни вопил об этом и сколько бы раз жизнь и обстоятельства этого ни доказывали.

Меня увел в эту сторону, и увел далеко, разговор о ласковой доброте Ронни Раттера, предположение о том, что он *видел*. Возможно, гадал я, она просто была написана у меня на лице – эта мука любви.

В общем, я оказался в тупике. Примерно в это же время я начал каламбурить как нанятой, по преимуществу у меня получалась страшная чушь, помню, однако, как я обрадовался, натолкнувшись на следующую счастливую мысль:

Пойти на компромисс – значит усесться между двух ульев.

Немного слишком опрятно и совершенно (на дурной манер), чтобы представляться забавным или хотя бы интересным, – просто еще один пример странности нашего удивительного языка, – однако два улья, между которыми уселся и до сих пор ежедневно усаживаюсь *я*, наилучшим образом описывают и определяют положение, в которое я попал да так в нем и остался, – одновременно прозрачное *и* темное, неудобопонятное *и* представляющее собой открытую книгу.

Порою я и сам диву даюсь: зачем я трачу пропасть сил на лицемерие и притворство, когда столь многие из моих друзей, знакомых, врагов (если у меня есть враги) и людей полностью посторонних видят насквозь каждое мое побуждение, мысль и чувство. А затем начинаю дивиться: какой толк в моей откровенности, попытках поделиться опытом и эмоциональном чистосердечии, если столь многие продолжают истолковывать меня до такой степени неверно, что считают человеком уравновешенным, упорядоченным, более чем рациональным – хозяином своей судьбы и капитаном своей души.

По моим представлениям, Ронни Раттер инстинктивно учуял во мне «несчастного мальчика», однако, как человек слишком хорошо воспитанный или слишком верящий в благодетельность времени и судьбы, не стал вдаваться в разного рода «почему» и «откуда».

Мэтью, источник всех моих бед и радостей, всех моих чувств

и всей неспособности чувствовать, совершенно не замечал того, насколько я в нем нуждаюсь, недостаток воображения не позволял ему уяснить, что все мое счастье зависит от него, и я винил его за это, неспособный понять, что свалился в яму, которую сам же и вырыл. Да и как бы он мог уяснить? Как мог догадаться? Пока не полюбишь сам, понять, что значит *быть* любимым, невозможно.

Вот таким был странный выверт моего безумия. Я ожидал, что вся глубоко упрятанная во мне невнятица будет прочитана так легко, точно она крупными буквами написана на моем лбу; и одновременно ожидал, что более чем очевидное и неумело скрываемое в глаза никому не бросится.

Когда я во многих уже страницах отсюда писал о «наущениях невостребованной любви», меня позабавила совершенная мной фрейдистская описка – мои пальцы сами собой набрали «нетребовательной».

Я знаю – ибо испытал это, быть может, дважды в жизни, – как страшно быть слишком сильно любимым, и потому считаю то, что так и не дал Мэтью понять, до какой степени разрушил он мой покой и мое счастье, добрейшим, быть может, поступком всей моей жизни. В конце концов, он оказался человеком достаточно храбрым для того, чтобы… впрочем, я забегаю вперед.

Настоящий Мэтью Осборн читает это сейчас и посмеивается. Может быть, постанывает. Может быть, поеживается от смущения. Как знать, может быть, когда-нибудь в будущем он скажет жене или детям (ибо он теперь человек семейный): если вам подвернется в библиотеке или у букиниста книга «Моав умывальная чаша моя», то, возможно, вам интересно будет узнать, Мэтью – это *Я*. И, прочитав эту книгу, они снова вглядятся в его седые, редеющие волосы, в брюшко, в выцветшие синие глаза и усмехнутся или покачают головой.

Мы пошли назад, к «Центру Тринга», Мэтью размышлял о чем-то – о чем? Обдумывал ли он мой совет касательно дружбы, сожалел ли о том, что снег может отменить завтрашний матч, тешился ли надеждой на то, что ваза его не лопнет в печи для обжига, – я этого знать не мог. Я шагал рядом с ним, и все во мне подвывало от желания произнести следующую речь:

«Знаешь, давай просто повернемся налево кругом и покинем это место. Что тебя держит здесь? *Меня* – ничто. Дойдем до окраины города, а там рано или поздно кто-нибудь подвезет нас до Лондона. Мы в нем выживем. Кто нам нужен, кроме друг друга? Я с моим быстрым умом, ты с твоим быстрым телом. Найдем какую-нибудь работу. Вывески станем расписывать, украшать витрины, расставлять товары по полкам. Этого хватит,

чтобы купить квартирку. Я буду писать в свободное время стихи, ты – обжигать горшки и играть в барах на пианино. По вечерам мы будем лежать бок о бок на софе и просто *быть*. Я буду гладить тебя по волосам, и, быть может, наши губы встретятся в поцелуе. Почему бы и нет? Почему бы и *нет*?»

Но мы всего-навсего попрощались, отчасти неловко, как люди, минуту назад открывшие друг другу интимные тайны, – открывшие? я только слушал, открывался он, – и Мэтью вернулся в гончарную мастерскую. Желание печатать на машинке меня оставило, и я потащился по снегу в «Феркрофт», терзаясь ужасным чувством, что если я сунусь в кабинет, то непременно изолью душу Джо Вуду, – и потому я решил отыскать Бена Раддера, «капитана» нашего Дома, и попросить у него разрешения принять раннюю ванну и завалиться с книгой в постель. Разрешение требовалось по той причине, что, проделав все это, я не выйду на вечернюю перекличку. Раддер, приверженец строгой дисциплины, мог и заупрямиться. Странно думать, что столь распорядительному деспоту закрытой школы выпала участь отправиться в Кембридж, получить ученую степень, защитить диссертацию по зоологии – и вдруг резко преобразоваться в ярого, крайне левого социалиста и в конечном итоге стать редактором «Фронтлайн», газеты Революционной рабочей партии. Странно, но так все и вышло. Впрочем, я потерял его из виду, – не исключено, что он снова переменился. Я надеюсь на это – не потому что не одобряю РРП, но потому что люди, способные переменяться и переменяться снова, гораздо надежнее и счастливее тех, кто этой способностью не обладает.

Раддер разрешение дал, и я поднялся наверх. Тут-то все и случилось.

У каждого это происходит по-своему. У кого-то как следствие намеренных, сосредоточенных попыток ускорить естественный ход событий, у кого-то благодаря помощи друга. Насколько я знаю, со многими это случается, когда они соскальзывают вниз по канату. Мне досталось старое клише – ванна и мыло.

Переживание, могу вас уверить, было едва ли не самым сильным за всю мою жизнь. Я уже описал легкое отвращение, которое охватило меня, когда я увидел липкий от спермы член моего однокашника по «Стаутс-Хиллу», так что к появлению этой жидкости как таковой я был готов, – о чем я не подозревал, так это о физическом ощущении. Не думаю, что хоть один человек на свете способен забыть головокружительную мощь своего первого оргазма. Все мы прошли через это, за вычетом женщин, которые прошли через что-то другое, – думаю, впрочем, что и с ними происходило примерно то же, разве что иначе окрашенное.

Я уверен – уверен, насколько это возможно, что таковое мое достижение было чисто механическим откликом на ленивое намыливание и никакого отношения к Мэтью, к моей руке на его плечах не имело. Во всяком случае, я думаю, что уверен.

Так или иначе, поняв, что в беспамятство я не впаду и волос, прорастающих на моих ладонях, не увижу, я привел себя в порядок и отправился в постель – собой, в общем и целом, довольный. Хороший выдался день.

6

Чего нельзя было сказать о следующем. Худшие, чем этот день, вообще выпадают редко. Как и все дурные дни, начинался он хорошо и был полон обещаний. Мир выглядел белым свадебным тортом, никаких спортивных матчей не предвиделось. Более того, по вторникам у меня не было даже физической подготовки, так что мне предстояло неторопливо бродить с урока на урок, а затем, быть может, до отвала наесться в Нижнем буфете.

Для чего, само собой разумеется, потребовались бы деньги. На счету, который имелся у меня в почтовой конторе, оставалось пять пенсов, а на них даже в те далекие дни можно было получить от силы ломоть хлеба или стакан простой воды либо газировки. Впрочем, совсем недавно я напал на новый источник средств.

На сумочку матроны.

После ленча матрона пила кофе с Фроуди и их гостями, и это, обнаружил я, предоставляло мне прекрасную возможность проскользнуть в ее находившуюся несколько в стороне от верхнего коридора квартирку, залезть в сумочку и умыкнуть то, что из нее можно было умыкнуть.

Поэтому к ленчу – после латыни, английской литературы и кошмарной, кошмарной математики – я возвратился в Дом, предвкушая все радости, какие обещали мне прекрасные послеполуденные часы. Как бы половчее выяснить, чем займет их Мэтью? Только этот вопрос и волновал меня по-настоящему. Соревнования его отменили. Поговаривали, что на склоне, спускающемся от «Миддла», а «Редвудс» стоял к нему ближе всех прочих Домов, сегодня будут кататься на санках, – не стоит ли тогда стороной подобраться к нему и посмотреть, не окажется ли там Мэтью?

К тому же я все еще упивался моим ванным достижением. На миг я задумался – может быть, я неполноценен? Наверняка же существует некий стероид, который блуждает по организму мужчины, позволяя ему ощутить себя человеком десятифутового роста лишь по той причине, что он ухитрился кончить. Разумеется, ощущение это имеет основой самые что ни на есть почтенные принципы эволюции, но все же оно нелепо. Поскольку я и без всякого стероида дорос почти до десяти футов, на меня он, возможно, действовал слабее, чем на многих других, и тем не менее, когда я после ленча поднялся по лестнице и направился к квартире матроны, походка моя отличалась особой упругостью. Мог бы, вообще-то, и сообразить, что стоял вторник, да еще и

февральский. Очень многие из самых безобразных событий моей жизни происходили как раз по вторникам, а что такое февраль, как не вторник года?

Из осторожности я пару раз прошелся по коридору взад-вперед, удостоверяясь, что он, как обычно, пуст, а затем открыл дверь в коридорчик поменьше, ведший к квартире матроны, и проскользнул в нее.

Сумочка стояла на кровати. Я щелкнул замочком, сунул внутрь руку, и тут дверь стенного шкафа со страшной мгновенной внезапностью распахнулась и из него выступила матрона.

Ни сделать, ни сказать мне было нечего.

«Простите» – вот единственное слово, какое я смог вымолвить. Его я и произнес с десяток, возможно, раз, и голос мой дрожал, забираясь все выше и выше.

– Идите в вашу кабинку и ждите там.

По-видимому, матрона заметила, что у нее раз за разом пропадают деньги, и сообразила, когда именно это происходит. И расставила ловушку, в которую я прямым ходом и вперся.

Ни как-то отвертеться от случившегося, ни придумать ему объяснение никакой возможности не усматривалось. Совершенно ясно было, что я – Вор. Ни единого злоумышленника не заставали еще с такой несомненностью на месте преступления, ни одни вороватые пальцы не защемлял с такой очевидностью ящик кассового аппарата.

К этому времени весь «Феркрофт» уже сообразил, что в Доме завелся воришка, и большинство учеников догадывалось, что это я, – думаю, потому-то я и переключился с гардеробной Дома на сумочку матроны и на раздевалки школьного спортивного зала и бассейна.

«Капитан» Дома Раддер лично сопроводил меня в кабинет Фроуди. Этот милейший человек пребывал в смятении и гневе.

– Черт вас возьми, Фрай! – воскликнул он и ударил кулаком по столу. – Чтоб вы *пропали*!

Решение уже было принято. Высылка из школы до конца триместра. Высылка означала временное изгнание домой, хуже было только полное исключение. Спина пресловутого верблюда начала прогибаться и потрескивать.

Отец уже ехал сюда. Пока же мне надлежало подняться наверх и сидеть, ожидая его, в моей кабинке.

Поездка домой прошла в полном молчании, однако я знал: слова мне еще предстоит услышать. Аналитический ум отца не удовлетворится мыслью о том, что я согрешил, что сбился, точно заблудшая овечка, с пути; как не удовлетворится и простым

прощением, забвением, наказанием, какими-либо выводами или увещеваниями. Все будет гораздо хуже. Он захочет понять. А я не хотел, чтобы он понял, ни один подросток не хочет, чтобы его понимали, потому они все время и жалуются на непонимание, – и пуще всего не хотел, чтобы он проведал о Мэтью.

Не уверен, что я считал тогда Мэтью коренной причиной моего воровства. Не уверен, что считаю его таковой теперь. *Уверен*, однако, что он был коренной причиной моей неосторожности. Коренной причиной всех моих чувств, а *ими* я делиться ни с кем не желал, и уж меньше всего с родителями, поскольку опасался, что это может открыть им глаза на истину.

В кабинете отца разыгралась неизбежная сцена анализа, сцена, подобная тем, что происходили в утра, когда поступали очередные школьные отчеты, но только более острая. Отец сидел за письменным столом, окруженный плотным маревом табачного дыма. Мать – на софе, попеременно то озаряясь надеждой, то заливаясь слезами. Меня же начало завораживать количество дыма, который оказался способным вдыхать отец: он попыхивал и попыхивал трубкой, извергая углом рта облачка, – каждое оказывалось плотнее его предшественника – и наконец, выпустив самое плотное, одним колоссальным вдохом заглатывал его и в следующие несколько минут разговора выдыхал это облако по частям. Иногда, минут через десять после такой монументальной затяжки, он издавал смешок или фыркал и с самого дна его легких вырывалась последняя струйка дыма, промедлившего там все это время.

Как ему удавалось сносить угрюмые «Не знаю», «Не знаю», звучавшие в ответ на каждый его вопрос, я и представить себе не могу.

Он был достаточно проницателен, чтобы увидеть: в глубине моей души сидит нечто, до чего ему не достучаться ни доводами разума, ни уговорами, ни угрозами. И он продолжал, подобно Холмсу, анализировать и теоретизировать, понимая, впрочем, как понимал и Холмс, что строить теории без достаточных данных значит впадать в серьезнейшую ошибку.

Одна из его гипотез состояла в том, что мы с ним очень похожи, – ее я отверг как чудовищную, бессмысленную, абсурдную, немыслимую, безумную и нестерпимую. Теперь-то я осознаю наше сходство. Мозг у него устроен лучше моего, критерии выше, а работоспособность намного больше: он, как мог бы выразиться герой Джона Бакана, человек почти во всех отношениях лучший, чем я, однако общие черты у нас все же имеются. Особого рода гордыня, особая потребность в анализе. От матери я унаследовал качества, которых ему не хватало:

оптимизм, желание доставлять удовольствие, веселить и радовать других, внушать им *ощущение благополучия,* способность скользить по поверхности – и там, где скольжение по поверхности оказывается средством, позволяющим продвигаться вперед с большей верностью, чем бултыхание в темной воде, и там, где такое скольжение представляет собой род нравственной трусости. Мне недостает доброты моей матери, ее способности задвигать свое «я» на задний план, как и способности согревать окружающих лучами своего добродушия. Думаю, к моим родителям вполне можно отнести старинную ироническую присказку: мать у меня человек скорее практический, отец – скорее сентиментальный. Мне много легче представить себе маму переносящей трудности самостоятельной жизни, чем вообразить в этом качестве отца. Нельзя сказать, что я когда-либо недооценивал его умение удивлять людей и разрешать проблемы, однако я всегда помнил и о том, что сама способность разрешать их обременила отца склонностью изыскивать проблемы там, где они отсутствуют. Все мы знакомы с древней историей о Гордиевом узле: он был до того сложен, что говорили: тот, кто его распутает, будет править миром. Александр попросту разрубил этот узел мечом. Так вот, мой отец никогда, никогда не стал бы разрубать Гордиев узел – он запутал бы его еще пуще и, наконец, развязал бы, однако к тому времени мир ушел бы далеко вперед. Как-то раз интервьюер сказал Майклу Рамсею, бывшему в пору моего детства архиепископом Кентерберийским, а в пору моей религиозности – героем, оказавшим на меня очень большое влияние, что он человек мудрый.

– Разве? – переспросил Рамсей. – Нет, не думаю. Полагаю, это лишь внешнее впечатление, создаваемое нелепой кустистостью моих бровей.

– Ну хорошо, ваша милость, – настаивал интервьюер, – а как бы *вы* определили мудрость?

– Мудрость? – Архиепископ немного пожевал это слово. – О, я сказал бы, что мудрость – это способность многое сносить.

Исходя из этого определения, с которым я всей душой согласен, я сказал бы, что мама мудрее отца.

Не столь уж и многое наследует и впитывает человек: присущие мне пронырливость, лукавство и остроумие – в смысле и забавности, и остроты ума – все это мои собственные достижения. Родители обладали остроумием в обоих этих смыслах, однако у них оно отличалось от моего, а им подходило наилучшим образом, поскольку одно в точности отвечало другому – как зубья двух шестерен. С раннего возраста я что ни вечер наблюдал, как они решают кроссворды «Таймс».

Существовали типы ключей к разгадке, до которых неизменно додумывался отец, и существовали такие, до которых всегда додумывалась мать, поэтому, трудясь на пару, они каждый раз вылизывали, если можно так выразиться, тарелку дочиста. Случалось, что кому-то из них удавалось решить кроссворд самостоятельно, думаю, однако, что наибольшее удовольствие они получали, делая это вместе. Я довольно рано научился решать эти кроссворды в одиночку и просто *терпеть не мог* делиться ими с кем-то еще, я костенел, если кто-то заглядывал мне через плечо и предлагал подсказку. Это свидетельствовало, я полагаю, о моей потребности в независимости, доказывало, что я не нуждаюсь ни в ком так, как мои родители нуждались друг в дружке, и более того, доказывало, что я решительным образом нуждался в *отсутствии* такой нужды, иными словами, доказывало, что меня изводит страх. Отец относился с опаской и к присущему мне складу ума. Он понимал, что я всезнайка. Умничающий задавака. Он видел во мне ум, взращенный на «Смотри и учись»;[247] мозг, рвущийся к победам над всеми прочими, склонный к имитации и кратчайшим путям; лихорадочное желание увидеть свое имя в печати – с приложением похвалы моим познаниям. Вряд ли вы удивитесь, услышав, что однажды я стал уговаривать родителей подать заявку на участие в телевизионной викторине Роберта Робинсона «Спроси у родных». Да, я и вправду был таким вот жутким, несносным, заносчивым, необъяснимым, не заслуживающим никакого прощения долболобом. По счастью, мой здравомыслящий отец скорее отпилил бы себе ногу обрезом листка бумаги, чем подошел хоть сколько-нибудь близко к этой омерзительной затее, о чем он сразу мне и сообщил, сопроводив сообщение фырканьем и огромным облаком трубочного дыма. Мама, да благословит ее Бог, быть может, и готова была претерпеть ради меня любую муку, пройти через этот кошмар, подозреваю, впрочем, что даже она, всегда мне столь преданная, вздохнула с радостным облегчением, учуяв в отцовском абсолютном и категорическом отказе окончательную определенность.

Каждому из нас знаком этот тип человека, знаком он был и отцу, в том-то все и дело. «Флаг отплытия», «Смотри и учись», Книга рекордов Гиннесса: факты, факты, факты. Факты перли из меня примерно так же, как перли из моих одногодок прыщи и «Блэк саббат». Даты, столицы, изобретатели, писатели, реки, озера и композиторы. Я напрашивался на вопросы, напрашивался на возможность показать, как много я знаю, напрашивался, точно маленький робот из фильма «Короткое замыкание», на: «Ввод…

ввод… ввод…»

Ничего такого уж безумно странного в этом не было. Склад моего ума отличался, возможно, несколько большей «пригородностью», чем того следовало ожидать от мальчика, получившего мое воспитание: брат предпочитал предаваться мечтам о фермерстве, самолетах и иных занятиях, обычных для людей, которые росли в сельской местности, – и тем не менее я представлял собой лишь одного из миллионов и миллионов собирателей фактов, то и дело выпаливающих «а знаете ли вы», «по-видимому», «это малоизвестный факт», – этаких мелких говнюков, с которыми миру приходится как-то уживаться с того самого дня, когда Гутенберг вырезал первую литеру «а», что случилось, как скажет вам всякий школьник-начетчик, в Страсбурге, примерно в 1436 году.

Такой склад мышления не отвечал представлениям отца об интеллекте, о работе ума. Однако первую и безотлагательную проблему, с которой следовало как-то справиться, составляло мое непрестанное воровство.

Было решено показать меня психиатру, отец выбрал Джерарда Воэна, который впоследствии стал министром здравоохранения, да и тогда уже был, по-моему, членом парламента от Консервативной партии. Думаю, отцу его порекомендовал друг, Томми Статтафорд, тоже врач и тоже член парламента, – теперь он работает на «Таймс», сочиняя сноски к любой статье, имеющей хоть какое-то отношение к медицине. «Частный соглядатай»[248] безжалостно высмеял его в своей колонке «Доктор пишет…». В школьном журнале «Стаутс-Хилла» его непременно назвали бы «экспертом», приделав к этому слову столько кавычек, сколько позволил бы тамошний корректор.

Приемная Воэна находилась в лондонской «Больнице Гая», туда мы с отцом и отправились.

Я прошел несколько тестов «Бендер-гештальт», истолковал парочку пятен Роршаха, со мной побеседовали. Воровство мое у Воэна, считавшего таковое свойственным скорее отпрыскам дипломатов или военных, вызвало некоторое недоумение. Как выяснилось, до краж падки главным образом подростки, происходящие из семей, которым вечно приходится перебираться с места на место. Я же происходил из семьи усидчивой, и это его рассердило.

Тем не менее то, что со мной происходило, диагностировали как «задержку в развитии» – зрелость умственных способностей в сочетании с незрелостью эмоциональной: мозг шестнадцатилетки и разум десятилетки, спорящие друг с другом внутри сбитого с толку четырнадцатилетнего мальчика, лишая его способности

сосредотачиваться, приспосабливаться или пристраиваться. В наши дни большую часть моих бед несомненно отнесли бы на счет «синдрома дефицита внимания», тартразиновых пищевых красителей, некачественных молочных продуктов и загрязнения атмосферы. А несколькими сотнями лет раньше в дело пошла бы одержимость бесами – на мой взгляд, определение наиболее точное, однако, когда речь идет о лечении, мало чем помогающее.

Лечение, прописанное Воэном, имело обличье красивых желтых пилюль, называвшихся, если я правильно помню, лентизол. Единственными, если я, опять-таки, помню правильно, результатами их приема оказались сильная сухость во рту и жуткие запоры. Возможно, последние и составляли клиническую функцию пилюль: когда человеку приходится целые дни просиживать в сортире, времени на воровство у него уже не остается.

Между тем существовала еще проблема учебы. Высылка из школы означала, что весь остаток триместра я проведу дома. А в следующем триместре, летнем, мне предстояло держать экзамены обычного уровня, и отец отнюдь не собирался позволить мне пролеживать бока, особенно в том, что касалось математики – предмета, по которому я с полной определенностью должен был провалиться. Провал на экзамене обычного уровня по математике был бы катастрофой, поскольку без него ни о каких экзаменах уровня повышенного не могло идти и речи. Экзамен по английскому языку и литературе, тоже весьма существенный, я сдал еще в ноябре; почему меня отправили на него в возрасте столь незрелом, я никакого понятия не имею, – скорее всего, хотели поскорее сбыть с рук.

На беду мою – так я в то время считал, – отец знал французскую, немецкую, латинскую и английскую литературы ничуть не хуже, чем физику, химию и математику.

Однако сосредоточиться он решил именно на математике. Ему предстояло стать моим домашним учителем.

Большего кошмара и вообразить себе было нельзя. Человек, перед которым я трепетал и которого страшился сильнее, нежели кого бы то ни было на свете, в присутствии которого интеллект вместе со связностью и внятностью речи покидал меня насовсем, этот человек *mano a mano,*[249] *tète â tète*[250] преподавал мне предмет, перед которым я трепетал и которого страшился сильнее, нежели чего бы то ни было на свете.

Как мог он понять, насколько трудна для меня математика, – человек, воспринимавший математику как язык, на котором он говорит, как норвежец говорит на норвежском, испанец на испанском, а музыкант на музыкантском?

Но и это еще не самое худшее. Отец просмотрел составленную учеными советами Оксфорда и Кембриджа программу экзамена по математике, который сдавался для получения аттестата об общем образовании, и счел ее недостаточной. По его мнению, она была слаба, дешева и Фундаментально Ошибочна. Математика, считал отец, прекрасна. В школах, считал он, ее следует преподавать вместе с искусствами и гуманитарными, а не естественными науками. В отличие от естественных наук, считал отец, для того чтобы погрузиться в математику, *знать* ничего не нужно, достаточно умения производить вычисления. Но даже и это умение, считал он, легко извлекается из общих принципов. Вычислениям, считал он, можно научить и шестилетнего ребенка.

Были у нас и уроки французского: отец приносил старенький экземпляр своей любимой книги – Доде, «Письма с моей мельницы», – и мы занимались по ней после дневных уроков математики. Да-да, дневных – день за днем, за днем и за днем.

Уяснив всю полноту моего невежества и недоумства, отец не стал охать и ахать. Он твердо держался своих взглядов и потому начал с азов. Научил меня одной штуке, которой я не понимал: значению знака равенства.

Что значит $2+2=4$, я знал. Но не понимал даже зачаточных возможностей, которые отсюда проистекали. Сама мысль о том, что знак равенства отождествляет две разные шкалы отсчета, никогда в мою черепную коробку не проникала. А то, что с уравнением можно делать все что хочешь, при условии, что делаешь ты это с обеими его сторонами, стало для меня откровением. Отец, даже не поморщившись при виде невежества столь вопиющего, двинулся дальше.

И мне явилось второе откровение, еще более прекрасное, чем первое.

Алгебра.

Алгебра, внезапно обнаружил я, это именно то, чем занимался Шекспир. Метонимы и метафоры, подстановки, перемещения, аналогии, аллегории: поэзия. А я-то думал, будто все эти «a» и «b» суть не более чем бесплодные (прошу прощения) апельсины и бананы.

И я вдруг научился решать системы уравнений.

С квадратными уравнениями я управился без труда, поскольку для их решения существует формула, которую можно запомнить. А отца моя способность запоминать формулы не интересовала. Запомнить формулу может любой дурак. Отцу же требовалось, чтобы я понимал *почему*. И мы вернулись к грекам, к Пифагору и Евклиду.

Вот же дерьмо. Геометрия. Геометрию я попросту *ненавидел*.

Отец решил, что мы должны взяться за дело вместе, притвориться, будто оба ничего не знаем, и доказать предположение, согласно которому у прямоугольных треугольников квадрат гипотенузы вполне может оказаться равным сумме квадратов других двух сторон.

Доказать?

Да как вообще *можно* доказать такую штуку? Сама эта идея была мне абсолютна чужда. Я предложил провести день, рисуя прямоугольные треугольники разных размеров и проверяя это утверждение. Если все треугольники окажутся удовлетворяющими теореме, меня это более чем устроит.

Ну уж нет.

Доказательства я не помню, помню, что в нем использовались окружности, сегменты, сектора и углы, временно обозначавшиеся буквой «тета». Помню и то, что проследил доказательство от начала и до конца и, когда в этом самом конце внизу страницы было начертано торжествующее «ЧТД!», испытал прилив подлинной радости.

Мы перешли к тригонометрии, к неким весьма озадачивающим утверждениям насчет того, что синус А равен чему-то одному, а косинус А – чему-то другому, – утверждениям, относящимся к программе экзамена повышенного уровня, а к экзамену по математике уровня общего никакого отношения не имевшим.

Обратить меня в математика отцу, честно скажу, не удалось. Я и теперь способен говорить лишь на запинающемся, школьном математическом языке, да еще и с жутким английским акцентом. Смысла векторов, к примеру, я так и не усвоил. Я навеки проклял Декарта, додумавшегося до этой гадости. Отец-то мог векторизировать все что угодно, от «датской болезни вязов» и восхода солнца до манипуляций, потребных для вскрытия консервной банки с фасолью. Построение функции по аргументу, графическое изображение какого-нибудь $4x = (x^2 – y^2)$, вся руническая премудрость этого рода осталась для меня совершеннейшей загадкой.

И все же это был прорыв – прорыв, позволивший мне сдать экзамен общего уровня по математике, и прорыв в моих отношениях с отцом. Прорыв и навечный, потому что я никогда больше не испытал ненависти к нему (опасения, страх, да, но не ненависть), и временный, поскольку, когда я вернулся летом в школу, выяснилось, что там ничто не изменилось. Мэтью Осборн по-прежнему разгуливал по планете, по-прежнему населял почти каждый миг моей сознательной жизни, по-прежнему смотрел на

меня из кроны каждого дерева, из каждого заката, из каждого кирпича каждой стены. Отец оказался учителем настолько блестящим, что разжег во мне пламя, по отношению к математике внешнее, пламя, которым я пользовался, среди прочего, чтобы питать величайшую из моих любовей – любовь к поэзии. Проза значила для меня гораздо меньше (если только она не описывала любовь моего, особого толка), и это было правильно, потому что проза – выдумка взрослая, а поэзия, при всей ее универсальности, очень часто воздействует с особой силой именно на душу подростка. Наиболее распространенный вид измены, совершаемой теми, кто живет и дышит литературой, состоит в том, что, взрослея, они отрекаются от любви к поэзии и начинают ухлестывать за прозой. Уверовать, как на третьем десятке лет уверовал я, что Джон Китс, к примеру, годится лишь для полоумных подростков, значит впасть в невежество и глупость – все равно что решить, будто взрослому человеку не к лицу ездить на велосипеде. На самом-то деле, в глупость большую, гораздо большую. Студенту, думающему о том, какое впечатление он производит на окружающих, Джон Китс может представляться не таким изысканным и утонченным, как, скажем, торчащий из заднего кармана штанов томик Беккета, Беллоу или Музиля, однако умалить величие Китса никакая молодая дурь не способна. Желаете перерасти Китса? – перерастите для начала кислород.

Я, собственно, не об этом хотел сказать, вы снова увели меня в сторону. Само учительство отца пробудило во мне любовь к учительству как таковому, *вот что* я хотел сказать. Не думаю, что до того отец учил кого-нибудь и чему-нибудь, и, однако же, он преподал мне умение учить в мере куда большей, чем умение «делать математику». Я был так зачарован моими успехами, что они взволновали меня сильнее того, *в чем* я преуспел. Какая-то часть этого волнения могла, опять-таки, быть связанной (и конечно, была) с Мэтью. В моих фантазиях я точно так же открывал *ему* глаза на нечто иное. Не ради того, чтобы заслужить его восхищение, завоевать привязанность, но ради чистого удовольствия, ради любви к Мэтью, чистой любви садовника, наблюдающего, как прорастает и расцветает мысль. Приходится предположить, что и отцом, при всей его внешней холодности, холмсовской практичности, тоже правила любовь – к мысли и ко мне. Ну и самолюбие, разумеется, так ведь любовь к себе есть фундамент всех прочих видов любви. В конце концов, *amour propre*, самолюбие, переводится и как «любовь сама по себе».

Отец был уверен, что я не умею думать, и попытался показать мне, как это делается. Показать, а не объяснить, что оказалось

много более действенным. Он сознавал, что я прирожденный имитатор – в отношении не только словесном и комическом, но и интеллектуальном, однако понимал также, что мимесис не равнозначен мышлению.

Мне везло на хороших учителей. Крис Коли, преподававший мне в приготовительной школе английский язык и литературу, заронил в меня своими рассказами о Теде Хьюзе, Томе Ганне,[251] Чарльзе Козли[252] и Шеймасе Хини[253] первую любовь к поэзии. Его предшественник, Берчэлл, был скорее человеком Киплинга – без прочей чертовой дури – и самым серьезным образом посвящал часть своих уроков тому, чтобы преподать нам правила произношения. «Джентльмен не произносит “Monday”[254] как “мандей”, только “манди”. А “yesterday”[255] как “йестеди”. В слове “interesting”[256] первое “е” не произносится».

Помню, ученики, которых он ловил на произнесении «toilet» или «serviette»,[257] получали от него жестокую словесную выволочку. Даже «radio» и «mirror» и те были под запретом, только «wireless» и «glass» или «looking-glass».[258] Подобным же образом он учил нас говорить «*form*idable», а не «form*i*dable», «*pri*marily», а не «pri*mar*ily» и «*circum*stance»,[259] а не «circum*stance*», и никогда, даже на секунду не помышлять о таких кошмарищах, как «cirumst*ah*ntial» или «subst*ah*ntial». Помню я и на редкость увлекательную игру, которая началась у нас, когда проработавшая некоторое время в школе матрона по имени миссис Амос попыталась привить мальчикам обыкновение произносить «пардон» всякий раз, как им случится рыгнуть. Примерно в такой же переплет попадают и по сей день семьи среднего класса, в которых нянюшка обучает детей словам, каковые мамочке представляются негожими.

– Маннерс! Скажите «пардон».

– Нам этого не разрешают, матрона.

– Что еще за глупости!

Кульминация наступила во время одного из завтраков. И подстроил ее, естественно, я. Берчэлл сидел во главе нашего стола, миссис Амос проходила мимо.

– Брыыылх! – громко рыгнул я.

– Скажите «пардон», Фрай.

– Посмейте произнести это мерзостное слово, Фрай, и я засеку вас до полусмерти, – пригрозил Берчэлл, даже не подняв глаз от номера «Телеграф», – что произносилось, естественно, как «Теллиграфф».

– *Прошу прощения*, мистер Берчэлл?

– Вы можете просить чего хотите, женщина.

– Я всего лишь пытаюсь привить мальчикам приличные

манеры, – сказала миссис Амос (если вы слушаете «Арчеров», представьте себе для должного эффекта голос Линды Шелл – это избавит меня от необходимости писать «я всего лишь пытаюсь привить» и так далее). – Сами знаете, «мужчину создают манеры». [260]

Берчэлл, как две капли воды походивший на актера 30 – 40-х годов Роланда Янга,[261] – те же усы, те же глаза, – отложил свой «Теллиграфф», смерил миссис Амос свирепым взглядом, а затем громовым голосом возвестил, обращаясь ко всей столовой:

– Если любого из вас, присутствующих здесь, попросят когда-нибудь произнести «пардон» или, да оградят нас Небеса, «прошу пардона», вам надлежит ответить идиотическому существу, от которого будет исходить эта просьба: «Мне не по силам пасть столь низко, мадам». Все поняли?

Мы ретиво закивали. Матрона, воскликнув: «Ну, *знаете ли*!» – выскочила из столовой, а мистер Берчэлл вновь углубился в изучение беговых новостей.

Назвать такого учителя вдохновляющим я не могу, однако что-то от него присутствовало в помешанном генерале, которого я сыграл в «Блэкаддере», – да и любой учитель, привлекавший наше внимание к богатству языка, пусть даже к самым нелепым, снобистским его элементам, всегда доставлял мне наслаждение.

В «Аппингеме» Стоукс привил мне любовь к Джонатану Свифту, Уильяму Моррису, Джорджу Оруэллу и двум великим викторианцам, Теннисону и Браунингу. Собственно, уже моя мама наделила меня огромным уважением к Браунингу. Подобно отцу и мне, она обладала необъятной памятью, которая особенно сильна была в том, что касалось людей и стихов. Когда я был маленьким, она читала мне Браунинга часами. Увы, никто не попытался внушить мне хотя бы малейшее почтение к романам Томаса Гарди и Д. Г. Лоренса, хотя поэзию обоих я обожал – первый представлялся мне непререкаемо великим, второй чарующим и порою очень смешным.

Ну так вот, хоть мне, как уже было сказано, и везло на хороших учителей – во всех школах, которые я осквернил своим присутствием, – никто из них с моими родителями не мог даже сравниться. Кто-то сказал однажды, что автобиография есть вид мести. Однако она может быть и видом благодарственного письма.

Я возвратился в «Аппингем» на летний триместр 1972 года, усовершенствовавшийся в том, что касается математики, воспламененный идеями и самой идеей идей, однако по-настоящему так и не обузданный. Разумеется, стыд и позор,

испытанные мною, мальчиком, пойманным на воровстве, обуздали меня – отчасти, – однако мои однокашники, как и предсказывал Фроуди, оказались людьми безгранично великодушными, они относились к случившемуся с великим тактом, а ко мне как к жертве несчастной хвори – в точности так же, как граждане Едгина Сэмюэля Батлера[262] относились к своим преступникам. Пожалуй, эти месяцы стали для меня и временем наиболее быстрого физического развития – мне казалось, что я каждые две недели вырастаю на дюйм. Половое созревание шло, наверстывая упущенное, полным ходом. «Сыпь», как именовались у нас прыщи, меня, слава богу, обошла стороной, однако волосы мои обрели гладкий блеск, а глаза – странную подростковую яркость, прикрытую пеленою угрюмства. То были глаза, готовые глядеть, но не позволявшие в себя заглядывать.

Летний триместр был и триместром Мэтью – поскольку был триместром крикета. Лето – жаркое, липкое, чреватое астмой – я не любил никогда. При всей его внешней красе оно кусалось и жалило. Я боялся насекомых, ночных бабочек в особенности – жутких чешуйчатых мотыльков, которые влетали в открытые окна и порхали вокруг электрической лампочки, мешая мне читать. Я не мог ни отдохнуть, ни хотя бы расслабиться в комнате с мотыльками. Бабочки хороши днем, ночные же внушали мне отвращение и пугали.

Ради Мэтью я постарался освоить крикет. Просто для того, чтобы иметь возможность оказаться с ним на одной тренировочной площадке или поговорить о перспективах Брайана Клоуза[263] либо графства Гэмпшир – в том, что касается кубка «Жиллетт»,[264] – и о прочих крикетных премудростях.

Отделить Мэтью от крикета мне трудно, думаю, нынешняя моя страсть к этой игре во многом связана с ним. Я вот пишу это, а у меня понемногу складывается впечатление, что Австралия все же удержит на «Трент-Бридж»[265] свою «Урну с прахом»[266] (сегодня суббота, пятый день международных соревнований), и вы даже вообразить не можете, как дорого обходится мне воздержание от телевизора и радиоприемника – *беспроводного* приемника, *прошу пардона* у мистера Берчэлла.

Собственно, к этому лету относится только одна заслуживающая рассказа история, и это история состоявшегося наконец телесного контакта между мной и Мэтью. «Контакт» – слово, возможно, не самое верное: происшедшее не стало окончательным разрешением или закреплением наших с ним отношений, не стало неким их плодом или освящением. То было лишь быстрое и приятное сексуальное взаимодействие двух

друзей (как оно представлялось Мэтью). Во всяком случае, я могу сказать, что наших отношений оно не *разрушило* и чувств моих к Мэтью не изменило. Оно их не укрепило, конечно, поскольку секс, как я уже говорил, никогда моей целью не был. Если подумать как следует, я не могу сказать, что у любви вообще есть какая-то цель, тем она и хороша. Секс может быть целью – в том смысле, что он дает тебе утешение, а иногда и ведет к продолжению рода, – а вот *любовь*, как, по словам Оскара, и любое искусство, совершенно бесполезна. Именно бесполезные вещи и делают жизнь достойным, но также и опасным препровождением времени: вино, любовь, искусство, красота. Без них жизнь безопасна, однако особой траты сил не заслуживает.

Все произошло после «сетки», как мы, крикетиры, называем тренировку. Мэтью попросил помочь ему поупражняться в бросках в сторону калитки. Он был превосходным отбивающим, однако намеревался стать и вбрасывающим тоже. И отбивал мяч, и вбрасывал он с левой руки, и теперь ему хотелось поупражняться в особом повороте запястья, научиться бросать крученый мяч – то, что называется «китайцем». Я ни в каком отношении хорошим бэтсменом не был и с крученными мячами справляться не умел, более того, любой посланный издали и на какой бы то ни было скорости пробежки мяч я отбивал с трудом, однако просьба Мэтью меня обрадовала (собственно говоря, я провел всю вторую половину дня, болтая с игроками – в частности, с братом Мэтью, а иногда и с ним самим, – забавляя их и очаровывая, в надежде именно ее и услышать), и я постарался показать себя с самой лучшей стороны.

Спустя какое-то время мы прервались и огляделись по сторонам. Почти никого, кроме нас, на «Миддле» теперь уже не было, огромный стадион опустел. На ближнем к «Феркрофту» краю еще шли две-три игры в теннис, в остальном же весь стадион был в нашем распоряжении. Гарт Уитли, наш крикетный тренер, и еще один игравший когда-то за Лестершир профессионал, имя которого я, к стыду моему, забыл, к теннису относились с презрением. Оба надменно именовали его «игрой с клубком шерсти».

Я слышал однажды, как Уитли сказал: «Слишком много подававших большие надежды крикетиров соблазнились дамскими прелестями шерстяного клубка» – и пренебрежительно фыркнул.

Мэтью закрыл свою крикетную сумку, натянул блейзер.

– Как я люблю лето, – вздохнул он, оглядываясь вокруг.

– Я тоже, – откликнулся я. – Хотя постой, что за фигня, я же его ненавижу.

– Как это?

Мы стронулись с места, направляясь вроде бы непонятно куда, в сторону от наших Домов, от школы, – в пустые поля.

Я рассказал ему о моей ненависти к насекомым, об астме, о неспособности переносить жару.

– Если честно, – сказал я, – я создан для зимы. Чем больше одежды я на себя напяливаю, тем лучше выгляжу. В шортах я вообще ни на что не похож. Да и в крикетной форме представляю собой, в отличие от тебя, зрелище неутешительное.

– Да ну, глупости, – произнес он, выдержав кратчайшую из возможных пауз. – Вот мне, например, ты в ней очень нравишься.

– Да ну? – отозвался я и подпихнул его локтем. – Ты уж не совратить ли меня пытаешься?

– Вот именно! – ответил он и тоже пихнул меня – да так, что я полетел на землю.

Все произошло быстро и, в общем-то, довольно глупо. Мы катались по траве, щекоча друг друга, потом щекотание перешло в поглаживания и сжатия, потом в быструю и как будто сердитую взаимную мастурбацию. Мы не целовались, но хотя бы хихикали и улыбались друг другу. Секс без улыбок штука такая же тошнотворная и невкусная, как водка с тоником без льда.

Мэтью оставил меня лежать в траве. Опершись на локоть, я смотрел ему вслед, пока он, на фоне травы казавшийся в его крикетной форме белым, как сметана, не скрылся из виду. Он ни разу не оглянулся.

Я откинулся на спину, глянул в небо и заснул.

Экзамен обычного уровня по математике я сдал – не с отличием, но сдал. Провалил я одну только физику – решительным образом дав понять отцу, что я все еще остаюсь самим собой. Пусть не думает, будто он слепил из меня то, что хотел: умеющего мыслить, способного к наукам отрока. В конце концов, физика и была именно тем, чем занимался отец.

Я не просто не сдал экзамен по физике, я провалил его с великим блеском. Да при моей-то гордыне я и не мог допустить, чтобы кто-то подумал, будто я способен не сдать экзамен не преднамеренно.

Билет содержал вопрос о некоем нечто, именуемом ЭДС. Для многих из вас, читающих эту книгу, «ЭДС» означает, скорее всего, музыкальную группу из Форест-оф-Ден (графство Глостеншир), которая пять или шесть лет назад свалила нас всех с ног своим хитом «Невероятный»,[267] однако для мистера Паттинсона, злосчастного сукина сына, пытавшегося привить моей голове зачатки физики, ЭДС означала «электродвижущую силу», а может,

и поле какое-то, что-нибудь в этом роде, – пожалуйста, не спрашивайте меня, что именно. Вопрос выглядел так:

Опишите ЭДС батарейки велосипедного фонарика.

Ну-с, о чем идет речь, я ни малейшего понятия не имел и потому провел весь экзамен по физике, рисуя на листке бумаги велосипед. Рисовать я умел неплохо – «Изображение предметов» составляло ту часть экзаменов обычного уровня, в которой я блеснул особо, – до высот «Незабываемой личности», принесшей мне награду АНПШ, я, может быть, и не поднялся, но уж если брался изобразить какой-то предмет, то, будьте благонадежны, изображал.

Нарисованный мной велосипед имел раму, на которой висела переметная сума (изображенная в поперечном сечении, позволившем мне показать лежащее в ней яблоко, шоколадку «Марс» и бутерброды с сыром) и, естественно, фонарики – передний и задний.

Последнее, что я сделал под конец экзамена, – начертал стрелку, указующую на передний фонарик, и написал под ней:

«Это фонарик, который вмещает в себя батарейку, которая вмещает в себя ЭДС, о которой так сильно хочется хоть что-нибудь узнать экзаменатору».

В те времена школьники, державшие экзамены обычного уровня, получали отметки от 1 до 6, если они его сдавали, и 7 или 8, если проваливали. Я ничего такого не получил. Мой результат отличался особым шиком. Я получил звание «Оценки не заслуживающий», а с ним и отдельное адресованное школе письмо.

Не думаю, что результаты экзаменов, полученные моими родителями в начале летних каникул, сильно удивили отца. По крайней мере, математику я сдал, что было уже достижением, и немалым.

Начинался третий мой школьный год – год, строго говоря, учебы в шестом классе, и я решил, что на экзамене повышенного уровня буду сдавать английскую литературу, французский и историю Древнего мира. Отец попытался, с несмелым идеализмом, внушить мне мысль о том, что попытка сдать математику поставит передо мной более возвышенные интеллектуальные задачи, однако я настоял на своем.

И через две или три недели после пятнадцатилетия я стал членом группы школьников, готовившихся к экзамену повышенного уровня. Для настоящего шестиклассника я был еще

слишком юн. И годами, и, если верить диагнозу Джерарда Воэна, по причине «задержки в развитии».

Я имел счастье попасть в руки Рори Стюарта, учителя попросту замечательного. Приобретя известность в качестве кембриджского классициста, он обратил свой энтузиазм (а Стюарт был живым воплощением этого божественного греческого качества) на английскую литературу. Он стал главой английского отделения Вестминстерской школы, а затем, после смерти тетушки-садовницы, завещавшей ему свой коттедж и землю, снова переменил направление, преобразовавшись на сей раз в ландшафтного архитектора, но продолжая, впрочем, понемногу преподавать в женском колледже Челтнема. Вместе с романисткой Сьюзен Хилл он написал книгу о том, как создается сад, – книгу, которую я вам от души рекомендую. Ученики его, рассеянные по всему свету, ощущают себя членами особого клуба. Порой я сталкиваюсь на улице с человеком, который спрашивает меня: «Простите, вы не учились у Рори Стюарта?» – и мы на какое-то время застреваем на месте, обмениваясь рассказами и о нем, и о том, что он для нас сделал. Подобно мне, он был в частной своей жизни человеком на редкость замкнутым и сдержанным, однако стоило ему облачиться – метафорически говоря – в мантию учителя, как он обращался в личность, полную энергии, эмоциональности и неисчерпаемых творческих сил. Каждую вашу фразу он способен был раскрыть, как цветок, и исследовать, как геолог исследует камень или белка – орех. Любое замечание или мысль любого его ученика воспринимались Стюартом как нечто совершенно новое и насыщенное возможностями. Даже с учетом того, что я уже сказал о моих родителях, Стюарт был *учителем*, встретить которого – счастье. Люди постоянно валят вину за свои неудачи на то, что в их жизнях подобного человека не было. Может, они и правы, однако я никогда не верил в справедливость сицилийской поговорки, гласящей, что месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Я ощущаю ее несправедливость – а вы? – когда вижу, как помаргивающего, трясучего восьмидесятилетнего нацистского преступника выводят в цепях из зала суда. Почему не *тогда? Теперь* уже слишком поздно. Мне хочется увидеть, как его возвратят в то время и накажут *там*. Да вот на прошлой неделе по телевизору показали дрожащего, закованного в кандалы Пол Пота – и тоже слишком, слишком поздно. Кара за грехи, несомненно, есть блюдо съедобное, только когда оно свежо и еще не остыло. Старые же грехи, обиды и счеты стынут, скисают и приводят к самому жуткому несварению. Не исключено, конечно, что в какой-то точке той цепи событий, что привела меня из

Чешэмской приготовительной школы в тюрьму, я мог бы оглянуться назад и сказать: «*Он* не сумел, *она* не справилась, а *эти* даже и не пытались», однако что это даст мне *сейчас*? Как-то обелит? Но я и не чувствую себя *очерненным*. «Если моим демонам придется покинуть меня, боюсь, с ними улетят и мои ангелы», – сказал Рильке, надменно поворачиваясь спиной к будущей индустрии телевидения и магических формул, предлагаемых книгами типа «помоги себе сам».

Может быть, это качества, унаследованные мною от мамы, заставляют меня искать скорее людей, которых стоит благодарить и превозносить, чем тех, кого следует винить и клясть. Только поймите меня правильно – в отличие от мамы, я наделен злым языком, и, когда дело доходит, к примеру, до изобретенной двадцатым столетием хилой, обманной, опасной версии подлинного мистицизма, до шарлатанства рун, таро, гороскопов, телепатии, ни на чем не основанных «мнениях», затасканной и затхлой «непредубежденности» и прочей дряни этого рода, я впадаю в неистовство и утрачиваю всякую склонность к прощению. Я могу быть яростным спорщиком и обличителем во многих сферах жизни, но в том, что касается прошлого, никакого смысла в этом не вижу. Если бы мною злоупотребляли в каком угодно смысле этого столь (ха!) злоупотребительного слова, я, быть может, держался бы иных взглядов, однако на деле, и я никогда не устану это повторять, в большинстве злоупотреблений повинен *я сам*: именно я злоупотреблял доверием, любовью, добротой и самим собой.

Говоря технически, жизнь шестиклассника была более легкой. А жизнь пятнадцатилетнего отрока становилась, естественно, что ни день, то сложнее. Чувства мои к Мэтью не переменились. Мы никогда больше не исполняли упоительного аллегро нашего первого сексуального опыта – и никогда не упоминали о нем. Я и поныне не знаю, почему это случилось. Может быть, он догадался о глубине моих чувств к нему, решил, что основу их составляет похоть, и попытался умерить ее, потому что ценил мою дружбу. Может быть, это было проявлением доброты. Может быть, он просто был *здоровым* четырнадцатилетним подростком, которому приспела охота пообжиматься. А может быть, он чувствовал ко мне то же, что я к нему. Я никогда этого не узнаю, и хорошо, и правильно. По крайней мере, у меня осталось воспоминание… о его тепле, о разогретом дневной тренировкой теле, о жаре, исходившем от его шеи, о жаре подмышек, о распаленной пылкости тех распаленных минут. О господи, неужели эти воспоминания никогда не утратят *их* пылкости?

Я сыграл на сцене только что открытого Трогом Ричардсоном «Аппингемского театра», став одним из первых трех его исполнителей. Патрик Кинмонт, Адриан Корбин и я изображали трех вещих сестер (и уж поверьте, более вещих никто никогда не видал) в «Макбете», ставшем крещальной постановкой театра. Я тогда только что прочитал «Искусство театра» Станиславского в переводе Дэвида Магаршака и решил, что актерство – моя судьба.

Режиссер, Гордон Брэдди, пожелал, чтобы ведьмы сами придумали для себя костюмы, – и пожалел об этом желании, поскольку я объявил, что хочу увешать себя свежей печенью, легкими, почками, сердцами, селезенками и прочими внутренними органами, связав их кишками. И почему бы нам, настаивал я, не доставать из котла *настоящие* лягушачьи глаза и *подлинные* языки тритонов? Это предложение сочли чрезмерным, однако мой наряд из потрохов одобрение получил. Правда, соорудил я его все же из полосок полихлорвинила. Кинмонт, ставший ныне весьма уважаемым художником, мошеннически воспользовался своим талантом и придумал потрясающий костюм. Корбину тоже удалось состряпать из пластика нечто удобоносимое. Сооруженный же мной кошмар в духе фильма «А теперь не смотри»[268] (встреча Кристин Килер с маленьким красным убийцей) преследует меня и по сей день, и, клянусь, ибо я много раз возвращался в этот театр, запах гнилых кишок все еще безошибочным образом указывает мне путь к расположенным под сценой артистическим уборным.

Впервые я вернулся в «Аппингемский театр» в 1981 году, сразу по окончании Кембриджа, – с Хью Лаури, Эмили Томпсон, Тони Слеттери и прочей труппой «Огней рампы», – чтобы дать там спектакль перед нашим выступлением в Эдинбурге. С легкой руки Криса Ричардсона «Аппингем» стал перевалочным пунктом многих комедиантов. Началось все с того, что Ричардсон выполнил декорации для оригинального сольного шоу Роуэна Аткинсона. Роуэн неизменно опробовал свои новые вещи в «Аппин-геме», и «Огни рампы» последовали его примеру.

С тех пор я приезжал туда множество раз с выступлениями, чтениями и тому подобным, с чем угодно, однако при всяком моем выходе на эту сцену я вижу Ричарда Фосетта в ролях Сейтона и Третьего убийцы, Тима Монтаньона – Банко и, прежде всего, Рори Стюарта – Макбета. Подобно большинству актеров, я забываю текст пьесы примерно через неделю после того, как она сходит со сцены, однако из «Макбета» не забыл, по-моему, ни единого слова – от «Когда» и до «Скон». Припомнить игру Рори в каких-либо подробностях мне теперь уже трудно, слишком много

прошло времени, но я был попросту околдован, до дрожи в конечностях, тем, как он достигал кульминации в великом монологе «О, будь конец всему концом»:

И состраданье, как нагой младенец,
Несомый ветром, или херувим
На скакуне незримом и воздушном,
Пахнёт ужасной вестью всем в глаза,
И бурю ливень слез прибьет к земле.[269]

Уххх… Меня и сейчас пробирает трепет. Я мог в свое время ощущать вину, бояться наказания, но до такого ужаса не доходил. Люди, перешептывающиеся по углам, душа моего покойного дедушки, печальные глаза Христа, все это способно было тревожить и устыжать меня, однако я и представить себе не мог херувима, пахнувшего ужасной вестью всем в глаза, или состраданье, подобное несомому ветром нагому младенцу. Господи, и откуда он брал слова, этот человек, Шекспир?

Тем не менее Немезида уже подбирала, готовясь к атаке, юбки, а я – вечная история с этой падшей женщиной – просто высматривал ее не там, где следует.

Мои родители, проявив, боюсь, реалистичность паче щедрости, со всей ясностью дали мне понять, что если я когда-нибудь почувствую нужду в деньгах, то должен буду обратиться к мистеру Фроуди, и тот выдаст мне аванс, достаточный для приобретения такого количества яичниц миссис Ланчбери и «наполеонов» ее супруга, какое я смогу поглотить. Надо думать, понимание того, что самый надежный способ остановить мое воровство состоит в снабжении меня средствами, ограниченными лишь моими желаниями, слегка пугало их и более, чем слегка, отвращало. Этот путь смахивал на доказательство теоремы Пифагора путем начертания и измерения сколь можно большего числа прямоугольных треугольников.

В первый месяц с хвостиком того триместра для шестиклассников я ни в какие, более-менее, истории не влипал. Мне нравилась «Антигона» Ануйя – первый текст, которым занялась наша французская группа; нравилась история Древнего мира, занятия которой были, вообще говоря, увиливанием: мне следовало избрать латынь и греческий, но я решил, что история Древних станет стильным компромиссом.

Я обзавелся новой манией – начал бродить по крышам школы. Любой психолог, который сумеет убедительно истолковать ее, заслужит мою благодарность. Кровля актового здания школы, огромного викторианского строения с четырьмя

луковичными куполами по углам и Капеллой внутри, открыла передо мной чудесные свинцовые водостоки и странные площадки, с которых можно было озирать раскинувшуюся внизу школу. Я знал, где у Буффо Бейли, школьного привратника, хранятся ключи от всего на свете, и обратился в искусного мастера этой странной разновидности непокрадчивого домушничества.

(– Так и сказал – «непокрадчивого»?
– Да уж сказал.
– Значит, мне не показалось.
– Ну так кто – я или вы?
– Думаю, самое лучшее – оставить его в покое.
– Вы полагаете?
– Угу. А то он еще пуще разойдется.
– Ну ладно. Хотя я бы, пожалуй, все-таки звякнул в полицию.)

И в Капелле, и в Актовом зале стояло по гигантскому органу Уолкера с колоссальными тридцатидвухфутовыми деревянными принципалами. Если ты вставлял листок бумаги в отдушину одного из них (уверен, что существует слово более верное, чем «отдушина», но я, на беду, потерял телефон Говарда Гудолла[270]), один секундный порыв басового «ля» раздирал этот листок пополам. Но самое замечательное – крышка органной кафедры поднималась и под ней обнаруживался огромный набор переключателей. Видите ли, клавиатур там было три и между каждыми двумя располагались кнопки с номерами от единицы до, если не ошибаюсь, восьми. Органист, вместо того чтобы хвататься посреди «Токкаты» за рукоятки различных регистров, мог просто нажать кнопку 3, автоматически приводившую в действие заранее установленную комбинацию, ну, скажем, виолы, трумшайта и рожка. В один субботний послеполуденный час, когда вся школа с восторженным трепетом наблюдала за матчем с «Аундлом» или за каким-то другим яростным турниром, разыгрывавшимся на поле спортивных сражений, я обнаружил, что могу *изменить* эти установки, – и изменил. Для этого потребовалось всего-навсего поднять крышку кафедры и, придерживая ее макушкой, передвинуть кончиком шариковой ручки штырьки двухрядных переключателей, – по-моему, они называются так. Каждую громкую, громовую установку я заменил на ту, что использовалась для получения хилых стенаний гобоя, каждую, дававшую звук сладкий и слабый, – на мощный соединенный рев самых горластых, самых оглушающих труб.

На следующее утро, в воскресенье, я по дороге в Капеллу

рассказал Ричарду Фосетту, Джо Вуду и кой-кому еще о том, что учинил.

– Вот подождите, – сказал я. – Только подождите.

По воскресеньям на органе играл, как правило, не ученик, а один из преподавателей музыки. То есть либо доктор Пешек, чей сын, Диксон, учился с нами и был моим другом, либо мистер Холман, обладавший спутанными темными кудрями и внешностью профессора Калкулюса из комиксов про Тинтина.

При подходе к «Волшебному ковру» я увидел спешащего со стопкой нот под мышкой Холмана. Великолепно, подумал я. Великолепно.

Результат получился и вправду великолепный.

Уже при появлении хора Холман, обычно импровизировавший, пока прихожане рассаживались, тихую прелюдию, начал проявлять признаки беспокойства. В самой середке его мягких, словно блуждающих напевов что-то вдруг громко пукнуло – да так, что у мальчиков «Скул-Хауса», сидевших в двух первых рядах прямо перед строем принципалов, сдуло назад волосы, и все они уставились на Холмана взглядами самыми гневными. Он явно занервничал. Прикрывая лица ладонями, мы смотрели на него сквозь пальцы и видели, что он уже теряет веру в свои излюбленные предварительные установки. Однако для того, чтобы хоть как-то переменить их, времени у него не было: капеллан, служки, хор и свеченосцы уже стояли по местам, пришло время службы и шествия по храму. Холман поднял обе руки вверх, согнул – чуть слышно треснули костяшки – пальцы и…

«Пиииииииииииии…»

Волнующий гимн Генделя «Тебе Бога хвалим», чьи раскатистые звуки поднимают верующих на ноги, вылился в писк застенчивой мышки, словно бы доносившийся из-за стенной панели. Один из директоров, замыкавший процессию, бросил быстрый взгляд на органную галерею, и лицо Холмана, отражение коего все мы могли видеть в зеркале, заалело. Пальцы одной его руки метались по рукояткам регистров, отчаянно дергая за них, другая рука импровизировала аккомпанемент, сколько-нибудь пристойного результата не достигая, ноги топотали по педалям, порождая лишь визгливые короткие нотки, напоминавшие жалостное сопение впервые попавшей в неумелые руки губной гармошки.

Вся школа, недоумевая, поднялась на ноги – вся, кроме меня, Ричарда Фосетта и Джо Вуда: мы залезли под скамью, кусали там подушечки, на которых только что сидели, и плакали от счастья.

Дальнейшие приливы упоения омывали нас, когда мы во

время проповеди и поучений видели, как Холман, украдкой приподнимая крышку кафедры, пытается что-то отрегулировать, – выглядел он при этом точь-в-точь как гадкий мальчишка, разглядывающий спрятанный в парте порнографический журнальчик.

Несколько недель спустя школа взволнованно предвкушала Свободный День. Страна, которой предстояло отпраздновать волнующую серебряную свадьбу королевы и герцога Эдинбургского, в патриотическом рвении объявила понедельник праздничным днем. А мне и Джо Вуду уж тем более было что предвкушать, поскольку Джефф Фроуди разрешил нам съездить в Лондон.

Я должен был присутствовать на собрании «Общества Шерлока Холмса» и пригласил Джо составить мне компанию – в качестве гостя.

Я вот уже многие годы состою в этом сообществе тихих помешанных. Довольно долгое время я был самым молодым его членом, однако ныне некий сопливый юный прохвост лишил меня – посредством интриги почти акробатической – сего отличия. Руководили этой организацией люди чудаковатые – взять хоть его президента лорда Гор-Бута, который каждый год, когда все «Общество» отправлялось в Швейцарию, дабы воспроизвести последнюю роковую схватку профессора Мориарти и Холмса у Рейхенбахского водопада, облачался в костюм Шерлока. С умершей раньше срока удивительной дочерью Гор-Бута, Селией (думаю, она все же приходилась ему дочерью, а не племянницей), я познакомился уже много позже, когда она работала в замечательной актерской труппе, носившей несколько озадачивающее название *«Théâtre de Complicité»*.[271]

Еще одним светилом «Общества» был редактор «Журнала», маркиз Донегальский. «Журнал» публиковал пылкие статьи по злободневным вопросам холмсоведения, кроме того, в нем имелся раздел писем, называвшийся «Чайная ложка» в честь того предмета, которым Ватсон в самом начале знакомства с Холмсом гневно взмахнул перед его носом, произнеся великолепную фразу: «Что за дикая чушь!» (если я правильно помню), дабы описать только что прочитанную им статью, которая, естественно, оказалась Холмсом же и сочиненной.

Как правило, заседания происходили в старом клубе «Королевское содружество» на Вильерс-стрит, неподалеку от Стрэнда (что, по-моему, вполне уместно, поскольку Холмс впервые появился на страницах «Стрэнд Мэгэзин»).

Так или иначе, как говаривал в «Дне сурка» Нед Райерсон,

Фроуди разрешил нам присутствовать на субботнем вечернем заседании «Общества». Мы с Джо забронировали номера в отеле на Рассел-сквер и должны были вернуться в школу под вечер понедельника, что давало нам почти три дня в Лондоне.

Да только не вернулись, потому что нам ударила в голову моча: мы отправились в кино и четыре дня подряд смотрели – снова, и снова, и снова, и снова, и снова – «Заводной апельсин», «Крестного отца» и «Кабаре». Что за год для кинематографа, 1972-й! Дети на все эти фильмы, разумеется, не допускались, однако наша с Джо внешность как раз позволяла нам сойти за восемнадцатилетних.

Не понимаю, что на нас нашло. Мы словно попались в лапы некой неуправляемой силы и просто *не могли* оторваться от этих фильмов. Думаю, мы посмотрели четыре-пять раз и «Кота Фрица», [272] однако именно эта троица пробила нас, как пробивает середку судна гигантский айсберг. И следует отдать нам должное, лучших фильмов мы выбрать не могли.

Не знаю, винили ль во всем «другого ребенка» родители, мои и Джо, считали ль, что один попал под Дурное Влияние другого (не уверен, что мои вообще задумывались о Джо), думаю, однако, что сами мы пришли к одному с ним выводу: происшедшее с нами было всего лишь простым примером маниакального влечения. Если бы один из нас все же решил возвратиться в школу, другой, скорее всего, остался бы. Совершенно новый мир и его возможности полностью загипнотизировали нас. Случалось, что меня захватывало искусство, захватывала поэзия, музыка, комедия, крикет и любовь, и хватка их не ослабела и поныне, однако *кино*. Кино присуща странная власть особого рода. Может быть, мы отыскали свой собственный рок-н-ролл, нечто не столь солипсичное, трагичное и возвышенное, как музыка, и не столь эгоцентрично хулиганистое, как комедия. Не могу объяснить. До того времени меня полностью удовлетворяли и тешили «Пушки Навароне» и «Живешь только дважды»;[273] теперь же фильмы словно достигли, подобно мне самому, половой зрелости, стали Настоящими. Разумеется, изменения претерпел на самом-то деле *я*, а не кино, хотя нельзя отрицать и того, что смотрели мы фильмы достойного урожая, что в их стиле, в трактовке темы присутствовало нечто новое. И по мере того как перед моими изумленными взорами разворачивался, сцена за сценой, «Крестный отец» – начиная со свадьбы и кончая знаменитой финальной закрывающейся дверью и кожаным креслом, – «Аппингем» все уменьшался, уменьшался и уменьшался в размерах.

Думаю, я даже о Мэтью забыл.

Я помню, что мне хотелось смотреть эти фильмы с ним, хотелось *показать* их ему, однако, просматривая их снова, снова и снова – из первого ряда, с запрокинутой назад головой, – я забывал обо всем, кроме мира каждого фильма.

Когда мы вернулись в «Аппингем», еще помаргивавшие от яркого света и от постепенного осознания собственного безумия, все уже было кончено. В моем случае последняя соломинка наконец-то с хрустом переломила верблюжью спину пополам – меня мгновенно изгнали из школы, не позволив даже попрощаться ни с кем из друзей.

В случае Джо наказание приняло вид высылки до конца триместра.

Никогда не забуду единственных произнесенных отцом слов – в машине, пока он снова вез домой своего способного кого угодно довести до безумия, неблагодарного, чудовищного среднего сына.

– Мы обсудим эту прискорбную историю позже.

Мы обсудили ее позже, эту прискорбную историю, конечно же обсудили. Лишь одна ее сторона обсуждению не подверглась, и ею было, как ни странно, кино. Для моего отца – и я понимаю почему – все сводилось к непослушанию, бунту, безудержности, стремлению привлечь к себе внимание… к такого рода вещам. Он видел во мне тягу к саморазрушению, однако не пожелал изучить орудие, которое я для этого избрал. Думаю, такое нежелание выглядело бы разумным и правильным в любом человеке, и все-таки странно, что о фильмах мы не поговорили ни разу.

Можно, пожалуй, небезосновательно утверждать, что в каждом из них присутствовало нечто, обращенное непосредственно ко мне.

В «Кабаре» этим нечто была гомосексуальность, принявшая форму сразу и божественного декаданса, и чувства вины, придушенного английского стыда; равно как и чувства вины, и придушенного *еврейского* стыда; этим нечто были и непонимание, и любовь, соединившая ограниченного англичанина, не умеющего ни кричать, ни выражать свои чувства, и романтическую фантазерку Салли Боулз, – оба были равно обречены и равно страдали, и оба были половинкой меня самого.

В «Заводном апельсине» присутствовали: скверный, неуправляемый, бунтующий, нетерпимый и нестерпимый подросток с его безумной и шумной любовью к Бетховену (там, кстати, и без Россини не обошлось) и общество, которое стремилось ограничить и выхолостить его, изгнать его бесов *и* ангелов, не позволить ему остаться самим собой.

В «Крестном отце»… черт, бессмысленно, в «Крестном отце» присутствует все.

Это ведь Вуди Аллен сказал однажды, что вся литература есть подстрочная сноска к «Фаусту»? Быть может, всякое отрочество есть диалог между Фаустом и Христом. Мы трепещем на пороге открывающейся нам возможности обменять ту часть нашего «я», которая является подлинной, уникальной, рассерженной, непокорной и цельной, на достижения, обретения, успехи и золотые призы единения и признания. Но в то же время мы напрягаем все силы нашего творческого воображения и составляем список жертв, которые нам придется принести: боль от толчков чужих плеч и страх перед ними; вторжение в жизни и души ближних; покорная готовность узнать, во имя истины и любви, отверженность и презрение; и уж в самых глухих дебрях души – гневное неприятие лицемерия, обманов и компромиссов мира, в котором мы видим столько фальши.

Нет ничего более лицемерного и ничего более верного, чем воображение подростка.

Попытка разрыва

1

Взамен «Аппингема» родители выбрали школу «Пастон», расположенную в норфолкском рыночном городке Норт-Уолшем. Классическая школа прямого субсидирования (так что экзамен для одиннадцатилеток я сдавал все же не зря) – единственным ее притязанием на славу был давний выпускник школы, «Норфолкский герой», как его именовали в этих местах, Горацио Нельсон.

Из «Аппингема» меня выставили («попросили уйти», так это называлось) в ноябре 1972-го, так что в «Пастоне» я, естественным образом, оказался в начале весеннего триместра 1973-го. Школа, не имевшая привычки допускать в шестой класс пятнадцатилетних отроков, предложила мне заново сдать летом 1974-го все экзамены обычного уровня – только *тогда* можно будет подумать и об уровне повышенном.

Хорошенькое дело, а? Удар по моей гордыне был нанесен колоссальный – правда, и другой гордыни, в большей степени заслуживавшей хорошего пинка, на свете не существовало, – однако в то время я смотрел на это иначе. Едва услышав новость, я мгновенно, еще не переступив порога «Пастона», возненавидел и запрезирал все, с этой школой связанное.

Думаю, к тому времени родителей начало беспокоить влияние, которое я мог оказать на мою сестру, Джо. Ко времени моего изгнания из «Аппингема» ей исполнилось восемь лет, и она оставалась преданной мне всей душой. Поскольку Джо была девочкой, необходимости отдавать ее в школу с пансионом никто, по странной логике подобных вещей, не видел, а потому она посещала Нориджскую женскую среднюю школу – частное заведение, ученицы которого носили самую эффектную зеленую форму, какую только можно вообразить. А так как я должен был учиться в «Пастоне», где пансиона также не имелось, нам с Джо предстояло, что ни день, вместе завтракать и вместе проводить вечера. Мой автобус ходил из Коустона в Норт-Уолшем, Джо увязла в сложной сети доставки девочек в школу, сплетенной родителями, которые жили в окрестностях Бутона, однако, по существу, мы с ней плыли теперь в одной лодке. Роджер, естественно, остался в «Феркрофте», где стал вскоре домашним Попкой, а затем Попкой школьным и «капитаном» Дома, – с ним я мог видеться только во время каникул.

«Пастон» полностью оправдал все мои предвзятые предчувствия – как то с предвзятыми предчувствиями неизменно и случается. Ни единая мелочь мне в этой школе не нравилась. Я

и не помню о ней почти ничего, не считая того, что именно там я пристрастился к курению и научился играть в «пинбол» – не в самой школе, а в городке Норт-Уолшем. Очень скоро я начал прогуливать занятия. Я садился в Коустоне в автобус, сходил с него либо в Эйлшеме, либо в Норт-Уолшеме, отправлялся прямиком в кафе и проводил там день, играя в «пинбол», слушая записи Сюзи Кватро, групп «Слэйд», «Свит» и «Виззард» и куря бесчисленные «Карлтон премиус», «Шестой номер» и «Королевское посольство».

«Пастон» сносил мою наглость примерно полтора триместра и только потом высказал в письме к родителям предположение, что, возможно, мне было бы интереснее учиться в какой-то другой школе.

Мне и хотелось бы написать о «Пастоне» побольше, однако я попросту ничего об этой школе не помню. Временами, направляясь к друзьям, в старинный ткацкий городок Уорстед, я проезжаю через Норт-Уолшем, и школа эта попадается мне на глаза, но рассказать вам что-либо о назначении того или иного ее здания я не могу. Полагаю, в ней имелись актовые залы, спортивные площадки и все прочее, но в целом это заведение оставило в моем сознании всего лишь пустое место. Все мое существо было полностью сосредоточено на Мэтью Осборне, а больше для меня ничего во всем мире не существовало.

Я думал написать ему, но не смог даже приступить к выражению моих мыслей – или, если мне это удавалось, не решался написанное отправить. Поэтому я избрал лучшее из того, что мне оставалось, и начал сочинять стихи.

После того как «Пастон» отверг меня, мои долготерпеливые родители решили, что, я, возможно, нуждаюсь в более взрослой обстановке колледжа для старшеклассников – места, в котором учеников называли студентами, а уроки лекциями, в котором курение не возбранялось, а независимость ума и эксцентричность почитались терпимыми. Ближайшим заведением, готовым принять меня на еженедельный пансион, оказался «Норкит» – «Норфолкский колледж искусств и технологии», находившийся в Кингс-Линне. Помню, как во время нашего визита к его проректору мама поинтересовалась возможностью сдачи вступительных оксбриджских экзаменов. Проректор иронически фыркнул и ответил, что он просмотрел мои документы и, *по правде сказать*, не думает, что эта возможность заслуживает обсуждения. Никогда не забуду краску возмущения, залившую лицо мамы, – такой близкой к вспышке гнева я не видел ее уже очень давно.

Мне нужно было занять чем-то лето 1973 года – прежде чем

начать двухгодичную подготовку к экзаменам повышенного уровня по английскому, французскому и истории искусств. Я подыскал работу в «Коустонской винодельне», маленькой фабричке, производившей на самом деле оборудование для домашнего пивоварения и домашнего же виноделия. Работа состояла в изготовлении картонных коробок, я понаделал этих хреновин целые миллионы. Все остальное время я писал стихи и пытался начать сочинять роман – один, другой, третий. Всегда на одну и ту же тему. На тему большей части «Лжеца» и всей этой книги.

В них неизменно присутствовал я и неизменно присутствовал Мэтью. Если бы я пространно процитировал здесь какое-нибудь из этих сочинений (а я только что провел, роясь в них, семь крайне неприятных часов), я причинил бы тебе, дорогой читатель, очень, очень серьезный ущерб, – да и себе тоже.

Большинство стихотворений носило гневные, напыщенные отроческие названия вроде «Песнь несоответствия и целесообразия» и «Разомкнутый строй: Равнение направо», последнее содержит шутку, которую способен понять лишь тот, кто когда-либо проходил муштру в «Объединенном кадетском корпусе» или служил в армии.

В то же лето я написал следующее:

Самому себе:

Не читать, пока мне не исполнится двадцать пять лет

Я знаю, что ты почувствуешь, когда прочтешь это. Ты смутишься. Ты презрительно усмехнешься и станешь сыпать сарказмами. Что же, скажу тебе так: все, что я чувствую сейчас, все, чем я сейчас являюсь, правдивее и лучше того, чем я когда-либо стану. Когда бы то ни было. Сейчас я – это я, настоящий. Каждый день, который отделит меня от того, кто пишет это, будет предательством и поражением. Думаю, ты, изобразив умудренное отвращение или, в лучшем случае, позабавленную терпимость, сомнешь мое письмо в комок, но в глубине души ты будешь знать, будешь знать, что сминаешь то, чем ты действительно, действительно был. Сейчас я пребываю в возрасте, в котором воистину существую. Отныне моя жизнь будет разворачиваться у меня за спиной. И я говорю тебе сейчас, и ЭТО ПРАВДА – большая, чем все, что я когда-

либо напишу, прочувствую или узнаю. ТО, ЧТО Я ЕСТЬ СЕЙЧАС, – ЭТО Я, ТО, ЧЕМ Я СТАНУ, – ЛОЖЬ.

Я могу лишь смутно, очень смутно припомнить, как это писалось. Весь склад моего тогдашнего сознания снова накатывает на меня всякий раз, как я гляжу на эти слова, и накатил с еще большей силой, когда я только что вводил их для вас. Я не стану заходить слишком далеко – не назову это прустовским *petite madeleine*,[274] одним из данных нам свыше живящих память подарков, поскольку память всегда была здесь, со мной; и все же оно обладает властью воссоздавать ощущение втекающего в желудок горячего свинца, благой боли, бывшей и пугающим демоном, и желанным спутником моего отрочества. Я наткнулся на этот странный отрывок совсем недавно, роясь в моих старых бумагах, записках, стихах и альбомах, и сейчас смотрю на него со странным чувством. Да и что бы почувствовали вы, прочитав такое послание к себе?

Прошлое – заграница, там все делают иначе. «Посредник», [275] роман, чья знаменитая начальная фраза давно уже стала моей любимицей. Собственно, примерно в то время, когда я написал приведенное выше письмо к себе, в Норфолке снимали (по сценарию Гарольда Пинтера[276]) экранизацию этого романа. Я прочитал книгу и съездил на велосипеде в Мелтон-Констебл – посмотреть, не понадобятся ли там статисты. Разумеется, не понадобились.

Я знал, что прошлое – заграница, и знал также: отсюда логически вытекает, что и будущее окажется заграницей; иными словами, знал, что моя судьба – стать иноземцем, чужим самому себе человеком. К возрасту моему я относился со страстным патриотизмом, с яростной верой в правоту и справедливость отрочества, в чистоту его видения, в неизмеримые глубины и неодолимые вершины его отчаяния и радости. Краски, которые с такой силой сияли и трепетали перед его глазами, были подлинными красками жизни, я знал это. А поскольку я много читал, знал также, что настанет день, когда я увижу мир в иных красках, приму гражданство иной страны, страны взрослых, – и ненавидел за это будущего себя. Мне хотелось остаться в отрочестве, сражаться за его права, и я знал, что стоит мне покинуть его, как меня станут заботить лишь права моего нового возраста, моей взрослости со всей ее фальшью и провалами.

В то время преданность молодости означала обычно преданность идеям, и по преимуществу идеям политическим. Взросление рассматривалось как компромисс и ханжество, поскольку считалось, что оно неизбежно влечет за собой измену

идеалам, – ныне это идеалы, связанные с сохранением окружающей среды, тогда, повторяю, они были связаны с политикой. Однако для меня все они не значили ровно ничего. Политика, окружающая среда, «бомба» или нищета третьего мира не занимали меня даже в малой мере. Для меня важно было только одно – Мэтью, Мэтью, Мэтью, – но я подозревал, и совершенно, надо сказать, справедливо, что в один прекрасный день важность его сойдет на нет. Я, правда, не подозревал, что в день куда более далекий и более прекрасный, многие, многие годы спустя, любовь возвратится ко мне и снова окажется самой важной вещью на свете. Множеству соленой воды предстояло протечь под мостом – в данном случае под мостиком моего кривого носа, – прежде чем придет этот день.

Видите ли, в чем дело, я был полон решимости сделать в «Норките» Все Возможное и считал, что это потребует массы фундаментальных изменений моего существа. Я считал, что обязан придавить мои сексуальные наклонности и обратиться в гетеросексуала. Считал, что должен предать забвению все помыслы о Мэтью, убедить себя в том, что они были частью жизненного «этапа», одной из тех «пылких привязанностей школьной поры», которые ты «перерастаешь», и считал, что для этого я обязан смиренно склонить главу и *трудиться*.

Тогдашние мои сочинения были попытками отторжения, приближения к катарсису, изгнания бесов – назовите их как хотите. Они представляли собой прощание. Я знал или полагал, будто знаю, что вскоре мне предстоит изменить моему прежнему «я» и погрузиться в мир достойного поведения, дотошно исполняемых домашних заданий, исправного посещения занятий и свиданий с девушками. С таким же успехом куст шиповника мог убеждать себя, что назавтра он обратится в опрятную грядку тюльпанов, однако я полагал, что такова моя судьба. И в то же самое время знал, знал с абсолютной точностью, что во мне сидит некое качество и что каким бы грязным, неуправляемым и невыносимым я ни был, это качество *правильное*. Восприятие природы, глубина эмоций, яркость и напряженность каждого мига – я знал, что с возрастом все они изотрутся, и наперед ненавидел себя за это. Мне хотелось вечно жить все в том же стремительном Китсовом ритме. Возможно, Поуп был прав, полагая, что полузнание штука опасная, поскольку хоть прочитал я и многое, но далеко не все: достаточно для того, чтобы *соотнести* мой опыт с опытом других, но недостаточно для того, чтобы *довериться* их опыту. И когда, к примеру, Робин Моэм в его автобиографии «Бегство из тени» писал о своих школьных влюбленностях и страстях, о ненависти к отцу и отношениях со знаменитым

дядюшкой, об отчаянных попытках найти место в чужом ему мире, я соотносил все это с собой; однако, когда Моэм, дожив до двадцати, стал более-менее писателем, повоевал танкистом в пустыне, а затем принялся снова вглядываться в «тень», из которой благополучно бежал, я счел его предателем. Ему следовало остаться и сражаться именно там – не просто за Англию, но за республику отрочества. А он вместо этого совершил преступление – повзрослел. Я предвидел, что такое же изменническое будущее ждет и меня, и страшился его и на него гневался.

Единственный мой тогдашний «труд» – слово использовано мной не к месту, – какой я могу показать вам, это несколько строк из эпической поэмы, начатой в то лето, поэмы, в которой я заносчиво решил подделать построение и иронический слог байроновского шедевра – «Дон Жуана», – что подразумевало преодоление сложностей *ottava rima*,[277] формы строфы, с которой я, как вы сейчас увидите, ничего пристойного сделать не смог. Она вполне годилась для Байрона, но ведь Байрон – это Байрон; ею великолепно владел Оден, однако Оден мастерски владел всеми формами стиха. А я… что ж, я спотыкался на каждом шагу.

«Эпопея без названия» (такое, с сокрушением должен признать, название она у меня получила), которую я только что целиком перечитал (и к великому моему огорчению) впервые со времени ее создания, оказалась куда более автобиографичной, чем мне помнилось. Сцена, коей я вас буду сейчас терзать, – это попытка поэтического изложения того, что проделал со мной рыжеголовый Деруэнт. В поэме я назвал его Ричардом Джонсом и обратил в «капитана» Дома. Подобно Ишервуду в «Кристофере и ему подобных», я именую себя в этом эпосе «Фраем», «Стивеном», а иногда, совсем как Байрон, «нашим героем».

Считайте, что мы уже добрались до строфы пятидесятой с чем-то – у меня было задумано двенадцать Песен в сто строф каждая. Ричард Джонс послал Фрая в свой кабинет – якобы в наказание за то, что Фрай слишком долго провалялся в постели. Фрай, одетый в ночную пижаму и халат, стоит у двери кабинета, надеясь, что порка, которая его ожидает, будет не слишком жестокой. Приношу вам извинения за позерство и бессмысленные цитаты из всего на свете, от «Антония и Клеопатры» до «На погребение английского генерала сэра Джона Мура».[278] Натужная многослоговость окончаний некоторых строк есть дань Байрону с его куда более успешным комическим использованием гудибрасовой строфы.[279] Мне было пятнадцать лет, только это меня и извиняет.

Под дверью кабинета Стивен встал,
Молясь, чтоб зад его остался невредим
Под плеткой Джонса лютого.
Он ждал, Томясь, и в страхе мял свой нежный тыл.
Пинал обшивку и побелку изучал,
Притопывал ногой, глазел, уныл,
Как муравьи грызут паркетный лак,
И клял Всевышнего, создавшего табак.

Устав, подумал он: «Забыли обо мне».
Помстилось: «Джонс заснул». Но в тот же миг
Набойки лязгнули по камню. Нет!
Он замер. Стыла в жилах кровь, и крик
Из сердца рвался долгий. Как в страшном сне.
Спокойней. Бедный Фрай главой поник.
И ритм один лишь слух его терзал —
То пятистопным ямбом Джонс шагал.

С размаху капитан наш дверь толкнул.
Дивится Фрай: трофеев – о-го-го!
Ракетки, ружья – в пору на войну,
Искусству дань: нечитаные Бёлль, Фуко
Стоят для шику. И все же – ну и ну,
По стенам фотки в стиле ар-деко…
Но над окном – глаза куда бы деть! —
Змеею вьется кожаная плеть.

Однако Ричард Джонс вовсе и не думает наказывать нашего героя. Он просит его успокоиться. Им предстоит лишь разговор – братский разговор.

«Ты кофе пьешь? Тогда и торт возьми!
Вот так, расслабься!.. Стивен, – я могу
Тебя так называть? – я не палач, плетьми
Не балуюсь. Но гнобить мелюзгу
Не позволяю. Ты только намекни —
И я гонителей твоих согну в дугу.
К отбою опоздал вчера? Плевать!
Сегодня как захочешь ляжешь спать».

Что за глаза у Джонса – моря синь!
Не Гитлер-монстр глядит на Фрая – брат.
Все опасенья прочь, и страх из сердца вынь!
Бывало, этот васильковый взгляд

Пугал героя нашего. А ныне
Смотреть на Джонса Стивен только рад.
Милейший, чистый, добрый человек,
Какого, право, не сыскать вовек.

Далее рассказывается о неловко расплесканном кофе – подразумевается, что оба персонажа сидят в одном кресле. Ричард дает Стивену сигарету, тот закашливается, снова расплескивает кофе, голова у него идет кругом…

Они уселись в кресло, как на трон
(Видавший виды). Ричард приумолк,
Разглядывая Фрая. А у героя звон
В ушах, туман в глазах. И невдомек
Ему, что Ричард Джонс ошеломлен
Картиной дивной: волосы, как шелк,
Пижамы блеск атласный… что под ней?
То Фраю по фигу, но Ричард поумней.

«Какие волосы, – наш капитан пропел. —
Погладить можно?» «Почему бы нет?» —
Подумал Стивен и кивнул. Предел
Мечтаний. Но пролепетал юнец:
«Ведь вы же не…» – запнулся, покраснел.
Завидно прям был капитан в ответ:
Он мигом оседлал героя в кресле
И заглянул в лицо своей невесте.

Я избавлю вас от утомительного знакомства с дальнейшим – происходит то, что мы можем назвать Актом Плотского Насилия, безжалостно совершаемым Джонсом над Фраем и наносящим последнему серьезную травму.

Он одевался, голову склонив.
Из Джонсова урока вынес юный Фрай
Сомненья семя: братство в школе – миф!
Выходит, сволочь Джонс и подлый враль.
Надежду было в сердце заронив,
Улыбчиво поверг его в печаль.
Чума на Джонса, страсть и похоть разом.
А жизнь – дерьмо и последы экстаза.

Отвел глаза и Джонс. То был сигнал:

«Вали». Прочь Фрай помчался, в угол свой.
С разбегу на матрас, ударившись, упал
Лицом в подушку и затих. «Со мной
Он поступил, как с бабой. Это братство, да?» —
С обидой, болью думал наш герой.
И так лежал он до глубокой темноты,
Лишенный сна, покоя, чистоты. [280]

Приходится повиниться: выдержки эти меня расстраивают (литературный стыд побоку), ибо они, похоже, указывают, что смерть, которую мое целомудрие претерпело от руки Деруэнта (от руки? – не самый точный выбор слова), потрясла меня сильнее, чем я полагал. А с другой стороны, читая дальше, я начал подумывать, что, быть может, драматическая и поэтическая вольность, допущенная мной в этом эпизоде, заложила основу для более нежных, лирических сцен, возникших, когда в поэме появился Мэтью. Интонация и форма «Дон Жуана», пусть толком не реализованные и топорно переданные, были, вероятно, правильным выбором, поскольку Байрон очень часто снижает эмоциональный и лирический накал, прибегая к смешной напыщенности, многосложной рифмовке, иронически перемежая грандиозное и банальное. А так как Мэтью был моим живым, в буквальном смысле слова, идеалом, этот комический стиль предохранял меня от обильных жалоб на мою горькую участь, от идеализации того, что уже было идеальным, от «олиричивания» лирического и поэтизации поэтичного: он сообщил мне некоторую объективность. И вот что странно – наверное, мне следует стыдиться этого признания, – я вовсе не уверен, что смог бы сейчас написать что-либо похожее на эти стихи, сколь бы дурны они ни были. Да я и пытаться, конечно, не стану, такая попытка надорвала бы гланды моей стыдливости. То есть со мной произошло именно то, чего так страшилось и что предсказывало для меня мое пятнадцатилетнее «я».

При всех недостатках этой поэмы, ныне она служит мне напоминанием о том, в какой полноте мое сознание, душа да и все мое существо продолжали принадлежать «Аппингему» – и не только в лето, последовавшее за изгнанием из «Феркрофта», а затем и из школы «Пастон», но и после. Ибо я не один еще год перепечатывал и правил ее (заменяя повсюду Стивена на Дэвида), я продолжал работать над ней до моих восемнадцати лет.

Единственной моей связью с «Аппингемом» был Джо Вуд, оказавшийся очень занятным корреспондентом. Ближе к концу нашей переписки я все-таки проболтался ему о моей страсти к

Мэтью. Думаю, я просто изнывал от желания показать кому-нибудь кусочек уворованной мной групповой фотографии спортивной команды – вырезанный из нее овал с лицом Мэтью, который я носил в бумажнике, как школьницы носят засушенные в книге цветы. Джо отозвался сочувственным покряхтыванием. К мальчикам его никогда не тянуло, однако он был добр и достаточно проницателен, чтобы различить за моим развязным, самовлюбленным пустословием искреннюю страсть. Возвращение Джо в «Аппингем» прошло гладко, он неуклонно приближался к экзаменам повышенного уровня и Кембриджу, продолжая, по обыкновению, читать, читать и читать. Временами он вставлял в рассказ о какой-нибудь новости имя Мэтью, аккуратно и без нажима. Интересно, знал ли он, что стоило мне просто увидеть это имя на бумаге, как сердце подскакивало у меня в груди.

Первый год учебы в «Норките» я прожил в доме пожилой супружеской четы, носившей фамилию (вам придется поверить мне на слово) Крут, что, если вы не в курсе, означает «шкварки». Мистер и миссис Крут раз в год «пускали» к себе студентов. В доме имелась спальня с двумя кроватями. Я делил ее с подростком по имени Йен, он был родом из Келлинга, что неподалеку от Хоулта, и питал страсть к мотоциклам. Едва я начинал погружаться в сон, как он будил меня восторженным воплем: «Кава 750!» – и сквозь ночь до меня доносился шум далекого двигателя.

Миссис Крут питала сразу три страсти: к струнному оркестру Мантовани,[281] к своей чи-хуа-хуа Пепе и к телепередачам про природу. Каждый вечер, когда по радио выступал оркестр Мантовани (в то время ему были отведены на Би-би-си 2 определенные часы), она торжественно сообщала, что любой его оркестрант вполне мог бы стать самостоятельно концертирующим солистом, и я произносил: «Здорово!» – и толкал локтем Йена, который подтверждал: «С ума сойти!» – к большому удовольствию миссис Крут. Когда же наступал черед программы из жизни животных, мы затаив дыхание ждали мгновения, в которое миссис Крут, увидев жука-навозника, катящего шарик вверх по склону навозной кочки, или лемура, кормящего своих деток, или приманивающую мух орхидею, повернется к нам и скажет: «Разве природа все же не прекрасна, а?» Мы усердно кивали, а она добавляла: «Нет, ну все же прекрасна, а?»

Этого ее «все же» я никогда не понимал. Не поддавалось оно грамматическому разбору. Полагаю, оно исполняло роль того, что у немцев называется «словом-переключателем». Оно что-то *делало* с предложением, однако сказать, что именно, было трудно. Я

знаю только, что миссис Крут так же не могла сказать «Разве природа не прекрасна?», не вставив в эту фразу «все же», как Тони Блэр – да благословят его небеса – не может ответить на вопрос журналиста, не сказав для начала: «Вот посмотрите».

У мистера Крута страстей было две: ярко-красный «робин рилайэнт»[282] и команда Кингс-Линна по спидвею. Последняя страсть позволяла ему и Йену пространно беседовать о мотоциклах, пока я издавал одобрительные шумы по поводу стряпни миссис Крут – почти несъедобной.

Что касается самого «Норкита», он занимал – и с немалым успехом – положение среднее между школой и университетом. Здесь хорошо преподавались английская и французская литература и история искусств, однако помимо курсов повышенного уровня предлагалось и большое число других, сопровождавшихся практическими занятиями, – на них учились техники, обслуживающий персонал ресторанов и гостиниц и так далее, – а также курсов «повышения квалификации». Здешние «студенты» происходили из самых разных слоев общества – со столь разномастной компанией мне до той поры сталкиваться еще не случалось. Никаких затруднений, касающихся различий в происхождении, я не испытывал, все принимали меня как своего, без вывернутого наизнанку снобизма, которого я поначалу побаивался.

Стоит отметить, что в «Норките» обучалось и множество девушек. С двумя из них – с Джудит и Джиллиан – я очень быстро подружился. Джудит обожала Гилберта О'Салливана[283] и хотела стать писательницей: она уже придумала себе героиню в духе Даниэлы Стил и Джеки Коллинз[284] – женщину по имени Кастелла, и зачитывала нам выдержки из того, что в то время сочиняла. Втроем мы купили в складчину сингл Терри Джекса[285]«Времена под солнцем», сильно нас тронувший. Думаю, Джудит подозревала о моей сексуальной ориентации, она была приятнейшей девушкой с густыми рыжими волосами – девушкой из тех, что становятся естественными наперсницами мужчин-геев. А вот Джиллиан стала на недолгое время моей подружкой, были у нас с ней диско-мгновения, носотерства и обжиманства, которые, впрочем, ни к чему не привели.

В Кингс-Линне я попал в орбиту совершенно удивительного сообщества интеллектуалов, регулярно встречавшихся в баре небольшого отеля и живо обсуждавших сочинения Фредерика Рольфе – печально известного барона Корво. Пропуском для меня стало уже то, что я о нем слышал. Эти мужчины и женщины, возглавляемые очкариком по имени Крис и чарующе полуфранцузским бароном по имени Пол, устраивали регулярные

«Вечеринки парадоксов». Пропуском на них служили не тайное слово или бутылка вина, но произносимые при входе полностью оригинальные парадоксы. Пол, отец которого был почетным консулом Франции (Кингс-Линн как-никак город портовый), великолепно играл на пианино – особой его специальностью были такие *outré* композиторы, как Алькан и Сорабджи,[286] однако ему случалось услаждать меня и песнями Вольфа и Шуберта. Подобно Корво, он собирался стать католическим священником. И подобно Корво же, стать таковым не сумел, однако горечи и негодования по этому поводу не испытывал, а со временем обратился в священника англиканского, что было ему, несмотря на происхождение, больше к лицу. Он умер до неприятного многие годы назад в своем лондонском приходе. Эта компания издавала периодический журнал, называвшийся «Неусопех-пресс» (именно так), в который я поставлял кроссворды. Большая часть содержимого «Неусопех-пресс» сочинялась с использованием «новой модели алфавита» – что это такое, объяснять слишком долго, выглядело же оно почти всегда примерно так: «phaij phajboo ajbo jjjbo», отчего даже посвященным чтение журнала давалось ценой немалых усилий. Остальное пространство заполнялось корвинистикой (материалами, посвященными трудам Корво). Впоследствии, спустя уже долгое время после того, как я уехал оттуда, журнал в принявшей странный оборот борьбе за свободомыслие впал в неистово полемический, желчный, озлобленный антисемитизм: любое название есть заложник фортуны, само себя осуществляющее пророчество. В ранние же свои дни он был беззаботным, порою забавным и неизменно стеснительно-интеллектуальным. В городах, подобных Кингс-Линну, такие настроения встречаются редко, и именно среди этих людей я обрел на время лучшего друга, а вернее, первую мою и единственную настоящую подругу, которую назову здесь, чтобы не вгонять никого в краску, Кэтлин Уотерс.

Мы с Кэтлин посещали практически одни и те же лекции, а жила она очень удобно – дом ее родителей стоял через дорогу от колледжа. Мы проводили в этом доме массу времени, слушая пластинки и разговаривая. К тому времени у нее начался особый период жизни: она курила сигареты «Собрание», красила ногти зеленым или черным лаком, носила шелковые платья причудливой раскраски и исповедовала взгляды, в которых группа «Блумсбери»[287] странно смешивалась с прерафаэлитами, – взгляды, характерные для определенного рода девушек, обладающих артистическим темпераментом, но не знающих, к чему его приложить. На мое шестнадцатилетие Кэтлин подарила мне прекрасное 1945 года зеленое с золотом

издание «Замыслов» Оскара Уайльда, которое я храню по сей день, и отличнейшим образом переспала со мной, о чем я, опять-таки по сей день, храню приятные воспоминания.

Мы сидели в ее комнате, слушая «Американский пирог» Дона Маклина, дивясь поэзии Винсента[288] и тому, как много она нам говорит, и Кэтлин вдруг сказала – как странно, что мы до сих пор ни разу не перепихнулись. Я уже успел признаться ей в том, что я, скорее всего, гомосексуалист, однако она в этом никакой помехи не усматривала.

Опыт получился более чем удовлетворительный. В нем не было ничего от того, что я навоображал, увидев в «Любителях музыки» Кена Рассела[289] до ужаса женоненавистническую сцену, из которой вроде бы следовало, что раз Чайковского влекли мужчины, его должно было рвать при одном прикосновении женщины. После испытанного мною с Кэтлин я уже не мог отрицать того, что особенности устройства влагалища, в отношении текстуры его и смыкающейся упругости, представляются словно нарочно придуманными для выполнения соответствующей задачи, – на самом деле, идеально пригодными для ее выполнения. Мы с Кэтлин остались друзьями и повторили это дело еще пару раз, в поле и в машине. Душа у меня к нему по-прежнему не лежала, однако чресла испытывали немалую благодарность за экскурсию и разминку.

В лето, последовавшее за моим первым годом в Линне, я заработал – барменом в отеле «Замок» (мне было всего шестнадцать, но какого черта, в те дни это никого не волновало) – достаточно денег, чтобы купить мопед «рейли-ультраматик», на котором и проезжал теперь еженедельно тридцать с чем-то миль, отделяющих Бутон от Кингс-Линна. На втором году учебы я распростился с Крутами, Пепе и Мантовани, переселившись в общежитие колледжа. Здесь у меня появилось двое близких друзей, Филип Саттон и Дэйл Мартин, занятные, обаятельные, веселые и изобретательные ребята. Должен признаться, что Дэйл Мартин стал едва ли не первой моей изменой Мэтью, ибо показался мне на редкость привлекательным. Он походил на семнадцатилетнего Брэда Питта – обличье, чего никто отрицать не станет, более чем приемлемое и импозантное. Любовь к Мэтью все еще жгла мое сердце, но уж больно приятно было смотреть на Дэйла. Он жил на самом верхнем этаже общежития и был обладателем кухоньки, в которой Фил с Дэйлом многие недели терпеливо обучали меня искусству варки яиц и разогревания консервированной фасоли – каковое и сейчас вызывает у моих друзей болезненную зависть и преклонение.

И Фил, и Дэйл были норфолкцами до мозга костей, однако и

они простили мне мое происхождение и приняли меня как своего. Наше представление о воистину добром препровождении времени выглядело так: сидеть час за часом в тыльном зале «Мешка с шерстью», паба, стоявшего бок о бок с колледжем, и играть на деньги в старинную разновидность трехкарточного покера. Суммы за этим столом спускались небольшие, но достаточные, чтобы проигрывавший впадал в расстройство. Спиртное меня тогда нисколько не интересовало, так что обычно я пил пинтами «горький лимон» с апельсиновым соком, – по-моему, это называлось «Сент-Клементсом». Я обнаружил, что мне страшно нравится общество полностью гетеросексуальных мужчин, чьи разговоры бесконечно вертелись вокруг спорта, анекдотов, поп-музыки и карт. Откровенно разговаривать о женщинах у них было не принято, не из стыдливости, но, я думаю, по причине той грациозной благовоспитанности, что строжайше лелеется образованными классами общества, включившими в состав многочисленных правил колледжа касаемо наложения штрафов и административных взысканий следующее: «Никогда не трепать имя женщины». На Рождество Фил и Дэйл подыскали для меня работу официанта в кроумерском «Отель де Пари». За неделю я заработал сто фунтов – и видит Бог, я их действительно заработал. Думаю, я прошагал между кухней и рестораном миль двести, сервируя столы от времени завтрака до часов позднего, совсем позднего ужина. Деньги я потратил на марихуану, сигареты и все те же (стыдно признаться) сладости.

На второй мой норкитский год меня избрали в комитет «Студенческого союза». Пару дней назад я наткнулся на следующее сообщение, когда-то с гордостью вырезанное мной из «Линн Ньюс энд Адвертайзер»:

«Изгоняющий дьявола» в Западном Норфолке запрещен не будет

В среду члены сформированного Окружным советом Западного Норфолка комитета по охране общественного здоровья впервые воспользовались имеющимся у них правом цензуры кинофильмов.

Они просмотрели породивший множество споров фильм «Изгоняющий дьявола» и разрешили его показ.

Закрытый просмотр членами комитета этого двухчасового фильма происходил в кинотеатре «Мажестик», Кингс-Линн, – комитету предстояло решить, принимает ли он свидетельство, выданное фильму

Британским бюро киноцензоров.

Жалобы

На состоявшемся после просмотра совещании члены комитета согласились с тем, что фильм, имеющий свидетельство «X», может быть показан в Западном Норфолке.

Право запрещать показ фильмов в лицензированных кинотеатрах комитет получил в апреле. «Изгоняющий дьявола» стал первым фильмом, который комитет посмотрел после того, как на фильм поступили три жалобы.

В просмотре участвовали также три кооптированных члена комитета – викарий церкви Св. Маргарет каноник Деннис Ратт, консультант-психиатр Линнской больницы доктор медицины Д. О'Брайен и представитель «Студенческого союза» Стивен Фрай.

Каноник Ратт сказал, что не видит причин для запрета фильма на этических основаниях.

Доктор О'Брайен сказал следующее: «Этот фильм может внушить тревогу людям впечатлительным, однако людей впечатлительных оградить от чего бы то ни было вообще невозможно. Некоторое количество чувствительных девушек будет падать в обморок, и их придется выносить из зала, однако это их не убьет. Предположительно, им даже нравится трепетать от страха, я в этом серьезной угрозы не вижу».

Мистер Фрай сказал: «Фильм не только не внушил мне беспокойства, он заставил меня еще выше ценить добро, я не стал бы даже рассматривать вопрос о его запрете».

Впрочем, председатель комитета мистер Г. К. Роуз, в голосовании не участвовавший, с этими высказываниями не согласился: «Я считаю, что фильм оскорбителен для хорошего вкуса множества людей, меня он привел в ужас, ясно, однако, что я оказался в меньшинстве».

Критерии

«Если мы одобрим такой фильм, то я вообще не понимаю, зачем нужна цензура. Раз людям нравится,

когда им щекочут нервы, пусть смотрят что хотят, а там увидим, правы мы или нет», – сказал мистер Роуз.

Каноник Ратт добавил: «То, чем мы здесь занимаемся, лишь создает фильму ненужную рекламу».

В основу принятого комитетом решения легли ответы на следующие вопросы: является ли фильм непристойным, оскорбляет ли он хороший вкус и приличия и способен ли он породить преступления и беспорядки?

Поскольку фильм получил свидетельство «X», увидеть его смогут лишь взрослые.

Я все еще оставался лицемерным маленьким хлыщом. Когда меня кооптировали в этот комитет, мне только-только исполнилось семнадцать. Почему там решили, что семнадцатилетний юнец может быть хорошим судьей фильма, который по закону разрешено смотреть только взрослым, я и представить себе не могу. В «Студенческом союзе» я отвечал за показ фильмов. Видеокассет тогда еще не было, поэтому я заказывал в «Рэнке» бобины кинопленки и организовывал кинопросмотры в актовом зале колледжа. Полагаю, по этой причине я и представлял студентов в Великих Дебатах об «Изгоняющем дьявола». Я хорошо помню тот просмотр. Фильм я уже успел дважды увидеть в Лондоне, так что сюрпризов для меня он не содержал. Зато смотреть на выражение, украсившее лицо советника Г. К. Роуза, когда одержимая девушка, которую играла Линда Блэр, проворчала священнику голосом пересохшей автоматической кофеварки: «Твоя мать сосет сейчас члены в аду, Каррас», было одно удовольствие. Бедный старый забулдыга, его руки еще тряслись, когда после просмотра фильма он в зале заседаний комитета опускал в свою чашку кофе зернышки имбиря. Остается только догадываться, какое впечатление произвели бы на него «Автокатастрофа» и «Бешеные псы»…

В ту кингс-линнскую пору я пристрастился одеваться по последней моде – в костюмы с очень широкими брюками, вдохновленные ролью Роберта Редфорда в «Великом Гэтсби», который только что вышел на экраны. Я носил жесткие пристежные воротнички, шелковые галстуки, начищенные до блеска туфли и, временами, известного рода шляпу. Думаю, я походил на помесь Джеймса Каана из «Крестного отца» и гомосексуального любителя *crume de menthe*[290] из Челси, которого кто-то опрометчиво снабдил немалой рентой.

Театром в «Норките» ведал одаренный энтузиаст по имени Роберт Ролс. Он дал мне роль Лизандра в «Сне в летнюю ночь» и

Креонта в сдвоенном представлении софокловских «Эдипа» и «Антигоны». В каком-то уголке моего сознания еще таилась вера в то, что я стану актером. Мама все старалась уверить меня, что *на самом деле* я хочу стать барристером, – это, внушала мне она, *во многом* почти одно и то же, – и я обдумывал ее идею. Однако в самой глубине души я знал, что для меня значение имеет только актерство, – да и мама, полагаю, тоже это знала. Литературные мои опусы я считал бесконечно более важными, однако слишком интимными, чтобы показать их кому-то или напечатать. Я полагал, что актерство есть просто выставление себя напоказ, а писательство – это укромный личный бассейн, в котором можно смывать все свои грехи.

Странно, что хоть я и провел в «Норките» два полных учебных года, воспоминания мои о нем куда более расплывчаты, чем об «Аппингеме», в котором я пробыл лишь на месяц примерно дольше.

Ко второму году в Кингс-Линне я совершенно пал духом. Мне исполнилось семнадцать, я уже больше не был самым младшим в классе, не был замысловатым, но забавным проказником, не был стеснительным, но чарующим проходимцем, никто больше не оправдывал мои недостатки отроческими годами. В семнадцать ты уже, считай, взрослый человек.

Все и вся, что я ценил, взрослело и отдалялось от меня. Джо Вуд собирался в Кембридж, Мэтью отправлялся туда же на следующий год. Ричард Фосетт намеревался поступить в Сент-Андрус,[291] брат надумал пройти в армии курс офицерской подготовки. Я же был неудачником и понимал это.

Какая-то ссора с отцом, происшедшая во время каникул – между пятым и шестым, последним, классом «Норкита», – привела меня к попытке самоубийства. Повода ссоры я не помню, однако после нее я решил, что с меня хватит – конец всему. У меня не было никаких причин вылезать поутру из постели, совершенно никаких. А кроме того, я с наслаждением, с исключительным, до дрожи, упоением рисовал себе сокрушения, которые одолеют отца, когда тело мое обнаружат и он и все остальные поймут: это *его* вина.

Я набрал побольше таблеток и пилюль, в основном парацетамола, но также и интала. Инталом назывался капсулированный порошок, который полагалось втягивать легкими, чтобы предотвратить приступ астмы. Я решил, что их разрушительная смесь, если добавить к ней немного аспирина и кодеина, сделает все как надо. Не помню, оставил ли я записку, но, зная себя, думаю, что оставил наверняка – записку, полную ненависти, упреков и лицемерного страдания.

Если я и был в жизни законченной сволочью, никого не любящей и никем не любимой, то именно тогда. На меня было жутко смотреть, меня было жутко слушать и даже знаться со мной. Я не мылся, ни к кому не питал интереса, я вечно препирался с двумя людьми, которые готовы были с наибольшей безоговорочностью открыто проявлять любовь ко мне, – с мамой и сестрой, я давил в них любые всплески воодушевления моим цинизмом, надменностью, гордыней; я был оскорбительно груб с братом, да и со всеми, кто меня окружал. Я был первейшей на свете дрянью, исполненной ненависти к себе и к миру.

Я тосковал по Мэтью, желал его и знал: его больше нет. Буквальным образом нет, и это взгромоздило Пелион на Оссу, стало безумием из безумий, которое тоже толкнуло меня за самый край. *Мой* Мэтью исчез, нет больше Маттео.

Я увидел в спальне Роджера школьный журнал с его фотографиями. Мэтью среди членов крикетной команды, среди членов хоккейной, Мэтью, играющий на школьной сцене. Три улики, неотвратимо доказавшие, что его нет. Черты его *погрубели*, он подрос, раздался вширь. Теперь он спускался с вершины, к которой чудотворно восходил, когда я еще знал его. Может быть, тот вечер на поле за «Миддлом», когда он в белой крикетной форме катался по траве, задыхаясь и отчаянно мастурбируя вместе со мной, и был вершиной. Для нас обоих.

И ныне единственный по-настоящему существующий Мэтью существовал лишь в моем сознании. А это оставляло меня ни с чем – лишь с открытой раной горечи, разочарования, ненависти и глубоким-глубоким отвращением к себе и к миру.

Поэтому на тот *geste fou*[292] меня могла толкнуть любая, затеянная по любому поводу ссора с отцом. Все, что угодно, – от нежелания накачивать воду, когда пришла моя очередь заняться этим, до напыщенного разговора о моей «позиции».

Я помню, как сидел на краешке кровати, давясь сухим плачем и ярясь, ярясь, ярясь на совершенное безразличие природы и мира к смерти любви, надежды и красоты, собирая таблетки и капсулы и пытаясь понять, почему, *почему* мне, знающему, что я могу предложить столь многое, так много любви, излить в этот мир столько любви и энергии, никто любви не предлагает, не дает ее, не позволяет напитаться энергией, посредством которой я смог бы, я знал это, преобразовать себя и все, что меня окружает.

«Если б они только знали! – мысленно вскрикивал я. – Если бы знали, что у меня внутри. Как много я могу отдать, как много сказать, сколько во мне всего скрыто. Если б они только *знали*!»

Я раз за разом прикасался к моей груди и слышал за ее астматическим подрагиванием, как работает машина сердца,

легких и кровотока, и поражался тому, что ощущалось мной как безмерность силы, которой я обладаю. Не магической, не всей этой подростковой телекинетической чуши в духе «Кэрри»,[293] но силы *подлинной*. Для человека довольно уже и той силы, которая позволяет просто идти дальше, терпеть, но я-то ощущал в себе еще и силу *творить, создавать новое, восхищать, поражать* и *преобразовывать*. И тем не менее я оставался никому не нужным, отвергнутым, никто обо мне не думал. *Мама*, да, она в меня верила, но ведь каждая мать верит в своего ребенка. А больше в меня не верил никто.

И разумеется, главным образом, – о, как хорошо я теперь это вижу – я сам. Главным образом, *я* не верил в себя. Да я и в *привидений-то* верил сильнее, чем в *себя самого*, а уж поверьте мне на слово, в привидений я не верил отродясь, я человек слишком одухотворенный, эмоциональный и страстный, чтобы верить во что-либо сверхъестественное.

У меня был друг. Один. Местный приходский священник, выглядел он, хоть это и странно, точь-в-точь как Каррас из «Изгоняющего дьявола», однако собственная его жизнь была до того эмоционально сложна, а его борьба с верой, семьей и своей индивидуальностью требовала таких усилий, что, глядя на него, только и оставалось вспомнить: «врачу! исцелися сам». Он сделал доброе дело, попросив меня позаниматься математикой с его дочерьми, – ход и психологически тонкий, и очень трогательный. Он знал, что математика дается мне с трудом, и понимал также, что во мне сидит учитель, неистово рвущийся наружу. Он *почти* склонил меня к вере (не совершая, разумеется, прямых попыток – евангелистом он не был), и я нанес тихий визит епископу Линнскому, представлявшему в Норфолке Бога и таинственную организацию, именуемую «Эй-Си-Эм», – церковный инструмент профессионального тестирования, утверждавший либо отвергавший прошения тех, кто стремился получить духовный сан. Мы немного поговорили, я и епископ Обри Эйткен, и он бухающим голосом высказал мнение, что мне надлежит подождать, пока благодать Божия не станет для меня более явственной. Бухал он потому, что лишился гортани и разговаривал с помощью коробочки – вроде той, которую пришлось под конец жизни носить Джеку Хокинсу.[294] Церемония «включения епископа», производившаяся, когда Эйткену приходилось произносить проповедь, составляла привычное добавление к епархиальным церковным службам.

Конечно, епископ был прав, никаким священническим призванием я не обладал, только тщеславием Генри Кроуфорда из «Мэнсфилд-парка», тщеславием, вследствие которого полагал,

будто проповедник из меня получится лучший, более стильный, чем из нудных, не умевших связно говорить пасторов, которые начали тогда умножаться по всей Англии. Я сознавал, что поверить в Бога не смогу, поскольку по взглядам моим был прежде всего эллинистом. Сказано не без пышности, а говоря с откровенностью более дерзкой, я был абсолютно уверен, что если бы Бог существовал, его капризность, злобность, деспотизм и полное отсутствие вкуса отвратили бы меня от него. Было время, когда в его команду входили люди, подобные Баху, Моцарту, Микеланджело, Леонардо, Рафаэлю, Лоду, Донну, Герберту, Свифту и Рену;[295] ныне у него остались лишь кошмарные, слюнявые лизоблюды без стиля, остроумия, возвышенности и способности к членораздельной речи. Величия в среднем англиканском священнике мною усматривалось не больше, чем в кардигане, купленном в универсальном магазине. Разумеется, тогда я не понимал, что, взглянув под правильным углом, можно и в таком кардигане усмотреть не меньше величия, чем в соборе Св. Петра, Риме, Большом Каньоне и самой Вселенной, но я ведь ни на что под правильным углом и не глядел. Когда на глаза мне впервые попался Мэтью, я увидел во всем красоту. Теперь же видел только уродство и распад. Красота осталась в прошлом.

Снова и снова писал я в стихах, в моих заметках и просто на клочках бумаги:

Вся моя жизнь блистательно раскинулась позади.

И ладно если бы я записал эту тошнотворную фразу один раз, но я-то вывел ее раз пятьдесят. Да еще и верил в нее. По словам из «Грязного Гарри», я пал ниже китового дерьма. Опустился на дно и не питал надежды подняться. Что подумал бы, увидев меня сейчас, Ронни Раттер? В своих школьных отчетах он был великодушен, и все же, какими бы ни были мои аппингемские горести, в слове «избыток», которое он использовал, описывая мою персону, присутствовало зерно истины. Ныне же эта избыточность покинула меня на веки веков, и вернуть ее мне уже никогда не удастся.

Что и возвращает нас к груде таблеток, пилюль и стакану воды. В последний раз с силой и злостью выбранив весь мир, обратившийся в гниющего крота, в безжалостный круг бессмыслицы, в изнурительное повторение и распад, я проглотил всю груду, выключил свет и заснул.

Проснулся я в мире залитой трепетным светом трубчатых

ламп белизны, с абсурдной болью в горле и щеках. Изо рта моего торчала какая-то трубка, медицинская сестра хлестала меня по щекам, повторяя, повторяя и повторяя:

– Стивен! Стивен! Очнись, Стивен! *Очнись*. Стивен, Стивен! Стивен! *Стивен*! Очнись сейчас же. Попытайся! Очнись. Очнись. Стивен!

Как выяснилось, около полуночи брата разбудил шум – меня рвало. Войдя в мою спальню, он увидел, как я извергаю пенную дугу, дохлестнувшую, в чем он после божился, до потолка. А потолок в моей спальне был очень высокий. Я ничего этого не помню – ни поездки в карете «скорой помощи», ничего. Ничего, происшедшего между щелчком выключателя настольной лампы и внезапным унижением второго рождения: оплеухи, яркий свет, трубки, спешка, настойчивые требования, чтобы я, хоть давясь, да ожил. С тех пор я питаю жалость к новорожденным младенцам.

Как выяснилось, та самая смесь, которая, по моим расчетам, должна была наверняка прикончить меня, как раз спасительной и оказалась. Теперь я уже перестал гадать, понимал ли я это подсознательно или нет. Я просто благодарен удаче, моей подсознательной разумности (если таковая имела место), заботе богов, острому слуху моего милого брата и искусности и неустанной настойчивости медицинских сестер и врачей больницы «Норфолк и Норидж».

Дома мы о случившемся почти не разговаривали. Да *разговаривать* было особенно и не о чем. Два дня спустя один из людей, работавших с отцом – работавших еще с чешэмских времен, – остановил меня на улице и задал мне самую жестокую за всю мою жизнь словесную трепку. То был пугающе сильный мужчина по фамилии Тейлор, внешне он походил на видавшего виды малайского плантатора и, как я подозревал (вероятно, из-за его в точности таких, как у Мосли, усов), придерживался крайне правых политических взглядов. Полагал он или не полагал проделанное им психологически правильным, я не знаю. Вся его тирада вращалась вокруг страданий, которые я причинил моим бедным отцу и матери. Я *хоть немного* об этом задумывался?

– Они несчастны из-за меня? – спросил я.

– Конечно несчастны, мелкий ублюдок! – рявкнул он.

– Настолько, чтобы покончить с собой?

– Нет. – И он крикнул мне, уже уходившему, в спину: – Потому что у них больше *мужества*.

Полагаю, отец догадался, что причина всему – любовь, потому что я помню, как он поднялся ко мне в комнату (едва ли не впервые в жизни) и поведал запутанную историю о том, как он

консультировался у предсказателя по картам Таро и тот сказал, что я несчастен в любви. Уверен, так он косвенно давал мне понять, что готов выслушать любое мое признание. Конечно, я ни в чем признаваться не стал. Может, я и выдумал это воспоминание. Таро и отец как-то не сходятся друг с другом.

Не могу не думать и о том, как все это топанье ногами, крики и рыдания отразились на моей бедной сестре Джо. Мы с ней редко говорим о том времени, а если и говорим, то удрученно улыбаясь и заводя брови. Как, наверное, обрадовались мои родители, когда для меня настало время вернуться в Линн на последний мой триместр, триместр экзаменов повышенного уровня. Обрадовались, собственно, тому, что я больше не буду путаться у них под ногами, поскольку сознавали: возвращение мое туда – затея пустая. Они знали, знали: я уже ни на что не годен.

Жизнь моя сводилась теперь к картам в «Мешке с шерстью» и «пинболу» в «Студенческом союзе», к «Вечеринкам парадоксов» и Кэтлин, к вечному страданию, а хоть как-то притворяться занятым учебой я попросту перестал. К концу второго года мне и всем прочим стало ясно, что все экзамены я провалю. Я не могу припомнить мое тогдашнее психическое состояние, под «припомнить» я разумею просто, что не могу мысленно вернуться в него с той точностью, с какой оживляю эмоции более ранние, приведшие меня к жалкой попытке самоубийства. Я помню Кэтлин и компанию поклонников Корво, помню Фила, Дэйла и карточную игру, помню, как организовывал показ фильмов в «Кинообществе», как пытался танцевать на дискотеках «Союза» под музыку «Слэйд» и Элтона Джона, как приезжала, чтобы дать концерт, никому не известная группа «Джудас Прист», смутно помню, как играл на сцене.

Как ни странно, самые сильные стимулы к учебе я, похоже, получал в то время от истории искусств. В частности, я слегка помешался на архитектуре, на греческом и готическом ордерах, на Микеланджело, потом на «английском доме», неоготике и викторианцах. Моей Библией стал Бэннистер Флетчер, моим Богом – Айниго Джонс.[296] Стыдно сказать, я не помню даже, какие произведения мы проходили по английской и французской литературе. Хотя, постойте… по французской это снова была «Антигона» Ануйя.

Я отсидел экзамены повышенного уровня – большую их часть, от финальных письменных работ по двум литературам я уклонился. Все та же боязнь провала:

– *Конечно*, провалил! Да я на них вообще не ходил!

Вот тогда, в пору липового ожидания результатов, которые,

как все мы знали, окажутся ужасными, я снова начал красть, и с еще большим рвением. Мама уже привыкла к набегам на ее сумочку, Не могу понять, как ей удавалось вообще смотреть на меня, я же опять ощущал при мысли о себе тошноту – не такую сильную, как сейчас, но тем не менее тошноту.

Я торчал дома, зная, что к концу августа, к восемнадцатилетию, приду без сданных экзаменов, без друзей, без цели в жизни – без ничего, если не считать перспективы вечных неудач и утраченных возможностей. Еще в Кингс-Линне я начал навещать время от времени общественные уборные, «коттеджи», как их именуют в мире геев, и видел в будущем лишь место помощника библиотекаря в каком-нибудь заплесневелом городишке да время от времени минеты, совершаемые в общественных сортирах. Каждые четыре-пять лет меня будут пару раз арестовывать, а кончу я тем, что засуну голову в духовку газовой плиты. Не такая уж редкая в то время судьба – да и в это тоже. Жизнь, способная осыпать человека великолепными дарами, с неослабной жестокостью относится к тем, у кого опускаются руки. Слава богам, существует такая вещь, как искупление, – искупление, которое является тебе в обличье других людей в тот самый миг, в который ты ощущаешь в себе готовность поверить в их существование.

Помню эпизод из «Звездного пути», завершающийся тем, что Джим поворачивается к Мак-Кою и говорит: «Вон там, Боунс, кто-то произнес три самых прекрасных в Галактике слова». Я с уверенностью ожидал, что услышу тошнотворно очевидное «Я люблю тебя», однако Керк повернулся к экрану, взглянул на звезды и прошептал:

– Пожалуйста, помогите мне.

Странное могущество дешевого телевидения.

Искать чьей-то помощи у меня и в мыслях не было. К покорному отчаянию родителей, я подал заявление о предоставлении мне пособия по безработице, получил его и в июле поехал с почтовым аккредитивом в кармане в Кингс-Линн – на последнюю «Вечеринку парадоксов», после которой должен был встретиться с Джо Вудом и отправиться в Девон, в летний лагерь отдыха.

В следующий раз я вернулся в Бутон уже получившим срок уголовным преступником.

2

Одним из самых постыдных поступков, не считая тех, что мне еще предстояло совершить, была кража пенсионных денег из сумочки, принадлежавшей бабушке молодого человека, в доме которого происходила «Вечеринка парадоксов». Мало есть на свете преступлений более гнусных, и ничто из того, что я здесь пишу, не способно облегчить, притупить или смягчить страдания и гнев, которые оно породило в той семье.

Я поехал поездом в Девон, исполнил довольно унизительную процедуру, связанную с еще одним почтовым аккредитивом, посланным мне матерью по телефону, и отправился с Джо Вудом в пеший поход по окрестностям Чагфорда и иным живописным местам, а потом для Джо настало время возвратиться домой в Саттон-Колдфилд.

Я поехал с ним. И следующие два месяца разъезжал по стране, пытаясь отыскать в моем прошлом хоть что-то, способное дать мне ключ к будущему.

Весьма, вообще говоря, странный способ описания того, что со мной происходило.

Нет, право же, очень странный.

И тем не менее правдивый, ибо под конец этих двух месяцев я обнаружил, что приближаюсь к Чешэму, охваченный страстным желанием снова увидеть город, который я почти не помнил, который не видел с семи лет и в который меня, однако же, тянуло точно магнитом. Я отправился в Йоркшир и прожил недолгое время в семье Ричарда Фосетта. Отправился в Ули и повидался с Систер Пиндер, девицами Ангус и пони по имени Тучка, еще живой, – млечно-белый живот ее теперь почти доставал до земли. Поехал на рок-фестиваль в Ридинг, поскольку до меня дошел слух, что там может оказаться Мэтью. Я знал, что это будет не тот Мэтью, не настоящий, но мне хотелось поискать в нем следы прежнего и, может быть, *рассказать* ему наконец и освободиться от всего.

Несколько менее странный способ описания происходившего со мной состоит в том, чтобы сообщить следующее: я разъезжал по Британии, совершая кражу за кражей, пока меня не схватила полиция.

Джо жил в Саттон-Колдфилде с матерью, сестрой и двумя братьями. Я украл кое-какие деньги у гостей, которых они пригласили, как и меня, на вечеринку, и устремился в Шеффилд, где остановился у Ричарда Фосетта и его родителей. Все были очень добры ко мне. Мы с Ричардом болтали, рассказывая друг

другу о том, что происходило с нами в последние годы, однако ноги мои зудели, меня обуревало желание возвратиться, вернуться назад, к самому началу. *Не думаю*, что я украл что-либо у Фосеттов, хотя, может быть, и украл.

Следующей моей целью был Чешэм – Бруки и Попплуэллы. Аманда Брук – лимонная эмблема «Дома Флоренс Найтингейл», джемпер овечьей шерсти, прямые черные волосы – состояла в моих подружках, когда нам с ней было по пять и по шесть лет. У Попплуэллов имелось четверо сыновей, и каждый добился потрясающих успехов в крикете, да и во всем остальном. На Рождество Попплуэллы рассылали вместо открыток подобие циркулярного письма с внушающими зависть описаниями блестящих достижений их сыновей в учебе и спорте. «Александер получил стипендию “Чартерхауса”, Эндрю – высшие оценки в скрипичном классе, Найджел вошел во вторую сборную Гемпшира, написанное Эдди-Джимом в приготовительной школе сочинение “Как я провел каникулы” попало в шорт-лист Букеровской премии…» – примерно в таком роде. Наша семья в редкие ее моменты общей веселости могла бы сочинить иронический фраевский эквивалент такого письма: «Стивена исключили уже из третьей школы, он по-прежнему врет и ворует. Джо демонстративно мажет тушью свои десятилетние ресницы и выглядит хуже некуда, командир Роджера пишет, что он – человек слишком тактичный и покладистый для того, чтобы сделать успешную офицерскую карьеру. Температура в доме упала ниже той, какую способен сносить эскимос». Мы понимали, что рождественские письма Попплуэллов никакого хвастовства или самолюбования не содержат, и тем не менее они действовали на нас, как лимонный сок на влагалище.

Маргарет, перед которой я навеки в долгу за подаренную ею первую мою книгу Вудхауса, училась с мамой в школе. Муж Маргарет, Оливер, состоявший вместе с Питером Мэем и Джимом Прайэром в той самой крикетной сборной «Чартерхауса», которую обессмертил Саймон Рейвен,[297] играл затем в кембриджской сборной, а после стал юристом. Однако связей с миром крикета он не утратил и всего лишь в прошлом году завершил двухлетнее служение на посту президента «Марилебонского крикетного клуба»; теперь он снова судействует только в судах. Одно из величайших упущений моей жизни состоит в том, что я отверг его предложение о членстве в МКК. Почему я так поступил, не знаю, – полагаю, из стеснительности. Два года спустя я передумал, однако к тому времени список кандидатов претерпел участь сверхновой, так что возможность эта была мной утрачена. Оливер, пытался ли он обучить меня, тогда еще малыша, и своих

сыновей игре в крикет, или позже, уже в качестве шкипера, – азам парусного спорта, неизменно сохранял грубоватую мину человека, состоящего в клубе «Хокс»,[298] – нам-эти-интеллектуальные-штучки-и-на-фиг-не-нужны, – под которой крылась, как мы еще увидим, высокая интеллигентность и подлинная чуткость. Старший его сын, Найджел, самый близкий ко мне по возрасту, также вошел в кембриджскую сборную, говоря точнее, в две, а после играл за Сомерсет в завоевавшей кубок команде, включавшей Йена Ботэма, Джоэля Гарнера и Вива Ричардса. Он тоже стал юристом.

Мама рассказывает, что в пятилетнем возрасте я как-то под вечер вернулся домой от Попплуэллов, в парке которых упражнялся в бросках, отбивках и пробежках, и спросил:

– Мам, а ты сама выбирала мужа?

– Конечно, милый, а что?

– Ты хочешь сказать, что могла выбрать мистера Попплуэлла, а выбрала *nany*? – с негодованием и недовольством воскликнул я.

Многие годы Попплуэллы олицетворяли для меня все, связанное с успехом, цельностью и божьим даром безнатужного достижения цели. Более того, их нельзя было не любить: они доказывали мне, что человек может приспособиться к обстоятельствам и преуспеть, не теряя цельности, чести, обаяния и скромности. Мне всегда казалось, что и отец, при всей его утомительной, тягостной честности и патологически острой неприязни к суетным благам, непременно полюбил бы Попплуэллов, если бы только не сбежал в удаленную, легко обороняемую твердыню сельского Норфолка.

Возможно, я верил, что возвращение в Чешэм поможет мне отменить все неудачи, которые я связывал с Бутоном и «Аппингемом». Прежде всего, если бы меня не увезли из Чешэма в Норфолк, я мог бы, подобно Брукам и Попплуэллам, добиться блестящих успехов, автоматически присоединившись к прочим людям. Я вырос бы здоровым, разумным, одаренным, законопослушным и честным, а не обратился бы в нынешнее вместилище хаотического безумия. Не знаю, думал ли я именно так, однако Бруки и Попплуэллы приняли меня с огромным радушием и добротой, – они либо поверили моим россказням о том, что я-де просто отдыхаю, разъезжая по Англии в ожидании результатов экзаменов повышенного уровня и поступления в университет, либо тактично предпочли не вдаваться в подробности. У Попплуэллов гостили два игрока австралийской крикетной сборной, Росс Эдвардс и Эшли Маллет, при знакомстве с ними я только что пену изо рта не пустил от восторга: крикет уже овладел моей душой окончательно. Эшли Маллет сказал мне

одну вещь, в которую я не захотел поверить, нечто сильно меня встревожившее. Он сказал, что профессиональный крикет – это полный ад, потому что, проигрывая матч, ты испытываешь страдания, намного превосходящие радость победы. Эдвардс с ним заспорил, однако Маллет твердо стоял на своем. Как я теперь понимаю, дело тут было попросту в расхождении персональных взглядов, однако для меня оно имело значение фундаментальное. Один из них наверняка прав, другой наверняка ошибается. Действительно ли боль от провала сильнее радостей успеха? Если так, Роберт Браунинг и Андреа дель Сарто заблуждались: способность человека достичь большего, чем ему дано, не подтверждает существование рая, но доказывает существование ада.

После недели с чем-то, проведенной в веселом, суматошном, полном радости доме Бруков, я, до крайности очарованный и благодарный, уехал.

С собой я увез принадлежавшую Патрику Бруку карточку «Обеденного клуба», и после этого безумие овладело мной окончательно.

В те дни для совершаемой с использованием кредитной карточки покупки на сумму не более пятидесяти фунтов достаточно было росписи и маркировочного аппарата. Ни считывателей, ни мгновенных компьютерных соединений не существовало. Я утешал себя и оправдывал мыслью о том, что, когда мистер Брук сообщит об утере карточки, потраченные мной деньги будут сняты только со счета, открытого им в компании, выпускавшей эти кредитки, а прочие его счета останутся нетронутыми. Но что это, собственно, значило? Я крал деньги из сумочки пенсионерки, крал у кого угодно – разве мог я сказать себе, что в моих поступках присутствуют хотя бы крохи достоинства, любви или уважения к людям?

Следующие несколько недель прошли у меня в какофонической, если существует такое слово, суете – то есть в никакой радостью не отмеченном эйфорическом буйстве, которое психиатр назвал бы припадком маниакальной депрессии или биполярной циклотимии, шут их знает, как они это теперь обозначают. Иными словами, то была функциональная противоположность апатичных страданий, которые несколькими месяцами раньше заставили меня самоубийственно проглотить целую миску таблеток. Я помню, что поехал в Лондон, где переложил немногие мои пожитки (главным образом книги) из скатанного спального мешка в новенький чемодан. Я прожил некоторое время в отеле «Империал» на Рассел-сквер, попытался получить работу чтеца «говорящих книг» для слепых, регулярно

навещал «Американский бар» отеля «Ритц», в котором подружился с барменом Роном, питавшим страсть к ренессансной живописи. Он хорошо помнил потягивавшего в углу коктейль П. Г. Вудхауса, пьяного в стельку Ф. Скотта Фицджеральда, перегибавшегося через стойку и хватавшего бутылку виски, которой он потом размахивал, точно лесоруб топором, – много всяких дивных, пикантных моментов. Однако в сравнении с Дуччо или Донателло, они ничего для Рона не значили. Он показывал мне слайды с полотнами Мантеньи и Корреджо, фресками Мазаччо и Джотто – и сами слайды и просмотровый аппарат Рон держал под стойкой – и рассказывал о главной книге его жизни, величайшей из когда-либо написанных книг об искусстве, говорил он, об «Экономике вкуса» Ретлингера. Беседуя со мной, делясь своими восторгами и показывая слайды, Рон кормил меня даровыми орешками, оливками и корнишонами, а я, облаченный в новый синий костюм, слушал, пил стаканами томатный сок, курил сигары «Эдуард VII», чувствуя себя – чувства этого хватило ненадолго – попавшим в самое для меня подходящее место. Теперь «Американский бар» отеля «Ритц» заместился казино-клубом, в членах которого я, как это ни удивительно, состою. Время от времени мы с Хью Лаури заглядываем туда и проигрываем в очко минимальную ставку – пятьдесят фунтов. Однажды я привел в этот клуб Питера Кука, которому попытались торжественно всучить при входе пару туфель – дабы он заменил ими свои белые кроссовки.

– Что? – сказал Кук. – Снять мои счастливые «рибуки»? Вы спятили?

И мы удалились в «Крокфордз».[299]

Впрочем, Лондоном я вскоре пресытился. Довольно неприятный, то и дело хихикавший мужчина лет пятидесяти попытался, и с немалой настойчивостью, «снять» меня в игровой аркаде на Пикадилли, и мне это совсем не понравилось – не понравилось, собственно, то, насколько близко я подошел к тому, чтобы принять предложение поехать к нему домой. Мы с ним дошли до стоянки такси на Риджент-стрит, и там я сбежал, помчавшись по Шервуд-стрит в глубины не знакомого мне Сохо, уверенный, что он идет по моим следам и что каждый владелец здешних секс-шопов – его друг, готовый сцапать меня и вернуть в его лапы. А бедолага, скорее всего, уже летел в такси домой, трясясь от страха и не меньшей уверенности, что я направился прямиком в центральный полицейский участок Вест-Энда и снабжаю сейчас полицию доскональным его описанием.

Я решил, что судьба требует от меня посещения Ули. Может быть, именно там я смогу отыскать хоть что-то – все равно что.

Ключ. Возможность угомонить неведомое мне привидение.

Не могу сказать, что именно я рассчитывал найти. Могу лишь подтвердить, что, как и в романе, история человеческой жизни достигает кульминации в тех же местах, в каких начинается. Жизнь обзаводится временами сходством с романом, посмеиваясь над усилиями писателей, которые, пытаясь сообщить своим сочинениям правдоподобие, отвергают простую симметрию и дешевые резонансы реальности.

Итак, я поехал в Ули и увиделся с теми работниками школы, которые предпочли остаться в ней на летние каникулы. Я остановился на несколько дней в коттеджике Систер Пиндер, пил в баре пиво с Падди и Йеном Скотт-Кларком. Делать мне в Ули было решительно нечего. И все это хорошо понимали.

Меня исключили из «Аппингема», и в Ули, надо полагать, гадали о том, что я думаю делать дальше. Невыносимое чувство унижения, которое внушало мне безоговорочно, безусловно доброе отношение этих людей, заставило меня снова пуститься в путь – на сей раз к костуолдским деревням Бортонна-Уотрере и Моретонна-Марше.

Как раз в моретонском пансионате я и наткнулся на вторую мою пластиковую карточку; она мирно лежала во внутреннем кармане висевшего в вестибюле пиджака, прямо-таки ожидая, когда ее уворует кто-нибудь вроде меня. На сей раз это была карточка «Эксесс», куда более простая в использовании, да и подпись, на ней стоявшая, воспроизводилась намного легче, чем росчерк Патрика Брука.

У меня имелся чемодан, купленный в Лондоне костюм, еще кое-какая одежда, несколько книг и ничем не ограниченная покупательная способность. Пришло время отправиться на Ридингский фестиваль, навстречу захватывающей, потрясающей возможности увидеться с Мэтью.

Поездка в Ридинг прервалась в городке, коего я и имени-то сейчас припомнить не могу. Я остановился на ночь в отеле «Пост-Хаус», самом безотрадном, какой вам случалось когда-либо видеть – даже в ночном кошмаре. Собственно, худшие ваши ночные кошмары и служат источниками вдохновения для проектировщиков такого рода отелей. Они, подобно суккубам, крадут эти кошмары и разбрасывают их по окраинам умирающих городков.

И только приканчивая в ресторанном зале этого безрадостного совокупления тусклых пигментов мой состоявший из бифштекса, салата и пива обед, я сообразил, какое нынче число – двадцать четвертое августа 1975 года. День моего восемнадцатилетия.

Мне исполнилось восемнадцать. Я стал совершеннолетним – здесь, в этом месте. Восемнадцать. Я уже не пятнадцатилетний юноша, открывающий для себя поэзию, красоту алгебры и ужасы взросления. Не страдающий четырнадцатилетний отрок, в жизнь которого вторглась любовь. Не дрянной двенадцатилетний мальчишка, пересекающий границу школы, чтобы посетить кондитерскую лавку. Не чувствующий себя взрослым восьмилетка, утешающий в поезде новичка. Не смешной мальчуган, плакавший, когда его крота победил ослик, и не решавшийся из страха перед мальчиками постарше зайти в класс директора школы. Не испорченный постреленок, снимавший штанишки, чтобы поиграть в «дикарство» с мальчиком по имени Тим. Восемнадцатилетний молодой человек, сбежавший из дома. Теперь уж не малолетний преступник. Мелкий вор, портящий людям жизнь кражами, предательством, трусостью и презрением. Мужчина. Мужчина, несущий полную ответственность за каждый свой поступок.

Я заказал в номер полбутылки виски и впервые в жизни напился. Напился в самом гнетущем, пугающем одиночестве, какое только можно представить. В сооруженном из матового стекла и бетона прибежище коммивояжеров, посреди апокалипсиса оранжевых диванных подушек, коричневых занавесей и нейлоновых простыней с резиновыми уголками. Едва успев наглотаться основательно разбавленного водой виски, я тут же начал стравливать в туалетную раковину кислую рвоту, волну за волной.

Позже сестра говорила мне, что день моего восемнадцатилетия был худшим, самым худшим из всех бутонских дней. Первым днем рождения, который я провел вне дома, да еще и днем совершеннолетия. Родители не знали, где я и что я. С того времени, как я уехал от Бруков, они ничего и ни от кого обо мне не слышали. Они зарегистрировали меня как пропавшего без вести, однако понимали, что в Англии, описанной в книге «Джонни, вернись домой», в Англии, где подростки каждый час толпами сбегают из дома, это были попросту пустые хлопоты. И, однако же, все двадцать четвертое августа, день моего рождения, моего восемнадцатилетия, мама, по словам Джо, шмыгала носом и плакала, точно потерявшийся ребенок, – как, боюсь, сейчас, вводя эти слова, шмыгаю носом и плачу я. Плачу от стыда, от утраты, от жестокости, безумия и опять-таки стыда. Плачу о всех матерях, вчерашних, сегодняшних и завтрашних, одиноко сидящих дома в дни рождения их детей, не знающих, где сейчас их любимый сынок или милая дочка, с кем они, что с ними. Плачу о взрослых детях, настолько потерявших самих себя

и любую надежду, что в день своего восемнадцатилетия они бессмысленно переминаются у каких-то чужих подъездов, лежат на кроватях, уставясь в пьяном или наркотическом оцепенении в потолок, или сидят в полном одиночестве, доедаемые отвращением к себе. И плачу о смерти отрочества, смерти детства и смерти надежды; чтобы оплакать эти кончины, не хватит никаких слез.

Виски свою работу выполнило, виски это умеет. Оно отупило меня достаточно для того, чтобы не подпустить мое сознание к малинникам Бутона, не дать ему увидеть, как мама и Джо собирают крыжовник, избавить его от образа красных рук миссис Райзборо, месящей тесто, томящей груши, срезающей с почек жир. От сцен детства, которое я ненавидел и по которому безумно тосковал, глядя на потрепанный снимок ненавистной домашней тюрьмы, который я возил с собой повсюду, – с наклеенным на оборотную его сторону прелестным овальным портретом Мэтью. Без цепенящей стены, которую виски воздвигло между моей головой и сердцем, все это могло окатить меня такими воющими валами горя, что и я, и окружавшая меня бетонная гнусность развалились бы на куски.

Назавтра наш восемнадцатилетний джентльмен, восстав поутру, повлек свою головную боль, чемодан и кредитные карточки в Ридинг. Фестиваль был слишком огромен и страшен, чтобы лезть в самую его гущу, поговаривали, однако, будто вскоре на Солсберийской равнине должно состояться нечто, будто группа «Стилай Спэн»[300] может дать концерт в тени Стонхенджа. И если Мэтью был где-то там, искать его следовало неподалеку от «Стилай Спэн» и Мэдди Прайэра.[301]

Существуют документальные свидетельства – и никуда от них не денешься, – согласно которым прошло целых две недели, прежде чем я, направлявшийся в Солсбери, остановился в Суиндоне. По моим-то воспоминаниям, это случилось через день-другой, – возможно, я так и провел те две недели в затянувшемся оцепенении.

В Суиндоне имелся импозантный отель, называвшийся, если не ошибаюсь, «Уилтшир» или «Графство Уилтшир». На его входном навесе были изображены четыре звезды, а я полагал, что жизнь задолжала мне никак не меньше четырех.

Я поселился в нем – уже хорошо знакомый с потребной для этого процедурой – солнечным утром девятого сентября.

– Эдвард Бриджес, – сказал я девушке-портье, – у вас найдется номер на сутки?

Будем считать, что человека, чью карточку «Эксесс» я украл,

звали Эдвардом Бриджесом: настоящий «Эдвард Бриджес», ни в чем не повинная жертва, отнюдь не нуждается в том, чтобы его имя припуталось к этой грязной истории.

Мы прошли через обычный ритуал: я расписался, мой гибкий друг получил шлепок от маркировочного аппарата, мне протянули, лучезарно улыбаясь, ключи.

– Очаровательно, – сказал я, оглядев номер, носильщику, внесшему в него мой чемодан. – Просто очаровательно.

Я выдал ему пятьдесят пенсов и растянулся на кровати.

Завтра Стонхендж. Почему-то я знал – ведь бог любви своенравен и дерзок, – что встречу там Мэтью. Мэтью, отрастившего, вне всяких сомнений, бачки, Мэтью, обзаведшегося литой мускулатурой, и все-таки Мэтью. Скорее всего, мы с ним напьемся и в какой-то благоприятный, смешливый момент я, весь пузырясь от веселья, признаюсь, что вот уж четыре года, а то и больше, схожу по нему с ума.

– Псих ненормальный, а? – с нарочитой медлительностью произнесу я, и мы расхохочемся, и станем подшучивать друг над другом, и хохотать снова.

Да, вот так я все это завтра и разыграю.

Я хмурился, то так, то этак перекрещивая ноги.

Уж эти мне башмаки. Нет, ну честное же слово! Единственное, чем я, со всеми моими краденными деньгами и кредитками, не смог обзавестись, это приличной обувкой. При ступнях размером в двенадцать с половиной это вообще дело непростое. Может быть, в Суиндоне отыщется то, в чем отказали мне другие города. Как знать. Я встал, разгладил мой шикарный синий костюм, подмигнул своему отражению в зеркале и вышел из номера.

– Ну всё, пошел! – Я произнес это, опуская ключи на стойку портье, в дурацкой, развеселой английской манере.

И поверите ли? – первым, что я увидел в отличнейшем обувном магазине, были словно дожидавшиеся меня, фантастически прочные полуспортивные ботинки ровно двенадцатого с половиной размера. Великолепно. Полный блеск.

Я надел их, прошелся взад-вперед, поглядывая в наклонное зеркало.

– Знаете, – сказал я, протягивая продавцу карточку «Эксесс» и бросая сокрушенный взгляд на пару лежавших поверх ковра растрескавшихся старых башмаков, выглядевших так, точно они только Годо и ожидают, – эти башмаки настолько мне впору, что я, пожалуй, в них и уйду!

Рядом с обувным магазином стоял небольшой ювелирный, и мне вдруг стукнуло в голову, что мои наручные часы заурядны и

уродливы.

Чрезвычайно услужливый продавец показал мне для начала изящные новенькие часики «Ингерсолл», по-своему очаровательные, однако стоившие меньше десяти фунтов.

– А чего-нибудь более *стильного* у вас не найдется? – нахально осведомился я.

Маленький человечек полез под стойку за планшеткой с часами, а я выскочил из магазина, с «Ингерсоллом» на запястье.

Весьма удовлетворительное закупочное утро, думал я, улепетывая из торгового центра, но каких оно мне стоило нервов! Пожалуй, пора вернуться в отель – к телевизору и блюду с многоэтажными бутербродами.

Я взял у портье ключ и весело поскакал по лестницам наверх. Мне, может, уже и восемнадцать, сокрушенно сказал себе я, но это вовсе не означает, что я нуждаюсь в лифтах. Кое-какие силы у меня еще сохранились.

Я отпер дверь и удивленно уставился на сидевшего в моем номере мужчину.

– Нет, я не против, – сообщил я, входя. – И, однако же, не могли бы вы заняться уборкой чуть позже? Примерно через час я этот номер покину.

Из ванной комнаты бочком выступил второй мужчина. Так их тут двое. И оба в серых костюмах.

– Мистер Бриджес? – спросил первый.

– Да.

– Мистер Эдвард Бриджес?

– Все верно…

Господи, до какой же тупости способен дойти человек. Пока эти двое не представились, мне и на миг не пришло в голову, что они могут быть не странно одетыми горничными непривычной половой принадлежности, а кем-то еще.

– Мы из полиции, сэр. У нас имеются основания полагать, что вы, возможно, используете краденую кредитную карточку, принадлежащую мистеру Эдварду Бриджесу из Соулихолла.

– А, – произнес я и улыбнулся.

В единый миг из моего организма испарились сотни тысяч галлонов кислого яда и сотни тысяч фунтов свинца свалились с моих плеч.

– Да, – сказал я. – Да. Боюсь, вы абсолютно правы.

– Вы не согласитесь пройти с нами, сэр? Я арестовываю вас прямо здесь, а официальные обвинения будут предъявлены вам чуть позже, в участке.

Я был так счастлив, так блаженно, лучезарно, бешено счастлив, что, умей я петь, запел бы. А умей танцевать, пустился

бы в пляс. Я был свободен. Наконец-то свободен. Я отправлялся в путешествие, в котором каждое решение буду принимать не я, а кто-то другой, каждая мысль будет думаться за меня кем-то еще и каждый мой день будет планироваться другими. Я возвращался в школу.

Я почти захихикал от восторга, увидев телевизионный шик наручников – одно их кольцо застегнулось на моей правой руке, другое на левой руке полицейского.

– Будьте добры, сэр, опустите руку в карман моего пиджака, вот так…

Ну да, конечно, *отель*. Зрелище уводимого в наручниках молодого преступника вряд ли станет хорошей рекламой для суиндонского отеля «Уилтшир». Скованные одной цепью, мы двое, державшие по руке каждый в его левом кармане, спустились по лестнице за вторым полицейским, молчаливым, несшим мой чемодан.

Две женщины-портье, приподнявшись на цыпочки, следили за тем, как меня уводят. На прощанье я улыбнулся им – коротко, грустно и ласково. И знаете что? Одна из них, та, что постарше, быть может, сама уже ставшая матерью, улыбнулась в ответ. Самой теплой улыбкой, какую я когда-либо видел.

Я ожидал, что меня затолкают в стоящую на улице полицейскую машину, но нет, мы пошли пешком, и вскоре я понял почему. Прямо напротив дверей отеля, ярдах в тридцати, стояло большое здание с синей вывеской:

УИЛТШИРСКАЯ ПОЛИЦИЯ

– Надеюсь, мне выйдет поблажка, – сказал я, – за то, что я пришел в полицию на своих двоих.

Второй, не прикованный ко мне полицейский улыбнулся. Я тоже, мы все улыбались. Что за славный денек.

– Поблажка за то, что вам хватило нахальства совершить уголовное преступление прямо под носом у полиции? – сказал полицейский. – Скорее уж добавочный срок. Нам, знаете ли, нравятся заковыристые дела.

Самое главное, *единственное*, что меня заботило, – это сохранение моего имени в тайне. Кто я такой? – имярек, Джон, родства не помнящий. Настоящего имени они узнать не должны. Да и как они смогут его узнать? – говорил я себе. Уже несколько недель я разъезжал по стране, называясь Эдвардом Бриджесом. Как им удастся связать это бесплотное существо со Стивеном

Фраем из Бутона, графство Норфолк?

Я сидел в махонькой камере полицейского участка и мурлыкал какую-то песенку. Мне представлялось, что сумма хищений, произведенных мной с помощью карточки «Эксесс», потянет года на два тюрьмы. Два года, за которые я смогу написать нечто значительное, а может, и сдать заново экзамены повышенного уровня. Я выйду на свободу с дипломом об образовании, пошлю родителям открытку – пусть знают: со мной все в порядке – и начну новую жизнь. Правильную.

В комнате для допросов все те же полицейские, констебль и сержант уголовной полиции разыграли злодейскую ролевую игру, в которой каждый из них занимал в отношении обвиняемого свою, особую позицию. В их версии это выглядело так: Коп Приятный и Коп Приятный Во Всех Отношениях, и каждый норовил отобрать у другого роль копа, приятного во всех отношениях. При таком хитроумно злонамеренном обращении раскололся бы и самый закоренелый преступник.

– Стало быть, так, вы симпатичный, умеющий хорошо говорить молодой человек, – начал приятный коп.

Ах, этот чудный английский эвфемизм, «умеющий хорошо говорить». Говорить-то хорошо я умел, вот только обо мне хорошего сказать было нечего.

– Родители у вас наверняка люди разумные, чуткие, – прибавил коп, приятный во всех отношениях. – Они, должно быть, очень волнуются за вас.

– Может быть, вы даже числитесь в пропавших без вести, – сказал приятный. – Рано или поздно мы это выясним, хоть оно и потребует времени.

– Попробуйте эти, – сказал, протягивая мне пачку «Бенсон энд Хеджез», приятный во всех отношениях. – Думаю, они вам понравятся. Не так дерут горло, как ваше «Посольство».

– Понимаете, я и без того уж доставил родителям немало хлопот, – сказал я. – Мне восемнадцать лет, и я хочу сам отвечать за мои поступки.

– Ну что же, – согласился приятный, – позиция весьма похвальная. Однако давайте вместе подумаем вот над чем: если вам не хочется доставлять родителям новые хлопоты, так позвоните им прямо от нас. Я полагаю, это будет правильно.

– Вы не знаете, что это за люди! – ответил я. – Они примчатся сюда с толпой адвокатов, и я… нет, я этого просто не вынесу.

– Ладно, по-моему, нам не помешает выпить по чашке чая, – сказал приятный во всех отношениях. – Попробую угадать… с молоком и двумя кусочками сахара. Попал?

– В самую точку. Спасибо.

Он вышел, а мы с приятным стали жевать мочалку дальше.

– Понимаете, какая штука, – говорил приятный, – если мы не знаем вашего имени, как же мы сможем предъявить вам обвинения? Нам известно, что вы нечестным путем приобрели финансовые преимущества, пользуясь украденной кредитной карточкой, но, может быть, вас еще и за убийство в Берфордшире или за изнасилование в Йоркшире разыскивают – откуда нам знать?

– О нет, уверяю вас!

– Строго говоря, – продолжал приятный, – вы повинны еще и в подлоге. Ведь вы, расписываясь за каждую покупку, подделывали чужую подпись, так?

Я кивнул.

– Ну вот видите, тут многое зависит от нас. Если мы предъявим вам обвинение в подлоге, вы получите пять лет тюрьмы, это самое малое.

– Пять лет?!

– Ту-ту-ту-ту… Я сказал «если». Если, понимаете?

Я пожевал, размышляя, нижнюю губу. С первой же минуты ареста мне не давал покоя один вопрос.

– Можно мне спросить кое о чем? – произнес я.

– Спрашивайте о чем хотите, сынок.

– Мне вот что интересно. Как вы на меня вышли?

– Как мы на вас вышли?

– Ну да. Вы же ждали меня в моем номере. Все дело в часах? Вы следили за мной от ювелирного магазина?

– В каких таких часах? – Приятный нахмурился и что-то черкнул в блокноте.

Опля. Об «Ингерсолле»-то они ничего и не знали.

– Тогда в чем же?

– В вашей обуви, сынок.

– В *обуви*?

– Когда вы вселялись в отель, портье заметила, что на вас очень поношенные туфли, понимаете? «Туфли бродяги», так она сказала. И как только вы поднялись в номер, эта девушка подумала: «Человек он молодой, в хорошем костюме, а обувь на нем совсем никуда. Тут что-то не так». Она позвонила в компанию, выпустившую кредитную карточку, которую вы предъявили, а там ей сказали, что карточка эта украдена. И тогда она позвонила нам, понимаете? Все очень просто.

– И что же я первым делом купил, выйдя из отеля? – простонал я, возведя глаза к потолку, точно молящийся раввин. – Пару хороших новых ботинок.

– Девочка просто умница, – с одобрением произнес

приятный. – Всегда первым делом смотрите на обувь. Помнится, Шерлок Холмс именно так и говорил.

Дверь приоткрылась, приятный во всех отношениях просунул голову в комнату:

– Послушайте, Стивен, совсем забыл вас спросить…

– Да?

– Ага, – сказал приятный во всех отношениях. – Ага! Стало быть, Стивен, верно? Стивен Фрай.

Ну ты и жопа, подумал я. *Гиббон*. Ни разу еще с тех пор, как Гордон Джексон, забираясь в «Большом побеге» вместе с Дикки Аттенборо[302] в автобус, который должен был вывезти их на свободу, ответил немцу-охраннику, сказавшему по-английски «Удачи», машинальным английским «Спасибо», никто не проявлял такой непоправимой, непростительной, провальной *тупости*.

– О! – произнес я. – Вот я и вляпался, верно?

– Если честно, то да, Стивен, вляпались, – ответил приятный во всех отношениях. – Видите ли, на трех из тех книг, что лежат в вашем чемодане, стоит имя: Стивен Фрай.

– А с другой стороны, – прибавил приятный, – от того, что мы выяснили ваше имя, жить нам станет легче, а если нам станет легче жить, так и вам тоже.

Поскольку незадолго до восемнадцатилетия я попал в список пропавших без вести детей, полицейские уже через пару минут позвонили моим родителям. А еще через пару минут я обзавелся «лекарем», как это называется у нас, уголовников. Моя крестная и ее муж жили неподалеку от Абингдона, и муж крестной был адвокатом. Родители попусту времени не теряли.

Первая ночь в камере. Я думал о том, что завтра увижусь у мирового судьи с отцом и матерью, и меня била дрожь. Я боялся расплакаться, мне хотелось показать им, что я, только я один отвечаю за все, что натворил. Я думал: если они услышат от полицейских, что я отказываюсь от освобождения под залог, то поймут – я готов сам расплачиваться за собственные поступки. Полицейские – приятный и приятный во всех отношениях, – начав составлять полную картину моих странствий, сказали мне, что, прежде чем мое дело примется рассматривать суд, пройдет много дней, поскольку документы по нему придется собирать далеко не в одном графстве Англии. А это всегда требует немалого времени.

Утро прошло в лихорадочной суете, я почти ничего из него не помню, только одно: меня вывели из камеры, усадили на скамью подсудимых – рядом стоял полицейский, – спросили о моем имени и возрасте.

– Освобождение под залог? – осведомился мировой судья.

– В данном деле не требуется, ваша честь, – ответил мой адвокат.

Судья посмотрел на меня, как верблюд на навозную муху, и что-то записал.

Вслед за этим полицейский чиновник пробормотал нечто относительно предстоящей бумажной работы, и судья, немного поворчав, объявил, что я должен буду снова предстать перед ним через две недели, к каковому времени чиновнику надлежит предъявить суду полный набор обвинений, по коим я смогу заявить о моей виновности или невиновности. И меня вывели из суда – я все же решился напоследок глянуть в зал, надеясь отыскать в нем взглядом родителей, – усадили в фургон и повезли в тюрьму.

Родители там были. Я увидел озабоченное лицо матери, она очень старалась встретиться со мной взглядом и ласково мне улыбнуться. Я бы и сам улыбнулся ей, да не знал – как. Снова все тот же проклятый вопрос. Как улыбаться? Если улыбка получится слишком широкой, она может создать впечатление, будто я торжествую; если слишком слабой, выйдет жалкая просьба о сочувствии. Если же улыбка окажется где-то посередке, я буду выглядеть, тут и сомневаться-то нечего, страшно довольным собой. В общем, мне удалось соорудить оскал, выражавший, как я надеялся, печаль, благодарность, решимость, стыд, сожаления и отвагу.

Ну и опять-таки – почему я непременно должен *сооружать* улыбку да и вообще какое-либо выражение лица? Если я ощущал все перечисленное выше, а я ощущал, почему я соответственно и не *поступал*? Разве нормальные люди задумываются над своими улыбками и выражениями лиц, разве их корежит неуверенность по поводу впечатления, которое они производят, поз, которые принимают? Если меня и *вправду* заботит то, что думают обо мне люди, так надо, наверное, менять не реакции мои, а повадки. Менять поведение, а не оттенки моих улыбок. Или я считаю, что стиль есть родитель, а не дитя сущности? И прав ли я, глубинно и окончательно, думая так?

Фургончик, в котором я был единственным пассажиром, катил по шоссе, пока не пересек границу новехонького графства Эйвон и не миновал несколько Чиппингов – Чиппинг-Нортон, Чиппинг-Хемден и Чиппинг-Содбери. Вроде бы в «Стаутс-Хилле» был мальчик по имени Мид – из Чиппинг-Содбери, нет? Я смутно припомнил, как мы однажды обступили этого Мида, насмехаясь над его торчащими вперед зубами, и как он ответил нам,

прибегнув к славному, довоенному еще, словечку: «Все вы канальи и больше никто! Полные канальи!» И я тут же встал на его сторону, потому что выражением «полная каналья» пользовалась мама – и сейчас еще пользуется в те редкие минуты, когда ей случается кого-то осудить, – и это внушило мне приязнь к Миду. Странными способами проявляется порой наша преданность родителям: не в те минуты, когда они рядом с нами и готовы палец себе отрезать, лишь бы получить хоть мизерное свидетельство сыновней или дочерней любви, но непременно во многих милях от них. Как-то лет в восемь-девять меня пригласили к чаю в дом приятеля, и я увидел в тамошней уборной «Доместос» – не «Харпик», которым пользовались мы, – и, помню, проникся к его родителям легким презрением. В нашем доме были «Вим», «Перси Фэйри» и «РЭГ», в других – «Аякс», «Омо», «Сквизи» и «АА», и я жалел этих людей и испытывал к ним неприязнь: неужели они не понимают, как это неправильно? Пылкая гордость выбором, который делают твои родители, покупая средства для чистки унитаза, и усталое презрение к тому, что они думают о жизни, о мире и о себе.

Фургон остановился у огромных ворот.

– Как называется это место? – спросил я у прикованного ко мне наручниками полицейского.

– А тебе разве не сказали, сынок? «Паклчерч», вот как оно называется.

– «Паклчерч»? – переспросил я.

– Ага. «Паклчерч».

– Как мило! Очень уютное название.

– Ну не знаю, дружок, – сказал, вставая, полицейский. – Насчет уюта ничего обещать не могу.

«Паклчерч» был тюрьмой предварительного заключения для молодых правонарушителей. Думаю, возраст всех ее обитателей лежал в пределах от шестнадцати до двадцати пяти лет, и все они ожидали либо приговора, либо перевода в тюрьмы покрупнее.

Если вам случится попасть под предварительное заключение, вас зачислят в одну из двух категорий. «Зэк» либо «не зэк». Не зэк официально ни в каком преступлении не повинен: он сидит потому, что ему отказано в освобождении под залог, или потому, что у него нет нужных для залога денег. Он еще не заявил о своей виновности или невиновности, либо, как то было в моем случае, даже и возможности такой не получил; так или иначе, закон считает его невиновным, пока не доказано обратное. А вот зэк – это дело другое, зэк свою вину уже признал и теперь ожидает суда и приговора.

Не зэки носили коричневую форму, могли принимать столько

посетителей, сколько захотят, получать с воли столько еды, сколько смогут съесть, и никакой работы исполнять обязаны не были. Они имели возможность тратить собственные деньги, смотреть телевизор и вообще наслаждаться жизнью.

Первые две недели я примерно так и провел. Меня поселили во Втором крыле, все было очень мило, мне даже предоставили отдельную камеру. Единственным страшным и горестным событием стал пришедшийся на третий день заключения визит моих родителей.

Я представлял себе, как они пытаются решить, в какой день им ко мне прийти. Самый первый не годился, потому что к этому времени я еще не успею обжиться. Второй тоже – такой визит все еще выглядел бы слишком поспешным, внезапным. Четвертый мог, пожалуй, создать впечатление равнодушия. А им хотелось показать, что они любят меня, думают обо мне. Стало быть, только третий.

Все вы видели по телевизору или в кино тюремные комнаты для свиданий. Вам не составит труда нарисовать в воображении охваченных горем родителей, сидящих по одну сторону стекла, глядя на одетого в тюремную форму сына, который входит в такую комнату. Мы вели себя наилучшим образом. Родители улыбались и, закусывая губы, серьезно кивали, давая понять, что готовы оказать мне любую поддержку. Ни вопросов, ни взаимных упреков, ни всплесков эмоций.

Самый мучительный для меня миг наступил под конец их визита, когда мама достала из сумочки толстую пачку кроссвордов, аккуратно вырезанных из последних страниц «Таймс». Она запасала их каждый день моего отсутствия, твердой рукой отрезая ответы на кроссворд предыдущего дня. Когда она подсунула их под стекло и я увидел, что это, у меня перехватило горло, я накрепко зажмурился. Я попытался улыбнуться, постарался не дышать, потому что знал: любой мой вдох может обратиться в череду разрывающих грудь рыданий, остановить которые мне будет уже не по силам.

В этих аккуратно вырезанных из газеты листках было столько любви, сколько ее и во всем человечестве, быть может, не сыщешь.

Я посмотрел, как они уходят, потом на нетвердых ногах приблизился к тюремному стражнику, тот велел мне повернуться кругом и отвел меня в камеру.

Стражники, именовавшиеся, разумеется, вертухаями, переживали в то время малоприятный период, поскольку попали на портновское, если так можно выразиться, перепутье. Те, что служили уже давно, еще продолжали носить черные мундиры

мистера Мак-Кэя из телесериала «Кутузка»,[303] на гордо выпяченных грудях их посверкивали цепочки свистков, тянувшиеся от серебряной пуговицы форменного кителя к плиссированному нагрудному карману, – новичкам же приходилось униженно облачаться в светло-синие костюмчики, в которых они выглядели помесью почтальона с жеманным стюардом «Люфтганзы». И чувства они в итоге испытывали далеко не радостные, что и было написано на их лицах.

Тюремной валютой был в то время табак, именовавшийся «куревом». Сейчас золотой стандарт образуют, сколько я знаю, наркотики, однако в мое время я ни о каких наркотиках в «Паклчерче» не слышал. Родители оставили мне достаточное для покупки сигарет количество денег, так что в первые мои две недели все шло прекрасно – я коротал время за писанием писем и решением кроссвордов. Как и все не зэки, я был практически предоставлен самому себе.

Настал, однако, день, когда мне пришлось снова проехаться в полицейском фургоне до Суиндона и предстать перед судом. Готовивший мое дело полицейский, исходя из того, что кредитные карточки я использовал десятки и десятки раз, счел возможным предъявить мне обвинения по четырем статьям. Фотокопией меморандума о судебном решении вы можете полюбоваться в иллюстративном разделе этой книги.

Я признал себя виновным по всем четырем обвинениям – одно касалось открытой кражи часов, о которой трактует Статья 7 Закона от 1968 года о хищениях (интересно было бы узнать, о каких правонарушениях идет речь в Статьях 1–6?), три других были связаны с мошенническим приобретением мною материальных преимуществ, описанным в Статье 15 того же закона. Секретарь суиндонского суда во всех трех случаях напечатал «матиреальных» вместо «материальных» – очень мило, по-моему.

И как только с моих губ в четвертый раз слетело неловкое «виновен», я обратился в зэка, приговоренного не судом, но собственными моими словами, и положение мое в «Паклчерче» стало совсем иным.

Строго говоря, при втором моем появлении в Суиндоне никакого судебного разбирательства не проводилось. Суд лишь выделил для меня полицейского, которому надлежало осуществлять надзор за мной, как следует вникнуть в мое дело, в мое прошлое и определить мое будущее. Окончательное слушание дела было назначено на первое ноября, до которого оставалось еще полтора месяца. От освобождения под залог я решительно отказался и, возвратившись в фургон, изготовился к

семи неделям жизни в качестве «настоящего арестанта».

Первым изменился цвет моей тюремной одежды. Вторым – место моего пребывания. Меня перевели в Первое крыло, и всякий раз, как я замедлял ход или начинал поглядывать по сторонам, охранник, приблизив свой нос к моему, орал, объясняя, что мне лучше привыкнуть, и побыстрее, на хер, к тому, что со мной будут обращаться как с дерьмовым маленьким мерзавцем, каков я, на хер, и есть.

Курево я мог теперь получать, только выполняя какую-нибудь работу. Если ты работал каждый день, твоего заработка хватало, чтобы запастись на следующую неделю половинкой унции табака «Старый Холборн» и двумя пачками бумаги для самокруток – стандартной бумаги «Ризла+», но продававшейся в коричневатых упаковках, на клапанах которых было отпечатано в углу: «ТОЛЬКО ДЛЯ ТЮРЕМ ЕВ».

Что ты будешь делать, решали за тебя. Ты либо подметал и натирал полы (дело совсем нехитрое, поскольку тебе выдавали электрический полотер), либо трудился в «мастерской», раскрашивая игрушечных солдатиков. Я иногда пытался представить себе ребенка, получающего на Рождество набор пластмассовых наполеоновских солдатиков, вручную раскрашенных заключенными, – что он почувствовал бы, проведав об их происхождении. Теперь-то, конечно, каждый знает, что большую часть детских игрушек, от куколок Барби до олицетворений новейших писков диснеевской моды, производят в условиях, которые зачастую намного хуже тех, что существовали в «Паклчерче», где молодые ребята сидели в хорошо отапливаемой комнате и, высунув от усердия кончик языка, с удовольствием раскрашивали солдатиков – ни дать ни взять полные энтузиазма члены «Клуба моделирования» из «Стаутс-Хилла», – а между тем Саймон Бейтс[304] и Радио-1 потчевали их доброй веселой поп-музыкой. После четырех недель такой дремотно-рутинной работы меня продвинули в полотеры – я стал тем, что в «Аппингеме» именовалось «сортирной шестеркой».

Вот здесь и кроется объяснение моего довольства «Паклчерчем». Я уже говорил в нескольких интервью – и слова мои воспринимали как остроумную шутку, – что жизнь в тюрьме давалась мне легче легкого, поскольку большую часть прожитых мной к тому времени лет я провел в закрытых школах. Я вовсе не хотел, вопреки распространенному мнению, сказать этим, что закрытые школы похожи на тюрьмы, я хотел сказать, что тюрьмы похожи на закрытые школы. Я умел поддразнивать начальство, приобретая популярность у товарищей, но не переполняя чашу терпения вертухаев; умел сохранять бодрость духа и выдумывать

разного рода забавы, шуточки и мошеннические проделки. Я умел *выживать* – сколь бы ироничным это ни выглядело с учетом того, что в закрытых-то школах именно выжить мне и не удавалось. Кое-кто из сидевших в «Паклчерче» шестнадцатилетних ребят никогда прежде родного дома не покидал. Почти все они попали в тюрьму за УА или УСА, что означало «Угон автомобиля» и «Угон без согласия автовладельца», – наверное, между двумя этими правонарушениями существует какая-то разница, однако в чем она состоит, я, хоть убейте, не знаю. Кроме того, они в подавляющем большинстве происходили из Южного Уэльса и Юго-Западных графств, и я находил в этом нечто безмерно подкупающее. Телевидение приучило нас к мысли, что все уголовники – это либо шотландцы, либо ливерпульцы, либо (и в особенности) лондонцы. И я ожидал услышать здесь говорки из «Суини»[305] и Глазго, а не девонскую картавость и напевность Чепстоу.

Свободного времени у нас было мало. Подъем в шесть – свернуть постельные принадлежности, взять горшок и опорожнить его в сортире.

– Это не горшок! Это параша!

– Что ж, я предпочитаю относиться к ней как к ночному горшку, сэр.

– Ты можешь, на хер, относиться к ней, как тебе, на хер, нравится. Но называть ты эту херню будешь не долбаным горшком, ты будешь называть эту херню долбаной парашей, усек?

– Очень хорошо, сэр. Как вам будет угодно, сэр.

Вслед за опорожнением параши (практика, относительно которой Оскар Уайльд еще сто лет назад писал, протестуя, в газеты и которую «Лига Говарда за Тюремную реформу», кажется, *наконец-то* сумела вывести из употребления) тебе выдавали безопасную бритву (затея, что касалось меня, бессмысленная, поскольку тестостеронами я все еще перегружен не был и даже малейших признаков растительности на щеках или верхней губе предъявить не мог) и ты совершал церемонию омовения, в точности такую, как в школе, но только в полном молчании – тишину нарушали лишь ритмичный шорох зубных щеток да шкрябанье бритвенных лезвий по щетине. Затем мы строем отправлялись на завтрак, превосходнейшим образом знакомый (мне) по приготовительной школе, – консервированные томаты и сероватый омлет на ломтях поджаренного хлеба. А дальше нас отводили на работы.

По вечерам наступало время Общения. Общение было главной тюремной реализацией идеи кнута и пряника.

– Так! Ты, неделя без Общения.

– Первый, кто уберет эту гребаную грязь, получит лишних десять минут Общения.

Общение происходило в просторной комнате с телевизором, доской для дартса и пинг-понговым столом. Абсолютное, на мой взгляд, подобие комнат отдыха во французских молодежных гостиницах – только без пугающей вони. Во второй мой вечер Общения здоровенный зэк положил мне на колено руку и сообщил, что я миленький.

– Эй, может, отскребешься и оставишь его в покое? – поинтересовался сидевший рядом со мной автоугонщик из Бристоля.

Драки не произошло. В том-то все и дело. И не было потом страшных мгновений в душевой, когда мне предлагали нагнуться и поднять с пола мыло. Просто рука ложилась на бедро, легко сжимала его и смущенно отнималась.

В тот же вечер, попозже, кто-то подошел ко мне и сказал:

– Ну че, на пару шмалишь?

– Как-как? – переспросил я.

– Пошмалим на пару?

Я, вежливо согласившись с этим предложением, удалился. И уже докуривал сигарету, когда ко мне приблизился еще один зэк:

– Чур мое будет, кореш.

– Да, конечно. Пожалуйста, – сказал я, протягивая ему то немногое, что уцелело от моей самокрутки.

Он хлопнул меня по спине:

– Ну ты же говорил, что шмалишь на пару!

– Мне очень жаль, – отозвался я, – но я ни малейшего понятия не имею о том, что такое «шмалить на пару».

Те, у кого кончалось курево, перебивались чужими бычками – «шмалили на пару», досасывая совсем уже крохотные, тощие бычки до миллиметрового остатка и обжигая себе при этом губы и пальцы или собирая с десяток окурков и сворачивая из них новую самокрутку.

Мой выговор и словарный запас обратили меня в предмет всеобщей приязни. Я-то ничего, кроме издевательских восклицаний вроде «Ишь ты! Видал миндал? Высокий класс!» и тому подобных грамматически неточных издевательств, не ожидал, однако моим товарищам нравилось, как я привожу в замешательство вертухаев, которым трудно было, разговаривая со мной, не видеть во мне представителя высших сословий, а то и не заподозрить, что я – сын какого-нибудь сотрудника Министерства внутренних дел, подсаженный в их тюрьму, чтобы вынюхать, какие в ней творятся дела.

– Убедительно прошу не считать меня неким

возмутительным, отвергающим социально обусловленную мораль анархистом, сэр, – мог сказать я кому-нибудь из вертухаев, – однако не кажется ли вам правило, согласно которому кружку горячего какао надлежит осушать ровно за сорок секунд, несколько несоответственным? Обваривание облегающих язычок мягких тканей, проистекающее из его соблюдения, представляется мне весьма досадительным.

Выглядело это довольно жалко, я думаю, – жалко, тщеславно и глупо, однако в обстоятельствах, в которых главное – выжить, необходимо использовать любые человеческие способности и качества, какие только ты в себе сможешь отрыть. Если ты силен физически, используй силу, если тебе присущи харизматичность и внутреннее достоинство, используй их, если обладаешь шармом, используй шарм. А малейшее проявление раболепия, подобострастия, льстивости, угодливости и наушничества равным образом отвратит от тебя и вертухаев, и зэков. Вертухаи будут, конечно, действовать исходя из «полученной информации», однако и пальцем не пошевелят, чтобы защитить стукача, когда его жертва примется воздавать ему по заслугам.

Я был свидетелем лишь одного до крайности неприятного случая – трое вертухаев выволокли из моей камеры и оттащили в уборную решительно неуправляемого по причине его тупости, неуемности и наглости шестнадцатилетнего зэка (мне показалось, что он страдает каким-то умственным расстройством, уж больно часто он хихикал, да и вообще до того походил на маньяка, что меня мороз по коже продирал). Из уборной понеслись звуки оплеух и каких-то совсем уж глухих ударов, и я с ужасом понял, что юнца избивают, причем с большим знанием дела. Вышел он оттуда, хихикая и всхлипывая попеременно. И пока его вели по коридору, он, несмотря на терзавшую его боль, все норовил лягнуть одного из вертухаев. Тут и не пахло Джимом Бойлом[306] с его нежеланием сдаваться или жизненной цепкостью заключенного «Шоушенка», – только болезнью.

Я решил немедленно написать министру внутренних дел и заговорил об этом с Барри, сообразительным пареньком из Уэльса, – он сидел в камере, располагавшейся прямо напротив моей.

– Да они тут все письма читают. Че ж писать-то? А как выйдешь отсюда, ты и думать про это забудешь.

Разумеется, он был прав. Выйдя на свободу, я никаких заявлений никому подавать не стал.

Барри, кстати говоря, читать не умел совсем, и я взялся обучать его этому искусству. Именно он прозвал меня «Профессором», что и стало моей тюремной кличкой.

Большинство обитателей тюрьмы именовалось просто «мудаками», так что обладание кличкой утверждало тебя на иерархической лестнице ступенькой выше многих. Мне повезло, я получил в свое распоряжение целую камеру – в те дни безобразной перенаселенности тюрем это было удачей – и мог спать попеременно то на нижней койке, то на верхней, что помогало отличать один день от другого.

Особое удовольствие доставляли нам ежевоскресные встречи с тюремным священником, звавшимся, как это ни странно, преподобным Чаплином, а выглядевшим, что еще более странно, точной копией Чарли Чаплина: он был на редкость субтилен, с густыми черными волосами и усиками наподобие зубной щетки. Мы, с обычной тюремной иронией, именовали его Олли, подразумевая Гарди.[307] Он разрешил мне играть на пианино во время воскресных служб, – присутствие на них было не обязательным, однако благодаря моей игре они обратились в самое сенсационное событие каждой недели. Дабы я мог практиковаться в исполнении гимнов, меня освобождали на шесть часов от работы без удержания платы. Я получал от моей игры огромное удовольствие, не от точности ее («Точность доступна всякому, – но я играю с удивительной экспрессией. И поскольку дело касается фортепьяно – чувство, вот в чем моя сила»[308]), но от исполненных великого сознания собственной значимости арпеджио и окончаний в симфоническом стиле.

Так, например, гимн «Церкви единый оплот» я завершал следующим: *Таааааа-тум! Татум-та-тум-та-ум-та-тум-таааааааааа ТУУУММММММ!* И, пока все усаживались, добавлял в верхнем регистре: *Тум-ди-тум-ди-тум. Тум. ТУМ! Тум*. (Пауза.) *Тум*. (Пауза.) *Тум*. Пауза еще более длительная, а за ней тонюсенькое: *Ти м* … Этим можно было бы и закончить, но нет… неожиданное и стремительное басовое: *Тара-тара-ТОМ*. Вот теперь и вправду конец.

В одну из сред нас посетил епископ Малмсберийский. Компанию специально отобранных заключенных усадили вокруг него кружком, епископ попросил нас прямо и откровенно рассказать об условиях тюремной жизни, о том, как с нами здесь обращаются и что мы сами о себе думаем. Вдоль стен стояли, глядя в потолок, вертухаи, и все мы понимали, что ябедничать – себе дороже. Все, кроме Фрая, разумеется.

– Я хотел бы привлечь внимание вашего лордства к одному тревожащему меня обстоятельству, – сказал я. – Боюсь, дело это очень серьезное, причиняющее многим из нас немалую досаду и неудобства. Все прочие с легким шипением выпустили воздух из легких, один из старших вертухаев со значением откашлялся.

– Слушаю, – произнес епископ. – И прошу вас, говорите совершенно свободно.

– Не сомневаюсь, – продолжал я, – Ее Величество перегружена делами, и потому невозможно ожидать, что она будет держаться в курсе всего, происходящего в стенах учреждений, подобных этому.

– Да, разумеется, – согласился, слегка помаргивая, епископ.

– Однако я вынужден настоятельно просить вас обратить внимание на качество мыла, которое нам выдают в здешних ванных комнатах.

– Мыла?

– Мыла, мой лорд, епископ. Оно не дает пены, не плавает в воде и не отличается приятным запахом, оно даже не моет. Лучшее, что о нем можно сказать, – оно составляет нам компанию в ванне.

Все это было почерпнуто мной из старенькой книжки Моркама и Уайза, которую я несколько лет назад купил в «Аппингеме».

Епископ рассмеялся, вертухаи почтительно присоединились к нему, улыбаясь и покачивая головой в знак уморительности происходящего.

– Ваше лордство согласится довести мое неотложное заявление до сведения соответствующих правительственных органов?

– Разумеется, разумеется! Э-э, а могу ли я спросить вас, молодой человек, – я понимаю, в тюрьме такие вопросы задавать не принято, так что вы можете не отвечать, – и все же, могу ли я спросить вас… за что вы, э-э, *сидите*?

– О, самое обычное дело, – небрежно ответил я, – за священников.

– Прошу прощения?

– За жестокие умерщвления служителей церкви. Я убил четырех младших каноников, двух архидиаконов, одного приходского священника и одного викарного епископа, оставив кровавый след, протянувшийся в прошлом году от Нориджа до Хексгема. Вы наверняка читали об этом в «Церковном Таймсе», не так ли, мой лорд? Помнится, статью обо мне поместили на третьей странице, сразу за результатами скачек.

– Ну хватит, Фрай. Довольно.

– Да, сэр. Извините меня, епископ, и простите мне столь взбалмошное чувство юмора. Боюсь, я просто вор, мой лорд. Обычные, приевшиеся всем махинации с кредитными карточками.

– А. Да, понимаю.

Я продолжал обучать Барри чтению, упражнялся в игре на пианино, с гулом катал по коридорам серебристый электрический полотер, писал письма Джо Вуду и прочим друзьям.

Барри, когда я в конце моей первой недели пребывания в зэках получил заработанные деньги, сказал мне, что лучший способ заставить курево дымиться подольше таков: свернуть сигареты и оставить их сушиться на радиаторе своей камеры. Я так и сделал, а возвратившись после Общения, обнаружил, что мои прекрасно свернутые сигареты исчезли – все до единой.

– Урок номер один, корешок, – сказал Барри. – Здесь никому верить нельзя.

Вот *жопа*. Во время Общения двери камер оставались открытыми, их запирали лишь после того, как заключенных «загоняли» вовнутрь. Сама мысль, будто в здании, полном воров, можно преспокойно оставить свой табак лежать без присмотра и полагать, что после твоего возвращения он так и будет тебя дожидаться, была попросту нелепой. Барри услаждался моими сигаретами, время от времени оставляя мне половинку, – так протянулась первая моя скорбная бескуревная неделя.

В один из вечеров следующей недели мы с ним направлялись на Общение и невесть почему решили, что, если проволакивать наши резиновые подошвы по полу, оставляя черные полосы, получится очень весело. Я-то, заслышав приближавшиеся шаги, забаву эту оставил, а Барри застукали на месте преступления.

– Хьюгс! Два дня без Общения!

– Но, сэр! – взмолился Барри.

– И нечего тут скулить, жалкий мудила. Три дня.

– Сэр, считаю необходимым признаться, что я повинен в не меньшей мере, – сказал я. – Перед тем как вы появились из-за угла, я проделывал то же самое. Собственно говоря, мои следы были еще и почернее его.

– Вот как, паренек? Но ведь я-то этого не видел, верно? А раз я не видел, как ты это делаешь, значит, ты этого не делал. Добавочный час Общения за честность.

– Урок первый, корешок, – сказал я Барри, когда вертухай удалился. – Старайся их озадачить.

Каждые два-три дня меня посещал назначенный судом инспектор по надзору. Главный вопрос, стоявший передо мной, заключался в характере наказания, к которому меня присудят. Зэки поопытнее в большинстве своем говорили, что мне следует ожидать отсидки в Исправительном центре – «короткого, резкого шока», который министр внутренних дел Рой Дженкинс с гордостью добавил к судейскому реестру возможных наказаний. Сроки отбывания в ИЦ были кратны трем месяцам – от минимум

трех до максимум, если не ошибаюсь, девяти, а может быть, и года. Разговоры о них ходили самые неприятные. Подъем в пять, передвижение только бегом, разминка в гимнастическом зале, пробежка в столовую, десять минут на еду – стоя, снова разминка, упражнения со штангой – плюс то, что теперь именуется нулевой терпимостью к любому проступку. Человек выходил из ИЦ физически мощным, невероятно выносливым, а по повадкам не отличимым от зомби. Что и делало его идеально пригодным для работы, ну, например, вышибалой в сомнительной репутации ночном клубе, которая, как правило, уже через несколько недель снова приводила его на скамью подсудимых с обвинением в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах. Только теперь он попадал в «большую крытку» и становился полноправным членом уголовного мира.

Другой возможностью был «борстал»[309] – с отсидкой, срок коей будет зависеть от моего поведения: при правильном тамошнего заключенного раз за разом повышали в ранге, каждый из которых отмечался ленточкой особого цвета, пока наконец начальник тюрьмы не находил возможным выпустить его на свободу. Тоже хорошего мало.

– Ну и, ясен пень, ты можешь получить просто добрую старую крытку. Скорее всего, месяцев шесть, – прикинул один из зэков.

Мой инспектор, мистер Уайт, великодушно оставлявший мне после каждого своего посещения пачку «Бэнд-Х», был настроен менее пессимистично. Он считал, что в основном все будет зависеть от его отчета, и не видел причин, по которым он не мог бы порекомендовать двухлетнее условное осуждение. Первое правонарушение, достойные, порядочные родители, к тому же я получил хороший урок.

Ведь я получил хороший урок, верно?

Я серьезно кивал. Все правильно, я получил хороший урок.

Не могу утверждать, что тюрьма хоть в какой-то мере политизировала меня. Лишь несколько лет спустя, начиная с неизбежных полуночных студенческих разговоров, я стал всерьез смотреть на мир через призму политики, однако я помню дрожь смущения, которая проняла меня от слов одного из моих товарищей. Смущение – эмоция не политическая, быть может, она – национальная британская эмоция, однако политической ее не назовешь. Гнев – да, ненависть – возможно, как и любовь, а вот смущение, по-моему, все же нет.

Слова, обращенные ко мне, – не помню кем (кажется, одним из лондонцев, ибо в «Паклчерч», несмотря на преобладание здесь выходцев из Юго-Западных графств и Уэльса, направляли и тех, для кого не находилось места в «Уормвуд Скрабз», людей по

преимуществу смирных и не опасных, как правило отбывавших срок за неуплату штрафов), но тем не менее обращенные, – были когда-то сказаны и Оскару Уайльду.

– Люди вроде тебя не должны попадать в такие места, – сказал мне тот зэк.

– Ты это о чем?

– Ну, ты ведь образованный.

– Куда там. Сдал экзамены обычного уровня, вот и все.

– Брось, ты же меня понял. Места вроде этого не для таких, как ты.

Я и хотел бы сделать вид, что слов «таких, как ты» он не употребил, однако он употребил именно их. И вот как Оскар Уайльд описывает в «*De Profundis*» подобный же случай:

> …и вплоть до последнего жалкого воришки, который, узнав меня, когда мы брели по кругу во дворе Уондсвортской тюрьмы, прошептал мне глухим голосом, охрипшим от долгого вынужденного молчания: «Жалко мне вас – таким, как вы, потруднее, чем нам».[310]

Сто лет прошло, а Британия так Британией и осталась. Я попытался ответить очевидными, но серьезно прочувствованными мной словами, сказав, что в любом случае заслужил тюрьму *гораздо* больше, чем он. У меня была куча всяких возможностей, меня любили, обо мне заботились. Он, как это водится у заключенных, выслушал меня, словно не слыша, и сказал:

– Оно конечно, и все-таки. По-моему, это неправильно. На самом-то деле.

Приближался день, в который я должен был предстать перед судом. Мама заблаговременно известила меня письмом, что защиту мою поведет давний друг семьи Оливер Попплуэлл, тогда еще не судья, но тем не менее королевский адвокат.

С его стороны это был поступок доброты необычайной, но как же мне хотелось, чтобы он его не совершал: даже мысль о предстоящем заставляла меня ежиться от неудобства. Мировой суд Юго-Западного графства был, строго говоря, не подходящим для него местом. Да Попплуэлл уголовных дел никогда и не вел, поскольку специализировался по торговому и страховому праву. Он и сам должен был ощущать неудобство, понимая (уж дураком-то он не был), что суиндонские судьи очень и очень постараются не подпасть под обаяние привезенного сюда родителями юноши из среднего класса лондонского хлыща, которому надлежит попытаться вырвать их отпрыска из лап карательно-исправительной системы. Судьи, глядишь, решат еще, что родители *заплатили* ему – заплатили пугающую сумму, в

которую оцениваются услуги королевского адвоката. Как это может настроить их против меня, как сильно разозлить…

В суд я приехал в состоянии нервном и полностью пессимистичном. Однако Попплуэлл повел себя великолепно – ни тебе судебной риторики, ни латыни, ни ссылок на закон и прецеденты, лишь честное, чуть нервное (была ли эта нервность подлинной или ловко подделанной, сказать не могу) изложение обстоятельств дела. Он взялся защищать меня потому, что был другом моих родителей, и задачу свою выполнил с великой скромностью: я и по сей день не знаю, попросили его об этом родители или он сам предложил им свои услуги. Он обращался к судьям именно как человек, друживший с моими родителями и знавший меня с пеленок. Он не сомневался, что высокий суд примет во внимание отчет инспектора по надзору, и надеялся, что во внимание будут также приняты раскаяние и ощущение глупости содеянного, которые испытывает разумный, сбившийся с правильного пути юноша, не столько составляющий угрозу для общества, сколько совершивший акт отроческого бунта. Что учтены будут также надежность положения и безграничная любовь его родителей, ибо и то и другое является, он уверен в этом, истинной гарантией того, что наделенный таким умом молодой человек продемонстрирует в этот решающий момент его жизни все свои достойные качества – продемонстрирует обществу, которым он пренебрег во временном, преходящем приступе юношеского бунтарства.

Оливер завернулся в свою черную мантию и сел. Трое членов суда обменялись кивками и вызвали инспектора по надзору, мистера Уайта, – с отчетом его они уже ознакомились, но, однако ж, желали поинтересоваться, какое наказание для меня он счел бы уместным.

Уайт отозвался обо мне более чем благосклонно и сказал, что не видит причин – особенно если учесть, что я уже провел долгое время под стражей, – для какого-либо иного, чем двухгодичное условное осуждение, приговора.

– Где он будет жить? Встал Попплуэлл:

– Со своими родителями, каковые и позаботятся о том, чтобы он выполнил любое решение, принятое высоким судом.

Новые кивки и негромкие переговоры, затем сидевший в середине судья откашлялся и уставился на меня свирепым взглядом.

– Встаньте, пожалуйста. Вы вели очень привилегированную жизнь, молодой человек. Вы получили дорогостоящее образование и тем не менее отплатили бесчестностью и обманом за терпение и преданность тех, кто вас окружал. Будем говорить

откровенно: совершенные вами преступления – это не школьные проказы. По сути дела, это очень серьезные правонарушения. Однако, основываясь на сказанном о вас инспектором по надзору и на иных представленных нам сведениях, суд приговаривает вас к условному осуждению сроком на два года, каковое время вы должны будете провести…

Остального я не помню. Не «настоящая крытка», не Исправительный центр, не «борстал» – только это для меня было и важно, ибо, по сути дела, я выходил на свободу.

Я слегка повернулся на скамье и увидел блестящие от слез глаза мамы. И что же мне делать дальше, спросил я себя?

И сколько еще времени я буду спрашивать себя, что мне делать дальше, как будто я – это не я, а кто-то еще, посторонний человек, вглядывающийся в меня с недоумением и любопытством?

Долгое возвращение в Норфолк прошло мирно и непринужденно. Не знаю, каким представлялось будущее моим родителям. Думаю, они твердо веровали только в одно: от них это будущее не зависит. Мама, всегда бывшая большей из них двоих оптимисткой, наверняка считала, что теперь все может пойти только к лучшему.

Я оказался в объятиях сестры. Она ужасно гневалась на меня, гневалась за горе, которое я причинил маме, за обстановку, сложившуюся в Бутоне, пока я отсутствовал, однако обняла меня, и простила, и расплакалась. Роджер твердо и решительно покачал головой, улыбнулся и назвал меня идиотом.

Первым делом мне следовало посетить местного инспектора по надзору, заботам коего меня поручили. Фамилия его была Бойс, он носил белую, как снег, бороду. Поначалу я навещал его раз, сколько я помню, в неделю, и мы с ним беседовали. Он посоветовал мне заняться, пока я размышляю о том, что делать дальше, сочинительством, и я написал странноватое переложение греческого мифа о Тезее и Прокрусте. Я даже близко не хочу подходить к мглистому облаку проистекающих из сего психологических истолкований – их лучше будет оставить в покое. Я отдал мое сочинение Бойсу, тот прочитал его и вернул мне, признавшись, что ни аза в нем не понял. Я тоже – перечитав его сейчас.

Гораздо важнее было другое: я узнал, что в Нориджском городском колледже завершается прием новых учеников. Колледж предлагал годовые курсы повышенного уровня по большинству основных предметов. Я помчался туда, встал в очередь и спустя недолгое время оказался в кабинете маленького человечка с

блестящими глазками, ведавшего приемом на гуманитарное отделение.

– Я хотел бы заниматься английской и французской литературой плюс историей искусств, – сказал я.

Он прочитал заполненную мной анкету и сокрушенно покачал головой. В графе «Прежние успехи» я написал: «Субпрефект приготовительной школы и подающий третьей крикетной сборной».

– Боюсь, – сказал он, – что курсы английской литературы и истории искусств укомплектованы полностью. Вот если бы вы пришли в первый день приема заявлений…

Первый день приема заявлений был днем оглашения моего приговора.

– Я могу обещать вам только одно, – сказал я с напором и силой, каких никогда за собой не замечал. – Если вы примете меня на эти курсы, я получу по каждому из предметов высшие оценки. Я сдам на отлично экзамены стипендиального уровня и экзамены для поступающих в Кембридж…

– В нашем колледже их не проводят…

– И тем не менее, – продолжал я, – я выясню в библиотеке, что представляют собой эти экзамены, и, если потребуется, буду работать вечерами, чтобы оплатить вашим преподавателям наблюдение за тем, как я пишу необходимые для его сдачи эссе. Я получу место в «Куинз-колледже». Если вы примете меня, все так и будет.

Он смотрел на меня мерцающими синими глазками.

Я смотрел на него. Вся моя судьба находилась сейчас в руках этого человека. Что он ел сегодня на завтрак? Что думает о не сумевших закончить закрытую школу юнцах, просящих помощи у субсидируемых государством городских колледжей? А дети у него есть? И какие они – послушные или трудные? Закончил ли сам он Кембридж или на дух не переносит саму идею Оксбриджа и все с нею связанное?

Непроницаемые синие глаза его мерцали себе и мерцали – непостижимые и всезнающие, как глаза сиамского кота.

– Похоже, я окончательно спятил, – произнес он и, вздохнув, подписал мое заявление. – Отнесите эту бумажку в соседний кабинет. Занятия начинаются в понедельник. Будете изучать у нас Чосера.

Вдогонку

Я сидел в полуподвальном пристанище нориджской богемы, «Деликатике Честного Джона». В какую темную ночь сознания родилось слово «Деликатика», никто не знал, а Джон объяснить это отказывался, но, как бы то ни было, именно его кофейня была в Норидже тем местом, в котором люди могли обмениваться мыслями об искусстве, музыке и политике.

В это утро я понял, что выносить и дальше тягостное ожидание почтальона и известий из Кембриджа мне не по силам. Обещанные мной экзамены повышенного и стипендиального уровня я сдал еще летом, славным летом 76-го, а в ноябре одиноко, если не считать бдительного надсмотрщика, сидя в огромном холле Городского колледжа, написал и кембриджские вступительные эссе. И сегодня, после двух недель, проведенных в наскоках на почтальона, от которых он чуть не слетал со своего велосипеда, я сказал маме, что с меня хватит.

– Я этого больше не вынесу. Поеду в Норидж. Если мне придут какие-нибудь письма, вскрой их сама. К ленчу буду в «Честном Джоне».

Почта в Бутон доставлялась самое раннее в десять утра, а автобус на Норидж уходил из деревни ровно в семь сорок, так что выбор был прост – или почтальон, или Норидж.

Как приятно было снова оказаться у Джона. Народ здесь собрался всегдашний: Джем – немыслимо, байронически красивый обожатель Блейка и Джима Моррисона; Никки – изгнанник школы «Регби» и очень хороший собеседник; забавные яркоглазые братья Грег и Джонатан, ну и еще кое-кто из привычных завсегдатаев этого кафе. Мы сидели, пили кофе, угощались пирожками с морковкой, прихлебывали купленное в складчину, по кружке на двоих-троих, пугающе дорогое пиво «Уркwелл Пилзнер», попутно беседуя о том о сем и обо всем на свете.

– Ты нынче какой-то нервный, – сказал Грег.

Он заметил, что я каждые двадцать секунд поглядываю на часы и что правая нога моя попрыгивает вверх-вниз, упираясь пальцами в пол, – манера, за которую Хью Лаури порицает меня и поныне. Прежде, в Кембридже, он был уверен, что я таким образом пытаюсь сбить его с мысли во время наших с ним шахматных партий (см. фотографию); на самом-то деле я даже не сознавал, что делаю это. Применявшийся Хью способ сбить меня с мысли – по-моему, куда менее честный – состоял в том, что он объявлял мне мат.

– Да нет, ничего, – сказал я. – Просто… нет, скорее всего, ничего не пришло. Уже десять минут второго. Если бы принесли письмо, мама позвонила бы сразу.

И в тот же миг в середке ведшей к нам сверху лестницы обозначился Честный Джон.

– Стивен! – крикнул он, перекрывая голосом гул кипучих разговоров и шепоток закипающей кофеварки. – К телефону!

Я вскочил, так что мой стул полетел на пол, и понесся к аппарату.

Неведомо как промчавшись на узкой лестничке мимо Джона, я бросился к свисавшей с аппарата трубке.

– Мама! Что, письмо?

– Нет, дорогой. Письма нет.

– О…

Благослови ее Бог, но и побери ее черт, *зачем* было звонить сюда, если нет письма? Она же знала, что у меня с утра сердце в горле стоит. Наверное, ей захотелось, чтобы я купил какую-нибудь дурацкую салями или еще что…

– Письма, к сожалению, никакого нет, – повторила она. – Зато есть телеграмма.

– *Что?*

– Телеграмма.

Мать честная, *кому* могло прийти в голову послать мне *телеграмму*? Господи, может, тут что-то связанное с моим делом? Новые обвинения? Какое-то несоответствие в моих показаниях? Прошел уже целый год, но ведь всякое может случиться.

– Сейчас я тебе ее прочитаю, – сказала мама, а затем чистейшим ее голосом, предназначенным для иностранцев и глухих, провозгласила: – Поздравления тчк Вы получили стипендию Куинз-колледжа тчк Старший тьютор.

– Прочитай еще раз! Прочитай!

– Ах, милый, – сказала она и шмыгнула носом. – Я так горжусь тобой. *Так* горжусь!

Чем занимался Поль Пеннифезер?[311] Чем занимался У. Х. Оден? Единственным, чем только и стоит заниматься.

Два дня спустя я поднялся из лондонской подземки на станции «Грин-Парк», прошел мимо отеля «Ритц». Возможно, стоило зайти в него, поздороваться с Роном, сказать, какую пользу принес мне его любимый Рейтлингер, когда я готовился к письменной работе по истории искусств. Ладно, может быть, позже. Назначено мне было на одиннадцать, и я не хотел запоздать даже на секунду. Прошел, окинув его взглядом и вспомнив Джека и Эрнеста,[312] Раффлза и Банни, мимо Олбани-

Корт.

Повернув на Сэквилл-стрит, я начал осматривать все двери подряд, пока не увидел бронзовую табличку, на коей значилось:

Габбитас и Тринг

Схоластическое агентство

Не отвергнут же они достойного выпускника закрытой школы, кембриджского стипендиата. Наверняка найдется где-нибудь приготовительная школа, испытывающая нехватку в учителях. В людях, знакомых с этой системой и готовых по первому ее зову начать преподавать все понемногу – латынь, греческий, английскую и французскую литературу, историю искусств. В ком-то, кто будет сидеть с учениками за одним обеденным столом, судить матчи по регби, помогать ставить пьесы. В ком-то, кого можно счесть типичным продуктом «Аппингема»: достойным, основательным, разносторонним молодым человеком.

Я нажал на кнопку звонка.

«Трррррринг!»

Я думал о пышных бакенбардах, о Капелле. О том, как я пронесся мимо этих бакенбард, чтобы увидеть, в каком месте колоннады *он* оставит свой портфель. Неужели я и до сей поры не высвободился из пут этого безумия? И боль, которую я ощущаю, есть боль страстного томления? Нет, нет. Наверняка нет.

Вся моя жизнь блистательно раскинулась позади.

Зато теперь я научился работать по-настоящему. Готовясь к поступлению в Кембридж, я перечитал все пьесы Шекспира, исписал страницы и страницы заметками о каждой из них: завершения сцен, списки действующих лиц, перекрестные ссылки – все, что угодно. Я научился сосредотачиваться. Ни лентизол, ни запоры мне для поддержки остроты внимания ныне уже не нужны.

Все ли еще я одарен с избытком? Вернется ли в мою поступь былая упругость? В Кембридже я буду старше студентов моего курса. Джо Вуд, Мэтью, все мои аппингемские друзья там уже отучились. Я стану белой вороной в бойкой толпе юношей, которым, подобно Черчиллю, хочется лишь одного – разгульной молодой жизни, меж тем как все, чего хочу я, это набраться ума.

«Трррррринг! Трррррринг!»

– Что такое?

– Э-э, мне назначено на одиннадцать. Могу я увидеть мистера

Горварда?

– *Габбитас!*

Трижды щелкнул электрический дверной замок, и передо мной открылась лестница, ведущая вверх.

Нет. Я был *Стивеном*. И останусь Стивеном до скончания дней. Я вечно буду все той же приводящей людей в исступление смесью педантства, себялюбия, вежливости, эгоизма, мягкосердечия, трусливости, общительности, одиночества, честолюбия, размеренного спокойствия и тайного неистовства. Я осыплю наш дурацкий мир словами. Слова – это по-прежнему все, что у меня есть, но теперь они наконец помогли мне вырваться вперед.

Иди и впредь не греши? Простите, мистер Кроми, но существуют грехи, о которых я пока еще и *не слышал* – даже я: всезнайка, умничающий задавака, все прочитавший, все повидавший, все переделавший я.

Можете биться об заклад – одарен я был с охеренным избытком.

Послесловие

Большинство людей проходит путь от колыбели до крематория, не досаждая посторонним рассказами о своей жизни и о жизни своей семьи. Подозреваю, что каждый, кому приходит в голову мысль написать автобиографию, с готовностью позаимствовал бы слова, которыми начинает Дэвид Копперфилд:

> Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой – должны показать последующие страницы.[313]

Полагаю, что я отвечаю определению Ихаба Хассана, – я антигерой своей собственной жизни, прокладывающий «сентиментальный путь», волоча с собой проблемы «отчужденности и общности, искренности и имитации, честолюбия и молчаливого согласия…».

Если мне улыбнется удача, может статься, что земной мой путь я прошел пока лишь до середины. В ближайшие выходные мне исполняется сорок.

Возможно, настанет время, и я окажусь готовым описать следующие двадцать лет, прошедшие с того дня, когда я вошел в контору «Габбитас и Тринг» и попросил подыскать для меня место учителя приготовительной школы.

Я сознаю, что начало моей жизни было сразу и заурядным до непримечательности, и странным настолько, что могло бы составить сюжет романа. И сознаю, разумеется, что таковы жизни *всех* людей, однако лишь немногим из нас дается возможность купаться в роскоши саморазоблачений, любопытства к себе, оправданий, мстительности, разочарований, тщеславия и эгоизма, – роскоши, известной под названием «Автобиография». Вы увидели меня у моей купальной чаши соскребающим грязь годов: омыться в ней вовсе не значит очиститься и искупить все былое, однако я выхожу из этих нескольких месяцев, очень трудных, до крайности путаных месяцев страстно напряженной работы, ощущая себя чуть менее грязным. По крайней мере, менее замаранным первыми двадцатью годами моей жизни. Вторые двадцать – ну, *это* совсем другая история.

Стивен Фрай – Норфолк, август 1997

Благодарности

Проблема, которая донимает автобиографа, состоит в том, что он не может хоть с какой-то степенью уверенности угадать, каких людей он обидит тем, что включил их в свою книгу, а каких – тем, что не включил. Некоторые из тех, кто присутствовал и продолжает присутствовать в моей жизни, быть может, сильно расстроятся, увидев на этих страницах свои имена; другие, чьи имена на них отсутствуют, оскорбятся моим небрежением, неблагодарностью и забывчивостью. Я прошу всех, кто меня знает или знал, поверить: приведенные выше воспоминания и не могли обойтись без неточностей, пропусков и соединения несоединимого – память есть вещь самая неточная и неустойчивая, а автобиография никогда не равна истории. Моя нередко столь превозносимая память хороша для пустячных игр и быстрого заучивания ролей, но безнадежно ненадежна в том, что касается дат и фактов моей жизни, хотя, я думаю, на нее можно положиться, когда дело касается воспроизведения эмоциональных состояний и общей атмосферы.

Я очень многим обязан Энтони Кроми, который был настолько добр, что прислал мне письмо с ответами на многие мои вопросы о жизнях и настоящих именах некоторых из учителей «Стаутс-Хилла», все ошибки в рассказе об этой школе – мои. Если не считать его помощи и дней бесконечного копания в моих старых альбомах и письмах, я позволил памяти и только ей одной надиктовывать каждую сцену и ситуацию. Я уже говорил в этой книге, что некоторые имена в ней изменены: одни для того, чтобы оберечь виноватых, другие – чтобы оберечь невиновных.

Как и всегда, Сью Фристоун из издательства «Хатчинсонс» с ангельским терпением ожидала результатов последних усилий моего вечно запаздывающего, одышливого принтера; ничем не заменимую помощь оказала мне Лайза Осборн (не родственница…), в самые напряженные сроки отредактировавшая – спокойно, весело, грамотно, с блеском и знанием дела – эту книгу; мой литературный агент Энтони Гофф так и остался образцом спокойствия и добродушного понимания, ну а моя сестра Джо, управляющая моей жизнью с невероятной толковостью и ласковостью, знает и сама, что без нее я обратился бы в несомый смерчем бальзовый пруток. Ко времени моего возвращения из «Паклчерча» ей было не больше одиннадцати, поэтому сказано о ней здесь совсем немногое. На самом же деле без Джо я не смог бы ни прожить эту жизнь, ни описать ее.

Мои родители и брат Роджер, возможно, будут поеживаться,

читая эту книгу, этот новый образчик того, что в нашей семье называют «стивенщиной». Они всегда учили меня вежливости, и потому я, уже перебравший все прочие слова, скажу им только одно:

Простите меня

и

Спасибо.

Некоторые дополнительные сведения о Стивене Фрае

Стивен Фрай – писатель, актер, ведущий, получеловек, полубог. В одной из статей его назвали обладателем мозга размером с графство Кент. В 2003 году газета «Observer» назвала его в числе 50 самых смешных людей, когда-либо рождавшихся на свете, а двумя годами позже то же самое сделали профессиональные комедианты. Он номинировался на «Золотой глобус», фильмы с его участием получали «Оскара», а книги становились бестселлерами. Его манера говорить является эталоном в Англии, и даже вышла книга, посвященная трудной науке «говорить, как Стивен Фрай».

Стивен Фрай – феномен. Он пишет книги, играет в театре и снимается в кино, ставит фильмы и сочиняет пьесы, ведет телевизионные передачи и церемонии. Он настолько универсальный и вездесущий человек, что его вполне всерьез даже предлагали в качестве тренера футбольной сборной Англии. И никто не удивился бы, преуспей он и на этой стезе. Фрай – настоящий человек эпохи Возрождения, и в Британии он является истинным национальным достоянием. Обладатель блестящего ума, врожденного остроумия и поразительного умения жонглировать словами, Фрай незаменим. Он везде и всюду, его нельзя не слушать, не читать, им невозможно не любоваться.

На свет Стивен Джон Фрай появился 24 августа 1957 года. Его детство описано в книге, которую вы только что прочли, так что возвращаться к этим годам нет нужды.

После истории с заключением в тюрьму Стивен Фрай поступил в Кембридж, где изучал английскую литературу. Там он и увлекся сценой, выступая в знаменитом студенческом театре «Рампа», из которого вышло немало очень известных английских актеров (в том числе феерическая комедийная труппа «Монти Пайтон»). Стивен подружился в театре с Элизабет Томпсон, будущей звездой британского кино, и с Хью Лаури, который стал не только его другом, но и на многие годы партнером по сцене. Их звездный дуэт обессмертил телевизионный многосерийный фильм «Дживс и Вустер» по книгам П. Г. Вудхауса. Среди других ролей, сыгранных Фраем на большом экране, – доктор-либерал Робинсон в комедии «Что случилось с Гарольдом Смитом?» (1999), чудаковатый инспектор Томпсон в «Госфорд-парк» (2001), шарлатан-экстрасенс в биографической картине «Жизнь и смерть Питера Селлерса».

Но как актер он прежде всего знаменит исполнением роли Оскара Уайльда в фильме «Уайльд» (1997), ставшей воистину его звездным часом в кино и навсегда изменившей мнение о Фрае как исключительно комедийном актере.

В девяностые годы Стивен Фрай всерьез заявил о себе и на литературном поприще. В 1991 году увидел свет его первый роман «Лжец», далее были «Гиппопотам» (1994), «Как творить историю» (1997) и «Теннисные мячики небес» (2000). В 1997 году Фрай опубликовал автобиографическую книгу «Моав – умывальная чаша моя». В 2004-м вышла его «Неполная и окончательная история классической музыки», а в 2005-м – книга, посвященная английской поэзии. В 2007 году Стивен Фрай принял участие в создании книги «Величайшие заблуждения», в которой вывел на чистую воду многие общеизвестные факты, которые на самом деле фактами не являются. На русском языке «Величайшие заблуждения» выйдут в конце 2007 года в издательстве «Фантом Пресс».

Стивен Фрай по-прежнему неутомим, он снимает кино, спасает южноамериканских медведей (Фрай самолично лазил по джунглям с фотоаппаратом наперевес, после чего издал фотоальбом про этих исчезающих зверей), записывает аудиоверсии книг про Гарри Поттера, ведет всевозможные шоу и, разумеется, пишет книги. Из последних обещаний, данных Стивеном Фраем, особенно интересны два – он скоро закончит новый роман и приедет все-таки в Россию.

notes

Примечания (составлены переводчиком и редактором)

1

Моав умывальная чаша моя. Строка из Библии: Псалом 59: 10. Интересно, что именно эти слова цитирует лорд Икенхем из повести любимого Фраем П. Г. Вудхауса «Дядюшка Динамит», характеризуя своего племянника, когда тот якобы остепенился.

2

Роман Эммушки Орцы о приключениях лорда Перси по прозвищу Первоцвет, спасавшего от гильотины аристократов во время Великой французской революции. По книге был поставлен одноименный мюзикл, особенно популярный у студенческих театральных трупп. У нас известен также под названием «Алый Первоцвет».

З

Английский журнал для детей, издающийся с сентября 1965 года.

4

Подразумевается мистер Чарльз Путер, напыщенный и вечно попадающий в нелепые ситуации буржуа, герой комического романа Джорджа Гроссмита (1847–1912) «Дневник ничтожества» (1892).

5

«Триганская империя» – фантастический комикс, печатавшийся в журнале «Рейнджер».

6

Кондитерская фирма «С. Дж. Фрай и сыновья» – существует с 1728 года.

7

Лори Ли (1914–1997) – английский поэт и прозаик. Его воспоминания о детстве «Сидр с Рози» (1959) мгновенно стали классикой, изучаемой в английских школах.

8

В чреве [материнском] (*лат.*). – *Здесь и далее примеч. перев.*

9

Джим Ривз (1923–1964) – американский исполнитель кантри– и поп-музыки с глубоким мягким баритоном.

10

Пригород (*фр*.).

11

Те районы Лондона, которые охватывает сеть метро.

12

Область, округ (*нем., ист.*).

13

Глэдис Эйлуорд (1902–1970) – миссионерша-протестантка, которая в 1930-м основала в китайской глуши детский «Приют восьми разновидностей счастья». История Глэдис легла в основу голливудского фильма «Приют шести разновидностей счастья» (1958), в котором ее сыграла Ингрид Бергман.

14

Лорд Рой Сидней Джордж Хаттерсли (р. 1932) – журналист и политик, видная фигура партии лейбористов.

15

Балабоня, халтуря, Гавайи, джиу-джитсу *(англ.)*.

16

Фиджийский фиджиец *(англ.)*.

17

Теодор Эрнест «Эрни» Элс (р. 1969) – южноафриканский гольфист, считающийся с середины 1990-х одним из лучших профессиональных игроков мира. Керри Фрэнсис Баллмор Пакер (1937–2005) – австралийский издатель, медиа– и спортивный магнат.

18

Альфред Чарльз Кинзи (1894–1956) – американский биолог. В 1942-м основал Институт сексологии, выпустивший два основных труда, «Сексуальное поведение самца человека» и «Сексуальное поведение самки человека», которые базируются на результатах опросов более 5000 человек. Шер Хайт (р. 1942) – американская феминистка и сексолог.

19

Сэр Джон Бетджимен (1906–1984) – английский поэт.

20

Просто Уильям – герой веселых рассказов и повестей английской писательницы Ричмал Кромптон (1890–1969), классика английской детской литературы.

21

Персонажи английского писателя Э. У. Хорнунга (1866–1921), зятя Артура Конан Дойля. Раффлз и Банни – воры-джентльмены, своего рода негативы Холмса и Ватсона.

22

Выскочка, парвеню (*фр.*).

23

«Дневник миссис Дейл» – радиосериал в форме дневника жены врача, шедший по Би-би-си с 1948 по 1969 год; «Двадцать вопросов» – радио– (а впоследствии и теле-) викторина, поощрявшая у слушателей не столько эрудицию, сколько внимательность и логику; «Арчеры» – популярный радиосериал на Би-би-си о жизни деревенской семьи, передается ежедневно, начиная с 1951 года и по сегодняшний день.

24

Уипснейд – зоопарк в графстве Бедфордшир, загородная база Лондонского зоологического общества.

25

Иностранки, помогающие по хозяйству, получая за это квартиру и стол, и обучающиеся английскому языку.

26

Делия Смит (р. 1941) – популярная ведущая кулинарных телешоу и автор многочисленных поваренных книг.

27

Рэкел Уэлч (р. 1940) – американская киноактриса, секс-символ 1960–1970 годов. Наиболее известные фильмы, в которых она снялась, – «Чудовище» и «Миллион лет до нашей эры».

28

Уильям Блай (1754–1817) – английский капитан. Едва ли не на всех кораблях, какими он командовал, вспыхивали мятежи. Самый известный произошел 28 апреля 1789 года на борту судна «Баунти», направлявшегося на Таити, чтобы набрать плоды хлебного дерева, которое задумано было рассадить в Вест-Индии.

29

Города с деревней (*лат.*).

30

Главное назначение (*фр.*).

31

Нью-Мэлден и Ромфорд – юго-западный и северовосточный пригороды Лондона.

32

Находка (*фр*.).

Здесь: число учеников *(лат.)*.

34

«Крик и плач» и «Смех в раю» – английские кинокомедии 1947 и 1951 годов. В последней дебютировала Одри Хепберн.

35

Джек Уорнер (1896–1981) – популярный английский кино– и телеактер.

36

Гай Миддлтон (1907–1973) – английский характерный киноактер, сыгравший, в частности, в фильме «Смех в раю».

37

Елизавета Анджела Маргарита (1900–2002) – титул «королева Елизавета, королева-мать» был присвоен ей во избежание путаницы с ее старшей дочерью, нынешней королевой Елизаветой II.

38

Раундерз – упрощенная разновидность бейсбола, похожая на русскую лапту.

39

Южноамериканский футбол – игра, при которой футболисты не только стараются забить мяч в ворота, но и непрерывно исполняют латиноамериканские танцы (танго, румбу и т. д.).

40

«Отбил-беги» – упрощенный вариант крикета.

41

Сэр Дуглас Роберт Стюарт Бадер (1910–1982) – полковник британской авиации, прославленный боевой летчик времен Второй мировой войны, потерявший еще до нее обе ноги при крушении самолета; отличался большой прямотой, безапелляционностью и своеволием.

42

Речь идет об усадьбе Бадминтон-Хаус в графстве Глостершир, где ежегодно устраиваются крупнейшие соревнования по конному троеборью.

43

Вальтер Гропиус (1883–1969) – немецкий архитектор, дизайнер и теоретик архитектуры.

44

Джонни Вейссмюллер (1904–1984) – один из лучших мировых пловцов 1920-х, прославившийся исполнением роли Тарзана.

45

Эстер Джейн Уильямс (р. 1921 или 1922) – спортсменка-пловчиха, ставшая в 1940 – 1950-х популярной кинозвездой. Умение Уильямс нырять и плавать вовсю использовалось в фильмах с ее участием.

46

Капитан Мэтью Уэбб (1848–1883) – первый человек, в одиночку переплывший Ла-Манш (1875), проведя в воде немногим меньше 22 часов.

Стыдливость (*фр.*).

Тебе Бога хвалим (*лат.*).

49

Ныне отпущаеши (*лат.*).

50

«Официальный вариант» – одобренный королем Яковом I Английским перевод Библии, сделанный в 1611 году.

51

Эдвард Морган Форстер (1879–1970) – английский писатель и литературный критик, входил в группу «Блумсбери».

52

Мартин Льюис – английский телеведущий.

53

Алан Беннетт (р. 1934) – английский драматург, режиссер и актер. Если Стивен Фрай является «национальным достоянием Британии» в наши дни, то в 60-е годы этот титул носил Алан Беннетт.

«Блокбастер» (Blockbuster) – песня из репертуара группы «Sweet».

«Продуваемый ветром» (Blowin in the Wind) – классическая песня Боба Дилана, которую кто только не записывал – от Джоан Баез и Элвиса Пресли до Стиви Уандера и Марлен Дитрих.

«Волынщик у ворот зари» (The Piper at the Gates Dawn) – дебютный альбом (1967) группы «Pink Floyd».

«Серебряный молоток Максвелла» (Maxwell's Silver Hammer) – песня «Битлз» из альбома «Эбби Роуд».

«Давай, Эйлин» (Come to Eileen) – шлягер поп-группы 80-х «Dexys Midnight Runners».

«Релакс» (Relax) – шлягер, побывавший на вершине хит-парада в 1984 году популярного в 80-е бой-бэнда «Frankie Goes to Hollywood».

55

«Ты нынче одинок?» (Are Yo u Lonesome Tonight?) – популярная песня 1920-х, которую написали Лу Хэндман и Рой Так, в свой репертуар ее включали многие исполнители, например Элвис Пресли и Дорис Дэй.

«Тискет-таскет» (A Tisket A Tasket) – изначально колыбельный стих, который был впоследствии положен на музыку; песня вошла в репертуар Эллы Фицджеральд.

56

«Поворот винта» – одна из самых популярных опер 20 века, написанная в 1950-е годы английским композитором Бенджамином Бриттеном по мотивам одноименной повести Генри Джеймса, в 2006 году опера была впервые поставлена в России, на сцене Мариинского театра.

«Валтасаров пир» – оратория английского композитора 20 века Уильяма Уолтона, премьера состоялась в 1931 году.

«Питер Граймс» – опера все того же Бенджамина Бриттена.

57

«Эльвира Мадиган» – фортепианный концерт Моцарта и фильм с таким же названием (1967) шведского режиссера Бо Видерберга; «Поменяться местами» – комедия Джона Лэндиса, в которой звучит музыка Моцарта.

58

Роберт Робинсон (р. 1927) – ведущий английских радио– и телепрограмм, в частности викторины «Мозг Британии».

59

«Новый музыкальный экспресс» («New Musical Express») – влиятельный английский музыкальный журнал.

60

Бернард Левин (1928–2004) – известный английский журналист, долгие годы бывший одним из основных обозревателей газеты «Таймс», его часто называли «современным Вольтером» за острое перо и язвительные комментарии, которые жалили политиков всех мастей – как правых, так и левых.

61

Нед Шеррин (р. 1931) – английский актер, театральный режиссер и телеведущий.

62

«Аллея луженой посуды» – собирательное название американской коммерческой музыкальной индустрии. Первоначально это ироническое название относилось к 28-й улице в Нью-Йорке, на которой с 1900 года были сосредоточены ведущие нотоиздательские фирмы, торговые и рекламные агентства, специализировавшиеся на развлекательной музыке. По сохранившимся свидетельствам, на этой улице стоял разноголосый музыкальный шум – звуки многочисленных фортепиано, на которых проигрывались новинки популярной музыки. В 1903 году американский журналист М. Розенфельд сравнил 28-ю улицу с громадной кухней, где что-то торопливо готовят, побрякивая сковородками и кастрюлями. С тех пор это название вошло в обиход как синоним коммерческой музыкальной «кухни».

63

Бен Элтон – автор на все руки, сценарист, писатель, режиссер, актер, из наиболее известных его работ – сценарии «Мистера Бина» и романы «Смерть за стеклом» и «Звонок из прошлого», за которые британская пресса назвала его «королем смеха»; Гарри Энфилд (р. 1961) – очень популярный британский комик и сценарист. Оба впервые «засветились» в телешоу, которое вели Стивен Фрай и Хью Лаури.

64

Ронни Хейзлхерст (р. 1931) – английский композитор и джазист, был директором музыкальных программ на Би-би-си и музыкальным директором-распорядителем на конкурсе Евровидения в 1974, 1977 и 1982 годах, является автором многих музыкальных тем, которые стали «музыкальным» лицом британского телевидения.

65

Пол Маккенна (р. 1963) – английский гипнотизер, писатель и ведущий телешоу «Как изменить свою жизнь за 7 дней», автор книг «Я помогу вам похудеть» и ей подобных.

66

Мэрилин Хорн (р. 1929) – прославленная американская оперная певица, меццо-сопрано, блистала на сцене Метрополитен-опера в 1950 – 1960-х годах.

67

Лесли Говард (1893–1943) – английский киноактер, прославившийся исполнением роли Эшли Уилкиса в «Унесенных ветром».

68

Джон Эдвард Мейсфилд (1878–1967) – английский поэт и прозаик, в 1930 году получил почетное звание Поэта-лауреата, которое присваивается в Англии наиболее значительным поэтам.

69

Джордж Стайнер (р. 1929) – американский писатель и эссеист. Француз по происхождению, живет в Великобритании. Аналитик и критик культуры 20 века.

70

Сэр Джонатан Уолф Миллер (р. 1934) – английский театральный и оперный режиссер и сценограф.

71

Фредерик Рафаэль (р. 1931) – англо-американский журналист, сценарист и романист, автор более 20 романов.

72

Уилл Селф (р. 1961) – английский писатель, высмеивающий в своих острых книгах различные стороны современной британской жизни.

73

«Гаррик» – основанный в 1831-м лондонский клуб актеров, писателей и журналистов.

74

Сэр Чарльз Обри Смит (1863–1948) – английский крикетист и актер.

Другие времена, другие нравы (*фр.*).

76

Питер Лесли Шилтон (р. 1949) – выдающийся английский футбольный вратарь, сыгравший больше матчей, чем какой-либо другой вратарь за всю историю футбола.

77

Лори Ли (1914–1997) – английский писатель и поэт, уроженец графства Глостершир, больше всего известен как автор автобиографической трилогии «Сидр с Рози».

Стоит пояснить, что «полкроны» – «половина короны» – это имевшая в описываемой стране хождение до 1970 года монета в 2 шиллинга 6 пенсов.

79

Билли Бантер – герой рассказов об английской школе, печатавшихся в журнале для мальчиков «Магнит» с 1908 по 1940 год.

80

«Мальчик из Уинслоу» – множество раз экранизировавшаяся пьеса Теренса Раттигана (1911–1977).

81

«БЕА» – компания «Британские европейские аэролинии», существовавшая с 1946 по 1974 год.

82

Лесли Сэмюэль Филлипс (р. 1924) – английский комедийный кино– и театральный актер, снялся в более чем 100 фильмах.

83

Экзамен для одиннадцатилеток – отборочные экзамены для зачисления в среднюю школу.

84

Сэр Клайв Марлс Синклер (р. 1940) – английский предприниматель и изобретатель, создавший, в частности, первый «тонкий» карманный калькулятор (1972 г.).

85

Джоржетт Хейер (1902–1974) – и поныне популярная английская писательница, автор романтически-исторических и детективных романов.

86

Сэр Бернард Ингем (р. 1932) – английский журналист, бывший одно время пресс-секретарем Маргарет Тэтчер.

87

Джайлз Дэбни Брэндрет (р. 1948) – английский писатель и политик.

88

«Деревянный конь» – опубликованный в 1946 году роман польского писателя Казимира Брандыса, рассказывающий о немецкой оккупации.

89

«Добраться до небес» – биография уже упоминавшегося Дугласа Бадера.

90

Норман Телуэлл (1923–2004) – английский карикатурист.

91

Уормвудская тюрьма находится в Лондоне, в ней отбывают наказание те, кто впервые попался на преступлении.

Иоанн, 8: 11.

93

Биггльз, он же майор Джеймс Биггльзуорт, авиатор и авантюрист, персонаж многочисленных рассказов. Упоминающийся ниже Элджи – его двоюродный брат и соратник.

94

«Школьные дни Тома Брауна» – автобиография английского писателя Томаса Хьюза (1822–1896), вышедшая в свет в 1857 году и переизданная до конца девятнадцатого столетия более 50 раз.

95

«Досье Ипкресс» – шпионский роман английского писателя Лена Дейтона (р. 1929).

96

Уильям Уоллес (ок. 1270–1305) – предводитель шотландцев, возглавивший борьбу за независимость Шотландии от англичан, национальный герой Шотландии.

97

Джеймс Грэхем Монтроз (1612–1650) – шотландский военачальник.

98

Доктор Хоули Гарви Криппен (1862–1910), убивший свою жену, вошел в историю как первый преступник, пойманный с использованием радиосвязи.

Пышные (*фр.*).

100

Сэр Фицрой Хью Ройли Маклейн (1911–1996) – шотландский баронет, дипломат, солдат, авантюрист, писатель и политик. В книге «Подступы с Востока» он рассказывает о своих приключениях в советской Центральной Азии. Поговаривали о том, что именно Маклейн был прообразом Джеймса Бонда.

101

Уильям Уэбб Эллис (1806–1872) – в 1823 году, еще обучаясь в школе, придумал игру регби.

102

Фильм 1968 года, рассказывающий о вооруженном восстании учеников закрытой школы. Питер Джеффри (1929–1999) – английский актер.

103

Фильм-притча 1968 года о подавлении человека, действие развивается в закрытой школе-интернате. Фильм получил Гран-при в Каннах.

104

Уильям Принн (1600–1669) – английский пуританин-памфлетист.

105

«Мускулистые христиане» – созданное, в частности, Томасом Арнольдом и Томасом Хьюзом религиозно-этическое учение, считающее здоровое тело необходимой предпосылкой истинной веры и нравственной чистоты.

106

В X Сатире Ювенала сказано: «Orandum est ut sit mens sana in corpore sano» («Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом» – пер. Д. Недовича и Ф. Петровского). Стих этот был направлен против чрезмерного увлечения телесными упражнениями. Затем вырванное из него «изречение» стало трактоваться в смысле противоположном.

107

Естественное как противоположность искусственному (*греч.*).

108

Стивен Джеймс Доррелл (р. 1952) – британский политик-консерватор.

109

Сэр Малколм Кэмпбелл (1885–1948) – автогонщик и журналист, поставивший в 1920–1930 годах несколько мировых рекордов скорости на земле и на воде.

Доналд Малколм Кэмпбелл (1921–1967) – сын предыдущего, участник гонок по земле и по воде, поставивший в 1950–1960 годах восемь мировых рекордов.

110

Борис Карлофф (1887–1969) – знаменитый англо-американский киноактер со зловещей внешностью, прославившийся исполнением роли чудовища Франкенштейна, его монстра никому так и не удалось превзойти.

111

Джон Шлезингер (1925–2003) – английский кинорежиссер, который прославился своим фильмом «Полуночный ковбой» с Дастином Хоффманом и Джоном Войтом, фильм получил трех «Оскаров» – как лучший фильм, за лучший сценарий и лучшую режиссуру; никогда не скрывал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

112

Джеймс Элрой Флеккер (1884–1915) – английский поэт, романист и драматург, знаток Востока, автор известного стихотворения «Золотое путешествие в Самарканд».

113

Фредерик Дилиус (1862–1934) – английский композитор, много обращался к творчеству Ницше, в частности написал несколько песен на его стихи.

114

Роналд Фербенк (настоящее имя Артур Аннзли, 1886–1926) – английский писатель-декадент.

115

Айви Комптон-Бернет (1884–1969) – английская писательница, автор «семейных» романов.

По преимуществу (*фр*.).

117

Сирил Коннолли (1903–1974) – английский критик и литератор, создатель самого влиятельного в период 1939–1950 годов литературного журнала Британии «Горизонт».

118

Эдвард Морган Форстер (1879–1970) – английский романист и критик.

119

Подозрительный, двусмысленный (*фр*.).

120

Норман Дуглас (1868–1952) – английский писатель.

121

Уолтер Патер (1839–1894) – английский писатель и критик, близкий к прерафаэлитам.

122

Руфус Исаакс (1860–1939) – английский политик, дипломат, занимавший пост лорда главного судьи.

123

Подразумевается, вероятно, Джон Бакан (1875–1940) – британский государственный деятель и писатель.

124

Оксфордский колледж совместного обучения аспирантов, выпускающий в основном социологов.

125

Образ из Деяний Апостолов (9:18) – из рассказа о том, как Савл обратился в Павла.

Кастовый дух (*фр.*).

127

С соответствующими изменениями (*лат.*).

128

Хамфри Ричард Один Литтлтон (р. 1921) – известный английский джазовый трубач.

129

Plus ça change, plus c'est la meme chose. – Чем больше перемен, тем больше все остается по-старому (*фр.*).

130

Ихаб Хассан (р. 1925) – американский теоретик литературы, впервые употребивший применительно к литературе термин «постмодернизм».

131

Талбот Бейнс Рид (1852–1893) – английский писатель, сочинявший рассказы о школьниках.

132

Джордж Альфред Хенти (1832–1902) – английский писатель, автор исторических приключенческих романов.

133

Ралф Хэммонд Иннс (1913–1998) – английский автор приключенческих романов.

134

Псевдоним английского писателя Сесила Уильяма Мресера (1885–1960), много работавшего в детективном жанре.

135

Дороти Ли Сейерс (1893–1957) – английская писательница детективного жанра.

136

Рольф Харрис (р. 1930) – английский музыкант, композитор, художник и телеведущий.

137

Сидней Смит (1771–1845) – английский священник, выдающийся проповедник, сторонник парламентских реформ, прославившийся своим остроумием и обаянием.

138

Даниэль Уэбстер (1782–1852) – американский оратор и политик, занимавший в США видные государственные посты.

139

Подразумевается роман Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» (1945)

140

Лошадь одного из персонажей телесериала «Степто и сын», шедшего по Би-би-си, в первой половине 1960-х и затем 1970-х годов.

141

Четырехдневные скачки на ипподроме «Аскот» ежегодно проводятся в июне.

142

Ведущая британская организация ветеранов войны.

143

«Имперский химический трест» – крупнейший химический концерн Британии.

144

Персонаж английского телесериала «Башни Фолти», сноб, ксенофоб и мизантроп, изо всех сил старающийся пробиться в высшее общество.

145

Уильям Моррис (1834–1896) – английский художник, писатель, теоретик искусства.

Что-то вроде «болтун-колдун-мешочник».

147

Святое причастие по-английски звучит Holy Communion, а aggers и torters происходят соответственно от anger (гнев, ярость) и torture (пытка).

И то и другое означает «старший ученик, староста».

149

Поддельный, фальшивый (*фр.*).

150

Патетическая (*фр.*).

151

Страстная (*ит.*).

Вместо родителей (*лат.*).

153

Салоте, королева входившего в Британское Содружество архипелага Тонга, во время коронации Елизаветы поразила англичан тем, что ехала под проливным дождем в открытой карете. Впереди нее сидел некий маленький человечек, относительно которого известный остроумец Ноэл Коуард (о нем см. ниже) сказал, когда его спросили, кто это, – «Это ее завтрак».

154

Цвет Нила (*фр.*) – бледно-зеленый, похожий предположительно на цвет нильской воды.

155

Районы Большого Лондона.

156

Орде Чарльз Уингейт (1903–1944) – британский военный, во время Второй мировой войны командовавший в Бирме партизанскими отрядами, которым удавалось побеждать в боях намного превосходящие их численностью японские силы.

157

Алан Бадел (1923–1982) – английский актер. «Арабеска» (1966) – триллер американского режиссера Стенли Донена (р. 1924).

Здесь: работающий над своим развитием (*фр.*).

159

Патриция Нил (р. 1926) – незаурядная американская киноактриса с драматической судьбой. Пережив в молодости трагический роман с Гэри Купером, она впоследствии вышла замуж за выдающегося английского писателя Роальда Даля. После того как двое из их пятерых детей погибли при трагических обстоятельствах, Патриция Нил присоединилась к религиозной секте. В 1965 году, будучи беременной, она впала на три недели в кому и несколько месяцев провела без движения, однако затем вернулась в кино и в 1968 году была выдвинута на премию «Оскар».

160

Лондонский концертный зал.

161

Капитан Бифхарт (настоящее имя Дон Ван Влит) (р. 1941) – американский андеграундный музыкант, играющий рок и блюз, его еще называют усложненным Томом Уэйтсом, по тембру голоса и манере пения они действительно немного похожи.

162

Эдгар Бротон (р. 1947) – английский андеграундный рок-музыкант, создатель группы «Эдгар Бротон Бэнд», в 1960-е игравшей немелодичный по тем временам рок. В текстах песен Бротона было много политики и сатиры. Записал несколько песен Капитана Бифхарта.

163

«Инкредибл Стринг Бэнд» – английская рок-группа, одной из первых начавшая исполнять фолк-рок, благодаря чему в середине 1960-х годов завоевала немалую популярность.

164

«Джетро Талл» – английская рок-группа, и поныне играющая «менестрельский» арт-рок; «фирменной» особенностью группы, помимо незаурядной рок-музыки, является манера ее лидера и вокалиста Йена Андерсона играть на флейте, стоя на одной ноге.

165

Саймон Филип Хью Кэллоу (р. 1949) – английский актер и литератор, снимался в таких фильмах, как «Амадей», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Влюбленный Шекспир», автор биографий Орсона Уэллса и Чарльза Лоутона

166

Кэрол Кинг (р. 1942) – американская певица и пианистка, приобретшая особенную популярность в первой половине 1970-х, до этого она весьма успешно писала песни для других исполнителей.

167

«Фэрпорт Конвеншн» – одна из самых знаменитых британских фолковых рок-групп, исполняла не только народные песни в рок-обработке, но и оригинальные, звучавшие как фолк-материал. Основана в 1967 году.

168

Лонг Джон Болдри (р. 1941) – английский блюзмен, его называют отцом английского блюза. Он стал одним из первых британских вокалистов, кто начал исполнять блюз. В начале 1960-х годов Болдри пел в знаменитой группе Blues Incorporated, через которую прошли Мик Джеггер, Роберт Плант и многие другие известные рок-музыканты.

169

Лондонская группа, удачно соединившая в своем творчестве рок-музыку и пародию, музыканты пародировали стиль «бабблгам», ставший популярным в конце 1960-х, – глуповатую слащавую музыку с бесконечным повторением «милых» словечек под однообразное инструментальное треньканье, всякие «ямми-ямми-ямми» и «хани-хани» в то время пузырились буквально повсюду. Абсурдистские тексты их песен были чрезвычайно смешными и запоминающимися.

170

Надпись, часто появлявшаяся в то время на экранах телевизоров при вызванном техническими причинами ухудшении качества передачи.

171

Имитатор, пародист (*фр.*).

172

Знаменитые комические фильмы «Монти Пайтон».

173

Майк Олдфилд (р. 1953) – английский музыкант-мультиинструменталист, работающий в стилях арт-рок и нью-эйдж.

174

Ричард Брэнсон – британский миллиардер «с человеческим лицом», начало его состоянию положила музыкальная студия «Virgin», на которой записывались лучшие рок-музыканты, позже этот бренд объединил самые разные отрасли предпринимательства – авиакомпанию, железнодорожную компанию, торговую сеть и т. д.

175

Питер Кук и Дадли Мур (1935–2002) – английские актеры-комики, выступали вместе комическим дуэтом «Дад и Пит» и завоевали огромную популярность в Британии и США; впоследствии Дадли Мур продолжил актерскую карьеру в Голливуде, наиболее популярным фильмом с его участием стала комедия «Артур». Питер Кук также много снимался, кроме того, он написал сценарии к нескольким популярным фильмам.

176

Макс Миллер (1894–1963) – ведущий английский комик 30-х и 40-х годов 20 века, в таковом качестве он попал на групповой портрет на обложку альбома «Битлз» «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера», именно его за образец для подражания взял Бенни Хилл, когда, выучив репертуар Миллера, пытался пробиться в люди на заре своей карьеры.

177

Сэнди Пауэлл (1900–1982) – английский комик, начинал карьеру, помогая своей матери в ее марионеточных представлениях, затем сделался «шотландским комиком», выступая в килте; в 1930-х его карьера пошла круто вверх, он много выступал на радио, где у него было свое шоу под названием «Ты слышишь меня, мама?», снимался в кино.

178

Сид Филд (1904–1950) – английский комик, много снимался в кино, но кинематограф не мог в полной мере передать его комический гений, зато на эстраде ему не было равных.

179

Уильям Робертсон Расселл Беннетт (1887–1942) – английский комик-пародист; будучи сыном известного эстрадного комика, Уильям Беннетт не хотел следовать по родительским стопам и в начале Первой мировой войны поступил в уланский полк, но после окончания войны в 1919 году все же начал выступать на эстраде, его коньком были пародии на драматические монологи, посвященные наступлению нового века. Уильям Беннетт оказал влияние на многих британских комиков 30 – 40-х годов.

180

Мейбл Констандурос (1880–1957) – актриса и сценарист, свою карьеру она начала на радио в 1925 году, ее скетчи были очень популярны, и особенно о семействе Баггинс, в которых Мейбл играла всех многочисленных членов забавной семейки.

181

Герт и Дейзи – две дамочки, которых играли сестры Флоренс и Дорис Уотерс, персонажи развлекательных радиопередач и фильмов военных лет, они болтали обо всем на свете, но особенно им удавались скетчи про их вымышленных мужей.

182

Томас Реджинальд Хэндли (1892–1949) – английский комик, известный в основном по выступлениям на радио. После возвращения с Первой мировой войны Томас Хэндли начал актерскую карьеру, вершиной которой стала его авторская еженедельная программа на Би-би-си 1939–1949 годов, в которой он в едкой сатирической манере поднимал боевой дух нации.

183

Роберт Уилтон Смит (1881–1957) – английский комический актер, известный прежде всего эстрадными скетчами, в которых Роберт Уилтон со своим провинциальным акцентом изображал всевозможных чинуш и бюрократов.

184

Рори Бремнер (р. 1961) – современный английский комик-пародист, мастер политической сатиры.

185

Майк Ярвуд (р. 1941) – английский комик-пародист, был одной из самых ярких звезд британского ТВ в 1960 – 1970-е годы, спародировал едва ли не всех известных личностей тех лет, от Пола Маккартни до принца Уэльского.

186

Фрэнсис Алик Хауэрд (1917–1992) – выдающийся английский комический актер.

187

Екклесиаст 10:1.

188

Английский писатель, поэт и ученый Роберт Грейвз (1895–1985) в своих воспоминаниях «Прощай, всё» описал свой военный опыт – во время Первой мировой войны он служил в Королевском валлийском стрелковом полку.

189

Один из новейших университетов Англии в небольшом городе к северу от Лондона, основан на базе технического колледжа в 1966 году, за несколько лет до того времени, о котором идет речь.

Добродушие, дружелюбие (*фр.*).

191

Артур Митчелл Рэнсом (1884–1967) – английский писатель, автор приключенческих книг для детей.

Мысль (*фр.*).

193

Если бы уд Этьена был подлиннее (*фр.*).

194

Тони Губба (р. 1943) – известный своей разносторонностью спортивный журналист и комментатор.

195

Дрожь, трепет (*фр.*).

196

Сэр Ноэл Коуард (1899–1973) – английский актер, драматург и композитор.

197

Прозвище принца Карла Эдуарда Стюарта (1720–1788), возглавившего в Шотландии восстание якобитов (1745–1746).

198

Роберт Аллен Монкхаус (1928–2003) – английский актер, ведущий телевизионных шоу.

199

Дэвид Джон Мэллор (р. 1949) – английский юрист и политик-консерватор.

200

Питер Бенджамин Мэндельсон (р. 1953) – английский политик-лейборист.

201

Джон Селвин Гаммер (р. 1939) – английский политик-консерватор и журналист.

202

Барон Джон Берт (р. 1944) – генеральный директор Би-би-си (1992–2000).

203

Энтони Риверс Марлоу (р. 1940) – английский политик-консерватор.

204

Сэр Перегрин Герард Ворстхорн (р. 1923) – консервативный английский журналист и писатель.

205

Пол Беде Джонсон (р. 1928) – английский католический журналист, историк и спичрайтер.

206

Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них. – Левит 20:13.

207

Седло барашка (*фр.*).

Беарнский соус (*фр*.).

209

Черное ризотто – итальянское блюдо.

210

Псевдоним Тоуко Лааксенена (1920–1991) – финского художника гомосексуального направления.

211

Изысканная кухня (*фр.*).

212

Теренс Дэвид Джон Пратчетт (р. 1948) – очень популярный английский писатель, автор юмористических фэн-тези.

213

«По-моему, леди слишком много обещает» – реплика Королевы из трагедии У. Шекспира. «Гамлет», акт 3, сцена 2 (пер. Б. Пастернака).

214

Гугли – крикетная подача с финтом; одна крикетная команда состоит из одиннадцати человек.

215

Максимилиан Штайнер (1888–1971) – американский композитор австрийского происхождения, с 1929 года плодотворно работавший в Голливуде.

216

«Смерть любви» (*нем.*) – «Смерть Изольды», финальная сцена оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда».

217

Альфред Брендель (р. 1931) – австрийский пианист.

218

Джайлс Стэннус Купер (1918–1966) – английский драматург.

219

Дэвид Хеммингс (1941–2003) – английский актер и режиссер.

220

Стивен Джеймс Напье Теннант (1906–1987) – английский аристократ, прославившийся своим декадентством. Поговаривали, что большую часть жизни он провел в постели.

221

Сэр Стивен Спендер (1909–1995) – английский поэт и критик.

222

В трагедии Шекспира «Король Лир» (IV.1) эти слова Глостера выглядят так: «As flies to wanton boys, are we to the gods. They kill us for their sport». В переводе Бориса Пастернака: «Люди – мухи. Нам боги любят крылья обрывать».

223

Если переиначить перевод Пастернака, получится примерно следующее: «Люди – мухи. Нам Бог так любит крылья обрывать».

224

Человек – что муха…

225

Истерическая страсть (*лат.*).

226

«Джек Биг Т» Тигарден (1905–1964) – американский джазовый тромбонист и вокалист.

227

Хоуги Кармайкл (1899–1982) – американский джазовый музыкант (вокал, фортепиано, челеста) и композитор.

228

Лондонская улица, на которой в то время находились основные студии Би-би-си.

229

Томас Катберт Уорсли (1905–1964) – английский писатель и критик.

230

Джон Ноуэлс (1926–2001) – американский писатель.

231

Роберт Сесил Роумер Моэм, второй виконт Моэм Хартфилдский (1916–1981) – английский драматург и романист, племянник Сомерсета Моэма.

232

Роджер Пейрфитт (1907–2000) – французский дипломат и писатель.

233

Альфонс Джеймс Альберт Симонс (1900–1941) – английский писатель и биограф.

234

Псевдоним Фредерика Рольфе (1860–1913) – английского писателя и оригинала.

235

Саймон Рейвн (р. 1927) – английский писатель, драматург и журналист.

236

Жан Жене (1910–1986) – французский писатель-гомосексуалист, проведший первую половину жизни как вор и бродяга.

237

Эдвард Карпентер (1844–1929) – английский писатель.

238

Томас Эйкинс (1844–1916) – американский живописец.

239

Генри Скотт Тьюк (1858–1929) – английский художник и фотограф, изображавший обнаженных мальчиков.

240

Алек Во (1898–1981) – популярный английский писатель, старший брат Ивлина Во.

241

Очень откровенный роман известного американского писателя Филиппа Рота.

242

Элизабет Беннет – английская актриса, начавшая сниматься в 1990-х.

243

Фриц Ланг (1890–1976) – выдающийся немецкий режиссер-экспрессионист, его шедевр «Метрополис» (1926) – футуристическая антиутопия, в центре которой странный и пугающий город будущего Метрополис.

244

Уильям Хогарт (1817–1864) – художник-иллюстратор, он не только рисовал карикатуры для «Панча» (собственно, его рисунки во многом и прославили «Панч»), но и иллюстрировал книги многих своих современников, включая Ч. Диккенса.

245

Футболист, персонаж популярного комикса, публиковавшегося с 1954 по 1993 год.

246

Томас Катберт Уорсли (1920–2003) – английский педагог, писатель, театральный и телевизионный критик.

247

Еженедельный познавательный журнал для детей 9 – 15 лет, публикуемый с 1962 года.

248

Английский сатирический журнал, выходит два раза в месяц.

249

Рука об руку (*ит.*).

250

С глазу на глаз (*фр.*).

251

Том Ганн (1929–2004) – английский поэт.

252

Чарльз Козли (1917–2003) – корнуэльский поэт и прозаик.

253

Шеймас Джастин Хини (р. 1939) – ирландский поэт, пишущий на английском языке, лауреат Нобелевской премии по литературе (1995).

Понедельник *(англ.)*.

255

Вчера *(англ.)*

Интересный *(англ.)*.

257

Toilet – туалет; serviette – салфетка (*англ.*).

Mirror – зеркало; wireless – беспроводной (приемник); glass или looking-glass – стекло или зеркало (*англ.*).

259

*Formi*dable – странный, грозный и т. п.; *pri*marily – первым делом, первоначально; *circum*stance – обстоятельства, условия, положение дел (*англ.*).

260

Девиз оксфордского Уинчестерского колледжа – сами эти слова принадлежат его учредителю Уильяму из Уинчестера (1324–1404).

261

Роланд Янг (1887–1953) – английский актер.

262

«Едгин» – сатирический роман Сэмюэля Батлера (1835–1902), название этой утопической страны представляет собой анаграмму слова «нигде».

263

Брайан Клоуз (р. 1931) – крикетир, самый молодой за всю историю этой игры член международной сборной Англии.

264

Соревнования по крикету между графствами Англии на приз, учрежденный английским филиалом американской компании «Жиллетт».

265

Крикетный стадион в Ноттингеме – там проводятся международные соревнования.

266

Кубок, присуждаемый на соревнованиях Великобритании с Австралией. В 1883 году австралийцам, второй раз подряд победившим англичан, была поднесена «урна с прахом английского крикета», содержавшая пепел от сожженного столбика крикетной калитки.

267

Рок-группа «EMF», созданная в г. Форест-оф-Ден в 1989 году. Ее дебютный сингл «Unbelievable» стал настоящим хитом.

268

Фильм английского режиссера Николаса Роуга.

269

Перевод Ю. Корнеева.

270

Говард Гудолл (р. 1958) – английский композитор и ведущий телевизионных музыкальных передач. Упомянутая «отдушина» называется «ротик».

«Театр тайного сговора» (*фр.*).

272

«Кот Фриц» (1972) – весьма откровенный сатирический мультфильм для взрослых режиссера Ральфа Бакши.

273

«Пушки Навароне» (1961) – военный фильм с Грегори Пеком и Энтони Куинном, один из первых фильмов, где были использованы серьезные спецэффекты; «Живешь только дважды» (1967) – фильм «бондианы» с Шоном Коннери.

27 4

Petite madeleine – сорт французского печенья. Герой романа Марселя Пруста «В сторону Свана», попробовав *petite madeleine*, которое он часто ел в детстве, внезапно вспоминает окутанные туманом минувших лет события своего детства.

275

Роман английского писателя Лесли Поулса Хартли (1895–1972).

276

Гарольд Пинтер (р. 1930) – английский драматург, писатель, поэт, сценарист, актер, режиссер и политический деятель.

277

«Итальянская строфа» – восьмистрочная строфа пятистопного ямба (*ит.*).

278

Одна из самых известных в Англии погребальных элегий. Сочинена в 1817 году поэтом и священником Чарльзом Вулфом (1791–1823) в память командующего британскими силами во время Испанской войны за независимость (1808–1814). Известна у нас с начала девятнадцатого века в переводе И. И. Козлова: «Не бил барабан перед смутным полком / Когда мы вождя хоронили…».

279

Речь идет о «ироикомической» поэме «Гудибрас» Сэмюэля Батлера (1612–1680), в которой высмеиваются пуритане, выведенные в образах Гудибраса, лицемерного донкихотствующего рыцаря, и его оруженосца Ральфа. Батлер применил особый ямбический тетраметр, получивший название «гудибрасовой строфы».

Перевод Елены Полецкой.

281

Аннунцио Паоло Мантовани (1905–1980) – венецианец, выросший в Англии, дирижер и создатель оркестра, исполнявшего популярную классическую музыку.

282

Английский малолитражный трехколесный автомобиль.

283

Сценическое имя Рэймонда Эдварда О’Салливана (р. 1946), английского поп-певца и автора песен, начавшего карьеру в середине 1970-х.

Даниэла Фернанда Доминик Шулейн-Стил (р. 1947) – американская писательница, автор «романтических» бестселлеров.

Жаклин Джилл «Джеки» Коллинз (р. 1937) – английская писательница, работающая в том же жанре.

285

Терри Джекс (р. 1944) – канадский поп-певец.

286

Алькан – псевдоним французского пианиста и композитора Шарля Валантена Моранжа (1813–1888).

Кайхошру Шапурджи Сорабджи, настоящее имя Леон Дадли (1892–1988) – английский композитор и музыкальный критик.

287

«Блумсбери» – название группы приятелей и единомышленников, преимущественно писателей и художников, проживавших в лондонском районе Блумсбери в период с 1904 года до конца 30-х годов. Все они в основном были связаны больше родственными или дружескими узами, нежели какой-либо общей философией, но члены «Блумсбери» находились под влиянием идей философа Дж. Э. Мура, склонявшегося к интуитивизму и придававшего особое значение анализу ощущений. Члены группы «Блумсбери» решительно отвергали столь характерные для Викторианской эпохи лицемерие, притворную стыдливость, многословие и напыщенность. Титулы и официальные знаки отличия были преданы в их среде осмеянию.

Дон Маклин (р. 1945) – американский кантри-поп-певец.

Винсент Джин (1935–1970) – американский автор и исполнитель песен в стиле ритм-энд-блюз, рокабилли и рок-н-ролл.

289

«Любители музыки» (возможно и другое толкование – «Любовники от музыки») – первый биографический фильм эпатажно-китчевого английского режиссера Кена Рассела. Биографией Чайковского фильм назвать никак нельзя, это скорее фантазия на эту тему. Одной из сильных сторон фильма и творчества Рассела в целом является редкое чувство музыки в кадре. Рассел с легкостью оперирует каноническими партитурами, психоаналитически трактуя «Лебединое озеро» и «Евгения Онегина», демонстрируя «усекновение голов» под Шестую Патетическую симфонию и канкан под бравурный финал симфонической поэмы «1812 год».

Мятный ликер (*фр.*).

291

Старейший университет Шотландии (основан в 1411 году), находящийся в курортном приморском городе того же названия.

Дурацкий поступок (*фр.*).

293

«Кэрри» – роман Стивена Кинга, экранизированный Брайаном де Пальмой.

294

Джон Эдвард «Джек» Хокинс (1910–1973) – английский киноактер 1950 – 1960-х годов.

295

Уильям Лод (1573–1645) – английский церковный деятель, ближайший советник английского короля Карла I Стюарта, архиепископ Кентерберийский с 1633 года.

Джордж Герберт (1593–1633) – английский духовный, «метафизический» поэт.

296

Сэр Бэннистер Флетчер (1866–1953) – архитектор и историк архитектуры, автор классической «Истории архитектуры», которую он прослеживает от пещер доисторического человека.

Айниго Джонс (1573–1652) – английский художник, архитектор и декоратор, заложивший основы английской классической традиции в архитектуре.

297

Саймон Артур Ноэль Рейвен (1927–2001) – английский романист, журналист и драматург. Учился в школе «Чартерхаус», из которой был исключен.

298

Клуб лучших спортсменов Кембриджского университета.

299

Основанный в 1827 году лондонский игорный дом.

300

Созданная в 1970 году английская фолк-рок-группа.

301

Мэдди Прайэр (р. 1947) – английский фолк-певец.

302

Гордон Джексон (1923–1990) и Ричард Аттенборо (р. 1923) сыграли в очень популярном фильме «Большой побег» (1963), рассказывающем о побеге американских, британских и канадских военнопленных из немецкого лагеря.

303

Сериал, шедший по Би-би-си в 1974–1977 годах. Фултон Мак-Кэй (1922–1987) – сыгравший в нем тюремного охранника шотландский актер.

304

Саймон Бейтс (р. 1947) – известный диск-жокей. С 1976 по 1993 год работал в Би-би-си на Радио-1. Затем перешел в программу «Классика ФМ», где почти наверняка встретился с Фраем.

305

«Суини!» – английский телесериал, посвященный работе уголовного розыска.

306

Джимми Бойл (р. 1944) – шотландский гангстер, приговоренный в 1967 году к пожизненному заключению за убийство, в котором он, впрочем, не признался, и вышедший на свободу в 1976-м, став в тюрьме серьезным писателем и скульптором.

307

Оливер Гарди (1892–1957) – американский комедийный актер, человек довольно тучный.

308

Слова Алджернона Монкрифа из первого действия комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», перевод И. Кашкина.

309

Находящееся в ведении Министерства внутренних дел исправительное заведение для преступников в возрасте от 16 до 21 года (первое из них было открыто в 1902 году в городе Борстал).

310

Оскар Уайльд. «Тюремная исповедь». Пер. Р. Райт-Ковалевой, М. Ковалева.

311

Герой романа Ивлина Во «Упадок и разрушение» (1928).

312

Персонажи пьесы Уайльда «Как важно быть серьезным».

313

Чарльз Диккенс. «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим». Пер. А. В. Кривцовой и Е. Ланна.